

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
ИНСТИТУТ ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ
Центр интеллектуальной истории



RUSSIAN ACADEMY OF SCIENCES
INSTITUTE OF UNIVERSAL HISTORY
Centre for Intellectual History



DIALOGUE WITH TIME

**Intellectual History
Miscellanea**

3

Editors:

L.P.Repina, V.I.Ukolova



URSS

Moscow • 2000

**Будем же измерять время
мерой духовной!
(Р.Эмерсон)**

ДИАЛОГ СО ВРЕМЕНЕМ

Альманах интеллектуальной истории

3

**Под редакцией
Л.П.Репиной, В.И.Уколовой**



**УРСС
Москва • 2000**

ББК 63.3

Под редакцией
Л.П.РЕПИНОЙ и В.И.УКОЛОВОЙ

Рецензенты:
доктор исторических наук М.Р.ЗЕЗИНА
кандидат исторических наук П.Ю.УВАРОВ

Д ДИАЛОГ СО ВРЕМЕНЕМ. Альманах интеллектуальной истории.
Под ред. Л.П.Репиной и В.И.Уколовой. Вып. 3. — М.: Эдиториал
УРСС, 2000. — 352 с.

Альманах "Диалог со временем" — научное периодическое издание, посвященное проблемам интеллектуальной истории, исследовательское пространство которой охватывает историю идей и идеологий, философской, общественной и политической мысли, естествознания и техники, социальных и гуманитарных наук, историю книги и историю религии, историю историографии и историю литературы, историю искусства и музыки и т.д. — словом, изучение исторических аспектов всех видов творческой деятельности человека, включая ее условия, формы и результаты.

DIALOGUE WITH TIME. Intellectual History Miscellanea. Editors:
L.P.Repina, V.I.Ukolova. Issue 3. — М.: Editorial URSS, 2000. — 352 p.

"Dialogue with Time" is the first Russian periodical specially intended for consideration of the problems of intellectual history. This interdisciplinary field of research is broadly interpreted as embracing history of ideas and ideologies, history of philosophy and religion, history of social and political thought, history of sciences and humanities, history of historiography and history of art, music and literature, and so on — that is the study of historical aspects of kinds of human creative activity, including its conditions, forms and products.



9 785836 001896 >

ISBN 5-8360-0189-8

- © Коллектив авторов, 2000
- © Институт всеобщей истории РАН, 2000
- © Издание: Эдиториал УРСС, 2000

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

Л.П.Репина

Время, история, память (ключевые проблемы историографии на XIX Конгрессе МКИН)

XIX Международный конгресс исторических наук проходил с 6 по 13 августа 2000 года в Осло (Норвегия). Это был по-настоящему представительный научный форум: на него съехались около двух тысяч историков из почти семидесяти стран мира. Участники конгресса представляли все области, направления и дисциплины исторической науки. Сессии конгресса были организованы тематически и включали обсуждение трех так называемых "больших тем", двадцати "специализированных тем", а также докладов и выступлений в рамках работы двадцати пяти "круглых столов".

Съезд историков на самом рубеже тысячелетий во многом предопределил его проблематику. Вполне естественно, это было не только подведение итогов уходящего в историю XX столетия, но и попытка осмыслить сегодняшнее состояние исторической науки и взгляд "с гребня эпох" – с учетом ведущих тенденций - на ее возможные и наиболее вероятные перспективы в грядущем XXI веке. Поскольку программа конгресса формировалась на основе предложений, поступивших от историков – многочисленных представителей международного научного сообщества, она в основном отражает разнообразие тематики современных исторических исследований и, в то же время, наглядно демонстрирует имеющиеся в ней приоритеты, зоны особого интереса и горячих споров, основные направления теоретических и методологических поисков. В широчайшем диапазоне исследовательских подходов центральное место занимает антропологически ориентированная история. Это и "большая тема" культурных контактов между странами и континентами, и гендерная история, оказавшаяся в фокусе внимания пяти специальных и ряда других секций, и, наконец, получившая новый сильный импульс проблема соотношения времени, истории и памяти, которая не раз была предметом обсуждения на страницах альманаха "Диалог со временем".¹

¹ См. такие статьи, как: *Гайденко П.П.* Понятие времени в античной философии // Диалог со временем. Альманах интеллектуальной истории. Вып.1. М., 1999. С.13-35; *Колосова О.Г.* Восприятие времени в диалоге Тацита "Об ораторе" // Там же, с.36-45; *Фадеева Л.А.* Образ викторианской эпохи в коллективной

Проблематика исторического сознания и исторической памяти, хотя она была "титულიной" только для одного из заседаний, практически обсуждалась на двадцати сессиях конгресса, включая заседания по всем трем "большим темам" ("*Перспективы глобальной истории. Культурные контакты между континентами сквозь века*", "*Миллениум, время и история. Конструирование и деление времени*", "*Польза и вред истории и ответственность историков в прошлом и настоящем*"), по восьми "специализированным темам" и девяти круглым столам.²

Доклады, представленные на сессии "*Перспективы глобальной истории. Культурные контакты между континентами сквозь века*", продемонстрировали чрезвычайное разнообразие подходов к заявленной теме, хотя в самом общем виде можно сказать, что все они ставили во главу угла проблему взаимосвязи и взаимодействия культур в различных сферах.³ В комментарии Натали Земон Дэвис были сформулированы аналитические цели глобальной истории: "открытие посредством интерпретации и сравнения альтернативных путей исторического развития; преодоление мифов о национальной исключительности и поиск возможностей свести вместе истории разных обществ в нарративе, организованном вокруг темы коммуникаций". В то же время, по ее мнению, глобальная история должна стать "децентрализованной", в ней должно быть место для альтернативности и множественности исторических культур и траекторий развития.

На сессии "*Тысячелетие, время и история. Конструирование и деление времени*" обсуждались концепции времени, характерные для разных культур и нашедшие свое отражение в историографических традициях разных эпох. Во вступительном докладе Масаюки Сато (Япония) подробно остановился на комбинированной хронологической системе, которая применялась более двух тысяч лет в Восточно-Азиатском регионе (Китай и Япония). В представленных докладах были также подвергнуты специальному рассмотрению системы отсчета времени и периодизации прошлого в китайской историографии, в Индии, в исламской и в африканской историографии, в иудаизме, в европейской историографии от античности до эпохи Просвещения. Комментируя эти

памяти англичан // Там же, с.152-169; *Борозняк А.И.* Против забвения: "Черная серия" немецкого издательства "Фишер" // Там же, с.170-183; *Экитум С.А.* "Необывшееся - воплотить!" Опыт историософского осмысления сослагательного наклонения в истории // Диалог со временем. Альманах интеллектуальной истории. Вып.2. М., 2000. С.70-94; *Борозняк А.И.* Реалии "обыкновенного фашизма" в зеркале локальных историко-антропологических исследований // Там же, с.209-224; и др. См. также статью О.В.Гавришиной "Историческое сознание в России 40-х годов XIX века: образ недавнего прошлого в биографии современника" в настоящем выпуске.

² Мимо этих проблем не прошли и заседания многих аффилированных международных научных комиссий конгресса.

³ Некоторые доклады полностью, а большей частью – в виде резюме опубликованы в специальном издании актов конгресса: XIX-th International Congress of Historical Sciences. 6-13 August, 2000. Proceedings: Reports, Abstracts, and Round Table Introductions. Oslo, 2000.

доклады, Франсуа Досс (Франция) подчеркнул ключевое значение понятия "режимов историчности" (*regimes d'historicite*), отражающего множественность способов деления времени в различных обществах и цивилизациях и включающего как объективную сторону их существования во времени, так и субъективную составляющую – восприятие времени субъектом истории (будь то индивид или группа). Йорн Рюзен (Германия) отметил роль антропологических универсалий, таких как представления о времени, заключенные в понятиях роста и упадка, рождения и смерти, изменения и преемственности, без которых не обходится любое повествование. Таким образом, речь идет о поиске всеобщего, характерного для всего человечества, в разных культурных концепциях времени. Рюзен выделил три способа представления времени: функциональный, рефлексивный и оперативный.

Дискуссия была очень краткой и вращалась главным образом вокруг доклада Петера Редтса (Нидерланды) "Когда были средние века?", в котором была сделана попытка предложить новую периодизацию европейской истории. В этой периодизации, которая, по мнению докладчика, "дает более ясное представление о том, что происходит в европейской культуре сейчас", античности отводится период до 1000 г., средним векам – от 1000 до 1800 г., т.е. до промышленной революции, а новому времени – с 1800 г. Таким образом, новое время имеет своим истоком не Возрождение и Реформацию, а эпоху Просвещения и "политические и индустриальные революции по обе стороны Атлантики". В дискуссии по этому докладу мне пришлось обратить внимание, во-первых, на то, что, если в целом деление на три эпохи "работает" при периодизации истории разных стран и культур, то хронология самих эпох существенно различается; а во-вторых, на то, что в предложенной П.Редтсом датировке совершенно "размытым" оказывается образ Античности, которая, будучи "растянута" до конца первого тысячелетия, теряет свои существенные качественные характеристики. Любая периодизация условна, но при этом предполагает выделение той или иной эпохи на основе совокупности качественных критериев. В этом смысле предложение Редтса относительно рубежа Античности и Средневековья вызывает сомнения.

На сессии "*Польза и вред истории. Ответственность историка в прошлом и настоящем*" речь шла о важнейших этических проблемах исторической профессии, о недопустимости "изобретения прошлого", его искажения и "инструментализации" в политических и других целях. В докладе организатора сессии, известного американского ученого Георга Иггерса подчеркивалось, что история играет решающую роль в формировании и поддержании коллективной идентичности, и все народы осознают себя в терминах исторического опыта, уходящего корнями в прошлое. Он также отметил, что "злоупотребления историей не ограничиваются авторитарными режимами, но случаются и в обществах, допускающих, по крайней мере на поверхностный взгляд, широкую

свободу мнений", но в которых, тем не менее, существуют особые "механизмы вербовки и поощрения" и соответствующие ограничения, многие из которых, не будучи высказаны открыто, не менее крепко усваиваются историками.

Среди других докладов, которые были в основном посвящены вопросам политического манипулирования прошлым и профессиональной этики историков, выделялся доклад Ханса-Вернера Гетца (ФРГ) "Историческое сознание и институциональные интересы в европейской средневековой историографии (XI-XII вв.)", в котором были выделены некоторые характерные черты средневековой концепции прошлого, глубоко укорененные в "настоящем" ("настоящее прошлого"). Автор доклада указал на то, что средневековые хронисты осознавали историческую природу мира не только в форме представления о "божественном процессе истории спасения", но и в понятиях исторических изменений и даже различия между "фактом" и "вымыслом". Средневековые историографы обладали отчетливо выраженным ощущением прошлого, они особенно интересовались происхождением мира, народа, какого-нибудь знатного рода или церковного института и стремились проследить развитие своего предмета в непрерывном процессе от его начала – предпочтительно отдаленного или даже мифического – до настоящего момента. Однако их "чувство прошлого" было строго ориентировано на настоящее: историография выполняла практические функции, она не только описывала, но и использовала прошлое в настоящих (главным образом политических) целях. Повествуя о достопамятных деяниях королей, епископов, пап или святых, она использовала прошлое как аргумент для решения текущих проблем, доказывающий легитимность чье-то статуса или подтверждающий чьи-то притязания. Тем не менее, как использование исторических аргументов, так и злоупотребление ими осуществлялось в полном соответствии с глубокой и искренней внутренней убежденностью хрониста в правоте защищаемого им дела.

Большой интерес участников конгресса вызвали заседания по специализированной теме "*Оценка историографии XX века: профессионализм, методология, исследования*". В обобщающем докладе ее организатора Рольфа Торстендаля (Швеция) на основе очерков истории национальных историографических школ, представленных его содокладчиками, был дан сравнительно-исторический анализ развития профессиональной историографии в прошедшем столетии и рассмотрен широкий круг методологических и историографических вопросов. Важное место было отведено изменениям в профессиональном сознании историков и во взглядах на место истории в ряду других академических дисциплин, а также влиянию внешних вызовов и методологическим поискам и дискуссиям. Наряду с констатацией того, что идентичность историка на рубеже тысячелетий, потеряв реальное содержание, превратилась в формальный знак принадлежности к профессии, был под-

нят вопрос о "разработанном когнитивном сознании, присущем каждому историку как индивиду", которое проявляется в активной и постоянно растущей вовлеченности в научную полемику по фундаментальным теоретическим и эпистемологическим вопросам, касающимся самой природы исторического познания. Несомненно одно: между историками, которых развитие историографии в двадцатом веке развело по самым разным направлениям, сохранилась определенная связь: "они со всей очевидностью хотят принадлежать к одной профессии, хотя часто ведут себя так, как будто профессия не имеет значения."⁴ Как подчеркнула выступавшая в качестве комментатора Ирмлин Вайт-Браузе, "история разрывается между логикой памяти и императивами "научного" знания".

На заседании "круглого стола" "Компаративная история. Методы и модели", организованном Адрианом Верхульстом (Бельгия), рассматривались вопросы, связанные с современным состоянием компаративной истории, с ее перспективами, с соотношением компаративной и "национальной" историографии. Докладчики и участники дискуссии продемонстрировали широкий спектр нерешенных методологических проблем сравнительных исследований. Доклад известного американского историка, главного редактора авторитетного периодического издания *"Journal of the History of Ideas"* Дональда Келли "Основания для сравнения" отличался особой насыщенностью и теоретической проработкой.⁵ В нем были проанализированы важнейшие предпосылки и изменения в компаративных исследованиях (начиная с эпохи Просвещения) и дана критическая оценка сравнительных методов с точки зрения современного историографического процесса. Келли связал нарастание критики в адрес компаративной истории в последней трети XX века с распространением интерпретативных подходов в социальных науках и с постмодернистскими тенденциями, в результате чего усилился скептицизм в отношении рационального и универсального характера принятых критериев сравнительно-исторических исследований. Отсюда вывод: в условиях, когда все больше внимания историков концентрируется не на сходстве, а на различиях, не на универсальности, а на своеобразии, должна быть разработана новая методология компаративной истории.

В докладе П.Болдуина (США) также отмечалось, что поиски каузальности ставят сравнительную историю под удар постмодернистской критики, причем его настрой в отношении будущего компаративной истории был уже откровенно пессимистическим. Й.Толлебек (Нидерланды) посвятил свой доклад рассмотрению взаимоотношений компаративной и национальной историографии в конце XVIII-XIX вв. и исполь-

⁴ Полный текст доклада Р.Торстендаля (в переводе на русский язык) будет опубликован в следующем выпуске альманаха "Диалог со временем".

⁵ Доклад Д.Келли (на русском языке) также будет опубликован в следующем выпуске альманаха "Диалог со временем".

зованию кросс-культурных сравнительных исследований для закрепления национальных стереотипов и в политических целях. Совершенно противоположная, "оптимистическая" оценка компаративному подходу в истории была дана японским медиевистом Йосики Моримото, который подчеркнул позитивную роль так называемой контрастирующей компаративной истории в изучении феодализма (традиция Марка Блока). В дискуссии были подняты весьма существенные вопросы о связи между теоретическими основаниями сравнения и типологией, о необходимости сравнительных исследований "внутри" национальной истории (с учетом регионально-локальных вариантов), о необходимости анализа темпоральной составляющей в сравнительных исследованиях, о перспективах коллективных сравнительно-исторических проектов, о новой роли, которую должен играть сравнительный подход в связи с развитием микроисторических исследований.

Круглый стол "Индивиду и понятие частной жизни" собрал огромную аудиторию, что, очевидно, не предвидели организаторы конгресса, выделившие для этого заседания небольшое помещение. Вела заседание круглого стола Ева Остерберг (Швеция), с докладами выступили Леонора Давидофф (Великобритания), Бенте Розенбек (Дания), Эрлинг Сандмо (Норвегия) и Марта Висинус (США). Ева Остерберг остановилась на определении самого понятия частной жизни, аналитических категориях "частного" и "публичного" и подходах к изучению индивида и проблемы выбора в истории. Остерберг подчеркнула, что несмотря на то, что понятие "*privacy*" возникает только в XIX в., категории "частного" и "публичного" применимы к изучению и более отдаленных эпох. Именно такая долговременная перспектива и развитие современных историко-культурных исследований поставили под сомнение концепцию Юргена Хабермаса⁶. Участники круглого стола, при всем разнообразии поднятых тем, исходили из общего фундаментального подхода, согласно которому частная жизнь и понятие "индивидуального" могут быть рассмотрены одновременно и как дискурсы, и как социальные реальности. Они конструируются в различных обществах и в разных социальных группах различными способами, а потому существенно варьируются в зависимости от класса, пола, гендера, национальной принадлежности и, конечно, не в последнюю очередь, времени. Соответственно, существует необходимость пересмотреть наши концепции в контексте времени и пространства, институтов и организаций, формальных и неформальных отношений, на материале средних веков, раннего нового времени, XIX и XX столетий.⁷

⁶ Особо были отмечены работы российских ученых Ю.Л.Бессмертного по истории частной жизни и А.Я.Гуревича, сосредоточившего внимание на индивиду и индивидуальности в эпоху средневековья.

⁷ К сожалению, никаких выступлений по истории античности в этой связи не было.

Остановимся теперь несколько подробнее на сессии, специально посвященной теме "Память и коллективная идентичность: как общества конструируют свое прошлое и управляют им", которая оказалась необыкновенно интересной. Ее организатор Э. Чавес де Резенде Мартинс (Бразилия) подобрал очень сильный состав докладчиков и комментаторов: Франк Анкерсмит (Нидерланды) с докладом "Память и опыт прошлого"; М.Х.Капелато (Бразилия), которая представила доклад на тему "Национальная идентичность в Аргентине и Бразилии"; Джоан Бомонт (Австралия), говорившая об образе Второй мировой войны в национальном сознании австралийцев; Дора Шварцштейн, которая посвятила свое выступление устной истории и способах представления свидетельств жертв и очевидцев в уникальном Музее Террора, созданном в ее стране; Йорн Рюзен (Германия), выступивший с докладом "Память о Катастрофе и немецкая идентичность"; Ш.А.Сахасбудхе (Индия), которая представила свой опыт изучения древнеиндийских текстов в плане анализа средств контроля над исторической памятью; Х.Агирреашкенага (Испания), который остановился на проблеме социального и интеллектуального конструирования коллективной идентичности басков; Моше Циммерман из Израиля, представивший доклад на тему "Память о Катастрофе и память о Победе в израильском обществе".

Центральная проблема всех докладов и состоявшейся оживленной дискуссии – роль памяти в историческом конструировании социальной (коллективной) идентичности. Сейчас уже совершенно очевидно, что в современной историографии (вслед за социологией и антропологией) эта проблема вышла на передний план. Процесс самоидентификации рассматривается как "процедура придания смысла" (на основе жизненного опыта или культурного присвоения унаследованного коллективного опыта социальной группы). Важнейшая проблема – наличие отличающихся друг от друга воспоминаний об одном и том же событии и существование двух моделей их интерпретации ("конфликтной" и "консенсусной"). Ставился также вопрос о том, превращается ли со временем память в историю "автоматически", или историки все же активно участвуют в процессе ее преобразования, отвечая общественным потребностям. Не менее активно обсуждалась роль истории как фактора "социальной терапии", позволяющего нации или социальной группе справиться с переживанием "травматического исторического опыта" ("обращение памяти в историю – это терапия травматического опыта, вопрос и методологии, и политики"); а также проблема трансформации индивидуальной памяти как психологического процесса – в память коллективную.

Главный тезис доклада Х.Агирреашкенага – "тот, кто контролирует прошлое, контролирует будущее". Речь идет об исторической легитимации как источнике права и власти и об использовании историко-политических мифов для решения современных проблем. Доклад

Д. Швацштейн построен на анализе роли устной истории как посредника в диалоге памяти и истории. М. Циммерман говорил о коллективной идентичности, основанной на истории, которая аккумулирует память о конфликтах и катастрофах, и о новом типе памяти, который создает новый тип идентичности, соединяя память о Катастрофе и память о Победе (при этом происходит релятивизация катастрофы) и фиксируя новые праздники в старом календаре.

Другая серия вопросов связана с так называемой "индустрией памяти", включающей памятники, музеи, церемониалы и другие способы закрепления или воспроизводства социальной памяти. Отмечалась возможность дезинтеграции коллективной идентичности под воздействием управляемого процесса деконструкции общей социальной памяти, а также роль официальной и альтернативной историографии в этих процессах. Ф. Анкерсмит подчеркнул символическое значение коммемораций (на примере празднования юбилеев Французской революции), сравнив их с причастием, только в отношениях не с богом, а с прошлым. Анри Руссо в своем комментарии отметил, что проблема памяти превратилась в ценность, соответствующую современному плюралистическому видению прошлого, а также подчеркнул необходимость разработки теоретических процедур, которые бы позволили поставить изучение соотношения "память/история/идентичность" на научную основу.

Большое впечатление на присутствующих произвело выступление Йорна Рюзена. Его исходный постулат: Холокост конституирует немецкую идентичность посредством катастрофы, он как данность принадлежит к тем событиям прошлого, которые детерминируют жизненную ситуацию сегодняшней Германии. "Это часть истории, которая привела к полному поражению нации и к разрушению большей части страны, к политическому разделу Германии, к потере земель и изгнанию людей, к ментальному грузу вины, стыда, ужаса, подавленности, травмы и ответственности". Автор показывает, как национальная идентичность создается в конфликтном столкновении сменяющих друг друга поколений немцев с этим событием в контексте внешних и внутренних обстоятельств, в которых им приходится жить. Й. Рюзен предлагает следующую типологию восприятия Холокоста в сознании трех поколений в соответствии с качественными различиями по основному критерию — стратегии строительства идентичности.

В первом поколении с немецкой идентичностью "все в порядке": происходит экстернализация нацистов как небольшой группы политических гангстеров. В "среднем", втором поколении, которое вступает в конфликт со своими родителями, возникает стремление придать Холокосту историческое значение, рассмотреть его в исторической перспективе, осмыслить весь период нацизма в целом как контр-событие, которое конституировало сознание западных немцев негативным способом ("от противного"). На основе моральных принципов и моральной

критики ("они – преступники, мы – другие") происходит самоидентификация с жертвами нацизма, а национальная историческая традиция замещается универсальными (общечеловеческими) нормами. Так создается новый, очень напряженный тип коллективной идентичности. В третьем поколении (в последние пять-шесть лет) возникает определяющий новый элемент – "генеалогическое отношение к преступникам": "это наши деды, да, они были другими, но в то же время они – немцы, а значит "мы". Так осуществляется реконцептуализация немецкой идентичности, и шокирующий исторический опыт "возвращается" в национальную историю.

Проблема соотношения времени, памяти и исторического сознания со всей определенностью становится фокусом современной историографии, а Холокост и дебаты немецких историков – ее своеобразным оселком. В обсуждении обеих тем обнаруживаются две характерные черты: во-первых, наличие непримиримых противоречий между живым опытом и исторической памятью и, во-вторых, существенные межпоколенные различия в восприятиях и представлениях. Самое старшее поколение является носителем живой памяти, в то время как более младшие по-разному дистанцированы от ключевых событий Холокоста или "третьего рейха", но и те, и другие, бесспорно, составляют ядро коллективной памяти этих поколений, поскольку последние все еще имеют доступ к жизненному опыту старших. Однако все быстрее приближается время, когда эта связь разорвется и потребность понять, как коллективная память продолжает функционировать на уровне индивидуального опыта и соперничать с предлагаемой исторической интерпретацией, станет как никогда актуальной.

Известно, что борьба за политическое лидерство нередко проявляется как соперничество разных версий исторической памяти и разных символов ее величия и позора, как спор по поводу того, какими эпизодами своей истории нация должна гордиться или стыдиться. Содержание коллективной памяти меняется в соответствии с социальным контекстом и практическими приоритетами. Одной из важнейших задач исторической науки является демифологизация прошлого, но все же историография не обладает достаточно стойким иммунитетом от прагматических соображений: во многих отношениях история и память постоянно подпитывают друг друга.

На предыдущем XVIII конгрессе МКИН, который проходил в Монреале в 1995 г., испанский ученый Игнасио Олабарри, настаивая на том, что историк не может выполнять мифическую функцию памяти или же отказаться от контроля за результатами своей профессиональной деятельности, сказал: "Перед историком стоит задача не изобретать традиции, а скорее изучать, как и почему они создаются. Мы должны сформулировать некую историческую антропологию нашего собственного племени. Но одно дело, когда антропологи просто симпа-

тизируют тому племенному сообществу, которое они изучают, и совсем другое - когда они превращаются в его шаманов".⁸

На самом же деле все мы в каком-то смысле шаманы своего племени. Пытаясь развенчать социальную память, отделив факты от мифа, мы просто вместо одной версии истории получаем другую. Это, конечно, не значит, что следует принимать память пассивно и некритично. Мы можем вступить с ней в диалог, проверяя ее притязания на соответствие фактам. Но было бы ошибкой представлять, что в результате этого расследования, выудив из исторической памяти факты, проверив ее аргументы и "прочитав" закодированный в ней опыт, — то есть, превратив ее в "историю", — мы покончили с памятью. Важнейшее различие между профессиональной историографией и социальной памятью состоит в ином: историки могут открыть то, чего нет в сознании людей, то, что прошло мимо них и забылось. В этом — одна из главных функций исторических исследований.

⁸ *Olabarrí. I. History and Science / Memory and Myth: towards new relations between historical science and literature // XVIII-th International Congress of Historical Sciences. 27 August – 3 September, 1995. Proceedings: Reports, Abstracts, and Introductions to Round Tables. Montreal, 1995. P.178.*

ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ

И. М. Савельева, А. В. Полетаев

История как теоретическое знание

*Оно означает Учение, оно означает Образование,
Науки и тому подобные вещи, о которых ни Пух,
ни ты, Пятачок, не имеете понятия.
(А.А.Милн. Винни-Пух и все-все-все)*

Обозначение исторического знания как "науки" возникло сравнительно недавно, в XIX в. В XVII–XVIII вв., от Ф.Бэкона до французских энциклопедистов, история трактовалась как опытное, описательное, фактологическое знание, а наименование "науки" резервировалось за естественнонаучным знанием, которое, в свою очередь, смыкалось с философией. Лишь в XIX в. в рамках позитивизма интересы философов смещаются от структуры знаний к структуре наук. Тогда история впервые начинает называться наукой, хотя за ней по-прежнему сохраняется второстепенный, вспомогательный статус относительно наук "теоретических". Надо сказать, что такое отношение к истории имело некоторые основания, что отмечал еще Р.Коллингвуд:

"До конца XIX – начала XX в. исторические исследования находились в положении, аналогичном положению естественных наук догаллиевской эпохи... Историограф, в конечном счете, – как бы он ни пыжился, морализировал, выносил приговоры, – оставался компилятором, человеком ножниц и клея. В сущности, его задача сводилась к тому, чтобы знать, что по интересующему его вопросу сказали „авторитеты“, и к колышку их свидетельства он был накрепко привязан, сколь бы длинной ни была эта привязь"¹.

Фактически становление истории как полноценной науки происходит в последней трети XIX в., одновременно с выделением общественных наук как самостоятельного типа знания. В этот период формируются основные общественно-научные дисциплины – экономика, социология, психология, этнология, которые раньше были в большей или меньшей степени растворены в философии общества. Вслед за этим и история, становясь автономной научной дисциплиной, обретает полноценный академический статус и научную организацию: кафедры, факультеты, общества, дипломы. Так, хотя первые самостоятельные кафедры истории были учреждены в Берлинском университете в 1810 г. и в Сорбонне в 1812 г., в Англии первые кафедры истории появились

¹ Коллингвуд Р. Дж. Идея истории [1946] // Коллингвуд Р. Дж.. Идея истории. Автобиография. Пер. с англ. М.: Наука, 1980. С.367.

только в 1860-е годы (в Оксфорде в 1866 г. и в Кембридже в 1869 г.). Точно так же, хотя уже в конце XVIII – первой половине XIX в. во всех европейских странах издавалось множество исторических периодических изданий², первые профессиональные национальные исторические журналы появляются лишь во второй половине XIX в.³

Наука отличается от других способов познания, прежде всего определенными правилами, организующими и направляющими процесс научных исследований. Совокупность правил, принятых профессиональным сообществом, именуется "научными методами".

История в современном смысле удовлетворяет критериям научного знания, поскольку "является дисциплиной, социальным и общественным предприятием, выполняемым в соответствии с принятыми правилами и методами и неявно принятыми критериями приемлемости"⁴.

В целом история признается наукой уже более ста лет, и на протяжении всего этого периода, что вполне естественно, не утихают дискуссии о специфике, особенностях, характере научных методов, присущих современному историческому знанию. Удивление, однако, вызывает то обстоятельство, что сам тезис о том, что история является наукой, до сих пор вызывает определенные сомнения. Эти сомнения можно условно разделить на две разновидности. Сомнения первого рода сводятся к мысли о том, что история – это *не только* наука. Здесь, во-первых, происходит смешение понятия истории как *научного* знания о прошлой социальной реальности с другими типами знания о прошлом: философией, искусством, религией, идеологией и т.д. Во-вторых, утверждения подобного типа связаны со смешением семиотики и обществоведения. Любой текст (дискурс) имеет семиотические характеристики – синтаксические, семантические, прагматические, – и они могут быть предметом изучения. Однако в этом случае речь идет об особенностях текста, что и является объектом семиотического анализа. С точки же зрения общественных наук значение имеет содержание знания, т.е. характер конструируемой (описываемой и объясняемой) в рамках этого знания конкретной социальной реальности.

Сомнения второго рода сводятся к тезису о том, что история – это *не вполне* наука. На наш взгляд, источником подобных представлений также являются некоторые недоразумения, связанные прежде всего с выбором базы для сравнений, т.е. "эталоны научного знания". Зачастую историю продолжают сравнивать с естествознанием; при этом используются представления о естественных науках на уровне школьной программы, которая на самом деле в среднем примерно соответствует

² Только в Германии в 1790 г. их было 131 – *Wittram R. Das Interesse an der Geschichte // Die Welt als Geschichte. 1952. Bd.XII, H.1, S.1.*

³ "Historische Zeitschrift" в Германии (1859), "Русская старина" в России (1870), "R vue historique" во Франции (1876), "Rivista storica italiana" в Италии (1884), "English Historical Review" в Англии (1886).

⁴ *Novell-Smith P.H. Historical Explanation // Mind, Science, and History / Ed. H.E.Kiefer, M.K.Munitz. Albany (N.Y.): State Univ. of New York Press, 1970. P.214.*

знаниям XIX в. На критике подобных архаичных взглядов на систему знания просто не имеет смысла останавливаться. Естественные науки и общественные науки, к которым принадлежит история, – это два разных типа знания, и в настоящее время сходства между ними не больше, чем между естествознанием и философией.

Ключевые вопросы, связанные с определением истории как науки: эмпирические основания исторического знания, роль теории, проблема "исторического факта" и, наконец, функции исторического знания. В статье, опубликованной во втором выпуске "Диалога со временем", мы рассмотрели некоторые вопросы, возникающие в связи с эмпирическим характером исторического научного знания⁵. Здесь же мы обсудим проблемы теории и теоретизирования в историческом знании.

К сожалению, и в рамках обсуждения данной темы продолжают циркулировать архаичные представления о том, что теория – это что-то вроде закона Бойля-Мариотта или правила буравчика. В соответствии же с современными представлениями о науке, теория трактуется гораздо шире и означает "всего-навсего" осмысление в понятиях тех или иных эмпирических наблюдений. Это *осмысление* (наделение смыслом, приписывание смысла) является синонимом теоретизирования. Так же как и сбор информации (эмпирических данных), теоретизирование – неотъемлемый компонент любой науки, в том числе и исторической. Идея о том, что в любом историческом дискурсе присутствует понятийный или концептуальный теоретический компонент, отнюдь не нова. В явном виде ее сформулировал еще Г.Гегель, хотя в его времена "история" понималась значительно шире, чем в XX в., и сближалась с современным понятием "обществоведения":

"...даже обыкновенный заурядный историк, который, может быть, думает и утверждает, будто он пассивно воспринимает и доверяется лишь данному, и тот не является пассивным в своем мышлении, а привносит свои категории и рассматривает данное при их посредстве"⁶.

Важное развитие тезис о том, что историческое знание является теоретическим, получил в работах Г.Риккерта в конце XIX – начале XX в. И хотя Риккерт также пользовался расширительной трактовкой исторического знания, сближая его с обществознанием ("науками о культуре") в целом, в его работах впервые прозвучала мысль о роли *осмысления в понятиях* как сути теоретического анализа. Существенный вклад в становление современных представлений о роли теории в историческом знании внес М.Вебер, который развил и конкретизировал идеи Риккерта. В частности, Вебер подчеркивал, что любое историческое исследование теоретично, поскольку ученый

"с самого начала – в силу ценностных идей, которые он неосознанно прилагает к материалу исследования, – вычленил из абсолютной бесконечности

⁵ Савельева И.М., Полетаев А.В. Эмпирические основания исторической науки // Диалог со временем. Вып.2. М.: УРСС, 2000. С.36-51.

⁶ Цит. по: Wehler H.-U. Das Deutsche Kaiserreich 1871-1918. Göttingen: Vandenhoeck, 1994. 1 Bde. S.12-13.

крошечный ее компонент в качестве того, что для него единственно важно⁷. "...уже первый шаг к вынесению исторического суждения... являет собой, следовательно, процесс абстрагирования, который протекает путем анализа и мысленной изоляции компонентов непосредственно данного события (рассматриваемого как комплекс возможных причинных связей) и должен завершиться синтезом "действительной" причинной связи. Тем самым уже первый шаг превращает данную "действительность", для того чтобы она стала историческим "фактом", в мысленное построение – в самом факте заключена, как сказал Гете, "теория"⁸.

Конечно, присутствие теории в историческом исследовании проявляется не только в рамках выбора темы исследования или объекта анализа. То же самое относится ко всем остальным стадиям исследования. Существенную роль в истории, как и в других науках, играют гипотезы, что подчеркивает, например, известный археолог О.Гийом:

"По нашему мнению, наука – это интеллектуальная процедура, состоящая из формулировки гипотезы, на основании которой делаются выводы. Ценность выводов зависит от ценности гипотезы. Поэтому гипотезы апробируются. Статус гипотез не должен забываться историком, и они не должны восприниматься им как истины. Выводы, используемые при реконструкции, также должны соотноситься с гипотезами, а не с постулатами"⁹.

В результате конечный результат работы историка, исторический дискурс, даже самый "простенький" содержит в явном или неявном виде огромное количество теоретических концепций, на которые имплицитно опирается историк, начиная хотя бы с датировки описываемого события (идет ли речь об эпохе или просто указании года в некоей системе летоисчисления). Но исторический дискурс настолько насыщен теорией, что многие историки просто не замечают этого. Так, известный американский историк М.Каммен пишет: "Совершенно очевидно, что все еще возможно писать великолепные работы, в которых теория вообще ничего не значит"¹⁰. В качестве примера он указывает целый ряд современных работ, в том числе изданную в 1976 г. монографию Э.Вебера "Из крестьян во французы: модернизация сельской Франции, 1870–1914" (*E.Weber. Peasants into Frenchmen: The Modernization of Rural France, 1870–1914*). Но даже из названия работы видна роль теории в этом исследовании. По сути, название все состоит из теоретических понятий или концептов: крестьяне, французы, модернизация, сельская Франция, и, наконец, просто Франция, не говоря уже о рассматриваемом периоде, который концептуализируется в первую очередь в рамках разнообразных теоретических моделей периодизации экономического развития Европы.

⁷ Вебер М. "Объективность" социально-научного и социально-политического познания [1904] // Вебер М. Избр. произв. Пер. с нем. М.: Прогресс, 1990, с.380.

⁸ Вебер М. Критические исследования в области логики наук о культуре [1905] // Там же. С.472.

⁹ Guillaume O. Analysis of Reasonings in Archeology: The Case of Graeco-Bactrian and Indo-Greek Numismatics. Delhi: Oxford Univ. Press, 1990. P.112.

¹⁰ Kammen M. Selvages & Biases: The Fabric of History in American Culture. Ithaca (N.Y.); L.: Cornell. Univ. Press, 1987. P.32.

Утверждения о нетеоретичности исторического знания отражают архаичные представления о знании в целом и совершенно неадекватно современным представлениям.¹¹ Теоретизирование (осмысление в понятиях) может принимать разные формы. Существуют множество способов структурирования теорий, типов их классификации.¹² Не вдаваясь в детальное рассмотрение типов, видов, уровней теоретического анализа, мы используем наиболее простую концепцию, которая достаточно широко распространена в современной философии науки, в отличие от множества других более детальных схем, создаваемых отдельными авторами. В рамках данной схемы, которая восходит, по меньшей мере, к П.Дюэму, научные теории подразделяются на два "идеальных типа" – описание и объяснение. Пропорции, в которых эти части присутствуют в той или иной теории, существенно варьируются, как и степень взаимопроникновения указанных компонентов теоретического анализа. Этим двум частям или типам теории соответствуют философские понятия частного и общего (единичного и типичного). Любое описание прежде всего оперирует частным (единичным), в свою очередь объяснение опирается на общее (типичное). По сути дела, продолжающиеся уже более двух тысячелетий споры по поводу исторического знания (какой бы смысл ни вкладывался в это понятие в ту или иную эпоху), сводятся именно к дискуссиям об описании и объяснении и, соответственно, о единичном и типичном.

Еще в начале XX в. М.Вебер писал: "В наши дни неоднократно делалась попытка защитить своеобразие социальных наук посредством установления границ между ними и "естественными науками". При этом известную роль играла молчаливо принятая предпосылка, будто в задачу "истории" входит только собирание фактов или только чистое "описание"; в лучшем случае она якобы составляет "данные", которые служат строительным материалом для "подлинной" научной работы. К сожалению, и сами историки в своем стремлении обосновать своеобычность "истории" как профессии немало способствовали предубеждению, согласно которому "историческое" исследование есть нечто качественно иное, чем "научная" работа, так как "понятия" и "правила" "не представляют интереса для историка"... Впрочем, в дальнейшем мы еще увидим, насколько далеко от истины распространенное наивное представление, будто история является "простым" описанием преднайденной действительности или только изложением "фактов".¹³

Забегая вперед, скажем, что, на наш взгляд, историческое знание (как и любое другое научное знание), может быть и преимущественно

¹¹ Как справедливо заметил Ф.Эбрамс, "настойчивые утверждения „охвостья“ профессиональных историков, что теория не является частью их ремесла, постепенно становятся все менее эффективной базой для „институционализации“ истории и все более откровенной и бессмысленной формой ностальгии" - Abrams Ph. Historical Sociology. Somerset: Open Books, 1982. P.300.

¹² Можно попытаться разработать типологию теорий. Например, Дж.Тернер выделяет восемь типов теоретических подходов, от простых эмпирических обобщений до метатеории. - Тернер Дж. Аналитическое теоретизирование [1987] // THESIS. 1994. Вып.4. С.130. Можно также вспомнить концептуализированное Р.Мертоном понятие "теорий среднего уровня" и т.д.

¹³ Вебер М. Критические исследования..., с. 417, 436.

описанием (впрочем, неизбежно включающим некоторые элементы объяснения), и преимущественно объяснением (но непременно включающим некоторые элементы описания), равно как и представлять эти два типа теории в любой пропорции. Второе предварительное замечание состоит в том, что даже если научное знание выступает преимущественно в виде описания, это не означает, что оно не является теоретическим или является "менее теоретическим", чем знание, выступающее преимущественно в форме объяснения.¹⁴

Различение описания и объяснения возникает еще на заре развития философской мысли, и уже в Древней Греции в рамках обсуждения этого различения начинает так или иначе фигурировать история. Забавно отметить, что, по мнению современных исследователей, у ионийских логографов обычно обзоры именовались "теорией" (*θεωρία*), а исследования – "историями" (*ἱστορία*)¹⁵. Исходя из сегодняшних представлений, основоположниками двух типов исторического дискурса – описания и объяснения – являются, соответственно, Геродот и Фукидид¹⁶. Заметим попутно, что тот факт, что Геродот отдавал предпочтение описаниям, не означает, что его труд был менее аналитическим или концептуальным, чем труд Фукидида. Просто Геродот отвечал на другие вопросы – не с причинах и следствиях, а, например, о степени вины или ответственности¹⁷. Конечно, ни сами Геродот и Фукидид, ни их ближайшие последователи, насколько нам известно, не осмысливали свои работы в виде четкой оппозиции описание–объяснение. Однако уже в эллинистическую эпоху дискуссия о том, должна ли история (в том смысле, который тогда имел этот вид знания или дискурса) быть, прежде всего, описанием или объяснением, приобретает явный характер. Например, Полибий – ярый сторонник истории–объяснения. При этом, правда, следует иметь в виду, что в понятие истории как знания Полибий вкладывал достаточно специфический смысл, весьма отличный от современного:

"История, по Полибию, есть критический, т.е. причинно-объясняющий, и притом обязательно только имманентный, анализ военно-политической жизни, когда она берется в ее постоянной изменчивости и становлении, в ее последовательности и логической необходимости и, наконец, в ее непо-

¹⁴ Некоторая путаница возникает из-за того, что до начала XX в. научное знание в форме описания именовали "фактографией", а в форме объяснения – "теорией". К сожалению, столь архаичный понятийный и терминологический аппарат продолжает до сих пор использоваться некоторыми авторами.

¹⁵ Ирмшер И., Йоне Р. (сост.) Словарь античности. Пер. с нем. М.: Прогресс, 1989 [1987]. С.234.

¹⁶ На это различие (в чуть иной терминологии) явно указывал Р.Коллингвуд: "...Геродота главным образом интересуют сами события, главные же интересы Фукидида направлены на законы, по которым они происходят" – Коллингвуд Р. Дж. Идея истории..., с.31.

¹⁷ См.: Немировский А.И. Рождение Клио: У истоков исторической мысли. Воронеж: Изд-во Воронежского ун-та, 1986. С.53-54.

средственно-опытной и, лучше всего, если в зрительной, картинной и жизненно-ощущаемой данности"¹⁸.

В пределах такого смыслового наполнения термина "история", она должна быть, по мнению Полибия, прежде всего объяснением¹⁹. Сторонники истории-объяснения можно найти и среди римских авторов. В частности, эта позиция была четко выражена Цицероном:

"...Так как в рассказе о событиях читатель хочет узнать сначала о замыслах, затем о действиях и, наконец, об их исходе, то необходимо, говоря о замыслах, дать понять, что в них писатель одобряет; говоря о действиях – показать не только что, но и как было сделано или сказано; говоря об исходе событий – раскрыть все его причины, будь то случайность, или благоразумие, или безрассудство". (Об ораторе II, 15, 63).²⁰

Но у других авторов имеются найти совершенно определенные высказывания в пользу истории-описания, отталкивавшейся от традиций римских анналистов. Такую позицию мы находим, в частности, у Лукиана (ок. 120 – ок. 180) в трактате "Как следует писать историю".

С упрочением христианства в эпоху поздней римской империи, и в еще большей степени – после ее падения и начала эпохи, именуемой ныне Средними веками, эти дискуссии сходят на нет. История становится почти исключительно описанием, а история-объяснение на долгие века исчезает из практики. Причины такого изменения четко сформулировал М.А.Барг:

"...Средневековая историография в сравнении с античной следовала принципиально иной концепции причинности. Вместо причины и следствия, расположенных на оси времени, средневековая историография, поместив ряд причин в сферу вечности, оставила в истории только ряд следствий... Одновременно господствовало представление об истории как совокупности разрозненных "вызовов", бросаемых время от времени человеческими действиями Господу, и ответных "реакций" Всевышнего"²¹.

В эпоху Возрождения (начиная с трудов Лоренцо Валлы), история фигурирует прежде всего в значении текста, а не знания, и изучение истории есть прежде всего изучение древних текстов. Затем в трудах Н.Макиавелли и Ж.Бодена история начинает трактоваться как нечто вроде политологии (в современной терминологии). В XVII в. происходит новое радикальное изменение значения и смысла "истории", и этот переворот совершает Ф.Бэкон в работе, который, в частности, возрождает античное различие описания и объяснения, смыкая его с анализом исторического знания.

"История... имеет дело с единичными явлениями (individua), которые рассматриваются в определенных условиях места и времени... Все это имеет отношение к памяти... Философия имеет дело не с единичными явлениями

¹⁸ Тахо-Годи А.А. Эллинистическое понимание термина "история" и родственных с ним // Вопросы классической филологии. М.: МГУ, 1969. Вып.2. С.131.

¹⁹ "...Необходимейшие части истории те, в которых излагаются последствия событий, сопутствующие им обстоятельства и особенно причины их" (III, 32, 6). - Полибий. Всеобщая история. СПб.: Наука, Ювента, 1994, т.1, с.283.

²⁰ Цицерон. Три трактата об ораторском искусстве. М.: Наука, 1972. С.142.

²¹ Барг М.А. Эпохи и идеи: становление историзма. М.: Мысль, 1987. С.23.

и не с чувственными впечатлениями, но с абстрактными понятиями, выведенными из них... Это полностью относится к области рассудка... Историю и опытное знание мы рассматриваем как единое понятие, точно так же как философию и науку"²².

Иными словами, под историей Бэкон подразумевает любые описания, а под философией/наукой – любые объяснения. Схема Ф.Бэкона получила широкую известность и использовалась многими философами XVII–XVIII вв. Она оказала огромное влияние на развитие представлений о месте исторического знания и его функциях. С одной стороны, Бэкон необычайно возвеличил историю, отведя ей самое почетное место в системе познания и придав ей исключительно широкий смысл. С другой стороны, с его легкой руки "исторические науки" по существу стали синонимом "описательных наук" или "фактографии", и это стойкое представление во многом не преодолено до сих пор.

Т.Гоббс, воспроизведший бэконовскую схему в своей известной работе "Левиафан", еще отчетливее подчеркнул синонимичность "истории" и "описательных наук", с одной стороны, и "философии" и "объясняющих наук" – с другой:

"Имеются два рода знаний, из которых первый есть знание факта, второй – знание последовательной зависимости одного утверждения от другого. Первый род знаний есть не что иное, как ощущение и память, и является абсолютным знанием... Второй род знания называется наукой и является условным... Запись знания факта называется историей... Записями науки являются книги, содержащие доказательства последовательной зависимости одного утверждения от другого..."²³.

Представления о структуре знания, сформулированные Бэконом и Гоббсом, были в значительной мере восприняты и популяризованы французскими энциклопедистами – Дидро и д'Аламбером. В результате вплоть до конца XVIII в. под историей понималось описательное знание, которое противопоставлялось объясняющему знанию. В терминологии того времени это сводилось к противопоставлению фактов и теории. В современных терминах, напомним, фактом является высказывание о существовании или осуществлении, признаваемое истинным (соответствующим критериям истинности, принятым в данном обществе или социальной группе). Иными словами, факты – это составная часть описания. В свою очередь то, что во времена Бэкона и Гоббса называлось теорией, ныне именуется объяснением, а под теоретическими подразумеваются в том числе и описательные высказывания. Взгляды Бэкона, Гоббса и французских энциклопедистов на историческое знание отчасти унаследовали позитивисты XIX в.. При этом в позитивистских исследованиях, как и в работах XVII–XVIII в., не проводилось различия между естественными и общественными науками. Последние не имели четкого дисциплинарного деления и зачастую были

²² Бэкон Ф. О достоинстве и приумножении наук [1623] // Бэкон Ф. Соч. В 2-х т. Пер. с лат. М.: Мысль, 1977-1978. Т.1. С.149-150 (перевод уточнен нами).

²³ Гоббс Т. Левиафан [1651] // Гоббс Т. Соч. В 2-х т. Пер. с англ. М.: Мысль, 1989-1991. Т.2. С.81-89.

представлены всего лишь двумя–тремя общими названиями. В исходной контовской схеме, например, к общественным наукам относились объясняющая ("теоретическая") наука об обществе – социология, и описательная ("фактографическая") наука об обществе – история²⁴.

В работах последователей Конта в области методологии науки – О.Курно, Дж.С.Милля, Г.Спенсера, Ф.Энгельса – эта схема в целом сохранялась²⁵. И хотя список общественных наук в них начинает постепенно увеличиваться за счет экономики, психологии и т.д., под историей продолжают понимать описательную часть общественнонаучного знания, которой придается второстепенный, вспомогательный статус по отношению к объясняющей части обществознания.

В последней трети XIX в. начинается антипозитивистская "контрреволюция". Одно из первых ее программных заявлений принадлежит популяризатору дарвинизма Томасу Хаксли, который предложил проводить различие между проспективными науками – химией, физикой (где объяснение идет от причины к следствию), и науками ретроспективными – геологией, астрономией, эволюционной биологией, историей общества (где объяснение исходит из следствия и "поднимается" до причины)²⁶. Два типа наук, по его мнению, предполагают соответственно два типа причинности. Проспективные науки предлагают "достоверные" объяснения, в то время как ретроспективные (по существу исторические) науки, в том числе история общества, могут предложить лишь объяснения "вероятные". По существу, Хаксли первым сформулировал идею о том, что в рамках научного знания могут существовать разные способы объяснения. Это создавало возможность для отказа от иерархии научного знания, уравнивания "научного статуса" разных дисциплин. Но эта идея была востребована только в 50-е годы XX в.

Гораздо более существенную роль в развитии философии науки в последней трети прошлого столетия сыграла борьба за суверенность обществознания в рамках философского течения, которое условно можно обозначить как "историзм". Историзм возник в Германии как течение, противостоящее контовско-спенсеровскому "натурализму", стремившемуся превратить историю в придаток социологии с ее "объясняющими законами". Представителей "историзма" объединяла прежде всего идея о принципиальном различии естественных и общественных наук, отказ от попыток построения "социальной физики". Основной задачей истористов было доказательство "инакости" обществозна-

²⁴ *Конт О.* Курс положительной философии. СПб., 1899. Т.1 [1830]. С.24–25.

²⁵ В схеме Ф.Энгельса ("Анти-Дюринг") общественные науки были представлены только "историей", но под ней подразумевалась контовская "социология" или "исторический материализм" в последующей марксистской терминологии.

²⁶ *Huxley Th.H.* On the Method of Zadig: Retrospective Prophecy as Function of Science // *Huxley Th.* Science and Culture. L.: Macmillan, 1881. P.128–148. В русской транслитерации до сих пор принято написание "Гексли", хотя его сын Олдос пишется как "Хаксли". Благодаря этому возникают забавные фразы типа: "О.Хаксли, сын Т.Гексли" (находка С.Афонцева).

ния и борьба с представлениями о второстепенности этого другого, по сравнению с естественнонаучным, вида знания.

Так, понятие "истории" в значении "знания" снова изменило свой смысл. Если у Бэкона, Гоббса и энциклопедистов "историей" обозначалось все описательное знание, а у позитивистов – описательная часть общественнонаучного знания, то в работах И.Дройзена, В.Дильтея, В.Виндельбанда и Г.Риккерта "историей" начинает обозначаться все общественнонаучное знание (или совокупность общественных наук начинает именоваться "историческими"). Подчеркнем, что в этих работах "история" все еще обозначает не самостоятельную дисциплину, а группу дисциплин, но специфицированную иным образом, чем это делали Ф.Бэкон или О.Конт. Дройзен, Дильтей, Виндельбанд и Риккерт отказались от традиционного разделения описательного и объясняющего знания, поскольку в XIX в. "описание" имело устойчивый второстепенный статус. В качестве отличительной характеристики методологии общественных наук они начали использовать термин "понимание"²⁷. Но они по-разному концептуализировали понятия "объяснения" и "понимания" и, строго говоря, вкладывали в них абсолютно разный смысл²⁸. Акцент на различии естественных и общественных наук по методу "объяснения" и "понимания", в конечном счете, оказался не слишком плодотворным. Эти понятия не приобрели функционального характера и, по сути, превратились в своего рода ярлыки. Неудивительно, что в XX в. методологические дискуссии, в том числе и в сфере исторического знания, приняли совершенно иное направление, и апелляция к "пониманию" стала своего рода философским реликтом.

В XX в. на первый план снова вышла тематика описания и объяснения, но уже как проблема соотношения двух типов теории, заняв едва ли не центральное место в дискуссиях вокруг роли теории в современном историческом знании. Благодаря этому обсуждению, т.е., по существу, лишь во второй половине XX в. завершился (на концептуальном уровне) процесс размежевания естественнонаучного и общественнонаучного типов знания, начавшийся в конце XIX в. Существенную роль здесь сыграли труды У.Дрея, П.Уинча, Э.Энскомба, поздние работы К.Гемпеля, исследования Ч.Тейлора, Г.Вригта, А.Данто, Г.Грэмса и др.²⁹

²⁷ Различие между пониманием и объяснением было введено Г.Дройзеном в работе, изданной в 1858 г. - *Droysen G. Grundriss der Historie*. В., 1858.

²⁸ В частности, Дильтей и Риккерт принципиально по-разному определяли объект общественнознания ("науки о духе" и "науки о культуре"). Более того, они использовали разные немецкие слова для обозначения "понимания" (соответственно, *Erklärung* и *Auffassung*).

²⁹ *Dray W. Laws and Explanations in History*. Oxford, 1957; *Idem*. Еще раз к вопросу об объяснении действий людей в исторической науке [1963] // *Философия и методология истории*. М.: Прогресс, 1977. С.37-71; *Уинч П.* Идея социальной науки и ее отношение к философии. М.: Русское феномен. о-во, 1996 [1958]; *Anscombe G.E.M. Intentions*. Oxford, 1957; *Вригт Г.Х.*, фон. Объяснение и понимание [1971] // *Он же.* Логико-философские исследования. Избранные труды. Пер. с англ. М.: 1986; *Danto A. Analytical Philosophy of Action*. N.Y., 1973. *Taylor*

В итоге в философии науки укоренилось представление о том, что объяснение в такой же мере присуще гуманитарным (общественным) наукам, как и естественным, просто характер объяснения (процедуры, правила, приемы и т.д.) в этих двух видах *научного* знания заметно различаются. Общественным наукам, имеющим дело с социальной реальностью, т.е. с человеческими действиями, их причинами и результатами, присущи свои, особые методы объяснения, отличные от естественнонаучных. В работах перечисленных выше авторов было также показано, что эти общие положения в полной мере распространяются и на историю как один из видов общественнонаучного знания.

К сожалению, многие историки не знакомы или мало знакомы с работами аналитических философов и сохраняют свои собственные представления об историческом объяснении. Вот типичный пример:

"Историческому объяснению подлежит то, что не может быть объяснено ни логикой поведения, ни законами функционирования системы, а также не выводится из каузальных или статистических причинно-следственных связей. Историческое объяснение в этом смысле идет не путем обращения к разуму действующих лиц и не через законы логики. То, что оно объясняет, оно объясняет, рассказывая историю"³⁰.

То обстоятельство, что уважаемый немецкий историк Г.Люббе не знаком с англоязычными работами по аналитической философии истории 60–70-х годов, еще можно понять и объяснить. Однако, по сути, уничтожающую критику такого рода представлений дал еще в начале века все тот же М.Вебер, который, как известно, писал по-немецки. Мы позволим себе привести соответствующий фрагмент полностью:

"... Для формулирования исторической каузальной связи необходимо применение абстракции в ее обеих разновидностях – изолировании и генерализации... Даже самое элементарное историческое суждение об историческом "значении" "конкретного факта" очень далеко от простой регистрации "преднайденого" и представляет собой не только конструированное с помощью категорий мысленное образование, но и чисто фактически обретает значимость лишь благодаря тому, что мы привносим в "данную" реальность все наше "номологическое" опытное знание.

Историк возразит на это, что весь фактический процесс исторического исследования и фактическое содержание исторического изложения носит совсем иной характер. Историк открывает "каузальные связи" с помощью врожденного "такта" или "интуиции", а отнюдь не посредством генерализаций и применения "правил"... Наконец, изложение, данное историком, также всецело зависит от его "такта", от наглядности его сообщения, которое воздействует на читателя, заставляет его "сопереживать" события, подобно тому как и сам историк интуитивно пережил и увидел, а не рассудочно измыслил их... В аргументации такого рода происходит смешение различных сторон, а именно: психологического процесса возникновения научного по-

Ch. The Explanation of Behavior. L., 1964. Hempel C. Explanation in Science and History [1962] // Philosophical Analysis and History. N.Y., 1966. Он же. Мотивы и "охватывающие" законы в историческом объяснении [1963] // Философия и методология истории. С.72-93. Graham G. Historical Explanation Reconsidered. Aberdeen, 1983.

³⁰ Люббе Г. Что значит: "Этому можно дать только историческое объяснение"? [1973] // THESIS, 1994, вып.4, с.214.

знания и избранной для "психологического" воздействия на читателя "художественной" формы изложения познанного, с одной стороны, и логической структуры познания – с другой.

Ранке "угадывал" прошлое; впрочем, историк более низкого уровня тоже вряд ли преуспеет, если он вообще не обладает даром "интуиции"; в этом случае он навсегда останется своего рода мелким чиновником от истории. Однако и там, где речь идет о действительно крупных открытиях в области математики и естествознания, дело обстоит совершенно так же: они внезапно озаряют в виде "интуитивной" гипотезы, порожденной фантазией исследователя, а затем "верифицируются", то есть исследуются с точки зрения их "значимости" посредством применения к ним уже имеющегося опытного знания, и логически корректно формулируются. Совершенно то же происходит и в истории³¹.

В середине нашего века уже другой немецкоязычный автор столь же ясно высказался по поводу исторического объяснения:

"Основанное на критике источников историческое объяснение, конечно, не сводит факты к законам и правилам. Однако оно не ограничивается и простым сообщением о фактах. В исторических науках, не меньше чем в естественных, метод имеет целью представить постоянное и сделать его предметом"³².

Важным направлением концептуализации исторического объяснения стал логико-лингвистический анализ, проведенный представителями аналитической философии истории. В работах А.Данто "Аналитическая философия истории", М.Уайта "Логика исторической наррации", У.Гэлли "Философия и историческое понимание", а также Л.Минка, Д.Халла, Х.Фейна, У.Уолша, Л.Ноэлл-Смита было показано, что с формально-логической точки зрения в описательных высказываниях также может заключаться ответ на вопрос "почему?", т.е. высказывания, не имеющие канонической поппер-гемпелевской формы также оказываются объясняющими³³. Иными словами, элементы объяснения (каузального анализа) содержатся даже в простейших нарративных высказываниях о прошлой социальной реальности.

Надо сказать, что, несмотря на все усилия представителей аналитической философии, идея о том, что в истории, как и в любой науке непременно присутствуют элементы объяснения, до сих пор не является общепринятой. По сути, речь идет даже не столько об объяснении, сколько о явном и неявном отрицании научного характера исторического знания, причем это отрицание принимает разные формы. Одним из ярких примеров является работа Х.Уайта, который формально претендовал как раз на анализ проблемы объяснения в истории:

"... Я различаю три типа стратегий, которые могут использоваться историками для получения "эффекта объяснения". Я называю эти стратегии объяснением посредством формального доказательства, объяснением посредством превращения в сюжет и объяснением посредством идеологического

³¹ Вебер М. Критические исследования... с.474-475.

³² Хайдеггер М. Время картины мира [1950] // Хайдеггер М. Время и бытие. Пер. с нем. М.: Республика, 1993. С.45.

³³ Danto A. The Analytical Philosophy of History. Cambridge (Mass.), 1965; White M. Foundations of Historical Knowledge. N.Y., 1965. Ch.VI; Gelly W. Philosophy and Historical Understanding. Cambridge, 1964. См. также: Кукарцева М. А. Современная философия истории США. Иваново, 1998. С.116-119.

контекста. В рамках каждой из этих стратегий я выделяю четыре возможных способа артикуляции, посредством которых историк может достигать разного рода эффекта объяснения. Для доказательства - это модусы Формизма, Органицизма, Механицизма и Контекстуализма; для превращения в сюжет - это архетипы Романа, Комедии, Трагедии и Сатиры; для идеологического контекста - это тактики Анархизма, Консерватизма, Радикализма и Либерализма. Конкретная комбинация этих модусов составляет то, что я называю историографическим "стилем" данного историка или философа истории³⁴.

Самое интересное, что вся эта умопомрачительная классификационная схема сконструирована автором только для того, чтобы доказать что история *не является* наукой. Не вдаваясь в подробное рассмотрение концепции Х.Уайта, заметим, что в ее основе лежат две посылки, которые вряд ли можно признать правомерными. Во-первых, автор не различает разные типы знания, в частности, философию, науку, идеологию и искусство. Во-вторых, претендуя, якобы, на анализ знания, автор на самом деле анализирует "стили", т.е. подменяет исследование содержания знания рассмотрением стилистической формы текстов.

Зачастую отрицание присутствия объясняющего теоретизирования в истории облекается в скрытую форму, путем перевода в плоскость отрицания исторической генерализации. На самом деле, как показано в исследованиях по логической семантике, высказывания, содержащие объяснение (каузальных связей) должны быть обязательно основаны на генерализациях (обобщениях), и наоборот. Проще говоря, объяснение и генерализация - это, по существу, синонимы.

Тезис о том, что "история" занимается единственным, а не общим, идет, как известно, от Аристотеля, хотя он вкладывал в это слово совсем иной смысл, чем оно имеет в XX в., и более того, речь шла даже о другом значении имени "история". В раннее Новое время этот тезис был возрожден Ф.Бэконом, а своего апогея он достигает в работах Дильтея, Виндельбанда и Риккерта. В конце XIX в. немецкие философы отстаивали тезис о том что во всех социальных науках (науках о духе, культуре и т. д.) генерализация невозможна, что они все имеют дело только с единичными явлениями. Слава Богу, экономисты, социологи, психологи, политологи и представители других общественных наук в XX в. полностью игнорировали эти заявления, иначе бы мы остались вообще без общественных наук. Что же касается истории, то здесь ситуация складывается не так однозначно.

Надо сказать, что сами историки, занимающиеся вопросами методологии, давно и отчетливо отстаивают наличие генерализации (и, соответственно, объяснений) в современном научном знании и исторических дискурсах. Чтобы не злоупотреблять ссылками на авторитеты, приведем в качестве примера лишь наиболее категорично сформулированное мнение Ж. Ле Гоффа (хотя аналогичные суждения можно найти у Л.Стоуна, М.Барга, А.Гуревича и множества других историков,

³⁴ White H. *Metahistory: The Historical Imagination in Nineteenth-Century Europe*. Baltimore; L.: The Johns Hopkins Univ. Press, 1973. P. X.

занимавшихся методологией истории): "Как и любая наука, история должна генерализировать и объяснять"³⁵. В то же время многие представители иных областей знания (быть может, в силу слабого знания предмета) и в XX в. продолжают утверждать, что история занимается единичным, особенным и т. д. Например, широко известна точка зрения философа К.Поппера по этому поводу: "Историк интересуется действительными единичными или специфическими событиями, а не законами и обобщениями"³⁶. Точно так же, по мнению социолога И.Уоллерстайна, история "представляет собой изучение и объяснение частного и особенного, происходившего в прошлом. Социальные же науки устанавливают общие законы, объясняющие человеческое/социальное поведение"³⁷.

Историки, специально не занимающиеся методологическими проблемами, также во многих случаях продолжают склоняться к тому, что в истории нет генерализаций и объяснений. С чем связана стойкость подобных убеждений – нам неизвестно. То ли речь идет о последовательном следовании принципу "нет пророка в своем (историческом) отечестве", то ли сказывается традиционное для большинства историков запаздывание в теоретическом образовании. Так или иначе, но даже в наши дни приходится сталкиваться чуть ли не с программными заявлениями о том, что историки не должны заниматься генерализациями и объяснениями (хотя элементарный семантический анализ показывает наличие генерализаций и объяснений в любой исторической работе, в том числе и у авторов подобных казусных заявлений).

Конечно, генерализация в общественных науках заметно отличается от генерализации в естественных науках – она имеет более локальный характер и ограничена рамками данного общества или культуры. Это служит объективной основой для представлений о том, что в истории генерализация невозможна – историки, в отличие от представителей большинства других общественных наук (за исключением, естественно, антропологов) имеют дело не с одним, а с многими обществами, культурами и пр. Генерализации, формулируемые для разных обществ (или меняющихся во времени состояний одного общества, которые также можно рассматривать как разные общества), естественно, будут в большинстве случаев различными (хотя и не всегда). Заметим, что в некоторых общественных науках делается попытка выйти на высший уровень генерализации, адекватный любым обществам. В экономике, например, в качестве генерализации такого рода можно рассматривать

³⁵ *Le Goff J. History and Memory. N.Y.: Columbia Univ. Press, 1992 [1981]. P.121.*

³⁶ *Поппер К. Нищета историцизма. Пер. с англ. М.: Прогресс-VIA, 1993. С.165.*

³⁷ *Wallerstein I. World-Systems Analysis // A.Giddens, J.H.Turner. (eds.). Social Theory Today. Cambridge: Polity Press, 1987, p. 313. Справедливости ради надо отметить, что всего пятью годами позже Уоллерстайн радикально изменил свою точку зрения и стал утверждать, что история и универсализирующие социальные науки – это идентичные виды деятельности. – *Wallerstein I. The Challenge to Maturity: Whither Social Science? // Review. Winter 1992. V.15. №1. P.6.**

посылку о максимизации субъектом полезности, в социологии – типы социального действия и т.д. Число таких самых общих генерализаций сравнительно невелико, но в любом случае какие-то обобщения, выявление неких закономерностей или устойчивых, типичных, часто повторяющихся связей является столь же неотъемлемым элементом научного знания о социальном мире, как и знания о мире природы.

Подчеркнем, что в любой общественной науке в целом так или иначе сочетается анализ единичного и общего. Эти две категории неразрывно связаны между собой и, строго говоря, одна без другой не могут существовать. Применительно к исторической науке это отметил еще в 1929 г. американский историк П.Смит в эссе "Место истории среди наук", где он писал, что главная проблема историка – использование единичного и общего в разумных пропорциях: "Акцентировать единичное – значит делать историю ненаучной, совсем игнорировать единичное – значит делать наши исследования бесчеловечными (*inhuman*)"³⁸.

Теоретизирование, основанное на генерализации и объяснении, включает целый комплекс понятий, используемых в историческом знании. В частности, речь идет о таких понятиях, как "уникальный", "случайный", "выдающийся" и другие характеристики элементов прошлой социальной реальности. Даже с точки зрения обыденной семантики, очевидно, что все рассуждения о казусах, случаях, выдающихся событиях или людях, уникальных явлениях и т.д. возможны только, если при этом хотя бы неявно определены, соответственно, закономерность, обыкновенное событие или человек, массовое явление и т.д.

По сей день приходится сталкиваться с утверждениями о том, что история не является наукой, поскольку не оперирует "законами". Но эти утверждения, по сути, воспроизводят давно ставшую архаикой полемику между позитивистами и историцистами последней трети XIX в., оперировавшими понятием "законов", полностью позаимствованным из естествознания. Основу же современных представлений о "законах" и, соответственно, объяснении в социальных науках, по сути заложил М.Вебер в начале XX в. Согласно Веберу, социальные "законы"

"являют собой подтвержденную наблюдением типическую *вероятность* того, что при определенных условиях социальное поведение *примет* такой характер, который позволит *понять* его, исходя из типических мотивов и типического субъективного смысла, которыми руководствуется действующий индивид"³⁹.

Более того, выявление "законов" или "закономерной повторяемости" в общественных науках является не целью, а лишь средством познания⁴⁰. Добавим, что закономерность и случайность – это всего лишь

³⁸ Smith P. The Place of History among the Sciences. // Essays in Intellectual History: Dedicated to James Harvey Robinson by His Former Students. N. Y., 1929, p. 213. Цит. по: Kammen M. Op. cit., p.7.

³⁹ Вебер М. Основные социологические понятия (из первой главы книги "Хозяйство и общество) [1921] // Избр. произв., с.620.

⁴⁰ Вебер М. "Объективность" социально-научного и социально-политического познания [1904] // Там же, с.372, 378.

аналитические концепты. Случай – это редкое событие, случайность – то, что нарушает закономерность. Например, "случайный исход сражения" означает, что при данных условиях обычно выигрывает сторона А (например, имеющая больше войск, лучшую позицию, лучших военачальников и т.д.), но в данном конкретном сражении победила сторона Б. Это произошло благодаря случаю (например, лошадь главнокомандующего понесла, он свалился с нее и сломал шею). Данное событие просто является относительно редким – как правило, лошади, приученные к сражениям, не несут, военачальники – хорошо держатся в седле, и обычно даже если человек падает с лошади это не кончается смертельным исходом. Ясно, что определение случайности и случая невозможно, если мы не знаем наиболее вероятного исхода события, т.е. без генерализации и выявления некоей закономерности.

Итак, в историческом дискурсе, как и в любой науке, можно выделить два "идеальных типа" теорий – описание и объяснение. В неявном виде эта идея формулируется уже со времен античности, когда "история" в значении знания имела совсем иные смыслы. В явном виде существование двух типов исторического дискурса под разными названиями начинает осмысливаться лишь в XX в. Например, Н.Кареев для различения двух типов исторического дискурса предлагал использовать термины "историография" и "историология"⁴¹. Довольно часто используются термины "описательная" и "проблемная" история⁴², однако они кажутся нам менее удачными, т.к. в этом случае создается впечатление, что в "описательном" дискурсе не анализируются проблемы.

В ходе дискуссий о характере исторического знания, проходивших в XX в., концепция "описание–объяснение" была существенным образом уточнена. Во-первых, было убедительно доказано, что в истории действительно используются оба вида теорий – описание и объяснение, а не только описание, как считали некоторые исследователи. Во-вторых, было показано, что теория-объяснение может принимать разные формы; скажем, в исторической науке она имеет иную форму, чем в физике. В-третьих, было продемонстрировано, что описание и объяснение являются равномогущими типами теорий, в частности, теория-описание не является "менее теоретической", чем теория-объяснение. В-четвертых, было акцентировано то обстоятельство, что сами описание и объяснение являются теоретическими конструктами ("идеальными типами теорий") и на практике редко существуют в чистом виде: как правило, в любом описании есть элементы объяснения, и наоборот.

Теперь естественно рассмотреть вопрос о том, чем отличается история как теоретическое знание от других общественных наук. В самом общем виде здесь можно выделить два основных отличия (со всеми оговорками о различиях общественнонаучных дисциплин в целом).

⁴¹ Кареев Н. *Историология. Теория исторического процесса*. Петроград, 1915.

⁴² Furet F. *De l'histoire-récit a l'histoire-problème // Diogene*. Т.89. №1. 1975. P.113-130.

Первое отличие состоит в том, что в истории удельный вес теории-описания выше, чем в большинстве других общественных наук, хотя среди них есть дисциплины, где роль описания столь же высока, как и в истории, например, в этнологии и в психологии. Одной из причин большего удельного веса объяснений в таких общественных науках, как экономика, социология, политология, являются особенности разделения труда в системе знания. В современном обществе значительная часть работы по описанию этого общества вынесена за рамки "чистой" науки – в частности, ее берут на себя средства массовой информации. Например, экономист может позволить себе написать статью, содержащую чистое модельное объяснение тех или иных аспектов существующей экономической реальности. Но он может это сделать лишь потому, что читатели уже обладают описанием этой реальности, причем это описание является intersubъективным, т.е. разделяется большинством читателей. Ученый, который анализирует то, что происходит "здесь и сейчас", может тратить относительно меньше усилий на создание первичного описания реальности, чем когда речь идет об иной, "ненынешней" или "нетугошной" социальной реальности⁴³.

Второе основное отличие истории состоит в том, что она в меньшей степени занимается выработкой собственной теории, а в основном использует теоретический аппарат (включая теоретические понятия, концепции и способы объяснения) из других общественных наук. Заметим, что еще в первой половине XX в., когда история уже стала самостоятельной научной дисциплиной, ситуация была иной: теория создавалась (а не только использовалась) в рамках собственно исторических исследований: достаточно вспомнить работы М.Вебера, Н.Элиаса и многих других авторов. Теперь такие работы встречаются гораздо реже. Во многом это определяется ограниченностью ресурсов, выделяемых обществом на изучение прошлых социальных реальностей.

⁴³ В этом смысле показательно сопоставление работ, посвященных экономике своей собственной страны и других стран. В американской экономической литературе такое различие можно было наблюдать всегда, например, в работах по американской экономике и по экономике СССР: в первом случае доминировали работы в жанре "объяснения", во втором – в жанре "описания". Но раньше это относили за счет "уровня квалификации" – работы по американской экономике писали крупнейшие "теоретики", а работы по экономике СССР – "советологи", которых профессиональное экономическое сообщество держало за специалистов второго сорта. Начавшиеся в конце 80-х годов процессы разрушения социалистической экономики и формирования рыночной системы хозяйства привлекли внимание крупнейших теоретиков, которые в первой половине 90-х годов стали активно писать о "переходных экономиках". Тут же выяснилось, что в этом случае значительную часть исследования приходится посвящать "описанию" этих переходных экономик, и лишь затем переходить к "объяснению" происходящих в них процессов. Более того, во второй половине 90-х оказалось, что большинство "объяснений", созданных в первой половине десятилетия, "не работают" или "плохо объясняют". В свою очередь анализ этого провала "объясняющих теорий" показал, что причиной были некорректные "описания", обусловленные недостаточным знанием иной социальной реальности.

В отличие от конкретных общественных наук, специализирующихся на изучении какой-то *одной части одной* социальной реальности (данного общества), история изучает практически *все* элементы *всех* известных прошлых социальных реальностей. Конечно, в исторической науке также существует специализация, но если сравнить, например, количество историков, изучающих английскую экономику раннего Нового времени (до промышленного переворота) с числом экономистов, занимающихся современной английской экономикой, ситуация станет очевидной. Более того, несмотря на специализацию, историки зачастую вынуждены заниматься изучением нескольких, а то и всех элементов той или иной прошлой реальности (особенно это относится к древним или мало известным обществам). В связи с этим историки естественным образом оказались вынуждены выступать преимущественно в качестве "пользователей" теоретического аппарата, создаваемого в рамках общественных наук о настоящем⁴⁴.

В принципе уже в первой половине XX в. историки, склонные к теоретизированию, обращались за методами к появившимся одна за другой социальным и гуманитарным наукам. Но особенно активным этот процесс стал во второй половине века, с появлением и упрочением позиций "новой научной истории". Исследования, написанные в духе "новой" истории, характеризовались отчетливо выраженным объясняющим (аналитическим), а не описательным (нарративным) подходом. В области обработки источников "новые" историки также произвели настоящий переворот, широко используя математические методы, позволившие в свою очередь освоить огромные массивы статистики, дотоле недоступной историкам. Но главный вклад "новых историй" в историческую науку состоял не столько в распространении количественных методов или компьютерной обработки массовых источников информации, сколько в применении современных теоретических объясняющих моделей для анализа прошлых обществ.

В исторических исследованиях активно используются концепции и понятия, выработанные в теоретической экономике, социологии, политологии, культурной антропологии, психологии. Причем если в 60-70-е годы историки брали на вооружение преимущественно макротеоретические подходы (экономические циклы, теория конфликта, модернизация, аккумуляция, проблема власти, ментальность), то начиная с 80-х годов они все чаще обращаются к микроанализу с привлечением соот-

⁴⁴ Эти заимствования, как отмечает Р.Эванс, принесли много хороших результатов: "Например, без марксистской теории городская и рабочая история была бы в огромной степени обеднена, и такая классическая работа как книга Томпсона "Формирование рабочего класса в Англии" никогда не была бы написана. Без современной экономической теории историки не понимали бы индустриализации и не знали бы как читать или использовать количественные и др. источники". - *Evans R.J. In Defence of History. L.: Granta Books, 1997. P.83.*

ветствующих теоретических концепций (потребительской функции, ограниченной рациональности, сетевого взаимодействия и т.д.)⁴⁵.

Использование методологического аппарата социальных и гуманитарных наук необыкновенно обогатило и видоизменило историческое знание конца XX века. Но этот процесс наталкивается на ряд сложностей. Во-первых, существующая система исторического образования пока еще слабо ориентирована на освоение теорий, выработанных в других дисциплинах (хотя некоторые сдвиги в этом направлении и происходят). Во-вторых, как отмечалось выше, подавляющая часть теоретических концепций и понятий не имеет универсального характера, и возможности их применения к прошлым социальным реальностям довольно ограничены. Но все это не означает, что история не является теоретической дисциплиной – любой исторический дискурс "насквозь пропитан" теорией. Просто с учетом имеющихся объективных ограничений и специфических функций исторического знания теоретизирование в нашей области знания принимает несколько иные формы, чем в других общественных науках.

⁴⁵ См.: Савельева И.М., Полетаев А.В. Микроистория и опыт социальных наук // Социальная история. Ежегодник 1998/99. М.: РОССПЭН, 1999. С.101-119.

ИСТОРИЧЕСКАЯ НАУКА НА РУБЕЖЕ ТЫСЯЧЕЛЕТИЙ

Ю.Л.Бессмертный

Это странное, странное прошлое...*

“Всякий взгляд на вещи, не выявляющий их странность (и чуждость) для нас – фальшив!” – таков был один из лозунгов знаменитых студенческих волнений в Париже 1968 года¹. Его авторы не слишком интересовались далеким прошлым. Их гораздо больше волновало противостояние ближайшему поколению “отцов”, ассоциировавшихся в их представлениях с конформным и неприемлемым для нового поколения “истеблишментом”². Декларации о “странности” или “чуждости” общепринятого и привычного были во многом нацелены на обоснование и оправдание инакости самих бунтарей, на их *самоидентификацию*. Тогда – в далеком 1968-м – трудно было предположить, что через 15-20 лет сходный в чем-то поиск собственной идентичности толкнет новые поколения гуманитариев (и прежде всего, историков) к решительному пересмотру направленности своих исследований – под уже знакомым лозунгом выявления “странности” и “чуждости” всего того, что было в прошлом, явлениям нового времени.³

Одним из непосредственных импульсов к этому – для историков особенно важных – стали интенсивные историко-антропологические штудии 70-80-х годов. Обращение к анализу исторических форм саморепрезентации, к исследованию эмоциональной и телесной сфер человеческого поведения подтолкнуло многих историков к глубокому и принципиальному переосмыслению нашей связи с прошлым, нашего его восприятия и нашего собственного “Я”. Возникло течение исторической мысли, будущее и последствия которого пока еще трудно полностью предвидеть, но его значение для нашего настоящего не приходится недооценивать. В нижеследующем тексте я попытаюсь охарактеризовать суть этого течения и его ближайшие коннотации, управля-

* Статья подготовлена при поддержке РФНФ. Грант №00-01-00067-а.

¹ “Toute vue des choses qui n'est pas étrange est fausse”.

² О конфликте молодежной культуры 60-х годов с предшествующими социально-культурными традициями см.: *Кнабе Г.С.* Феномен рока и контр-культура // Вопросы философии. 1990. №8. С.39-43.

³ Именно этот девиз выдвинула К.Байнум в своем президентском адресе 1997 г., обращенном к членам Американской исторической ассоциации. – Cf. *Bynum C.W.* Wonder // *American Historical Review*. 1997. V.102. №1. P.1.

ясь от исследований по истории западноевропейского средневековья. Начну с характеристики работ этого направления в современной американской медиевистике. Вот к каким наблюдениям пришли недавно двое известных американских исследователей, Пол Фридман (Иельский университет, Нью-Хэвен) и Габриель Спигел (университет Джона Гопкинса в Балтиморе)⁴.

До 80-х годов американские исследователи подходили к средневековью как к явлению, "поддающемуся объяснению в современных терминах" и соответственно искали в нем все, что можно было бы "нормализовать" согласно "принятым ныне критериям". Средние века трактовались при этом в известном смысле телеологически – как закономерный и естественный предшественник будущего европейского (и американского) мира⁵. (Вряд ли нужно напоминать, что это взгляд – обычный до недавнего времени для всей мировой науки).

Ныне – совсем иная ситуация. Как констатируют авторы статьи, в достаточно широких кругах историков *вера в существование "вечных основ" человеческой истории утрачена; отброшена не только идея прогресса, но и идея преемственности в развитии общества; прошлое мыслится как нечто прерывное и фрагментарное; его осмысление отождествляется прежде всего с анализом различий и разграничений, не обязательно сопоставимых между собой*.⁶

Такие представления, подчеркивают Г.Спигел и П.Фридман, характерны в первую очередь для молодых американских исследователей, тех, кому сегодня около 30. Но из этих же посылок, признают авторы статьи, все чаще исходят американские историки и других поколений (хотя и не все). Сквозь призму этих познавательных принципов средневековье видится, естественно, совсем по-иному, чем в 60-70-е годы. Как свидетельствуют Спигел и Фридман, в нем привлекает теперь не то, что может быть хоть как-то сопоставлено с явлениями нового времени, но, наоборот, все противостоящее ему, экзотическое, чуждое, иное. Отождествление парадигмы этого поиска с парадигмой парижских бунтарей 1968 года формулируется подчас вполне эксплицитно⁷.

В результате этой смены методологических установок происходит сдвиг в основной проблематике средневековых исследований. Как известно, давняя традиция требовала от медиевиста интересоваться социальным устройством, экономикой, управлением, политической организацией средневековья. Вместо изучения этих сюжетов, теперь на первом плане различные феномены частной и повседневной жизни, особенно из числа тех, что связаны с эмоциональной и телесной сферами человеческого поведения: мазохизм, насилие, эгоизм, унижение,

⁴ Freedman P. and Spiegel G.M. Medievalisms Old and New: The Rediscovery of Alterity in North American Medieval Studies // AHR. 1998. V.103. №3.

⁵ Ibid. P.677, 691-692.

⁶ Ibid. P.696, 694.

⁷ Ibid. P.702.

отвращение, гневливость, боль, муки, инцест, трансвестизм и тому подобные антропологические сюжеты⁸.

Многие из подобных феноменов удается в применении к средневековью рассмотреть лишь на очень редких, исключительных материалах. Это ничуть не смущает сегодняшнего американского медиевиста. Именно исключения, редкостные казусы выглядят в его глазах как нечто наиболее важное, так как именно в экзотических ситуациях надеется он полнее раскрыть искомую средневековую инакость⁹. Сама же она привлекает первоочередное внимание, поскольку, по мысли типичного американского медиевиста из поколения 80-90-х годов, раскрытие "чуждости" и принципиальной инакости средневековья (как и любой другой эпохи прошлого) только и позволяет выполнить главную познавательную задачу истории вообще – помочь самоидентификации современного человека, выявлению его неповторимого своеобразия¹⁰.

Американские подходы этого толка – не исключение. Сходные методологические тенденции почти одновременно выявились и в работах ряда западноевропейских историков.

Еще в 1996 г. двое признанных лидеров французской исторической антропологии Жак Легофф и Жан-Клод Шмитт опубликовали статью "Медиевистика в канун XXI века", задавшись целью уяснить, "в каком направлении было бы желательным развитие медиевистики в будущем?"¹¹. По мнению авторов, сегодня среди французских исследователей существует на этот счет широкая зона согласия, – во всяком случае, "не меньшая, чем 100 лет назад"¹². Тогда – 100 лет назад – все в основном были согласны с парадигмами позитивизма. Сегодня согласие касается принципиально иных познавательных принципов, отличающихся, впрочем, не только от позитивистских, но и от "раннеанналистских". Едва ли не в первую очередь речь идет о переосмыслении исторического времени, об уяснении его прерывности, причем не только в хронологическом, но и в феноменологическом планах (в частности, в связи с различиями ритма функционирования феноменов разного толка). Такая прерывность времени и исторических процессов придает самостоятельное значение анализу отдельных, *не обязательно взаимосвязанных* ситуаций, явлений, казусов. Соответственно, предполагается прерывность и на понятийном уровне между представлениями и культурами (не говоря уже о разных эпохах). В результате, представления, понятия, феномены в каждом из своих времен-

⁸ Ibid. P.699.

⁹ Ibidem.

¹⁰ Ibid. P.700-701. Более подробный анализ ситуации в современной американской медиевистике см. в моей статье "Иная история" // Казус-2000 (в печати).

¹¹ Le Goff J. et Schmitt J.-Cl. L'Histoire médiévale. (La recherche sur le Moyen Age à l'aube du XXI-ème siècle) // Cahiers de civilisation médiévale. 1996. Année 39.

¹² Ibid. P.9.

ных или пространственных воплощений всякий раз выступают в неповторимом своеобразии, т.е. отличаются несопоставимой инакостью¹³.

Развивая известную идею М.Блока и Л.Февра о том, что всякое историческое исследование – дитя своего времени (т.е. времени, в котором живет исследователь), Легофф и Шмитт полагают, что главное для медиевиста – осмыслить, что именно из явлений и феноменов средневековой жизни – и почему – сохранялось в памяти сменяющих друг друга поколений и как (и в каком виде) вошло в память поколения нынешнего¹⁴. Как видно из статьи этих авторов, французских исследователей и их читателей особенно волнует сегодня, как менялось содержание этой памяти в прошлом, как и почему реконструировались воспоминания об этом прошлом, как выглядят они сейчас.

Замечу, что интерес к этой постановке проблемы нарастал во Франции в течение ряда десятилетий: достаточно вспомнить нашушедшие в свое время работы Альфонса Дюпрона о крестовых походах¹⁵ или же Жоржа Дюби о Бувинском воскресении 1214 г.¹⁶ В работах такого рода обращалось специальное внимание на историко-антропологические аспекты самого разного толка, и в частности, на то, что именно привлекало наибольший интерес современников событий и, отдельно, – как ре-интерпретировались эти события в последующих поколениях, как в этой ре-интерпретации выявлялась смена социально-культурных представлений и понятий, как преобразовывалась сама память ближайших или же более отдаленных потомков.

В современной французской науке этот подход получил особенно полное воплощение. Он привел к формированию целой школы исследователей исторической памяти и вызвал смещение акцентов с анализа временных изменений в истории на ее движение в смысловом пространстве¹⁷. Отдельные фрагменты прошлого привлекают при этом не меньшее внимание, чем целостности.

Несмотря на непрекращающиеся дискуссии по всем аспектам этого подхода, во Франции 80-90-х годов лавинообразно выросло число работ, посвященных, например, тому, какие именно – и почему – запомнились (и запомнились) родственные традиции, какие в разное время запомнились (и запомнились) системы полей или же трудовые навы-

¹³ *Ibid.* P.19-20.

¹⁴ *Ibid.* P.17-18.

¹⁵ Недавно эти работы вновь стали предметом критического анализа в связи с обсуждением того, насколько Дюпрон был свободен от конъюнктурных оценок борьбы крестоносцев против мусульман и каким образом формируется память о прошлом – см. *logna-Prat D.* Alphonse Dupront ou la poétisation de l'Histoire // *Revue Historique*. 1998. V.608. P.887-910.

¹⁶ См. мою характеристику этой работы Ж.Дюби в: *Идеология, культура и социально-культурные представления западноевропейского средневековья в современной западной медиевистике // Идеология феодального общества в Западной Европе. Реферативный сборник. М., 1980. С.36-42.*

¹⁷ См. *Нора П., Озуф М. и др.* Франция – Память. СПб., 1999.

ки, какие запоминались ритуалы, какие антропонимические обычаи, как формировался в памяти предков список святых, перечень праздников, как откладывались в памяти истолкования священного писания, как и почему в памяти человека нового времени закрепились древние идеалы, символы, герои и т.д.¹⁸

Как полагают французские авторы (причем не только медиевисты) историку особенно важно осмыслить, с чем связан этот интерес разных поколений – и, конечно, наш собственный интерес – к тем или иным, не обязательно взаимосвязанным элементам памяти о прошлом. В таком исследовании видят возможность понять различие людей разных эпох, и в частности, своеобразие людей средневековья (как и своеобразие и идентичность нашего современника).

Нетрудно заметить, что исторический анализ понимается здесь по-иному, чем во французской социальной истории 25-30-летней давности. Под таким анализом подразумевается теперь не столько изучение последовательных изменений, пережитых феноменами прошлого, сколько понимание своеобразия каждого из них в отдельности, также как и наполнение нашей сегодняшней памяти об этих феноменах. Речь идет о наполнении, основывающемся конечно же на тщательнейшем изучении исторических памятников и предполагающем напряженнейший диалог с ними. Но конечная цель этого диалога с историческими памятниками – не столько реконструкция реальных пертурбаций прошлого (т.е. воспроизведение того, “как это было на самом деле”), сколько наше *собственное* осмысление и этих пертурбаций, и отдельных их составных элементов, т.е. наше смыслополагание.

Я еще вернусь к этому понятию. Но сначала мне хотелось бы коснуться естественно напрашивающегося вопроса о том, насколько продуктивными оказываются вновь сформулированные подходы. Раскрывают ли они какие-либо новые грани прошлого, обновляют ли наше понимание средневекового человека (и, соответственно – нас самих)?

В этой связи остановлюсь на материалах опубликованной в конце 1999 г. во французских “Анналах” подборки статей под общей редакцией Пьера-Антуана Фавра. Конкретная их тема – обращение в монашество в Европе времен средневековья и начала нового времени¹⁹. Подборка эта любопытна, в частности, попыткой по-новому осмыслить инакость средневековых феноменов, выявляя в первую очередь то, что выражает их *неповторимое* своеобразие, не имеющее никакого

¹⁸ Достаточно напомнить, что в течение 1984-1993 гг. во Франции было издано семь томов коллективного труда под названием “Места памяти” (*Les lieux de mémoire*), в котором приняло участие около 100 виднейших французских исследователей древней, средневековой и новой истории (редактор всего издания – Пьер Нора). О работах по истории французского средневековья, выполненных в этом же ключе, см.: *Le Goff J. et Schmitt J.-Cl. Op.cit. P.18-20.*

¹⁹ *Conversions religieuses. (Fabvre P.-A., Rebillard E., Miramon Ch. et autres) // Annales. Histoire, Sciences Sociales. 1999. №4. P.805-944.*

аналога ни в будущем, ни в прошедшем. Ярче всего видно это на примере феномена “феодалной дружбы” (*l'amitié féodale*).

Как показывает анализ дарственных грамот, а также дидактических и литургических текстов, проделанный за последние годы французскими, американскими, немецкими и бельгийскими исследователями независимо друг от друга, “феодалная дружба” как специфическая форма отношений между монастырем и небогатым рыцарем могла возникать на территории Северной Франции и Западной Германии XI-XII вв. при некоторых формах обращения такого рыцаря в монахи. Исходной юридической формой для становления таких отношений был контракт между рыцарем и монастырем, заключавшийся по образцу договоров о “помощи” (*ad succurrendum*). Однако, по мнению современных авторов (и, прежде всего, обобщившего новые трактовки парижского исследователя Шарля де Мирамона), суть договора в данном случае принципиально изменялась.

Как полагают названные исследователи, сводить дело к “обмену дарами” и прежде всего “равноценными экономическими выгодами” (материальная поддержка со стороны монастыря в обмен на передачу земельных прав) в данном случае представляется совершенно недостаточным²⁰. Главным, на взгляд цитируемого Мирамоном аббата Ансельма Кантуариенского, “умножение числа людей, связанных с ним братской любовью” и ждущих от него помощи в душевном спасении. Проявлением “дружбы” со стороны монастыря могло быть оказание рыцарю гостеприимства, приглашение его к совместным трапезам, духовное наставление, включение в круг “собратьев” в широком смысле этого понятия. Для самого же новообращенного рыцаря была важна моральная поддержка со стороны влиятельной монастырской общины. Такая поддержка символизировалась только что упомянутыми ритуалами, она могла оформляться присвоением рыцарю статуса *conmonachus*, или даже *concanonicus*. При необходимости, такой рыцарь мог иногда рассчитывать на получение денежной ссуды, на правовую поддержку. Договор между монастырем и таким рыцарем мог иметь, по мнению Мирамона, отдельные элементы, напоминавшие вассальный оммаж, или же соглашение о компаньонаже, договор о породнении, даже брачный контракт. Но в целом эта форма отношений представляла, по его мнению, нечто совершенно особое, не совпадающее ни с одним из известных нам раньше образцов и, что особенно важно, не имеющее никакого аналога в нашей современности²¹.

В самом деле. Ясно, что здесь нет ничего общего с нововвропейской дружбой. Но это и не какая бы то ни было из известных нам по

²⁰ Ibid. P.836-837; см. также: *Miramon Ch. de. Les “données” au Moyen Age/ Une forme de vie religieuse laïque (1180-1500)*. P., 1999.

²¹ Ibid. P.836-845.

монастырским уставам форм обращения в монахи, и конечно, не знакомая по вассальным договорам ленная связь. Мирамон предпочитает говорить о некоей "весьма размытой" форме договорных отношений двух социально неравных контрагентов, предполагающей установление между ними "не очень прочной связи на равноправных основах"²². Конкретнее социальный статус рыцаря – монастырского "друга", как и степень его свободы или же зависимости, Мирамон определять не берется. Он лишь констатирует, что ранее предлагавшиеся понятийные определения этих отношений как "фиктивного" или "искусственного" породнения неудовлетворительны, поскольку неоправданно сливают данную форму отношений с биологической семьей²³.

Трудность понятийного осмысления "феодалной дружбы" вполне понятна. В знакомой нам понятийной сетке просто нет номенклатуры для ее обозначения. Чтобы хоть как-то прояснить своеобразие этого средневекового феномена, приходится прибегать к сложным, даже парадоксальным, на взгляд современного читателя, формулам. Определяя "внутримонастырский" статус рыцаря-"друга", его хотелось бы называть "свободным послушником". Характеризуя специфику его правобязанностей, впору было бы назвать его "официально близким". Описывая социальный статус, его можно было бы причислить к "несвободным свободным"²⁴. Однако ни одна из этих причудливых характеристик не будет ни точной, ни достаточной. Против каждой из них можно было бы высказать возражения. Все эти формулы свидетельствуют прежде всего об одном: данный средневековый феномен обладает неповторимым своеобразием, постижимым лишь через более или менее необычное и противоречивое, по нашим меркам, описание.

Примерно то же самое следует сказать и о некоторых других чертах "феодалной дружбы". Рыцарь-"друг монастыря" не становился монахом, но и не оставался обыкновенным мирянином. Он не утрачивал связей со своей родней, но и не сохранял их в прежней форме (не считая тех случаев, когда вместе с ним в отношения феодалной дружбы вступал весь его род)²⁵. В обоих отношениях вернее было бы говорить о неких незнакомых нам "пограничных состояниях", в первом случае – между мирским и духовным, во втором случае – между родством и его утратой. Импульсы, толкавшие к вступлению в число "друзей" монастыря (а порой и к другим формам обращения в монашество), тоже трудно охарактеризовать в наших понятиях. Мотивы внутренние – "душевные", "спонтанные", и мотивы "внешние" – "принудительные", "рациональные" – не просто переплетались, но имели во многих таких

²² Ibid. P. 838-839.

²³ Ibid. P. 838.

²⁴ О том, что мог подразумевать этот статус см.: *Бессмертный Ю.Л.* Французское крестьянство в X-XIII вв. // *История крестьянства в Европе.* Т.2. М., 1986. С. 106-107, 505-506.

²⁵ *Conversions religieuses...* P.835, 837, 841.

случаях свое, иное, чем привычное для нового времени разграничение²⁶. Видимо, здесь также можно было бы говорить об особых понятийных полях, не столько разъединявших, сколько соединявших эти противоположные в нашем представлении феномены.

Как видим, признание несоизмеримой инакости средневекового феномена толкает к его переосмыслению. Сразу найти адекватную его сути понятийную характеристику не удастся. Но предмет исследования до некоторой степени проясняется. Становится ясным, "где" и "что" надо искать. Как мне кажется, уже это позволяет говорить, что новый подход, исходящий из неповторимой инакости средневековых феноменов, "работает" в исследовательском смысле этого слова. Он развивает, преобразует, усложняет некоторые уже известные аналитические приемы и в то же время побуждает к разработке новых приемов, способных преодолеть выявившиеся трудности осмысления прошлого. Это не значит, конечно, что данный подход отменяет все иные. Но, как и всякий вновь возникший, он привлекает к себе повышенное внимание. Не удивительно поэтому, что он находит своих адептов в разных национальных школах современной медиэвистики.

Помимо американской и французской, он встречает поддержку и в современной немецкой историографии, несмотря на то, что ей традиционно свойственны фундаментальность и сопротивление легковесным новациям. В Германии, так же, как во Франции и в США, эти веяния прослеживаются и по работам теоретического толка (О.Г.Эксле, Г.О.Веллер, А.Людтке), и по конкретным исследованиям (Я.Ассман, Г.В.Гетц и др.)²⁷. Распространение новых парадигм связывается в них с "рубежными годами" политического переворота в Европе – 1989-1991²⁸. Но созревание новых тенденций датируется, как и во Франции и США, предшествующим десятилетием, т.е. 80-ми годами.

²⁶ Ibid. P.811. Не только отдельные персонажи, но даже более или менее заметные по численности группы обращаемых (и в XII в., и в гораздо более позднее время, например в Германии XVIII в.) решаются на уход из "мира" вследствие импульсов, природу которых очень трудно определить в наших понятиях. Так, напоминание человеку о необходимости заботы о душе, что мы склонны считать чем-то "внешним", воспринималось тогда как внутреннее, душевное поползновение. Наоборот, осознанная потребность пожертвовать мирскими благами могла осмысливаться как нечто навязываемое извне.

²⁷ Эксле О.Г. Культурная память под воздействием историзма // Одиссей-2000 (пер. с нем. М.А.Бойцова). (Пользуюсь случаем, чтобы выразить благодарность переводчику за разрешение познакомиться с текстом до его выхода из печати); Людтке А. "История повседневности" в Германии после 1989 г. // Казус-1999. С.116-126 (пер. с нем.); Oexle O.G. Auf dem Wege zu einer Historischen Kulturwissenschaft // Konkurrenten in der Fakultät. Kultur, Wissen, und Universität / Hrsg. von Christoph König und andere. Frankfurt a.M., 1999. S.105-123; Wehler H.-U. Kommentar // Geschichte zwischen Kultur und Gesellschaft / Hrsg. von Thomas Mergel und andere. München, 1997. S. 351-366; Assman J. Das kulturelle Gedächtnis. München, 1992; Idem. Ägypten. Eine Sinngeschichte. Wien, 1996; Goetz H.-W. Moderne Mediävistik. Darmstadt, 1999.

²⁸ Людтке А. Цит.соч. С.118.

Как отмечают немецкие авторы, уже в эти годы стало ясно, что наступает время “новых способов историзирования”. Традиционные приемы историописания, понимаемого как “социоведение”, перестали удовлетворять исследователя. С их помощью не удавалось постигнуть “культурные смыслы”, определявшие образ действий индивидов и групп прошлого. Изучение этих смыслов – т.е., по Макс Веберу, способности и стремления людей наделять окружающий мир смыслами²⁹ – потребовало рассматривать историописание не как социоведение, но как культуроведение и сделало главным предметом истории культурную (культуральную) память (*Kulturelles Gedächtnis*). Под нею разные авторы понимают не вполне одно и то же. Но ее ядром считается совокупность “осмысливающих, оценивающих и означающих” форм человеческой деятельности в каждый данный момент и по отношению к каждой конкретной ситуации³⁰. Именно в этой памяти обнаруживают немецкие исследователи воспоминания о культурных смыслах, которые люди прошлого вкладывали в свои действия и которыми эти действия обуславливались. Сравнительное изучение “культур воспоминания” прошлого и культуральной памяти в различных социумах выступает в связи с этим как едва ли не центральная задача современного историописания³¹.

Что собой представляют эти “воспоминания”? Как они могут быть изучены? Немецкие авторы видят в них нашу “социальную конструкцию”, выстраиваемую на основе антропологического изучения того, как люди прошлого осмысливали сами себя³². Антропологический характер этого анализа усматривается и в том, что выявляется механизм нашего собственного (сегодняшнего) смыслополагания. При этом историю воспоминаний предлагает разрабатывать через антропологическое изучение всей повседневной жизни – бытового поведения, важнейших обычаев, принятой символики и т.д. и исходя из непрерывной инверсии причин и следствий.³³

По отношению к средневековью этот подход оборачивается весьма характерным познавательным поворотом. Как пишет Г.В.Гетц в одном из последних номеров журнала “Миттельальтер”, “реконструкция” средневековья на базе “объективного анализа” средневековых текстов, вы-

²⁹ В цитируемой статье О.Г.Эксле ссылается на работу: Weber M. Die “Objektivität” sozialwissenschaftlicher und sozialpolitischer Erkenntnis // Weber M. Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre. Tübingen, 1982. S.180-181.

³⁰ Эксле О.Г. Цит. соч. С.1-3.

³¹ По мнению Эксле (цит.соч., С.8), культурная память – это “характерная для нашей современности форма передачи и актуализации истории”. Автор ссылается на имеющую особое значение для понимания цитированную выше книгу Яна Асмана о смыслополагании в древнем Египте. Cf. Goetz H.W. Moderne Mediävistik. S.383-385.

³² Эксле О.Г. Цит. соч. С.(3-6); Assman J. Op.cit. S.475.

³³ Goetz H.W. Interdisziplinarität im Rahmen eines Perspektivenwandels heutiger Geschichtswissenschaft // Das Mittelalter. 1999. B.4. S.49-50.

тесняется в современной немецкой медиевистике “конструированием” его образа с помощью не только таких текстов (понимаемых к тому же “à la Hayden White”³⁴), “но и под углом зрения проблем и теорем собственно наших, современных, подходов”³⁵. Суть таких современных подходов Гетц видит, в частности, в том, чтобы вскрывать инакость каждой прошедшей эпохи и каждого конкретного феномена изнутри их самих. Медиевистика – как и византиноведение, востоковедение, синология и т.п. – должны, по мнению Гетца, выявлять своеобразие изучаемых в каждой из этих дисциплин феноменов не столько в сравнении с новым временем, сколько в их собственной неповторимости. Именно на этом пути и при условии широкого междисциплинарного синтеза удастся, по мысли Гетца, раскрыть “изюминку” (*Zauberwort*) той или иной эпохи прошлого и ее отдельных феноменов³⁶.

Как видим, “переключка” между познавательными парадигмами, принятыми в последние десятилетия “на вооружение” американскими, французскими и немецкими медиевистами выступает достаточно отчетливо. Отправляясь от далеко не тождественных историографических традиций, историки трех разных национальных школ приходят к близким или даже совпадающим суждениям о том, в чем сегодня – в отличие от дня вчерашнего (или же в дополнение к нему) – следует видеть смысл изучения средневековья и вообще смысл изучения прошлого. Не преемственность и эволюция, не сопоставимость и трансформация, но прерывность и неповторимая инакость каждого из исследуемых феноменов все чаще заполняют интеллектуальное поле историка. Это предполагает принципиальную ломку всего понятийного инструментария. Там, где признается преемственная связь времен, историку естественно отправляться от знакомого по собственной практике набора понятий, лишь корректируя их конкретное наполнение для разных этапов. Там, где такая связь времен не является определяющим познавательным фактором, понятийная сетка требует конструирования заново. В ее основу должна быть положена парадоксальность, странность, инакость каждого из познаваемых феноменов.

Интеллектуальные усилия историка приобретают в этих случаях невиданную раньше важность. Смыслополагание приходится осуществлять без привычной опоры на сложившийся опыт использования схожих понятий. Традиционные представления о жестких понятийных разграничениях между материальным и идеологическим, физическим и психологическим, частным и публичным, личным и общественным, мирским и духовным, добровольным и принудительным, внутренним и внешним и т.д. и т.п. – могут лишь помешать.

³⁴ Ibid. S.53.

³⁵ Ibid. S.51: “...zum Vergleich mit Problemen und Theoremen der reinen Gegenwartswissenschaften”.

³⁶ Ibidem.

Как известно, исследователи прошлого уже не раз сопоставляли два основных варианта разработки исторических понятий. Один из них предполагает использование понятийного инструментария современного историку общества, другой – разработку понятийной сетки, специфичной для каждой исследуемой эпохи. По какому пути пойдет историческое познание при решении вновь возникающих задач? Какой из них более плодотворен? Эти вопросы пока не привлекли внимания названных мною выше зарубежных коллег. Однако в общей форме они уже не раз обсуждались.

Участвуя в таком обсуждении, я высказывался в пользу первого из этих вариантов³⁷. Моя точка зрения не изменилась и ныне. Я считал бы лишь важным подчеркнуть, что в современной историографической ситуации исследователь должен быть готов к самой решительной корректировке понятийного аппарата по отношению к исследованиям отдаленного прошлого. Особенно это касается необходимости отказаться от однозначной оппозиции дихотомически противостоящих пар – частного и публичного, личного и общественного, внутреннего и внешнего, добровольного и принудительного и пр.

Отдельный вопрос, встающий в сложившейся историографической ситуации – как быть с привычными для наших исследователей представлениями о системной взаимосвязи всего и вся внутри каждого периода и “закономерном” эволюционном изменении социальных систем во времени. Полагаю, что и эти представления могут потребовать существенного переосмысления. Здесь стоит вспомнить о некоторых глубинных переменах, происшедших в последние десятилетия XX века в общенаучных воззрениях. В первую очередь речь идет о дихотомии закономерного (предвидимого) и случайного.

Кто не помнит старинной максимы: “Наука – враг случайностей”? Нынешняя научная практика далека от этой формулы. Так называемые случайности стали *привилегированным предметом исследования*. Случайность рассматривается при этом как одна из важнейших закономерностей. Ее анализ оборачивается поиском многоликих – стохастических – принципов ее понимания. Соответственно преобразуются представления об упорядоченностях вообще, об их соотношении с повторяемостью и уникальностью. Неповторимость и уникальность явлений осмысливаются как норма, а стабильность и устойчивость систем – как исключение. На первый план научного анализа выходит изучение неравновесных состояний и всего того индивидуального и уникального, что к таким состояниям подводит и что способно “вдруг” обрушить кажущуюся стабильность. Представление о прямой (и простой) преемст-

³⁷ Бессмертный Ю.Л. Частная жизнь и индивид // Человек в кругу семьи. С.346.

венной связи между следующими друг за другом ситуациями и коллизиями подвергается вследствие этого глубочайшему пересмотру³⁸.

Эти изменения в подходах к изучению естественнонаучных объектов, разумеется, не могли быть незамечены историками³⁹. И отнюдь не потому, что объект исследования или метод его анализа у историка могут быть отождествлены с естественнонаучными. Речь идет об интеллектуальных влияниях гораздо более глубокого свойства. Конечно, они не смогли бы реализоваться, если бы самый материал истории с ними бы не согласовывался. Но в той мере, в какой такая согласованность обнаруживалась, эти новые познавательные принципы не могут не применяться и при изучении социальных и исторических объектов.

Определенное влияние на пересмотр системных подходов в культуроведении прошлого оказывает и переосмысление предмета истории и в первую очередь тенденция к его фрагментации, ясно выступающая из приведенных выше данных о современной медиевистике. Независимо от того, насколько органично и тесно увязываются между собой макро- и микроподходы к изучению прошлого, самый факт существенного расширения именно микроанализа (со свойственным ему вниманием к индивидуальному, уникальному, казусному) создает дополнительные возможности для параллельного существования и совмещения разных истолкований инакости⁴⁰. Ведь одно дело, когда средневековые феномены воспринимаются лишь как неотъемлемые части единого целого, и совсем другое, когда они выступают как автономные фрагменты некоей неупорядоченной (или не вполне упорядоченной) совокупности явлений, каждое из которых заслуживает осмысления и по отдельности и в определенном смысле открывает путь к новому видению целого. Складывается в высшей степени характерная для наших дней множественность принципиальных подходов к прошлому – как и к самому истолкованию его другости и инакости. Такая

³⁸ Капица С.П., Курдюмов С.П., Малинецкий Г.Г. Синергетика и прогнозы будущего. М., 1997. С.23, 53. Попытки некоторых исследователей и философов (напр., П.Фейерабенда, Дж.Хоргана) истолковать эти явления как "конец науки", по справедливому мнению Э.Троппа, связаны с неготовностью к пониманию изменчивости науки как вида культурной практики; в частности, Э.Тропп отмечает в качестве одного из неизменных и сохраняющихся, несмотря ни на что, преимуществ научной деятельности то, что "наука постоянно ошибается" и потому имеет "наибольшую коллекцию наилучшим образом систематизированных и проанализированных ошибок" (Тропп Э. XXI век: слухи о "конце науки" сильно преувеличены // Поиск. 2000. №№1-2). Соответственно, никакая "иронизация" науки не может отнять у нее возможность способствовать самопознанию человека. Сопоставление с инакостью других субъектов и объектов истории выступает при этом как один из способов такового самопознания.

³⁹ Ряд аспектов соотношения закономерности и случайности в истории проанализирован в работе: И.М.Савельева, А.В. Полетаев. История и время в поисках утраченного. М., 1997. С.688 и след.

⁴⁰ Соотношение микро- и макроанализа в истории специально рассматривается в сборнике "Историк в поиске. Микро- и макроподходы к изучению прошлого". М., 1999.

множественность оказывается не только возможной, но и неодолимой и неизбежной, и выступает как естественный атрибут изменившегося познавательного процесса. Вместо принципа "или – или" в этом процессе начинает работать совсем другой: "и – и".

А как же единственность "исторической правды"? – спросит здесь мой оппонент. Не ведет ли допущение предлагаемых альтернативных подходов к безответственности или даже беспринципности в деятельности историка? Я хорошо сознаю трудность примирения по этому вопросу между сторонниками позитивистского объективизма и сторонниками постнеклассических подходов. Мне однако кажется, что для практикующего историка, сознающего необходимость воздерживаться от поспешного превращения своих конкретно-исторических наблюдений в широкие социологические умозаключения, эти разногласия имеют ограниченное значение⁴¹. Ведь казусный анализ отдельных феноменов рассчитан как раз на их углубленную проработку и на осмысление *реальной многозначности* каждого из них. "Единственность" истолкования априорно оказывается в таком случае под вопросом, несмотря на то, что множественность смыслов ничуть не угрожает здесь "исторической правде". Ей угрожает, наоборот, утверждение безусловности одного единственного истолкования.

Я склонен поэтому думать, что самая высокая гражданская ответственность историка совместима сегодня с иным, чем раньше, взглядом на познание прошлого. Такая ответственность не мешает констатировать фактическое *сосуществование* разных вариантов исторического знания, того, которое исходит из функционального единства всех элементов общественного целого, и того, которое признает его "недостаточную системность", дискретность, прерывность и возможность существования внутри этого целого "разъемов", автономных фрагментов, "чужеродных элементов", незапрограммированных казусов и пр. Рождение и утверждение этого варианта исторического знания – не случайность, не модное поветрие, но *следствие переосмысления как предмета исторического исследования, так и самого исследовательского процесса*.⁴²

⁴¹ Ср. Эклсе О.Г. Миф о средневековье // Одиссей-1999. С.282: "Пора наконец осознать что... объяснительные схемы, превратившиеся вследствие серийного их применения в общее место, ничего не стоят".

⁴² Специфика исторического знания согласуется с принципами "разнообразия в единстве" и "сочетания несочетаемого", которыми широко пользуются в современной синергетике и в так называемой кентавристике. См., напр.: "Кентавристика. Опыт сочетания несочетаемого" // Вестник РГГУ. 1996. № 1.

ИСТОРИЯ И ЛИТЕРАТУРА

С.А.Экштут

История и литература: "полоса отчуждения"?..

Получается, что все огромное здание Вселенной, преисполненной жизни, покоится на крохотном и воздушном тельце метафоры. (Х.Ортега-и-Гассет. Две великие метафоры¹).

"Полоса отчуждения", существующая ныне между историей и литературой, возникла не так уж давно. Лишь в середине 30-х годов XIX столетия прервалась тесная до того момента связь между исторической прозой и художественной литературой. Одновременно изменился как характер читательской аудитории, так и ситуация на книжном рынке: романы стали покупать и читать охотнее, чем исторические сочинения. В течение десяти лет, то есть при жизни одного поколения, ситуация поменяла свой знак на противоположный.

16 февраля 1825 г. в Петербурге вышла в свет книжная новинка – первая глава романа в стихах "Евгений Онегин". Напечатанная изрядным для своего времени тиражом 2400 экземпляров, эта тоненькая 84-страничная книжечка продавалась сравнительно дорого: "начало большого стихотворения, которое, вероятно, не будет окончено"² стоило 5 рублей. В этом издании непосредственно после прозаического авторского предисловия следовал "Разговор книгопродавца с поэтом" – поэтический пролог нового романа. Пушкин устами книгопродавца сформулировал одну из самых существенных истин своего времени:

Наш век – торгаш; в сей век железный
Без денег и свободы нет.

.....
Позвольте просто вам сказать:
Не продается вдохновенье,
Но можно рукопись продать³.

С тех пор, как эти строчки были впервые напечатаны, их тысячи раз цитировали, поэтому сейчас трудно представить себе ту *остроту непосредственного восприятия*, которую ощутили первые читатели

¹ Теория метафоры. М., 1990. С.77.

² Пушкин А.С. Полн. собр. соч.: В 19-ти тт. Т.6. М., 1995. С.638.

³ Пушкин А.С. Полн. собр. соч. Т.2, ч.1. М., 1994. С.294.

пушкинского романа⁴. Они узнали, что ремесло стихотворца может быть делом выгодным, а в России всегда была высока степень доверия к печатному слову. Автор "Евгения Онегина" публично признался в том, что он не гнушается брать деньги за плоды своего вдохновения. Это было пушкинское кредо ("за деньги, за деньги, за деньги – таков я в наготе моего цинизма"⁵). Доселе никто из русских поэтов не позволял себе подобных публичных признаний, да и сам Пушкин лишь годом ранее обсуждал эту проблему только в дружеской переписке. Еще 8 марта 1824 г. он писал из Одессы князю Вяземскому, благодаря хлопотам которого получил 3000 рублей за свою поэму "Бахчисарайский фонтан": "Начинаю почитать наших книгопродавцев и думать, что ремесло наше право не хуже другого... Благо я не принадлежу к нашим писателям 18-го века: я пишу для себя, а печатаю для денег, а ничуть для улыбки прекрасного пола"⁶. В этот же самый день в Петербурге в официальной газете военного ведомства "Русский Инвалид" было помещено сообщение о пушкинской поэме: "Московские книгопродавцы купили новую поэму: "Бахчисарайский фонтан", сочинение А.С.Пушкина, за 3000 руб. Итак, за каждый стих заплачено по пяти рублей!"⁷. *Так событие индивидуальной авторской биографии приобрело общенациональное звучание и стало фактом истории русской культуры.* Новая реальность – экономическая и культурная – воспринималась как несомненное благо, приближающее Россию к просвещенным странам. "Какова Русь, да она в самом деле в Европе – а я думал, что это ошибка географов"⁸.

⁴ "Но Разговор с книгопродавцем верх ума, вкуса и вдохновения. Я уж не говорю о стихах: меня убивает твоя логика. Ни один немецкий профессор не удержит в пудовой диссертации столько порядка, не поместит столько мыслей и не докажет так ясно своего предложения". – П.А.Плетнев – Пушкину. 22 января 1825 г. Петербург // Пушкин А.С. Полн. собр. соч. Т.13. М., 1996. С.133.

⁵ Пушкин – Л.С.Пушкину. Январь (после 12) – начало февраля 1824 г. Одесса // Пушкин А.С. Полн. собр. соч. Т.13. М., 1996. С.86.

⁶ Там же. С.88-89. 9 марта 1824 г. князь Вяземский с гордостью написал литератору и будущему декабристу А.А.Бестужеву: "Каково продал я "Фонтан"! За три тысячи рублей 1200 экземпляров на год, и все издержки печатания мне заплачены". – Цяпловский М.А. Летопись жизни и творчества А.С.Пушкина: 1799-1826. Изд. 2-е, испр. и доп. Л., 1991. С.399.

⁷ Цяпловский М.А. Указ. соч. С.398. Фактически, с учетом накладных расходов и оплаты труда посредников, каждый пушкинский стих обошелся издателю гораздо дороже (8 руб.). Автор "Русского Инвалида" расценил высокий гонорар Пушкина как отрадное явление отечественной культуры и сделал вывод: "Доказательство, что не в одной Англии и не одни англичане щедрою рукою платят за изящные произведения поэзии". – Смирнов-Сокольский Н.П. Рассказы о прижизненных изданиях Пушкина. М., 1962. С.81.

⁸ Пушкин – П.А.Вяземскому. Начало апреля 1824 г. Одесса // Пушкин А.С. Полн. собр. соч. Т.13. С.92. Нравственные издержки, сопряженные с новой реальностью, сказались спустя несколько лет: "Я всякий раз чувствую жестокое угрызение совести, – сказал однажды Пушкин в откровенном разговоре с С.Е.Раичем, плохим поэтом, но восторженным почитателем поэзии, – когда вспоминаю, что я, может быть первый из русских начал торговать поэзией. Я, конечно, выгодно продал свой Бахчисарайский Фонтан и Евгения Онегина; но к чему это поведет нашу поэзию, а может быть, и всю нашу литературу? Уж,

До сих пор речь шла только о стихах, но торговать, разумеется, начали и прозой. Под несомненным влиянием бурных политических событий конца XVIII – начала XIX в. европейский читатель стал уделять внимание книгам по истории, которые после окончания наполеоновских войн выходили в свет одна за другой. 1820-е годы были периодом расцвета французской романтической историографии: труды Тьерри, Гизо, Тьера, Минье, де Баранта и Мишле читали не только во Франции, где история стала играть исключительную роль в духовной жизни страны, но и во всей просвещенной Европе, ибо французский язык продолжал оставаться языком культуры⁹. "Философия превращалась в философию истории и историю философии, роман стал "историческим романом", поэзия возрождала баллады и древние легенды, живопись, оставив "природную" наготу, писала старинные костюмы, и политические деятели постоянно ссылались на историю."¹⁰ Спрос на книги по истории не уступал спросу на романы, впрочем, читатель и не делал резкого различия между учеными сочинениями, мемуарами и историческими романами, требуя от любых исторических сочинений занимательности и увлекательности романов Вальтера Скотта. Талантливо написанные книги французских историков эпохи Реставрации вполне соответствовали этому требованию и обрели не только статус значимого факта историографии, но и стали заметным явлением истории культуры. Публичных библиотек в это время было крайне мало. Человек, желающий прочесть книгу, должен был ее купить, поэтому читательский успех практически любой книги был неотделим от ее коммерческого успеха. А книги по истории не были ни общедоступными, ни дешевыми. Их покупали образованные и состоятельные люди, диктовавшие свои вкусы книжному рынку. Вспомним Евгения Онегина:

Он рыться не имел охоты
 В хронологической пыли
 Бытописания земли:
 Но дней минувших анекдоты
 От Ромула до наших дней
 Хранил он в памяти своей¹¹.

Стремление читателей узнать что-либо новое о своем прошлом нередко выливалось в *праздное любопытство* – в мелочный интерес ко всяким, даже не существенным, но обязательно *пикантным* подробно-

конечно, не к добру. Признаюсь, я завидую Державину, Дмитриеву, Карамзину: они бескорыстно и безукоризненно для совести подвизались на благородном своем поприще, на поприще словесности, а я?" – *Вересаев В.В.* Пушкин в жизни: Систематический свод подлинных свидетельств современников. Т. I. М.-Л., 1932. С.271-272 (Репринт. изд. М., 1992).

⁹ Их книги сохранились в библиотеке Пушкина. – *Модзалевский Б.Л.* Библиотека А.С.Пушкина (Библиографическое описание). СПб., 1910. С.148 (де Барант), 243 (Гизо), 287-288 (Мишле), 289 (Минье), 348 (Тьерри), 349 (Тьер).

¹⁰ *Реззов Б.Г.* Французская романтическая историография (1815-1830). Л., 1956. С.5.

¹¹ *Пушкин А.С.* Полн. собр. соч. Т.6. С.7-8. Ср.: *Лотман Ю.М.* Роман А.С.Пушкина "Евгений Онегин": Комментарий. Л., 1980. С.132.

стям былого. На книжном рынке сформировался устойчивый спрос на записки участников и очевидцев закулисья крупных исторических событий, интересовались читатели и сенсационными жизнеописаниями великих людей, содержащими подробности их частной жизни. *Спрос рождал предложение*. Появились многочисленные подложные мемуары и литературные мистификации, в том числе упоминаемые Пушкиным "Записки парижского палача Самсона", написанные группой французских писателей, среди которых был и Бальзак¹². Интерес читателей был настолько сильным, что издатели не боялись рисковать, когда заходила речь о литературе подобного рода. Они платили не только номинальному автору мемуаров, но оплачивали и труд того, кто записывал нередко бессвязные рассказы очевидца, облекая их в изящную литературную форму. Это было особенно характерно для Франции, однако и в России мемуарист постепенно превращался в непосредственного участника литературного процесса и нередко предпринимал свой труд в надежде получить авторский гонорар¹³.

Так, желая поправить бедственное материальное положение, участница наполеоновских войн Н.А.Дурова написала свои "Записки кавалерист-девицы". Обращаясь к Пушкину с предложением купить записки "русской амазонки", отставной штаб-ротмистр Дурова не скрывала, что рассчитывает не только на авторский гонорар, но и на серьезное редакторское участие издателя "Современника"¹⁴. Примечательно, что Пушкин посчитал дело выгодным: "За успех, кажется, можно ручаться. Судьба автора так любопытна, так известна и так таинственна, что разрешение загадки, должно произвести сильное, общее впечатле-

¹² Чтобы получить исчерпывающую информацию о том, как создавались такие книги, достаточно перечитать романы Бальзака "Шагреновая кожа" и "Утраченные иллюзии": "То, что мы оплачиваем нашей жизнью, — наши сюжеты, иссушающие мозг, созданные в бессонные ночи, наши блуждания в области мысли, наш памятник, воздвигнутый на нашей крови, — все это для издателей только выгодное или убыточное дело. Для издателей наша рукопись — вопрос купли и продажи. Для них в этом — вся задача. Книга для них представляет капитал, которым они рискуют; чем книга лучше, тем менее шансов ее продать. Каждый выдающийся человек возвышается над толпой, стало быть, его успех в прямом соотношении с временем, необходимым для оценки произведения. Ни один издатель не желает ждать. Книга, вышедшая сегодня, должна быть продана завтра. Согласно этой системе издатели отвергают книги содержательные, требующие высокой, неторопливой оценки." — Бальзак О. де. Утраченные иллюзии // Бальзак О. де. Сцены провинциальной жизни. М., 1985. С.227.

¹³ Тартаковский А.Г. Русская мемуаристика XVIII — первой половины XIX в. От рукописи к книге. М., 1991. С.142-155; Рейтблат А.И. От Бовы к Бальмонту: Очерк по истории чтения в России во второй половине XIX века. Гл.V. Литературный гонорар как форма взаимосвязи писателей и публики. М., 1991. С.78-96.

¹⁴ "Прекрасное перо ваше может сделать из них что-нибудь весьма занимательное для наших соотечественниц, тем более, что происшествие, давшее повод писать их, было некогда предметом любопытства и удивления" (Н.А.Дурова — Пушкину. 5 августа 1835 г. Елабуга // Пушкин А.С. Полн. собр. соч. Т.16. М., 1997. С.43). Об истории деловых отношений Дуровой и Пушкина см.: Тартаковский А.Г. 1812 год и русская мемуаристика. М., 1980. С.45-46; Переписка А.С.Пушкина: В 2-х тт. Т.2. М., 1982. С.490-505.

ние"¹⁵. Стремясь привлечь к "Современнику" новых подписчиков, он опубликовал в 1836 г. "Записки 12-го года" – сокращенный вариант мемуаров Дуровой. Пушкин, не желавший потакать низменным вкусам читателей, вынужден был, однако, считаться со сложившейся уже не только в европейской, но и в русской культуре ситуацией: читатель ждал *сенсационных* исторических материалов, позволяющих приобщиться к *загадкам* и *тайнам* недавнего прошлого. Это отлично осознавал любой потенциальный автор мемуаров, в связи с чем просто необходимо вспомнить следующий эпизод.

3 июня 1834 г. в Петербурге князь Вяземский угощал друзей обедом. Обедали недавно пожалованный званием камер-юнкера Пушкин, воспитатель наследника Жуковский, отставной генерал-лейтенант Денис Давыдов и действующий генерал Павел Киселев. Все присутствующие, несмотря на разницу в чинах, были давно и коротко знакомы друг с другом. Генерал-адъютант и генерал-лейтенант Киселев, 8 мая прибывший в столицу из Ясс, находился в центре внимания собравшихся. Еще не прошло и двух месяцев после того, как он по собственной просьбе был уволен от должности полномочного председателя Диванов княжеств Молдавии и Валахии¹⁶. Это был пик политической карьеры генерала, получившего европейскую известность. Именно в этот момент Киселев встретился со своим давним сослуживцем, десять лет назад командовавшим пехотной бригадой Второй армии, начальником Главного штаба которой был тогда Киселев. Генерал поведал друзьям об этой встрече. Все собравшиеся на обеде у князя Вяземского хорошо знали этого человека – генерал-майора Дмитрия Бологовского (Болховского), который последние десять лет "состоял по армии" и лишь в январе 1834 г. вышел в отставку. Пушкин сблизился с ним во время кишиневской ссылки. В его доме "Александр Сергеевич часто обедал, вначале по зову, но потом был приглашен раз навсегда. Стол его и непринужденность, умный разговор хозяина, его известность очень нравились Пушкину..."¹⁷. Между ними установились доверительные отношения, и генерал даже читал поэту свои записки. Вот почему Пушкин зафиксировал в дневнике красноречивый диалог Бологовского с Киселевым. "Генерал Болховской хотел писать свои записки

¹⁵ Пушкин А.С. Полн. собр. соч. Т.16. С.35.

¹⁶ "Много говорили об его правлении в Валахии". – Дневник А.С.Пушкина. 1833-1835. С коммент. Б.Л.Модзалевского, В.Ф.Саводника, М.Н.Сперанского. М., 1997. С.19, 191, 541-544 (Пушкинская библиотека). После окончания русско-турецкой войны 1828-1829 гг. княжества Молдавия и Валахия были оккупированы русскими войсками, которыми командовал генерал Киселев. Он же более четырех лет возглавлял и гражданскую администрацию обоих княжеств. Благодаря энергичной деятельности Киселева произошла "европеизация" Дунайских княжеств: был выработан "Органический Регламент", представляющий собой нечто вроде конституции, и приняты меры к уничтожению крепостного права. В пушкинском дневнике появилась весьма выразительная запись: "Он может самый замечательный из наших Государственных людей..." (Там же, С.19).

¹⁷ Липранди И.П. Из дневника и воспоминаний // А.С.Пушкин в воспоминаниях современников: В 2-х тт. Т.1. М., 1985. С.314 -315.

(и даже начал их; некогда, в бытность мою в Кишиневе он их мне читал). Киселев сказал ему: Помилуй! да о чем ты будешь писать? что ты видел? – Что я видел? возразил Болховской. Да я видел такие вещи, о которых никто и понятия не имеет. Начиная с того, что я видел голую жопу Государыни (Екатерины II-ой, в день ее смерти)¹⁸.

Нескрываемое удивление Киселева легко объяснимо: хотя Киселев и был на 13 лет моложе Бологовского, он давно уже обошел его по лестнице чинов и ответственных назначений. Генерал только что добровольно отказался от того, чтобы стать пожизненным и наследственным господарем Дунайских княжеств, и решительно не мог понять, что может поведать свету скромный отставной командир бригады, более десяти лет фактически находившийся не у дел. Будущий министр государственных имуществ и посол во Франции ошибался. Лишь с виду жизнь его бывшего подчиненного казалась заурядной. В ней был целый ряд бурных событий, о которых почти никто не имел понятия. В чине сержанта гвардии молодой Бологовский находился "на ординарцах" при кабинете государыни и стал свидетелем последних минут императрицы Екатерины II, что и дало ему возможность сделать курьезное наблюдение, которое дошло до нас благодаря дневнику Пушкина. (Императрица была поражена апоплексическим ударом утром, в своей уборной.) Поручиком гвардии Бологовский принял участие в перевороте 1801 года и не считал нужным это скрывать, за что вскоре поплатился отставкой. Когда, несколько лет спустя, в присутствии Александра I было произнесено его имя, то государь сказал одному из своих друзей: "Знаете ли вы, что это за человек? Он схватил за волосы мертвую голову моего отца, бросил ее с силой оземь и крикнул: "Вот тиран!"¹⁹ Десять лет Бологовский пребывал в отставке; принятый на службу, он вскоре вновь подвергся опале и, замешанный в дело Сперанского, был выслан из столицы в свою смоленскую деревню. Отечественная война 1812 года положила конец его ссылке. Бологовский принял участие в Бородинской битве, а за Лейпцигское сражение был удостоен ордена св.Георгия 4-й степени. Именно штаб-офицер Бологовский сообщил фельдмаршалу князю Кутузову радостную весть о том, что Наполеон покинул Москву. Впоследствии воспоминания Бологовского об этом событии использует Толстой в романе "Война и мир", и Дмитрий Николаевич будет увековечен в эпосе под именем Болховитинова, "толкового офицера"²⁰. Лишь в 1820 г. (в возрасте 45-ти лет) он получил генеральский чин и вскоре начал писать мемуары, о прижизненной публикации которых нельзя было даже мечтать. Однако весьма колоритная подробность, касающаяся последних минут жизни

¹⁸ Дневник А.С.Пушкина. С.19; Пушкин А.С. Полн. собр. соч.: В 19-ти тт. Т.12. М., 1996. С.330-331.

¹⁹ Цит. по: Дневник А.С.Пушкина. С.193.

²⁰ Толстой Л.Н. Война и мир. Т.IV. Ч.2. Гл.XV, XVI, XVII; Фейнберг И.Л. Читая тетради Пушкина. М., 1985. С.651-656; Тартаковский А.Г. Русская мемуаристика и историческое сознание XIX века. М., 1997. С.136.

императрицы Екатерины, стала известна Пушкину задолго до диалога Бологовского с Киселевым. Приблизительно между 26 сентября и 2 октября 1824 года Пушкин написал сатиру на Екатерину II:

Старушка милая жила
Приятно и немного блудно,
Вольтеру первый друг была,
Наказ писала, флоты жгла,
И умерла, садясь на судно²¹.

Это судно под пером Пушкина вскоре превратится в поэтическую метафору, позволяющую осмыслить проблему этики биографических и мемуарных публикаций²². Примечательно, что окончание чернового текста третьей главы "Евгения Онегина", переработка белого автографа стихотворения "К морю" и черновой автограф сатиры на Екатерину "Мне жаль великия жены" располагаются в пушкинской тетради непосредственно после завершённой 26 сентября 1824 г. белой редакцией "Разговора книгопродавца с поэтом"²³. В стихотворении "К морю" упоминался Байрон²⁴. Пройдет год, и князь Вяземский в журнале "Московский Телеграф" с сожалением сообщит подписчикам, что Томас Мур уничтожил подаренные ему "своеручные записки" Байрона. Вяземскому было жаль, что откровенные записки гениального поэта

²¹ Пушкин А.С. Полн. собр. соч. Т.2., ч.1. М., 1994. С.303. Дата написания стихотворения уточнена по: Фомичев С.А. Рабочая тетрадь Пушкина ПД №835 (из текстологических наблюдений) // Пушкин: Исследования и материалы. Т. XI. Л., 1983. С.41, 55-56; Цявловский М.А. Указ. соч. С.459, 675. Связь заключительной строчки пушкинской сатиры с рассказом Бологовского очевидна. Только от генерала он мог узнать курьезную подробность, касающуюся кончины императрицы (еще в Кишиневе тот читал Пушкину свои записки). Пушкинское описание смерти Екатерины Великой может быть культурологически осмыслено с точки зрения смехового мировоззрения. М.М.Бахтин настаивал на существовании универсального смехового аспекта мира: "В мировой литературе и особенно в анонимном устном творчестве мы найдем многочисленные примеры сплетения агонии с актом испражнения или приурочения момента смерти к моменту испражнений. Это один из распространеннейших способов снижения смерти и самого умирающего". — Бахтин М.М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. 2-е изд. М., 1990. С.167.

²² Судно — несколько необычный, но вполне достойный объект культурологических изысканий. — См.: Лотман Ю.М. Беседы о русской культуре: Быт и традиции русского дворянства (XVIII — начало XIX века). СПб., 1994. С.388 (прим.). Эпизод из жизни самого Пушкина, связанный с аналогичным предметом, сохранился в мемуарах современницы: "Государь цензуровал "Графа Нулина". У Пушкина сказано: "урыльник". Государь вычеркнул и написал "будильник". Это восхитило Пушкина. "C'est la remarque de gentilhomme [Это замечание джентльмена]. А где нам до будильника, я в Болдине завел горшок из-под каши и сам его полоскал с мылом, не посылать же в Нижний за этрусской вазой". — Смирнова-Россет. Дневник. Воспоминания. М., 1989. С.349. Ср.: Там же. С.414-415, 690; Пушкин А.С. Полн. собр. соч. Т.5. С.169 (Стих 214 в); Жизнь Пушкина: Переписка; Воспоминания; Дневники. В 2-х тт. Т. 2. М., 1987. С.236-237, 669.

²³ Это весьма выразительное обстоятельство еще ждет своего истолкования с точки зрения психологии творчества.

²⁴ "Другой от нас умчался гений, / Другой властитель наших дум". — Пушкин А.С. Полн. собр. соч. Т.2, ч.1. С.296.

"похищены от любопытства современников"²⁵. Получив в Михайловском этот номер журнала, Пушкин отреагировал мгновенно:

"Зачем жалеешь ты о потере записок Байрона? чорт с ними! слава богу, что потеряны. Он исповедался в своих стихах, невольно, увлеченный восторгом поэзии. В хладнокровной прозе он бы глгал и хитрил, то стараясь блеснуть искренностью, то марая своих врагов. Его бы уличили, как уличили Руссо – а там злоба и клевета снова бы торжествовали. Оставь любопытство толпе и будь заодно с Гением... Мы знаем Байрона довольно. Видели его на троне славы, видели в мучениях великой души, видели в гробе посреди воскресающей Греции. – Охота тебе видеть его на судне. Толпа жадно читает исповеди, записки etc., потому что в подлости своей радуется унижению высокого, слабостям могущего. При открытии всякой мерзости, она в восхищении. *Он мал, как мы, он мерзок, как мы!* Врете, подлецы: он и мал и мерзок – не так, как вы – иначе"²⁶.

Еще не прошло и года после того, как в феврале 1825 г. Пушкин педантично провозгласил важнейшее право профессионального литератора – право распоряжаться своей рукописью и получать за нее деньги. Однако к концу осени того же года он уже осознал, к каким *нравственным издержкам* может привести злоупотребление таким правом. Размышления над этой проблемой преследовали Пушкина до конца дней. Несколько раз он обосновывал и уточнял свою позицию, но никогда не поступался собственным нежеланием потакать низменным интересам толпы, жаждущей за свои деньги приобрести к интимным подробностям частной жизни великого человека²⁷. Когда во Франции вышли в свет "Записки парижского палача Самсона" и "Записки полицейского сыщика и шпиона Видока", Пушкин счел эти книги "крайним оскорблением общественного приличия"²⁸, что не помешало ему разглядеть *знаковый характер* подобных публикаций в истории европейской культуры: "Вот до чего довела нас жажда новизны и сильных впечатлений"²⁹. Пушкин предсказал грядущую судьбу "Записок Самсона": "И, насытив жестокое наше любопытство, книга палача займет свое место в библиотеках, в ожидании ученых справок будущего историка"³⁰. Заключительная часть этой фразы оказалась пророческой и по отношению к будущему историческому произведению Пушкина.

²⁵ Переписка А.С.Пушкина: В 2-х тт. Т.1. М., 1982. С.238.

²⁶ Пушкин – П.А.Вяземскому. Вторая половина ноября 1825 г. Михайловское // Пушкин А.С. Полн. собр. соч. Т.13. С.243-244. Спустя 11 лет Пушкин вновь вернется к рассуждению на эту же тему и подведет итог своим многолетним размышлениям: "Что из этого заключить? что гений имеет свои слабости, которые утешают посредственность, но печалят благородные сердца, напоминая им о несовершенстве человечества; что настоящее место писателя есть его ученый кабинет, и что наконец независимость и самоуважение одни могут нас возвысить над мелочами жизни и над бурями судьбы" (Там же. Т.12. С.81).

²⁷ "Частная жизнь писателя, как и всякого гражданина, не подлежит обнародованию". – Пушкина А.С. Путешествие в Арзрум во время похода 1829 года. [Вторая редакция предисловия из белой рукописи. 1835] // Пушкин А.С. Полн. собр. соч. Т.8, ч.2. М., 1995. С.1024-1025.

²⁸ Пушкин А.С. Полн. собр. соч. Т.11. М., 1996. С.130.

²⁹ Там же. С.94.

³⁰ Там же. С.95.

II

Как уже отмечалось, в середине 30-х гг. XIX в. прервалась тесная до того момента связь между исторической прозой и художественной литературой. Однако сама читающая публика осознала это не сразу и еще некоторое время продолжала по инерции ожидать от сугубо научных трудов занимательности романов. "Мих<аил> Орл<ов>" в письме к Вяз<емскому> пенял Карамз<ину>, зачем в начале *Истории* не поместил он *какой-нибудь блестящей гипотезы о происхождении славян*, т.е. требовал романа в истории – ново и смело!³¹ Предшествующая литературная традиция и сама личность историографа способствовали укоренению подобных ожиданий. Если у "Бедной Лизы" и первых томов "Истории Государства Российского" был не только один автор, но и практически один и тот же круг читателей, то уже "Капитанскую дочку" Пушкина прочло несравнимо большее число людей, чем его же "Историю Пугачевского бунта". Читатели отдали предпочтение исторической повести, а не образцовой научной монографии, снабженной обстоятельными примечаниями и обширными документальными приложениями. Об этом феномене и пойдет речь ниже.

Тираж двухтомной "Истории Пугачевского бунта", поступившей в продажу 28 декабря 1834 г., составил 3000 экземпляров. Именно таким тиражом было напечатано в январе 1818 г. первое издание "Истории Государства Российского", распроданное в течение одного месяца.³² Это в несколько раз превышало обычный тираж исторического сочинения.³³ Однако привыкший к высоким литературным гонорарам Пушкин ориентировался на своего предшественника и надеялся, что и его историческое сочинение будет иметь коммерческий успех.³⁴ Нельзя

³¹ Пушкин А.С. Полн. собр. соч. Т.12. С.306. Речь идет о письме генерал-майора М.Ф.Орлова князю П.А.Вяземскому от 4 июля 1818 г.: "...Как может быть, чтобы Россия, существовавшая до Рюрика без всякой политической связи вдруг обратилась в одно целое государство и, удержавшись на равной степени величия от самого своего начала до наших дней, восторжествовала над междоусобиями князей и даже над самыми гонениями рока... Или сие есть историческое чудо, или должно было оное объяснить единственным средством, представленным писателю, то есть блестящею и вероятною гипотезою прежнего нашего величия" ("Их вечно с вольностью союз": Литературная критика и публицистика декабристов. М., 1983. С.306).

³² "Карамзин первый у нас показал пример больших оборотов в торговле литературной" (А.С.Пушкин – И.И.Дмитриеву. 14 февраля 1835 г. Петербург // Пушкин А.С. Полн. собр. соч. Т.16. С.11). Повесть "Бедная Лиза" впервые была опубликована в июньской книжке "Московского журнала" за 1792 год и в течение чуть более 10 лет выдержала шесть изданий, причем три отдельных.

³³ "Исторические исследования в те годы выходили тиражом от 300 до 1200 экземпляров, обычный же тираж составлял около 600 экземпляров. Чаще всего и такие тиражи расходились далеко не полностью..." – Афиани В.Ю., Козлов В.П. От замысла к изданию "Истории Государства Российского" // Карамзин Н.М. История Государства Российского. В 12-ти тт. Т.1. М. 1989. С.536.

³⁴ "Ох! ка бы у меня было 100.000! как бы я все это уладил; да Пуг<ачев>, мой оброчный мужичок, и половины того мне не принесет, да и то мы с тобою как раз промотаем; не так ли?" (А.С.Пушкин – Н.Н.Пушкиной. 15 сентября 1834 г. Болдино // Пушкин А.С. Полн. собр. соч. Т.15. С.192). В это же время Пушкин со

исключать и сознательную ориентацию Пушкина на европейскую культуру, где рукопись давно уже стала выгодным товаром.³⁵

Казалось, что расчеты автора блестяще подтвердятся. Читающая публика охотно покупала книжную новинку, и в течение первого месяца пушкинская книга продавалась хорошо. "История Пугачевского бунта" была напечатана в одной из лучших петербургских типографий II Отделения Собственной Его Императорского Величества Канцелярии (на такой же бумаге и в таком же формате, как и "Свод Законов"). *Всё это было сделано по воле автора, всегда придававшего большое значение внешнему виду своих книг*³⁶. Типографией руководил М.Л.Яковлев, лицейский товарищ Пушкина, который и помог ему в выборе бумаги, шрифта и чтении корректур. В эти годы исторические сочинения, как правило, не имели иллюстраций: их изготовление было сопряжено с большими техническими трудностями и немалыми издержками. "История Пугачевского бунта" была приятным исключением. Желая дать читателям зримое представление об эпохе, Пушкин приложил к своей книге иллюстрации: гравированный портрет Пугачева; карту губерний Оренбургской, Казанской, Нижегородской и Астраханской на складном листе; лист с изображением печати Пугачева и четыре листа с факсимильным воспроизведением почерка Пугачева и подписей исторических личностей. Однако современники не обратили на это внимания.

Что же ожидали читатели от книги? На этот вопрос ответил один из первых рецензентов: "Многие надеялись и были в том уверены, что знаменитый наш поэт... подарит нас картиною ужасною, от которой, как от взгляда пугачевского, не одна дама упадет в обморок"³⁷. Комизм ситуации заключался в том, что дамских обмороков жаждал и глашатаем общего мнения стал профессиональный военный историк, генерал-майор В.Б.Броневский, опубликовавший свою рецензию через несколько дней после выхода из печати пушкинского сочинения. С присущей военному человеку четкостью он сформулировал читатель-

знанием дела написал в одном из своих публицистических произведений: "К тому же с некоторых пор литература стала у нас ремесло выгодное, и публика в состоянии дать более денег, нежели его сиятельство такой-то или его высокопревосходительство такой-то" (Пушкин А.С. Полн. собр. соч. Т.11. С.255). По подсчетам Н.П.Смирнова-Сокольского, гонорары Пушкина за 17 лет литературной деятельности составили 255180 рублей, т.е. 15 тыс. в год, или 1250 рублей в месяц. – *Смирнов-Сокольский Н.П. Указ. соч. С.333-338.*

³⁵ Когда публикация богато иллюстрированной и прекрасно изданной "Энциклопедии" Дидро и Даламбера была завершена, книгоиздатели получили 2,5 млн франков чистой прибыли: читателей не смутила исключительно высокая цена многотомного издания. О масштабах этого предприятия Вольтер, знавший толк в коммерческих делах, писал: "Тем, кто интересуется вопросами прибыли, ясно, что никакая торговля с обеими Индиями не давала ничего подобного. Издатели заработали 500% – такого еще не случалось за два века ни в одной отрасли торговли". – *Философия в "Энциклопедии" Дидро и Даламбера. М., 1994. С.13.*

³⁶ "...Вот уже четыре дни как печатные стихи, виньета и переллет детски утешают меня" (А.С.Пушкин – Н.И.Гнедичу. 24 марта 1821 г. Кишинев // *Пушкин А.С. Полн. собр. соч. Т.13. С.28. Ср.: Там же. С.153-154.*)

³⁷ Цит. по: *Жизнь Пушкина... Т.2. С.623.*

ские ожидания: "Нам казалось, что исторический отрывок, написанный слогом возвышенным, живым, пером пламенным, поэтическим, не потеряет своего внутреннего достоинства..." Пушкин же, по мнению рецензента, обманул ожидания читателей: "В Истории пугачевского бунта действительно все так холодно и сухо, что тщетно будет искать в нем труда знаменитого нашего поэта"³⁸ *Генерал объяснил причину грядущей неудачи пушкинского коммерческого проекта.*

Действительно, еще 20 января 1835 г. Пушкин с удовольствием от-мечал в одном из своих писем: "Каково время! Пугачев сделался добрым исправным плательщиком оброка, Емелька Пугачев оброчный мой мужик! Денег он мне принес довольно, но как около двух лет жил я в долг, то ничего и не остается у меня за пазухой, а все идет на расплату"³⁹. Но уже в феврале ситуация резко изменилась: публика охладела к серьезной книге, которая была ей не очень понятна: "В публике очень бранят моего Пугачева, а что хуже – не покупают"⁴⁰. Очень скоро автор осознал причину своей неудачи: "Читатели любят анекдоты, черты местности и пр.; а я все это отбросил в примечания"⁴¹.

Пушкин мог себе это позволить. *По высочайшему повелению "История Пугачевского бунта" была не только освобождена от обычной цензуры, но и изъята из сферы действия законов книжного рынка.* 16 марта 1834 г. Николай I пожаловал автору на печатание книги 20000 рублей "в ссуду на два года без процентов и без вычета в пользу увечных"⁴², кроме того первый завод "Истории" (1200 экземпляров) был напечатан на казенной бумаге. Пушкин напечатал свое историческое сочинение тиражом 3000 экземпляров, из которых при его жизни было продано всего 1225. Ни одна из пушкинских книг не расходилась так плохо. Даже в 1841 г., уже после смерти автора, "История Пугачевского бунта" продавалась со скидкой в 75%, т.е. за четверть первоначальной номинальной цены, составлявшей 20 рублей. Доходы Пушкина от продажи книги составили не более 17000 рублей и не смогли покрыть ссуды, полученной от Николая I⁴³. Высочайшее повеление вывело издание пушкинского творения из сферы действия законов книжного рынка, но оно не могло заставить читателей покупать книгу, которая не была им интересна.

³⁸ Там же. С.623-624; *Черейский Л.А.* Пушкин и его окружение. Л. 1989. С.48.

³⁹ А.С.Пушкин – П.В.Нащокину. 20 января 1835 г. Петербург // *Пушкин А.С.* Полн. собр. соч. Т.16. С.6.

⁴⁰ Там же. Т.12. С.337; *Дневник А.С.Пушкина.* С.27, 243-244, 599-600.

⁴¹ А.С.Пушкин – И.И.Дмитриеву. 26 апреля 1835 г. Петербург // *Пушкин А.С.* Полн. собр. соч. Т.16. С.21.

⁴² Д.М.Княжевич – А.С.Пушкину 21 марта 1834 г. Петербург // Там же. Т.15. С.119. Ср.: Там же. С.98, 112, 121, 171-172.

⁴³ *Смирнов-Сокольский Н.П.* Указ. соч. С.367-368, 370. В третьем томе "Современника" за 1836 год Пушкин грустно признался: "История Пугачевского бунта", не имев в публике никакого успеха, вероятно не будет иметь и нового издания". – *Пушкин А.С.* Полн. собр. соч. Т.9, кн.1. С.379.

Авторы исторических сочинений весьма своеобразно среагировали на эти законы: ученые стали ориентироваться преимущественно на собратьев по цеху⁴⁴. Впрочем, иного выхода у них не было, ибо книжный рынок не был склонен поглощать в большом количестве сугубо научные книги. *В течение полутора веков историческая наука и художественная литература развивались независимо друг от друга.* Историки меньше всего заботились о литературной форме своих произведений и абсолютно не учитывали ту эволюцию, которую претерпели за это время как сам роман, ставший *эпосом частной жизни*, так и его литературная форма⁴⁵. А авторы исторических романов нередко сочиняли их вопреки очевидным фактам, абсолютизируя свое право на вымысел. Однако именно они формировали у читателя-неспециалиста представление о прошлом. Именно они не только украшали, но и оживляли это прошлое, позволяя читателю *продлить* настоящее минувшим. Судите сами: если мы знаем что-то об истории, то как правило, черпаем наши знания из художественной литературы и меньше всего узнаем о минувшем из сугубо научных произведений, написанных специалистами. Какие бы блистательные монографии, посвящен-

⁴⁴ Вызывающая ожесточенные споры проблема отчуждения науки от общества носит универсальный характер. С ней сталкиваются не только историки. Еще в 1952 г. австрийский физик, один из создателей квантовой механики и Нобелевский лауреат Э. Шредингер, к возмущению научного сообщества, сделал печальный вывод о судьбе науки, "представители которой внушают друг другу идеи на языке, в лучшем случае понятном лишь малой группе близких полутчиков, — такая наука непременно оторвется от остальной человеческой культуры; в перспективе она обречена на бессилие и паралич, сколько бы ни продолжался и как бы упрямо ни поддерживался этот стиль для избранных, в пределах этих изолированных групп, специалистов". Эти слова с негодованием процитировал американский физик и философ, Нобелевский лауреат П. У. Бриджмен. На тот же отрывок сочувственно сослались и пришли к сходному выводу один из основоположников термодинамики неравновесных процессов и Нобелевский лауреат Илья Пригожин и его соавтор Изабелла Стенгерс: "Одна из проблем нашего времени состоит в преодолении взглядов, стремящихся оправдать и усилить изоляцию научного сообщества. Между наукой и обществом необходимо устанавливать новые каналы связи" — Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса: Новый диалог человека с природой. М., 1986. С. 61, 65, 388.

⁴⁵ Гегель. Эстетика: В 4-х тт. М., 1968-1973. Т. 2. С. 491; Т. 3. С. 474-475; Богданов В. А. Роман // Краткая литературная энциклопедия. Т. 6. М., 1971. Стлб. 350-361. Именно романисты, а не историки отобразили в своих произведениях сам механизм взаимосвязи между всемирно-историческими событиями и судьбой маленького человека, живущего своей частной жизнью. Уильям Теккерей еще в 1847 г. написал: "Но вот наш рассказ неожиданно попадает в круг прославленных лиц и событий и соприкасается с историей. Когда орлы Наполеона Бонапарта, выскочки-корсиканца, вылетели из Прованса, куда они спустились после короткого пребывания на острове Эльбе, и потом, перелетая с колокольни на колокольню, достигли наконец собора Парижской богородицы, то вряд ли эти царственные птицы хотя бы краешком глаза приметили крошечный приход Блумсбери в Лондоне — такой тихий и безмятежный, что вы бы подумали, будто шум и хлопанье их могучих крыльев никого там не встревожили... Да, Наполеон делает свою последнюю ставку, и счастье бедной маленькой Эммы Седли каким-то образом вовлечено в общую игру." — Теккерей У. Ярмарка тщеславия. Роман без героя. М., 1983. С. 196).

ные кардиналу Ришелье, ни выходили в свет, в нашем восприятии образ его высокопреосвященства сформирован романом Дюма "Три мушкетера". И с этим ничего не поделаешь. Пока не появится историк, по таланту соизмеримый с талантом Дюма, так оно и будет в последующих поколениях. "Вообще странно, что историки и философы истории в течение последних сорока лет почти не уделяли внимания исследованию параллелей между развитием современной историографии, с одной стороны, и развитием литературы, литературной критики, печатного дела – короче, цивилизации – с другой. По-видимому, историк находил не больше оснований подозревать о существовании таких параллелей, чем химик или астроном"⁴⁶. Лишь сравнительно недавно частная жизнь обыкновенного человека перестала быть исключительным достоянием романистов и обрела статус серьезной научной проблемы, достойной теоретического изучения⁴⁷. Одновременно возникло осознанное стремление части историков ликвидировать "полосу отчуждения" между историей и литературой.

III

Рассмотрим эту ситуацию в длительной временной протяженности, в *большом времени истории*. Ученые, занимавшиеся установлением фактов прошлого, всегда решали проблему выбора адекватной формы исторического повествования. Каждый раз, когда историк, не только устанавливал факты, но и давал яркое, живое изображение минувших событий, его сочинение превращалось в историческую прозу⁴⁸. В тече-

⁴⁶ Анкерсмит Ф.Р. Историография и постмодернизм // Современные методы преподавания новейшей истории. М.: ИВИ РАН, 1996. С.145.

⁴⁷ Человек в кругу семьи: Очерки по истории частной жизни в Европе до начала нового времени / Под ред. Ю.Л.Бессмертного. М., 1996.

⁴⁸ "В античном мире различали большую форму исторического повествования, т.е. историю всех событий за сравнительно большой период времени, и малую форму – монографию, посвященную к-л. событию ("Заговор Катилины" Саллюстия) или лицу ("Агесилай" Ксенофонта, "Агрикола" Тацита). В обеих формах изложение велось с помощью некоторых общепринятых приемов... С 4 в. до н.э. историография разветвляется на два главных направления: прагматическое и риторическое. Цель прагматической истории – воссоздание внутреннего смысла событий, их причинно-следственной связи; виднейший ее представитель Полибий (2 в. до н.э.). Цель риторической истории, наиболее близкой к художественной литературе, – воссоздание внешней картины событий во всей их яркости и живости. Внутри риторического направления имеются две тенденции – эпическая и драматическая; первая тяготеет к широте и обстоятельности, вторая к глубине и напряженности; образец первой – Ливий, второй – Тацит". – Гаспаров М.Л., Михайлов А.Д. Историческая проза // Краткая литературная энциклопедия. Т.3. М., 1966. Стлб.230. "Подняв И.п. на большую эстетическую высоту, Ренессанс вместе с тем отделил историографию от художественной литературы... В конце 18 – нач. 19 в. И.п. не только оказывала влияние на исторический роман (А.Дюма, В.Гюго), она, в свою очередь использовала опыт писателей-романтиков, а также В.Скотта (Ф.Гизо и О.Тьерри во Франции, Т.Карлейль в Англии и др.). Во второй пол. 19 и 20 вв. историография окончательно отделяется от литературы; однако исторические сочинения П.Мериме, некоторые труды Ж.Мишле, Т.Маколея, И.Тэна, Э.Ренана, русских историков – С.М.Соловьева, В.О.Ключевского, советского историка Е.В.Тарле стоят на вы-

ние целого ряда столетий историческая проза и художественная литература существовали в тесном и неразрывном единстве. Отделение историографии от художественной литературы произошло сравнительно недавно: начавшееся в эпоху Ренессанса, оно окончательно завершилось лишь во второй половине XIX в., а весь XX век прошел под знаком раздельного существования исторической науки и беллетристики. Между историей, желавшей конституироваться исключительно в качестве формы научного знания, и литературой, осознававшей себя неотъемлемой принадлежностью культуры, возникла "полоса отчуждения". Существенная стилевая особенность науки Нового времени способствовала углублению этого взаимного отчуждения.

Еще Галилей (1564-1642) утверждал, что "Книга Природы" написана на языке математики⁴⁹. Во второй половине XX в. *клиометрия* стала претендовать на статус самостоятельной исторической субдисциплины: предполагалось, что "передовой" историк должен уметь строить математические модели, выдвигая в качестве доводов не умозрительные рассуждения, а сложные математические расчеты.⁵⁰ В течение двух последних столетий математизация и научность рассматривались в качестве синонимов. Математическое знание – это высшая форма научного знания, тот абсолют, к которому должны стремиться все остальные науки. Вольтер в статье "История", опубликованной в 1765 г. в VIII т. "Энциклопедии" писал: "Об исторической достоверности. Всякая достоверность, не обладающая математическим доказательством, есть лишь высшая степень вероятности. Иной исторической достоверности не существует"⁵¹. 12 января 1826 г. декабрист П. Пестель, который, без сомнения, читал "Энциклопедию", пытаясь убедить следователей в истинности своих рассуждений, заметил: "Это математически непреложно"⁵². Исходя из подобных теоретических представлений, весь мир мог быть описан системой уравнений. (Вспомним знаменитый детерминизм Лапласа.) Для случайности просто не было места в научной картине мира. Науке следовало постигать исторический процесс в его необходимости. Случайность представлялась Гегелю всего лишь неосознанной закономерностью. В истории отсекалось все лишнее, избыточное, случайное – отсекалось в угоду эстетической завершенности. Историческое повествование выходило из-под пера исследователя, подобно скульптуре из-под резца скульптора. Это была сущест-

соком литературном уровне и могут рассматриваться как произведения художественной исторической прозы." – Там же. Стлб.232.

⁴⁹ Культурология. XX век. Энциклопедия: В 2-х тт. Т. II. СПб., 1998. С.36.

⁵⁰ "Впрочем, подобные соображения сильно потеряли в привлекательности в последнее десятилетие, ибо оказалось, что использование математических методов не внесло коренных изменений в возможности исторического анализа". – Савельева И.М., Полетаев А.В. История и время: В поисках утраченного. М., 1997. С.650.

⁵¹ Философия в "Энциклопедии"... С. 315.

⁵² Восстание декабристов. Т. IV. М.-Л., 1927. С. 419.

венная стилевая тенденция развития истории в качестве формы научного знания – тенденция доминирующая, но не единственная.

Конец нашего столетия ознаменовался противоположной тенденцией: история и литература начали движение навстречу друг другу. Не исключено, что нам суждено увидеть ликвидацию "полосы отчуждения" и через "дугу напряжения" прийти к восстановлению былого единства. Это – *метафора*. "...Сила метафоры – в способности ломать существующую категоризацию, чтобы затем на развалинах старых логических границ строить новые... Метафорический смысл как таковой выращается в толще образов, высвобождаемых поэтическим текстом"⁵³. Но ведь именно использование метафоры и объединяет художественную литературу и историческую прозу. "В общем и целом метафора и уже сложившиеся вокруг нее интерпретационные контексты способствуют прежде всего такому представлению о гуманитарном знании, которое включает его не столько (и в первую очередь) в сферу науки, сколько в сферу культуры. Исследования о метафоре создают возможность преодоления возникшего в последнее время раздвоения историографии между наукой и литературой"⁵⁴. Поэтому восстановление утраченного единства предполагает обязательное выявление важнейших метафор, стихийно или сознательно используемых историками в своих научных трудах. Разумеется, если мы хотим обойтись "без драк на меже"⁵⁵. Начиная с рубежа XVI и XVII веков всемирная история постоянно сводилась либо к какой-то одной определенной метафоре, либо к сочетанию нескольких метафор.

IV

У Борхеса есть блистательный рассказ "Сфера Паскаля", он был опубликован в 1952 г. в книге "Новые расследования" и начинается так: "Быть может, всемирная история – это история нескольких метафор. Цель моего очерка – сделать набросок одной главы такой истории"⁵⁶. Действительно, все, что мы знаем об истории, может быть сведено к нескольким метафорам, к нескольким художественным образам. Важнейшая среди этих метафор принадлежит Шекспиру – это уподобление жизни театральным подмосткам. Именно к этой метафоре и восходит образ истории как мирового театра. Время появления метафоры можно установить довольно точно. Это рубеж XVI и XVII столетий. Не ранее 1598 г. была написана комедия Шекспира "Как вам это понравится", во всяком случае уже в 1600 г. один издатели взял лицензию на ее

⁵³ Рикёр П. Живая метафора // Теория метафоры. С. 442, 453.

⁵⁴ Вжозек В. Метафора как эпистемологическая категория (соображения по поводу дефиниции) // Одиссей – 1994. М., 1994. С.257. Ср.: Он же. Историография как игра метафор // Одиссей – 1991. М., 1991. С.60-74.

⁵⁵ Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М., 1986. С. 360.

⁵⁶ Борхес Х.Л. Проза разных лет. М., 1984. С.200. Укажем важнейшие среди этих метафор: 1) весь мир – театр; 2) река времен; 3) волны поколений; 4) колесо фортуны; 5) жизнь – игра; 6) ярмарка тщеславия; 7) столетия – фонарики; 8) архив или библиотека.

опубликование, хотя публикация состоялась только через 23 года. В этой комедии впервые прозвучала знаменитая мысль о том, что жизнь есть театр.

Старый герцог
Вот видишь ты, не мы одни несчастны,
И на огромном мировом театре
Есть много грустных пьес, грустней, чем та,
Что здесь играем мы!

Ж а к

Весь мир – театр.

В нем женщины, мужчины – все актеры.
У них свои есть выходы, уходы,
И каждый не одну играет роль.
Семь действий в пьесе той. Сперва младенец,
Ревущий громко на руках у мамки...
Потом пласивый школьник с книжной сумкой,
С лицом румяным, нехотя, улиткой
Ползущий в школу. А затем любовник,
Вздыхающий, как печь, с балладой грустной
В честь брови милой. А затем солдат,
Чья речь всегда проклятьями полна,
Обросший бородой, как леопард,
Ревнивый к чести, забияка в ссоре,
Готовый славу брентную искать
Хоть в пушечном жерле. Затем судья
С брюшком округлым, где каплун запрятан,
Со строгим взором, стриженной бородкой,
Шаблонных правил и сентенций кладезь, -
Так он играет роль. Шестой же возраст -
Уж это будет тощий Панталоне,
В очках, в туфлях, у пояса – кошель,
В штанах, что с юности берег, широких
Для ног иссохших; мужественный голос
Сменяется опять дискантом детским:
Пищит, как флейта... А последний акт,
Конец всей этой странной, сложной пьесы –
Второе детство, полузабытье:
Без глас, без чувств, без вкуса, без всего.⁵⁷

Эти размышления были очень дороги как Шекспиру, так и его актерам, с которыми он создал труппу. Эмблемой шекспировского театра "Глобус" было изображение Геркулеса, держащего на своих плечах земной шар. Изображение сопровождалось латинским изречением: "весь мир лицедействует", или "все люди актерствуют"⁵⁸. Ни пространственный монолог Жака, ни краткий девиз театра "Глобус" невозможно свести к одной-единственной интонации: человек эпохи Позднего Возрождения еще не утратил ощущение полноты бытия.

Уже в последующих столетиях ситуация меняется. В размышлениях о том, что весь мир – это театр, начинают отчетливо звучать саркастические интонации. Французский поэт и драматург Жан-Батист Рус-

⁵⁷ Шекспир У. Полн. собр. соч.: В 8-ми тт. Т.5. М., 1959. С.47-48.

⁵⁸ Аникст А.А. Трагедия Шекспира "Гамлет": Лит. комментарий. М., 1986. С.179-180.

со (1671-1741) переосмыслил и уточнил шекспировский образ в одной из своих эпиграмм, где уподобил чернь зрителям райка.

Со сцены нам актеры лгут коварно,
А мы, простые люди, верим им,
Но если фарс играется бездарно,
Скорбим о наших деньгах и свистим.⁵⁹

Язвительная насмешка и злая ирония многочисленных эпиграмм Ж.-Б.Руссо, направленных против многих влиятельных государственных деятелей, привели к тому, что их автор в 1712 г. был изгнан из Франции, остаток жизни провел в бедности и скончался в Брюсселе.

Прошло еще одно столетие, сменилось несколько поколений, но шекспировский образ театра в интерпретации Ж.-Б.Руссо не утратил своей актуальности. Несколько сместив акцент, Ж.-Б.Руссо наполнил классический образ иным, новым смыслом, который оказался созвучен умонастроению людей XIX века, ставшего веком политики. Эту мысль выразил Наполеон в разговоре с Гете о сущности трагедии: *в новое время политика и есть судьба*. Основу трагедии древних составляла борьба человека с роком, с судьбой, которая подавляла человека. Теперь же именно политика, по мнению Наполеона, "должна быть использована в трагедии как новая судьба, как непреодолимая сила обстоятельств, которой вынуждена покоряться индивидуальность"⁶⁰. Судьба уготовила большинству людей быть не актерами, а зрителями всемирного театра. Выбор пьесы не зависит от желания зрителей, однако они имеют право освистать игру актеров. В 1830 г. в московском альманахе "Денница" был опубликован перевод давней эпиграммы Ж.-Б.Руссо, принадлежавший князю П.А.Вяземскому. Автограф перевода по его местонахождению в рукописи предположительно датируется 1818 годом. Вольный перевод старинной французской эпиграммы прозвучал исключительно злободневно в устах язвительного поэта и замысловатого остряка: и в 1818 и в 1830 г. у "декабриста без декабря" князя Вяземского было достаточно оснований для того, чтобы с грустью и сарказмом наблюдать театр мира.

И уж зато подчас, без дальних справок,
Когда у них в игре оплошность есть,
Даем себе потеху с задних лавок
За свой алтын освистывать их честь.⁶¹

Шекспировская метафора позволила иными глазами взглянуть на происходящее: ощутить сюжет в непрерывном движении исторических событий. Историки стали членить эти события на сюжетные главы и осмысливать поток исторических фактов сквозь рамки сюжета, и с

⁵⁹ Французская классическая эпиграмма. М., 1979. С.219 (пер. Вл.Васильева).

⁶⁰ Гегель. Философия истории // Соч. Т.VIII. М.-Л., 1935. С.263; Эккерман И.-П. Разговоры с Гете в последние годы его жизни. М., 1986. С.434; Экштут С.А. В поиске исторической альтернативы: Александр I. Его сподвижники. Декабристы. М., 1994. С.31-36.

⁶¹ Вяземский П.А. Стихотворения. Л., 1986. С.118, 463-464.

этого момента могла возникнуть такая точка зрения, что можно наслаждаться самим сознанием того, что ты живешь в "минуты роковые". Точно так же сформировалась иная точка зрения: главное в этой жизни – выжить, отсидеться и избрать уголок поспокойнее. Еще раз обращаю внимание на то, что шекспировский монолог Жака был написан на рубеже XVI и XVII столетий. Именно поэты были озабочены осмыслением феномена грани веков, стремились отыскать смысл и завязку (развязку) сюжета всемирной истории. По удивительной иронии истории, спустя ровно три века, в 1896 г., тоже на грани двух столетий, XIX и XX, английский поэт французского происхождения Хилэр Беллок (1870-1953) написал сонет, построенный на сознательной перекличке с монологом Жака. Эта развернутая реминисценция крылатой фразы Шекспира содержала отчетливую *пессимистическую* интонацию:

Весь мир – театр. За ваш билет заплатят
(Заочно). Всем доступен вход.
Оркестр гремит и щедро силы тратит,
Но в музыке господствует разброд.
Программ не продают. Нельзя понять сюжета.
Актёров масса, но талантов нет.
А представление – скажу вам по секрету -
Напоминает декадентский бред.
Мне в театре место нравится одно лишь -
Мы на французский лад зовем его *фойе*.
Там сигаретой мысли успокоишь,
В сторонке от толпы, с собой наедине.
Потом возьмешь пальто и – прочь,
Не досмотрев спектакля, прямо в ночь.⁶²

У Беллока были убедительные личные причины именно так смотреть на вещи. Автор сонета был поэтом, эссеистом, историком – автором биографий Дантона, Робеспьера, Наполеона, Кромвеля, Мильтона и четырехтомной "Истории Англии". Кроме того, Беллок активно занимался политикой: консерватор по политическим убеждениям, он стал членом парламента от партии либералов.

Вероятно, что этот сонет показался советскому поэту С.Я.Маршаку чересчур мрачным. Великолепный знаток и переводчик Шекспира решил внести в классическую метафору *оптимистическую* интонацию и откликнулся такой лирической эпиграммой:

Как зритель, не видевший первого акта,
В догадках теряются дети,
И все же они ухитряются как-то
Понять, что творится на свете.⁶³

Шекспировский образ мира как театра стал важнейшей метафорой, которую – в явной или неявной форме – активно использовали профессиональные историки, стремившиеся постигнуть логику исторического процесса и создавшие произведения, включенные не только в

⁶² Английская поэзия в русских переводах. XX век. М., 1984. С.153.

⁶³ Маршак С.Я. Лирические эпиграммы. М., 1970. С.49.

сферу науки, но и в сферу культуры. В итоговой книге крупнейшего историка и культуролога современности Ю.М.Лотмана читаем:

"Положение историка можно сравнить с театральным зрителем, который второй раз смотрит пьесу с одной стороны, он знает, чем она кончится, и непредсказуемого в ее сюжете для него нет. Пьеса для него находится как бы в прошедшем времени, из которого он извлекает знание сюжета. Но одновременно как зритель, глядящий на сцену, он находится в настоящем времени и заново переживает чувство неизвестности, свое якобы "незнание" того, чем пьеса кончится. Эти взаимоисключающие переживания парадоксально сливаются в некое одновременное чувство"⁶⁴.

Только один шаг отделяет эти переживания историка от его стремления осмыслить минувшее в *сослагательном наклонении* и дать опыт контрфактического моделирования исторического прошлого. Любая контрфактическая модель может быть образно представлена как развернутая *оптическая метафора* – метафора зеркала, в котором отражается несостоявшаяся история и переигрывается пьеса, идущая на огромном мировом театре. Иными словами, в конечном счете, именно к шекспировской метафоре может быть сведено и возникновение у исследователя "психологической потребности переделать прошлое, внести в него исправления, причем пережить этот скоррегированный процесс как истинную реальность"⁶⁵.

2 сентября 1945 г. – в день подписания акта о безоговорочной капитуляции Японии и окончания Второй мировой войны – Анна Андреевна Ахматова завершила в Фонтанном Доме задуманную еще в Ташкенте "Пятую Северную элегию", в которой психологически точно описала как процесс создания контрфактической модели, так и совокупность ощущений, вызванных вживанием в эту новую реальность. *Патетическая интонация* объединяет здесь в единое целое две классические метафоры – восходящий к Державину образ истории как реки времен и шекспировский образ мирового театра.

Меня, как реку,
Суровая эпоха повернула.
Мне подменили жизнь. В другое русло,
Мимо другого потекла она,
И я своих не знаю берегов.
О, как я много зрелищ пропустила,
И занавес вздымался без меня.
И так же падал...

.....
Но если бы откуда-то взглянула
Я на свою сегодняшнюю жизнь,
Узнала бы я зависть наконец...⁶⁶

⁶⁴ Лотман Ю.М. Культура и взрыв. М., 1992. С.195-196. Эта мысль была исключительно дорога автору, который дословно повторил ее в статье "Смерть как проблема сюжета", ставшей его последней прижизненной публикацией. Ср. Ю.М.Лотман и тартуско-московская семиотическая школа. М., 1994.С. 427.

⁶⁵ Лотман Ю.М. Культура и взрыв. С. 196.

⁶⁶ Ахматова А.А. Сочинения: В 2-х тт. Т. 1. М., 1990. С. 263-264.

Уже в наши дни проф. Ф.Р.Анкерсмит (Гронингенский ун-т, Нидерланды) пришел к выводу о том, что в историческом сочинении понятие "рамы", обрамляющей текст, является важным смыслообразующим элементом. Именно "рама" призвана отделить как прошлое от настоящего, так и пространство текста от пространства читателя. "Рама" для Анкерсмита – это не только яркая метафора, но и строгое понятие историографии. "Каждый историк стремится более глубоко, чем его предшественники, проникнуть в прошлое... Эволюция в историописании, по крайней мере отчасти, направляется постоянными попытками расширить "раму", обрамляющую исторический текст. ...То, что историки зачастую объявляют более глубоким проникновением в реальность прошлого..., оказывается, напротив, движением по направлению к пространству, в котором находится читатель, т.е. к настоящему"⁶⁷. Известный специалист по философии истории фактически исходит из шекспировской метафоры, а его рассуждения находятся в русле развития основных стиливых тенденций современного театрального искусства, среди которых хорошо различима *ироническая* интонация. Рама живописного полотна отделяет пространство картины от пространства, в котором находится зритель. Ее можно уподобить театральному занавесу. Занавес поднимается в начале представления, разделяет представление на акты и опускается в его конце. Аналогичное движение, подобное стремлению историков приблизиться к хронотопу настоящего, происходит в наши дни и в сфере театрального искусства: так театральный занавес нередко становится ироническим признаком театральности и может занимать даже середину сцены; более того, от него вообще отказываются, стремясь создать иллюзию отсутствия пропасти между искусством и жизнью⁶⁸. Увы, всего лишь иллюзию, ибо граница между искусством и жизнью будет существовать всегда, подобно тому как всегда будет предприниматься *поиск абсолюта* – стремление создать *неведомый шедевр*, способный преодолеть эту границу. Сходная ситуация существует и в исторической науке. Отчетливая граница между прошлым и настоящим является тем пределом, к которому постоянно стремится история, но который она никогда не сможет преодолеть, оставаясь сама собой, т.е. наукой о прошлом, и не превращаясь в иную форму научного знания – социологию, политологию или футурологию.

V

Подведем итоги. Одним из существенных событий интеллектуальной истории четырех последних столетий стало принципиальное раз-

⁶⁷ Гавришина О.В. Историческая наука в ситуации "постмодерна". По материалам работы Ф.Р.Анкерсмита "Эффект реальности в трудах историков" (Обзор концепции) // Культура и общество в средние века – раннее новое время. Методология и методики современных зарубежных и отечественных исследований М., 1998. С.150.

⁶⁸ Пави П. Словарь театра М., 1991. С.104-105, 276-277.

межевание между художественной литературой и исторической наукой. Перефразируя известное замечание Ф.Броделя, можно утверждать, что это размежевание было настоящей научной революцией, т.е. одновременно и серией живых событий, и явно медленным процессом большой длительности. "Игра шла разом в двух регистрах"⁶⁹. Этот процесс большой длительности, начавшийся еще в эпоху Возрождения, окончательно оформился лишь к середине прошлого века. Было бы ошибкой считать этот процесс завершенным и необратимым. Интеллектуальная история не стоит на месте – она продолжается. Меняются системы ценностей, поколения и методологические установки. Я не боюсь ошибиться и предполагаю, что знаковым событием интеллектуальной жизни грядущего столетия станет качественно новое соединение литературы и истории – это будет форма научного знания, ориентированного не на монографическое исследование отдельных сторон былого, но на их художественный синтез. Тяжелый и неповоротливый научный язык, доступный лишь узкому кругу специалистов, начинает эволюционировать, превращаясь в историческую прозу. "В наиболее радикальном понимании труд историка становится фактом литературы, а историческое познание – формой эстетического осмысления мира"⁷⁰. Жанр, не позволяющий достичь искомого художественного синтеза, перестает удовлетворять историка.

Вступая в диалог со временем, историк – вольно или невольно – вынужден думать не только о логике, но и о форме изложения результатов своих изысканий, особенно когда у исследователя возникает потребность донести до читателя испытанное им чувство непосредственного контакта с минувшим. Процесс получения нового знания всегда абсолютен, а его результаты – относительны; однако в каждом конкретном случае эта общая закономерность, присущая любой творческой деятельности, предстает перед научным сообществом в *превращенной форме*: собравшись по цеху оценивают именно результат и, как правило, не имеют возможности судить о процессе. Процесс труда исчезает в завершенном и опубликованном произведении, хотя научный поиск, еще не увенчавшийся результатом, нередко характеризуются эмоциональной и эстетической выразительностью, достойной того, чтобы сообщить о ней читателю⁷¹. Но историку приходится думать не

⁶⁹ Бродель Ф. Время мира. Материальная цивилизация, экономика и капитализм, XV-XVIII вв. Т.3. М., 1992. С.554.

⁷⁰ Парамонова М.Ю. "Несостоявшаяся история": аргумент в споре об исторической объективности? Заметки о книге А.Деманда и не только о ней // Одиссей 1997. М., 1998. С. 341.

⁷¹ Это рассуждение применимо не только к гуманитарным наукам. Сошлюсь на выразительное признание авторов классической книги: "Мы испытываем душевный подъем, ибо начинаем различать путь, ведущий от того, что уже стало, явилось, к тому, что еще только становится, возникает. Один из нас посвятил изучению проблемы такого перехода большую часть своей научной жизни и, выражая удовлетворение и радость по поводу эстетической привлекательности полученных результатов, надеется, что читатель поймет его чувства

только о непосредственном контакте с былым временем, он заботится и об обретении непосредственного контакта с временем настоящим. Редкий автор может позволить себе не считаться с мнением профессиональной читательской аудитории⁷².

Стремясь последовательно обосновать какую-либо мысль, заботясь о теоретической доказательности и логической стройности своего повествования, опасаясь весьма вероятных упреков в неосновательности, легковесности и дилетантизме, исследователь вынужден отсекал целый ряд второстепенных сюжетов. Второстепенных как с точки зрения сформулированной им темы, так и с точки зрения сиюминутных интересов научного сообщества и понимаемой им логики развития научного знания. В дальнейшем, в *большом времени истории*, именно эти сюжеты могут переместиться на первый план и стать катализатором развития науки. Такая же участь нередко постигает и смелые гипотезы, вступающие в противоречие с общепризнанной картиной мира: их теоретическая состоятельность проявляется лишь в масштабе длительной временной протяженности. Так обстоят дела не только в науке, но и в искусстве.

"Нужно уметь ошибаться. Нужно знать вкус неудач. Нужно незнание.
В искусстве вообще чаще всего ничего не получается.
Этим искусство и живет..."

и разделит их. Слишком затянулся конфликт между тем, что считалось вечным, вневременным, и тем, что разворачивалось во времени. Мы знаем теперь, что существует более тонкая форма реальности, объемлющая и время и вечность".
— *Пригожин И., Стенгерс И.* Порядок из хаоса. С.37-38.

⁷² Еще 20 лет назад известный советский историк был вынужден печатно извиняться за отступление от канона: "Пусть простят меня строгие судьи — мои собратья по цеху историков-специалистов, и взыскательные читатели, не любящие каких-либо отклонений от установленных норм, за то, что вместо изложения подтверждаемых точными документами подробностей решающего для судьбы Демулена заседания я пошел несколько иным путем. Я попытался, опираясь на предоставленное историку право дивинации, нарисовать ту же картину исключения Демулена из Якобинского клуба, но несколько иначе: через восприятие его женой Камилла — Люсиль Демулен" (*Манфред А.З.* Три портрета эпохи Великой французской революции. М., 1979. С.378). Автор не пояснил, кто предоставил историку "право дивинации" и в чем именно оно заключается. Полагаю, что А.З Манфред сделал это сознательно, дабы не усугублять свою вину за отступление от марксистского канона: "величайшим мастером исторической дивинации" был Вальтер Скотт, ее теоретическое обоснование было впервые дано Огюстеном Тьерри и это право неоднократно использовалось французскими романтиками историками эпохи Реставрации. "...Способность "дивинации", как выражается Тьерри, — одна из главных способностей историка; это не что иное, как сила сочувствия, на которую он способен. Поэтому она зависит от его личного и общественного опыта, от эпохи, свидетелем и участником которой он был. "Пусть каждый благоразумный человек... проверит своими собственными воспоминаниями то, что он читал или слышал о событиях прошлого: он тотчас же почувствует жизнь под пылью веков..." (*Реузов Б.Г.* Указ. соч. С.119). Совсем другое дело — сознательный эпатаж научного сообщества, с которым у многих исследователей ассоциируется постмодернистский дискурс. Считаю нужным обозначить наличие этой весьма актуальной проблемы, но ее содержательное рассмотрение находится вне рамок данной работы.

Новые формы в искусстве являются не для того, чтобы выразить новое содержание, а для того, чтобы заменить старые формы, переставшие быть художественными..

Разные эпохи способны ощутить разное, и у каждой эпохи есть нечто закрытое для ее восприятия...

Те, кто не хотят искать, а режут купоны старых традиций, думают, что они представители старой школы.

Они ошибаются. Нельзя творить в уже найденных формах, так как творчество – изменение".⁷³

История творческой деятельности человека знает множество подобных примеров, поэтому невозможно отдельно изучать историю идей, с одной стороны, и историю условий и форм интеллектуальной деятельности – с другой. "...Принципиальным становится учет взаимодействия, которое существует между движением идей и их отнюдь не абстрактной "средой обитания", теми социальными, политическими, религиозными, культурными контекстами, в которых идеи порождаются, распространяются, извращаются, модифицируются, развиваются"⁷⁴. Именно это обстоятельство обусловило выход интеллектуальной истории за свои прежние горизонты и привело к превращению истории творческой деятельности человека в самостоятельную историческую субдисциплину⁷⁵. Можно предположить, что изучение исторических аспектов всех видов творческой деятельности человека, включая ее условия, формы и результаты, будет с трудом укладываться в прокрустово ложе традиционной монографии. *Ныне монография пребывает в отсутствии любви и смерти*. Роберт Дарнтон с тревогой был вынужден констатировать, что в 90-е годы "периодические издания вытесняют монографии из библиотек". Возникает резонный вопрос: "...А не

⁷³ Шкловский В.Б. Гамбургский счет: Статьи – воспоминания – эссе. (1914-1933). М., 1990. С.34,79, 93.

⁷⁴ Релина Л.П. Что такое интеллектуальная история? // Диалог со временем: Альманах интеллектуальной истории. 1/99. М.: ИВИ РАН, 1999. С.6. Ср. рассуждение Ролана Барта: "В общем, литература проходит сразу по двум ведомствам: по ведомству истории, в той мере, в какой литература является институцией; и по ведомству психологии, в той мере в какой литература является творчеством. Следовательно, для изучения литературы требуются две дисциплины, различные и по объекту, и по методам изучения. В первом случае объектом будет литературная институция, а методом будет исторический метод в его самой современной форме; во втором же случае объектом будет литературное творчество, а методом – психологическое исследование" (Барт Р. Избранные работы: Семиотика: Поэтика. М., 1989. С.211).

⁷⁵ Уже сейчас можно выделить следующие аспекты этой дисциплины: богословский и религиозно-философский; военный; гендерный; географический; демографический; естественнонаучный; идеологический; историографический; культурологический; лингвистический; науковедческий; педагогический; политологический; правовой; психологический; социологический; философский; формально-логический; экономический; эстетический; этический. Разумеется, что предлагаемая систематизация носит описательный характер: она не претендует на исчерпывающую полноту, лишена содержательной характеристики каждого из выделенных выше аспектов и абстрагируется как от выявления связей и взаимодействий между ними, так и от любых попыток дифференцировать эти аспекты по степени их сравнительной важности. Это еще предстоит сделать.

исчезнет ли научная монография как жанр вообще и не лишатся ли историки своего хлеба насущного?"⁷⁶

Кризис исторического знания, о котором так много говорят и пишут в наши дни, связан, прежде всего, с формой и логикой изложения полученных результатов. В этой связи уместно обратиться к опыту Фаусто Николлини – крупнейшего представителя итальянской историографии XX века, друга и биографа великого неаполитанского философа и историка Бенедетто Кроче. И тот и другой обладали завидным умением "легко делать серьезные дела", которое было отличительной чертой неаполитанской культуры в целом.

"Стиль Николлини несколько напоминает стиль Кроче: они оба не любили пафоса и риторики, имея склонность к спокойному повествовательному и даже подчас разговорному стилю. Его работы – это всегда диалог... Историк стремился максимально заинтересовать читателя; он вообще считал излишне строгий стиль типичным недостатком молодых авторов... Увлеченность историка сюжетом обнаруживается практически в каждой публикации Николлини. Он не стеснялся этого, считая вполне допустимым для историка быть захваченным страстями, описываемыми им в своих сочинениях. При этом Николлини никогда не "помещал" себя мысленно в описываемую эпоху, оставаясь очень заинтересованным, но все же посторонним наблюдателем. Его собственная идентичность во времени прослеживается во всех произведениях. Видна увлеченность, но это – увлеченность профессионала"⁷⁷.

Важнейшая цель, которая объективно стоит в наши дни перед обществом исследователей интеллектуальной истории, заключается именно в том, чтобы *дать опыт новой формы научного дискурса* – формы, отчасти напоминающей "Героя нашего времени": неоднозначность образа Печорина формируется в читательском восприятии за счет изменения авторской интонации в относительно самостоятельных главах романа, написанных с различных точек зрения и в различной стилистической манере (путевой очерк, философская повесть, приключенческая новелла, исповедь в форме дневника). Объект исследования станет рассматриваться под различным ракурсом, а логика исследования, направленного на приращение нового знания и обретение нового смысла, уже не будет плавно и последовательно, равномерно и прямолинейно скользить от введения к заключению. "Рисование по клеточкам", при котором четко очерчены контуры предмета и его границы, имеет несомненное достоинство с точки зрения дидактики и пропедевтики; однако при таком подходе нет места удивлению, без

⁷⁶ "Первоклассные монографии, которые заслужили множество престижнейших наград, расходятся в мизерных количествах. Дарнтон проницательно видит и следствие такого положения: начинающему историку все труднее становится опубликовать свою первую книгу, а часто это является решающим для его дальнейшей академической карьеры и профессионального роста. Идя в ногу со временем, Дарнтон предлагает использовать систему Internet и публиковать электронные монографии". – Рубинштейн Е.Б. Роберт Дарнтон: "интеллектуальная история снизу" // Диалог со временем. С.278.

⁷⁷ Андронов И.А. Интеллектуалы Неаполя: Фаусто Николлини, его друзья и герои // Диалог со временем. С.133.

которого невозможны ни смена исследовательской парадигмы, ни движение науки вперед. В противовес этому в новом дискурсе мысль и интонация исследователя будут *пульсировать*: предполагается постоянный возврат к уже рассмотренным вопросам, осуществляемый на новом витке спирали, в ином временном и пространственном масштабе, т.е. возвратно-поступательное движение мысли по пространству и времени, сопровождаемое изменением авторской интонации.

Поверхностно это может выглядеть как внешне весьма эффектное противостояние панегирической и потаенной истории, однако задача не в том, чтобы развенчивать былые мифы и срывать сросшиеся с кожей лица маски исторических персонажей, а в том, чтобы проследить все превращения истины в социальном пространстве и времени. Исследователи интеллектуальной истории станут стремиться не только к установлению фактов прошлого, но и к яркому, живому их изображению. В чем заключается *ремесло историка*: оживить прошлое или же украсить его? Эта проблема имеет давнюю историю. Классическая французская историография XVIII столетия полагала, что литературное совершенство исторического сочинения определяется не только литературным мастерством историка, но и его умением выбирать выигрышные темы: форма произведения мыслилась как некая априорная данность, не подчиняющаяся материалу. Историк придавал "привлекательную" форму историческому материалу, а не обнаруживал ее в нем. В истории так же, как и в искусстве, важно было умение выбирать: не всякий исторический материал годился для написания истории. Французская романтическая историография XIX века предложила иное решение этой проблемы. Стиль историка перестал восприниматься исключительно в качестве косметики, без которой "подлинная" наука может обойтись. *Стиль стал орудием исследования и методом познания*. Воинствующий романтик О.Тьерри, осознававший собственное родство с современным литературным движением и считавший себя одним из его деятелей, фактически создал "новую историческую поэтику во всех основных и принципиальных ее положениях"⁷⁸. В конце

⁷⁸ Реузов Б.Г. Указ. соч. С.15-16, 52, 104, 122. "Тьерри понимал, что книга его может приобрести драматический интерес только в том случае, если ее композиционным принципом будет единство исторических событий. Тем самым он создал принцип исторического единства, столь характерный для французского исторического романа. Это – единство процесса, цикл событий, имеющих единый исторический смысл. Понятие широкое и емкое, не ограниченное никакими внешними правилами, определяемое лишь идейной интерпретацией событий. Такое единство должно было возникнуть из материала, оно требовало воображения и творческой мысли, и в каждом произведении проявлялось по-разному. На место единства классического и формального Тьерри поставил единство романтическое и шекспировское, единство смысловое. Оно-то и создало это огромное патетическое "полотно" из груд материалов, погребенных в хрониках, легендах и балладах... "Литература" в работах Тьерри не была компромиссом, на который наука соглашается ради популяризации или удобства изложения. Стиль для него – не косметика, но орудие исследования. Местный колорит, реставрация эпохи на основании характерных деталей, весь этот исторический

XX в. мы вынуждены вновь практически решать эту классическую проблему. Проблема исторического познания снова оказывается проблемой стиля, а борьба за научный метод вновь предстает как борьба за стиль. Уже сейчас у сторонников "новой историографии" "нарратив" трактуется расширительно, превращаясь в метод написания истории, суть которого исключительно точно сформулировала О.В.Гавришина: "текст историка в целом – с заглавием, эпиграфами, ссылками и примечаниями – рассматривается как особая форма репрезентации прошлого, степень истинности которой зависит от правильности риторического построения текста в гораздо большей мере, чем от истинности приводимых "исторических фактов"⁷⁹

Ученый, приступая к теоретическому исследованию и размышляя о форме изложения полученных результатов, предпочтет выбрать не традиционный научный жанр, каковым продолжает оставаться монография; нет, он изберет жанр более художественный. Стиль вновь, как и во времена Тьерри, превратится для историка в необходимое орудие исследования и эффективный метод познания. Восстаноятся "старые добрые отношения между гигантами и карликами"⁸⁰. Гиганты, отказавшись от высокомерных притязаний насильно вырвать у истории признание в том, как все было на самом деле, откажутся и от попыток судить прошлое, столь характерных для карликов. Стремление же его понять потребует от историка пристального внимания к собственной интонации в диалоге с минувшим. Это – еще одна метафора. "Быть может, всемирная история – это история различной интонации при произнесении нескольких метафор"⁸¹.

анализ для своего осуществления требовал художественного синтеза". – Там же. С.117, 122.

⁷⁹ Культура и общество... С.132 (прим.66).

⁸⁰ "Новая история", "новая социальная история", "новая интеллектуальная история": употребление применительно к истории прилагательного "новая" особенно подозрительно. Не лучше ли попытаться возродить в историографии старые добрые отношения между гигантами и карликами... Наиболее важен результат, к которому нас подводит изучение структур "большой длительности" в историографии, состоит в том, что в основании изучения прошлого на протяжении 200 лет мы неизменно обнаруживаем историзм... Но, с другой стороны, надо отметить, что сегодня нам, без сомнения, не хватает общей программы в области историографии, которая бы смогла объединить историков разных стран. Сообщества "единой интерпретации" не существует, и нет Ранке или Броделя, чтобы встать во главе. – *Олабарри И.* "Новая" новая история: структуры "большой длительности" // Там же. С.103, 122, 123).

⁸¹ *Борхес Х.Л.* Проза разных лет. С.202.

И.В.Смердов (Нижний Новгород)

“Кризис западной философии” В.С.Соловьева как философская история: опыт нарративного анализа

Творчество Владимира Соловьева пользуется неослабным вниманием исследователей русской философии¹. Одним из самых известных текстов философа является его магистерская диссертация “Кризис западной философии. Против позитивизма”, защищенная в 1874 г. В ней он проделал опыт систематизации и концептуального изложения предшествующей европейской философии. Соловьев предложил интерпретацию европейской философии как всемирного процесса, в котором наметилось возвращение к религиозной проблематике на уровне теоретической рефлексии. Для русской культуры эта работа ознаменовала собой возрождение интереса к метафизике и религиозной философии. Для самого Соловьева, по мнению современного исследователя, “главная идея произведения – религиозное призвание философии и культуры – окажется ведущим мотивом его творчества”². “Кризис западной философии” интересен сегодня тем, что в нем очевиден момент складывания философской концепции – философия всеединства находится здесь на стадии развертывания в огромном пространстве истории философии. Наличие в тексте многочисленных “других” голосов облегчает попытку нового прочтения Соловьева – как рассказчика “философской истории”.

Обычно исследователи русской философии рассматривают текст “Кризиса” как описание развития европейской философии, преодолевающее узость славянофильского подхода. В этом случае они невольно продолжают традицию философствования, порожденную отчасти

¹ Полемические и одобряющие отклики на магистерскую диссертацию молодого автора появились в 1870-е гг. (М.И.Владиславлев, Н.Н.Страхов, К.Д.Кавелин, В.В.Лесевич, А.А.Козлов, Н.К.Михайловский). Отчасти пытался полемизировать с Соловьевым много лет спустя Е.Н.Трубецкой в книге “Мирозерцание Владимира Соловьева”, доказывая шеллингианское происхождение “Кризиса”. Известны практически лишенные критики (канонизация составлялась) обзоры (А.Никольский, А.Казлас, С.М.Лукьянов, С.М.Соловьев, К.В.Мочульский, А.Ф.Лосев и т.д.). За неимением места мы опускаем список работ, подтверждающий высокий “индекс цитирования” “Кризиса”.

² Межуев Б.В. “Кризис западной философии” // Русская философия. Словарь. М.: Республика, 1995.

самим В.Соловьевым, и вынуждены не то чтобы разделять его взгляды, а некритически интерпретировать некоторые его устаревшие положения (о кризисе европейской философии в целом, о необходимости иного, "цельного", взгляда на философию, о синтезе философии и религии и т.д.), что сказывается и на их конечных выводах.

На мой взгляд, "Кризис", как любой историко-философский, философский и литературный текст, принадлежит в первую очередь к истории интеллекта и представляет собой порождение гуманитарной мысли. Такая предпосылка выводит анализируемый текст за рамки сложившейся традиции, и тогда предметом исследования оказываются сам процесс творчества автора (в данном случае, В.Соловьева как писателя и историка философии), механизмы порождения текста и его структура. Этот подход существенно отличается от таких хорошо известных в истории философии исследовательских стратегий как выяснение "философской концепции", анализ "основных идей" и "выводов автора" и т.д. Он дает возможность изучать историю философии (изложенную в хорошо известном тексте) с точки зрения того, как эта история в нем представлена, каким образом автор конструирует свою концепцию, какую роль играют в тексте навыки сочинительства, связанные с литературной традицией (речевые фигуры, тропы).

Описанный выше подход позволяет предложить читателю не просто еще одну интерпретацию "Кризиса западной философии", а обнаружить в философском тексте процесс производства смыслов, формы их фиксации и изменения. Такой ракурс рассмотрения "Кризиса" дает возможность нового осмысления как самого содержания текста, так и его места в историко-философском знании последней трети XIX в. "Кризис западной философии", как ни один другой текст Соловьева, насыщен прямыми и косвенными цитатами (результат стремления автора к научной объективности диссертационного исследования), а также интертекстуальными вкраплениями и невольными подражаниями. Как правило, исследователи, сталкиваясь в "Кризисе" с избытком историко-философского материала, не углублялись в повествовательную ткань произведения, предпочитая делать акцент на первых и заключительных страницах, где наиболее четко прописаны основные идеи, т.е. выявляется авторский голос.³ Свою же задачу я вижу в том, чтобы проследить соединение в пространстве текста авторского видения мира с мировоззрением его героев (персонажей философского повествования), со множеством "предрассудков" философского, научного и обыденного сознания, с формами современной автору повествовательной традиции, короче говоря, постараться ответить на вопрос "что есть данный текст" с помощью эвристического проекта, условно обозначенного формулой В.Шкловского – "как сделан текст".

Этой цели, на мой взгляд, наиболее соответствует нарративный анализ, под которым обычно понимается совокупность исследователь-

³ Мочульский К.В. Гоголь. Соловьев. Достоевский. М., 1995. С.88.

ских стратегий, направленных на выявление различных форм повествования, т.е. составляющих картины мира (пространства, времени, форм причинности), повествовательных инстанций и приемов, участников воссоздаваемых в повествовании событий и их функций. Развитие нарратологии как теории повествования и ее последующих модификаций, происходило в основном в сфере, пограничной лингвистике и литературоведению, которую точнее можно обозначить как проблемное поле филологии. Из всего многообразия нарратологических концепций⁴ назову в качестве важнейших для данной работы теорию функций в повествовании В.Я.Проппа⁵, классификацию повествовательных функций и теорию уровней повествования Р.Барта⁶. Некоторые положения теории литературы Ц.Тодорова, суть которой в том, что литература представляет собой "системно организованный язык"⁷, позволяют рассматривать тексты В.С.Соловьева как литературно-повествовательные. На формирование понятийного аппарата и определение содержания базовых слов оказала влияние концепция Б.В.Томашевского⁸. Техника дешифровки "рассказанной истории" в текстах, не принадлежащих к традиционно понимаемой литературе, лучше всего, на мой взгляд, представлена в работах Ф.Джеймсона⁹. Концепция исторического нарратива Х.Уайта¹⁰, с ее технологией поиска в тексте "воплощений в сюжет" и "типов аргументации", оказалась применима к историко-философскому содержанию "Кризиса". Книга Л.Шайнера "Тайное зеркало"¹¹ послужила образцом применения категории нарративного анализа к отдельно взятому тексту.

Приравнивание философского текста Соловьева к литературному повествованию влечет за собой трудности методологического характера, связанные как с необычностью формального подхода к считающейся идеологически нагруженной русской философской классике, так и с выбором аналитических приемов. Текст Соловьева не коннотативен, т.е., как правило, не несет "вторичного значения, означающее ко-

⁴ Очерк развития нарратологии представлен в книге: Современное зарубежное литературоведение (страны Западной Европы и США): концепции, школы, термины. Энциклопедический справочник. М., 1996. С.63-79.

⁵ *Пропп В.Я.* Морфология сказки. М.: Наука, 1969. С.167. К художественной литературе эту теорию применил К.Бремон. – *Бремон К.* Логика повествовательных возможностей // Семиотика и искусствознание. М., 1972. С.108-135.

⁶ Она была реализована, в основном, на примере художественных текстов. – *Барт Р.* Введение в структурный анализ повествовательных текстов // Зарубежная эстетика и теория литературы XIX-XX веков: трактаты, статьи, эссе. М.: МГУ, 1987. С.387-422.

⁷ *Тодоров Ц.* Понятие литературы // Семиотика. М.: Радуга, 1983. С.361.

⁸ *Томашевский Б.В.* Теория литературы. Поэтика. М., 1996. С.334.

⁹ *Jameson F.* The Vanishing Mediator; or, Max Weber as Storyteller // *Jameson F.* The Ideologies of Theory. Essays 1971-1986. V.2. Syntax of History. L.: Routledge, 1988. P.3-35.

¹⁰ *White H.* Metahistory. The Historical Imagination in the Nineteenth Century Europe. L.: J.Hopkins Univ. Press, 1973. P.1-7.

¹¹ *Shiner L.* The Secret Mirror. Literary Form and History in Tocqueville's Recollections. Ithaca: Cornell Univ. Press, 1988. P.224.

тогого само представляет собою знак"¹², что ведет к обеднению лингвистической стороны анализа. Персонажи философского повествования редуцированы до их ключевых идей и выполняют только функции введения этих идей (особенно если в центре повествования оказывается длительный период развития мысли) и это повышает значимость авторской интерпретации того или иного события-мысли, т.е. дает возможность говорить о поэтике философии В.Соловьева. Поэтому терминология настоящего исследования – в основном литературоведческая, с небольшими дополнениями из классической логики. В нем используется расширенное, по сравнению с формалистским, определение метафоры как "смысловой структуры, задающей содержательные характеристики рациональности"¹³. В работе не ставится задача критики взглядов тех или иных философов и уточнения отдельных положений, а анализируются способы и возможности репрезентации их идей в тексте "Кризиса западной философии".

Художественные и стилистические достоинства произведений Соловьева отмечали почти все, кто о нем писал. Мало того, по мнению друга Соловьева, философа Л.Лопатина, "высокую художественность изложения" в творчестве Соловьева ценили в первую очередь, считая его философские идеи "выражением чудачества очень капризного, хотя и очень большого ума"¹⁴. Так что в обращении к "литературности" соловьевской философии есть момент ретроспективного формального оправдания лестных отзывов, которые сто лет назад были основаны только на лингвистической интуиции.

Композиция "Кризиса западной философии"

С точки зрения композиции, "Кризис" – это пять глав, обрамленные Введением ("Развитие западной философии от схоластики до Канта") и Приложением ("Теория Огюста Конта о трех фазисах в умственном развитии человечества"). Очевидна аналогия с классической драмой, которая будет наглядней, если перечислить главы последовательно.

Введение – пролог с экспозицией, которая представляет собой изложение главных принципов выведенных на сцену персонажей – основных направлений философии. В главе-завязке описывается послекантовский этап философии, где Призрак *Ding an sich* (по Соловьеву, в духе философии всеединства, "внутренняя сущность мира") то и дело появляется, напоминая о невозможности познания некоего "сущего", пока наконец не исчезает при упоминании о том, что "весь мир представления... является как одно целое с одним общим характером"¹⁵. Во второй главе описаны системы двух новейших представителей фило-

¹² Барт Р. *S/Z*. М.: Ad marginem, 1994. С.16.

¹³ См. статью "Метафора" в книге "Культурология. XX век. Энциклопедия". СПб.: Университетская книга, 1998. С.36.

¹⁴ Лопатин Л.М. Философские характеристики и речи. М.: Academia, 1995. С.112-113.

¹⁵ Соловьев В.С. Сочинения в 2-х т., Т. 1. М.: Мысль, 1988. С.55. В дальнейшем ссылки на это издание даны в тексте в квадратных скобках.

софии кризисного периода – Шопенгауэра и Гартмана. Призрак *Ding an sich* появляется многократно, пока не исчезает в "бессознательном" Гартмана. В третьей главе автор иллюстрирует "односторонность" и "формальную ограниченность" (основные метафоры кризиса) новейших философий. В четвертой, кульминационной, главе автор дает еще одно историческое описание кризиса, но теперь уже с заявкой на оптимистический финал в том смысле, что чем хуже, тем лучше. И наконец, в пятой главе найден некий "положительный результат философии бессознательного", которая "с логическим совершенством *западной формы* стремится соединить *полноту содержания духовных созерцаний Востока*" [С.122].

Основная идея текста выведена в заголовок, напоминающий диагноз. Перед автором изначально стояла задача выбора подхода и, в его рамках, сужения темы до разумных границ. Предметом исследования является, строго говоря, даже не европейская философия, а "общие результаты философского развития". Поскольку о необходимости отслеживать конечный результат европейской философии никто в научном стиле тогда не писал, то ясно, что автор, чтобы ставить вопрос о конце философии, должен был исследовать все или большинство серьезных философских концепций. Соловьев взял наиболее репрезентативных представителей европейского идеализма за тысячу лет.

Как же подбор действующих лиц отразился на композиции произведения? Основные идеи схоластов от Эригены до Аквината уместились на двух страницах, правда с последующей оговоркой о явной "аналогии развития между схоластикой и новой философией (до Гегеля включительно)". "Сущность той и другой – борьба самочинного разума, мыслящего я, с внешним ему началом: в схоластике – с внешним авторитетом церкви, с внешностью историческою, в новой же философии – с внешним бытием природы, внешностью физической" [С.11]. Во Введении для Соловьева был важен не столько ход мыслей того или иного философа, сколько его роль в том блоке проблем, которые ставятся в соловьевском повествовании об истории рационализма и эмпиризма. Поэтому персонажи Введения, пролога европейской философской истории, и отчасти первой главы, функциональны и занимают свое место в схеме развития, которую, кстати, в ЗаклЮчении Соловьев привел в виде классической схемы силлогизма [С.106-107]. В ней заложена идея композиции исторического исследования, которое представлено во Введении и первой главе диссертации.

Структура замысла всего произведения сложнее и не может быть сведена к одной схеме. Конечно, наличие первоначального алгоритма вполне обосновано самой необходимостью объяснить, что такое кризис философии.¹⁶ Усложнение замысла текста связано с тем, что системы Шопенгауэра, Гартмана и Конта Соловьев анализирует как не-

¹⁶ Любопытно, что критиковать эту схему за приблизительность (а она, конечно же есть) или дополнять ее никто из оппонентов Соловьева не стал.

классические (т.е. с ними можно спорить) и упрекает авторов “в гипостазировании относительных отвлеченных понятий” [С.84]. Так что повествование по схеме силлогизма заканчивается на учении Гегеля. Далее идет анализ современных автору мыслителей. Таким образом, повествование распадается на две части – схему развития философии до Шопенгауэра (Введение и послекантовский этап) и изложение двух новейших философских систем. Автор стремится подчеркнуть их ограниченность, причем самое интересное, что четкого разделения между историческим и полемическим типами повествования нет, что предполагает наличие сложного механизма взаимодействия.

Открывается повествование в “Кризисе” короткой авторской ремаркой: “Философия в смысле отвлеченного, исключительно теоретического познания окончила свое развитие и перешла безвозвратно в мир прошедшего” [С.5]. Чуть позднее автор припишет нелестное свойство “незрелости мысли” целым направлениям европейской философии – материализму и спиритуализму [С.110]. Славянофильское влияние наиболее остро чувствуется здесь¹⁷.

Функции персонажей в пространстве философии

Философия, по Соловьеву, “начинается раздвоением между личным мышлением как разуму и общенародною верою как авторитетом”, и “есть всегда дело личного разума” и “начало распада между теорией и практикой, между школой и жизнью” [С.7, 91]. Это дает нам основания представить саму философию как систему текстов, порожденных этими самыми “личными разумами”, а историю философии как процесс и автономное пространство мысли внутри культуры, где, во-первых, есть борьба “мировоззрения отдельных лиц” и “общего мировоззрения народов” [С.6], что и составляет начало философии, а во-вторых, время течет несколько иначе, чем в реальном мире явлений. Здесь каждый последующий момент не отменяет предыдущий, а обретает ценность в отношении к той или иной системе постулатов как ее элемент, и мало того, ценен сам по себе как “дело личного разума”. “Философское время” в повествовании имеет начало (момент, “когда для отдельного мыслящего лица вера народа перестает быть его собственной верой, теряет для него значение внутреннего безотчетного убеждения, из начала жизни становится предметом мышления” [С.6]) и должно, по Соловьеву, иметь конец в виде “совершенного внутреннего единства умственного мира” [С.122]. Проще говоря, чисто логически, мысленно, конец философии для автора уже наступил, а вот с точки зрения некоего будущего единства всех типов знания сам Соловьев еще должен был что-то в философии сделать.

Героями здесь оказываются отдельные философы и их системы, наборы постулатов, которые отличают их от господствующего общего

¹⁷ И. Киреевский считал, что “на Западе разум дошел до сознания своей ограниченности и отрицательности”. О его влиянии на первую большую работу Соловьева см.: *Мочульский К.В.* Указ. соч. С.90-91.

мировоззрения или способа мышления, причем соотношение между компонентами образа того или иного философа оказывается разным в зависимости от того, какую роль ему придает автор повествования/рассказчик, т.е. от сюжетной функции¹⁸. По Соловьеву, в области теоретической мысли "высказана мысль – сделано дело, ибо здесь мысль есть дело, есть все" [С. 91]. В этом философском пространстве, мифопоэтическая природа которого обусловлена тем, что оно существует только как совокупность дискурсов отдельных персонажей-философов, выбившихся из хаоса бессознательной "народной веры", происходит инспирированный повествователем диалог особых персонажей. Это не просто личности, а некие персональные мифологии, которые в безликом философском повествовании иногда отводят на второй план своих творцов. Повествователь проявляет свою власть над персонажами, оставляя от них в итоговом тексте только ту часть, которая соответствует сюжету – движению к состоянию кризиса – "одностороннему преобладанию рассудочного анализа" [С.84]. Все нефилософские пристрастия представляемых персонажей остаются за пределами повествования, и это идет не от неумения писать живо. Прекрасно известно, что впоследствии Соловьев очень увлекательно описал философские биографии Канта, Гегеля, Гартмана¹⁹.

Нельзя сказать, что автор знает о жизни и творчестве философов пропорционально их исторической близости к нему. Он опирается в основном на работы самих философов, очень редко использует косвенные источники и, где может, отсылает читателя к известным работам²⁰. В историческом Введении "Кризиса" все персонажи функциональны и равны в итоге своим основным идеям, уступают место своим системам. Например, "первый средневековый мыслитель", Иоанн Эригена (обширная цитата из его сочинения *De divisione naturae* приводится во Введении), сведен в этом философском пространстве к утверждению, что "истинен один разум, и авторитет теряет всякое значение; если он согласен с разумом, то он, очевидно, не нужен, если же он противоречит разуму, то он ложен" [С.8]. Функция Эригены в повествовании – поставить под сомнение необходимость внешнего авторитета. Тем самым эта функция характеризуется внутренней двойственностью. С одной стороны, это роль культурного героя. От него в европейской культуре, по Соловьеву, берет начало новый вид культурной деятельности – философское сомнение, которое не выходит за рамки, очерченные своей госпожой – теологией. С другой стороны, это роль трикстера в системе средневекового религиозного мировоззрения, опирающегося на авторитет веры. В соответствии с поставленной в

¹⁸ По В.Я.Проппу, это "поступок действующего лица, определенный с точки зрения его значимости для хода действия. – Пропп В.Я. Указ. соч. С.30.

¹⁹ Философский словарь Владимира Соловьева. Ростов-на-Дону, 1997.

²⁰ Например, он рекомендует работу А.Штекля о философии XV-XVI вв. или, не утруждая себя всесторонней критикой философии Гегеля, отправляет читателя к статье Н.Гилярова-Платонова в "Русской беседе".

работе целью Соловьев не хотел в тысячу первый раз опровергнуть религию, скорее, он занят отысканием ей новой социальной роли. Сюжет его повествования – восстановление религиозности философии в системе ее универсального синтеза с наукой, стало быть, преодоление в личном философском разуме разрыва между религией и наукой.

Заметим, что у монофункциональных персонажей (неважно, в хроникальном Введении или последующих главах) количество функций могло быть больше, но этому препятствует критическое отношение автора к отвлеченной метафизике. Абеляр – доказал, что “авторитет не согласен даже с самим собою по всем важным и неважным вопросам”. Фейербах – “переход *ad hominem* в германской философии”. Штирнер – “исключительное самоутверждение отдельного я”.

Вернемся к Введению, где задачи проще – дать историю проблемы и подготовить последующий романный дискурс с многочисленными фигурами прерывностей, параллелями, метафорами познания и неожиданными логическими сцеплениями. Уже здесь возникает первый многофункциональный персонаж, который встретится в пятиглавии неоднократно. Фигура Декарта выглядит сложнее всех схоластиков вместе взятых (у него три функции). Первая, принцип *cogito ergo sum*, возникает из параллели с Эригеной, производя логическое сцепление в повествовании поверх огромной исторической прерывности, которую допускает автор. Здесь хронологический разрыв компенсируется логическим сцеплением. В третьей главе автор сталкивает этих героев в инверсированной исторической перспективе. После “переворота Картезия” “существенный характер схоластического мировоззрения сохранился вполне” [С.76]. Там возрождение мотива схоластики связано с “догматической метафизикой Вольфа”.

Другая функция – введенный “критерий истинности наших познаний”, который у Соловьева для большей убедительности дан в подлиннике. Третья функция – введение “субстанции мыслящей – *res cogitans*, и субстанции протяженной, или телесной, – *res extensa*”, которая дает логическое сцепление с рассказом о Спинозе, а потом через отрицание понятия “субстанции” – и с Лейбницем.

И все же пространство во Введении допускает параллельное развитие, соответственно с еще одной прерывностью. И хотя в нем один уровень повествования – хроникально-исторический, в его рамках персонажи не исчерпываются одной функцией. В последующих основных главах повествовательный дискурс усложняется и “отдельная функция обретает смысл лишь постольку, поскольку входит в круг действий данного актанта”²¹.

Рассмотрим до конца функции действующих лиц Введения. Автор допускает, что все персонажи заняты поиском истины, а она познается исследованием. Поэтому функция у них в какой-то мере однотипная – познание истины, но истина выражена в разных тезисах. Цепочка ис-

²¹ Барт Р. Введение в структурный анализ..., с.393.

следовательских проблем, связанных с поиском истины, выстраивается, с точки зрения и словами нашего философа, следующим образом:

Эригена//Декарт – “самодержавность разума” (отметим сразу интересную философскую метафору, которая подтверждена у Соловьева цитатами на языках оригиналов).

Декарт – “признает подлинное существование множества тел и множества духов” (традиционно “дуализм”).

Спиноза – предстает в виде “формулы спинозизма” – “Под субстанцией разумею то, что есть в себе и через себя понимается”, данной у Соловьева на латыни с переводом. Функция культурного героя – “снял отвлеченную двойственность, признавши субстанциональное тождество мышления и протяжения, души и тела”.

Лейбниц – “произвел действительный синтез понятий души и тела” (традиционно “монадология”). С Лейбницем связан интересный постоянный мотив – введение права на ошибку. “Главное заблуждение Декарта, по мнению Лейбница, состоит в бессмысленном отождествлении протяжения с телесной субстанцией” [С.17].

Далее следует прерывность в описании развития философии, поскольку, как кажется автору, последний участник “пришел к идеалистическому утверждению и скептическому вопросу”, и все начинается сначала, только описания функций делаются короче и схематичнее.

Бэкон – “положительное содержание его воззрений... не имеет философского характера, не выходя за пределы вульгарного взгляда, по которому представляемый нами мир имеет безусловную действительность со всем многообразием своего предметного содержания”.

Гоббс – “значение сущего приписывает исключительно внешнему телесному бытию”.

Локк – “все содержание внешнего мира имеет субъективный характер” (изложение философии Локка настолько быстро переходит к цитате из Беркли, что трудно уследить грань между ними). Чуть позднее в третьей главе у этих персонажей появится общая функция “удара по схоластике”.

Беркли – “все вещественные предметы внешнего мира суть лишь наши представления или идеи”.

Юм – “все, что мы знаем, есть или наши чувственные впечатления и ощущения, или их воспроизведение в воображении и мысли”.

Следует очередная прерывность в рассказе, поскольку, по Соловьеву, “возникло новое философское развитие, начатое Кантом” [С.24]. С одной стороны, здесь повествование окончательно покидает интернациональную почву и сосредотачивается в немецком идеализме и позитивизме без границ. Здесь усложняется философское пространство, в нем появляются возможности нелинейного и даже обратного движения по оси времени. Становится труднее сводить мнения персонажей к единым формулам-функциям, поскольку философские дискурсы немецкого идеализма анализируются достаточно подробно.

Но вначале одно замечание. Доселе была лишь экспозиция кризиса. Перипетии современного автору философского процесса он описывает не хронологически последовательно, как раньше, когда в прерывном, но еще подчиняющемся обычной хронологии потоке истории философии персонажи появлялись один за другим. Теперь наблюдаются многочисленные инверсии. Первая глава повествования начинается с интересной метафоры, прямо-таки квинтэссенции философского европоцентризма: "ум человеческий (представляемый западными мыслителями) успокоился наконец на отрицательном результате позитивизма". И тут же нашелся новый культурный герой – Э.Гартман, которому принадлежит "последняя попытка" разрешения основных "задач мысли". Здесь автор бросает читателю завязку-проблему, которая усаживает в позу роденовского мыслителя даже современного читателя: а можно ли вообще разрешить эти "вопросы мысли". Ответ Соловьева известен – можно, если это будут уже не односторонние вопросы мысли, а части единого синтеза. Так закрадывается в текст ключевая для соловьевского творчества и типа жизненного поведения идея "примирения" различных, назовем это поздним соловьевским термином, "отвлеченных начал" (впрочем, уже в "Кризисе" проскальзывает мотив "одностороннего отвлечения" при характеристике рационалистического и эмпирического типов познания [С.107-108]).

В последующем пятиглавии мы наблюдаем распад повествования-хроники с преобладанием однотипных персонажей-функций и переход к интригующему романному повествованию, где персонажи другие, хотя выведены иногда под тем же именем. Это более напоминающие обычных людей многофункциональные персонажи, со своими ошибками, заблуждениями, идолами сознания и предрассудками. Они теперь становятся героями романного философского повествования.

Романное философское повествование в "Кризисе"

На первой же странице пятиглавия автор, упомянув о Гартмане, возвращается "назад к Канту" и даже догматизму Вольфа. Налицо разрыв между фабулой истории в традиционном смысле слова (движение от раннего к позднему) и сюжетом "Кризиса", подчиненного своей логике, в соответствии с которой в повествовании возникает риторическая фигура "догматизма". Его формула в соловьевской интерпретации звучит так: "мы познаем рассудком этот объективный мир (в онтологии, рациональной космологии и психологии), познаем его в сущности, каков он сам по себе, причем органом познания служат врожденные нашему рассудку идеи и законы мышления" [С.26].

"Догматизм утверждал, что весь мир сущностей вполне познается рассудком, – Кант доказал, что он и полагается вполне рассудком и этим уничтожил его как реальный" [С.77]. Так возникает первая функция культурного героя – "Человеческий ум как бы во сне предавался метафизическим грезам. Из этой догматической дремоты он был пробужден Кантом" [С.26]. Попутно возникает еще одна функция Канта –

отец-основатель, у которого есть прямой "преемник... в философском развитии", Фихте. Далее метафора преемственности пойдет до Гартмана. Эта функция полностью связана с развитием немецкого идеализма, с его специфическими темами "вещи в себе", "единства трансцендентальной апперцепции" (Фихте), абсолютного субъекта" (Шеллинг), "абсолютной идеи", "мира как воли и представления" и т.д.

Первая главная функция Канта, породившая кочующий мотив Призрака *Ding an sich*, – это высказывание "главного положения... о субъективном характере нашего познания и о совершенной недоступности для нас вещей самих в себе". Она же выявляет герменевтический код (по Р. Барту), задача которого "заключается в выделении таких формальных единиц, которые позволяют сконцентрировать, загадать, сформулировать, ретардировать и, наконец, разгадать загадку"²², а для данного повествования – проблему "односторонности" всех предложенных до Соловьева моделей познания. Односторонность, как известно, заключалась в "постоянном гипостазировании относительных, отвлеченных понятий" (например, в главе о Гартмане есть упоминание о "мышлении бессознательного" [С.71]). Соловьев на протяжении первой главы выводит одного за другим "преемников" Канта, которые также обладают несколькими функциями.

Вторая главная функция Канта ("учение о первоначальном синтетическом единстве трансцендентальной апперцепции") непосредственно роднит его с Фихте, который потому и преемник, "что развил принцип Канта в полную и замкнутую систему" (это и есть первая функция Фихте в повествовании). Здесь в тексте создается явное логическое сцепление двух функций по принципу преемственности, по которому повествование о философии в рамках оппозиции "духовный отец – преемник" (столь важной для Соловьева, что на ней он строит целую работу "Жизненная драма Платона") переходит к следующему этапу кризиса.

Последняя функция Канта – "основал учение нравственного "формализма", подтверждена знаменитыми цитатами о всеобщем законе и о человеке как цели. Несмотря на вывод о "совершенной пустоте формалистической нравственности" этическая линия в последней главе развивается далее до логического завершения у Гартмана.

Линия романного повествования крайне сложна²³. Повествование время от времени возвращается к Канту (очень уж важны оказываются связанные с ним функции) с помощью мотива Призрака вещи в себе, или ретардируется за счет вмешательства авторского голоса, особенностям которого мы посвятим отдельный параграф, или открывает внутренние прерывности и связи за счет неожиданных параллелей,

²² Барт Р. S/Z. М.: Ad marginem, 1994. С. 30-31.

²³ По Р. Барту, "механизм сюжета приходит в движение именно за счет смешения временной последовательности и логического следования фактов, когда то, что случается после некоторого события, начинает восприниматься как случившееся вследствие него". – См.: Зарубежная эстетика и теория литературы XIX-XX веков: трактаты, статьи, эссе. М.: МГУ, 1987. С. 398.

одна из которых (о “немыслимом дуализме” мира нашего опыта и “безусловно непознаваемого бытия самого по себе” у Канта и позитивистов) сопровождается, например, таким каламбурным комментарием (“Но от Канта до Конта недаром работал ум человеческий” [С.43]).

Фихте, преемник Канта, “основным началом системы” положил “единство трансцендентальной апперцепции” (“акт самосознания пер-вее всякого опыта”). Напрашивается параллель с ключевой функцией Декарта в повествовании – *cogito ergo sum*. В итоге, по Соловьеву, Фихте “создал систему чисто субъективного идеализма”. Функция культурного героя – “отверг действительность *Ding an sich*”. В самом деле Призрак временно исчез из текста до того момента, когда он появляется у Шопенгауэра и “благодаря данным внутреннего опыта становится совершенно известным, определяясь как воля” [С.63].

Перечисление функций всех персонажей от Шеллинга до Штирнера заняло бы много места. Согласимся с Р.Бартом, что подобного типа анализ дискурса оставит за пределами “громадный материал”²⁴, и не будем подражать Проплу, добиваясь полноты списка. Все перечисленные функции, в соответствии с классификацией Барта, можно признать “кардинальными (ядерными) функциями. Они играют “в тексте роль настоящих шарниров”²⁵. Посмотрим, найдутся ли “функции-катализаторы, заполняющие пространство между альтернативными точками, “диспетчерскими пунктами” в тексте”.

Ограничимся минимумом примеров. Функция Фомы Аквинского сводится к иллюстрации схоластического философского течения, которое Соловьев свел к известному принципу и следствию, “настоящая реальность приписывалась общим понятиям” [С.110]. Схоласт²⁶ заполнил образовавшуюся в ходе сюжета смысловую ячейку, когда автор обмолвился, что “некоторый интерес представляет знаменитый спор реализма и номинализма”. Не дает альтернативного развития действия упоминание об ученике Гегеля Розенкранце. Во-первых, он “один из некоторых”, что снижает его статус (самостоятельные Маркс и Фейербах не названы). Во-вторых его предположение, что логическая идея “эмануирует в природу или полагает природу, так что логическая идея является здесь в образе абсолютного духа или Бога” [С.89], самым антигегелевским духом данного пассажа сведено к отрицательному примеру, а потом и вовсе названо нелепым. Розенкранц оказался “мертв” с точки зрения сюжета, “заполнил пространство”, однако попутно оказался знаком осведомленности автора о трехстепенных именах.

Индивидуальный портрет в повествовании

Изложение ставших классическими систем предполагает текстуальное воспроизведение их принципов, которые всегда безличны.

²⁴ Зарубежная эстетика..., с.376.

²⁵ Там же, с.398.

²⁶ Г.Честертон назвал его “великим освободителем разума”. – Честертон Г.К. Вечный человек. М.: Политиздат, 1991. С.275.

Увидеть за перечислением тезисов и положений знаки индивидуально-го отношения повествователя к персонажу очень сложно, однако несколько раз автор все же выявляет свои симпатии и антипатии. Конечно, это нельзя считать портретом в литературоведческом смысле, но портрет философа часто сводится к его идеям. Соловьев выделяет систему Шопенгауэра и задерживает на ней внимание "как вследствие ее оригинальности, не позволяющей подвести ее под какую-нибудь общую категорию, так равно и ввиду собственной цели настоящего исследования, которая заключается в генетическом объяснении современного кризиса или переворота философской мысли, начало же этому перевороту положено Шопенгауэром" [С.49].

Отметим, автор не сводит систему к категории или принципам, не редуцирует Шопенгауэра к функциональной роли предмета анализа, как произошло с "преемником Шопенгауэра", Э.Гартманом, систему которого Соловьев аккуратно воспроизвел в семи тезисах о "бессознательном". Это, с одной стороны, знак особого отношения и, я бы сказал, зависимости, особенно если вспомнить замечание Л.Лопатина "Шопенгауэр овладел им всецело, как ни один философский писатель после или раньше"²⁷. С другой стороны, это знак неклассичности персонажа. Проявляется это чаще всего в близости цитатных высказываний Шопенгауэра и комментариев самого автора. Основной принцип шопенгауэровской философии Соловьев разделяет настолько, что сам начинает говорить его словами.

Шопенгауэр заявляет: "если я отниму мыслящий субъект, то весь телесный мир исчезнет". Тут же автор безоговорочно принимает тезис своего персонажа, чего ранее не случалось: "Это положение, несомненно, истинно, ибо само собой очевидно, что все, что для нас существует, поскольку нами сознается (очевидное тождество), и, следовательно, непосредственно известный нам объективный мир есть только мир в нашем сознании или наше представление" [С.50]. Далее он пытается мыслить в стиле Шопенгауэра, отталкиваясь от положения "мир есть представление", излагает диалектику "распадения представления на субъект-объект", обозначает время, пространство как формы представления и дополняет их введением причинности, приходит к усложнению формулировки исходного тезиса ("внешний чувственный мир есть конкретное воззрительное представление, создаваемое интуитивным рассудком", – сюда уже почти все шопенгауэровские понятия вписались), и все это делает как бы от себя. Попутно автор разделяет слово в слово критику Шопенгауэром материализма. Конечно, Соловьев просто излагает сочинение "О четвероюм корне закона достаточного основания". Но такой попытки вживания в философскую систему персонажа и мышления в последовательности ее категорий мы не находим в случаях Канта и Гегеля, где казалось бы, больше возможно-

²⁷ Лопатин Л.М. Памяти Вл.С.Соловьева // Книга о Владимире Соловьеве. М.: Сов.писатель, 1991. С.111.

стей системного мировоззрения. Видно, что Шопенгауэр в момент писания был лично ближе автору.²⁸

Как назвать такой некритический очерк философской системы в первой главе трактата, исполненного критики и опровержений? Некритическое описание, портрет. Дело не в этом. Шопенгауэр – единственный философ, учение которого изложено дважды – в конце первой главы, и второй раз, с акцентом на трактате “Мир как воля и представление”, критически, с огромными выдержками, указанием промахов, двусмысленностей и бессмысленностей, гипостазирований отвлеченных понятий, поскольку есть уж такой грех за всем западным рационализмом, по мнению Соловьева. Там уже последуют нелицеприятные для Шопенгауэра выводы: “он олицетворяет свою метафизическую волю и говорит о ней как о субъекте действующем и страдающем”, “воля страдает... – есть совершеннейшая бессмыслица”, “всякая индивидуальность... и личность не имеет никакой самостоятельности, а есть лишь явление или видимость жизненного хотения”...

Лосев полагает, что Соловьев “обвиняет Шопенгауэра не больше не меньше как в абсолютном нигилизме”²⁹, имея в виду фразу: “Нет воли, нет представления, нет мира. Перед нами, конечно, остается только ничто”. Если читать текст “Кризиса”, желая установить истину о Соловьеве, то гипотетически можно приписать ему такое обвинение своего – к тому времени бывшего – кумира. В словах “абсолютный нигилизм” нет моральных коннотаций. Это философский пессимизм, инспирированный религиозными увлечениями Шопенгауэра, и об этом многократно говорилось. Если читать “Кризис” как художественный текст, то мы заметим, что философский портрет Шопенгауэра в первой главе написан с любовью. Особая любовь Соловьева к Шопенгауэру обусловлена его ролью в становлении религиозного мировоззрения.³⁰ Эта скрытая религиозность Шопенгауэра стала причиной того, что Соловьев увидел в ней ростки нового синтеза науки, философии и религии, пусть даже на почве буддистского отождествления мира с ничто. Не случайно итоговая метафора “Кризиса” оправдывает философию, если она “подает руку религии” [С.122].

²⁸ И это несмотря на прямые заимствования из Шеллинга, которые так старательно разоблачил потом Е.Трубецкой, назвав диссертацию Соловьева “русским видоизменением шеллингианской мысли”. – *Трубецкой Е.Н.* Мировоззрение Владимира Соловьева. Т.1. М., 1913. С.53.

²⁹ Лосев А.Ф. Владимир Соловьев и его время. М.: Прогресс, 1990. С. 202.

³⁰ “У Шопенгауэра он нашел... удовлетворение никогда не умолкавшей в нем религиозной потребности, религиозное понимание и религиозное отношение к жизни. В Шопенгауэре его более всего привлекало воззрение на жизнь как на нравственный очистительный процесс, воззрение строго проведенное в стиле умозрительного буддизма”. – *Лопатин Л.М.* Философские характеристики..., с.111.

Риторическая фигура параллелизма в истории философии

История европейской мысли присутствует в "Кризисе" как последовательность различных утверждений, которые дополняют одно другое до полного, так сказать, философского тупика, из которого автор предлагает блестящий выход в виде синтеза науки, философии и религии. В основном соблюдена хронологическая последовательность появления персонажей в повествовании. При этом автор допускает прерывность в европейском философском знании, когда ненужными становятся несколько веков развития философии.³¹ Достигается это с помощью риторической фигуры параллелизма (тематический параллелизм, по Томашевскому) развития философской мысли, в данном случае параллельным развитием ранней схоластики и рационализма Нового времени. "Но как в средневековой философии разум, утверждаемый как самостоятельное начало, необходимо должен был победить авторитет и уверенность в этой победе высказывается уже в самом начале борьбы... Иоанном Эригеною, так точно и в новой философии разум как самостоятельное начало должен был поглотить, уподобить себе свой предмет – внешний мир, природу – и уверенность в преобладании разума над внешним предметом высказывается ясно уже первым представителем новой философии – Декартом. Как для Эригены авторитет получает значение только тогда, когда подтверждается разумом, разум же, напротив, ни в каком подтверждении не нуждается, но сам себя утверждает, так точно для Декарта за внешним миром может быть признана действительность только тогда, когда она требуется разумом, истинность же разума не зависит ни от какого внешнего подтверждения, но он сам в себе заключает все основание своей достоверности" [С. 10]. Здесь кроется волшебная сила философии.

В этом пространстве мысли целые периоды нормального исторического времени могут оказаться незначимы. Пространство мысли обладает особой структурой, где, номинально сохраняясь, временная последовательность может нарушаться, когда в диалоге оказываются мыслители разных эпох. Параллелизм ситуаций в пространстве философии встречается в соловьевской книге несколько раз. Мы уже видели на примере композиции в виде фигуры силлогизма параллелизм хода развития (пусть и схематический) рационалистического и эмпирического направлений в философии: "как рационалистическим, или рассудочным реализмом Вольфовой философии необходимо вызван был рациональный критицизм Канта, так эмпирическим реализмом материалистов необходимо вызван был эмпирический критицизм Огюста Конта" [С.42]. Допускает автор параллелизм систем Гегеля и Конта

³¹ В этом и заключается особенность философского пространства, что в нем, почти как в художественном мире романа, можно перемещаться в любую сторону под предлогом того, что тот или иной отрезок исторического развития не выявил оригинальных мыслей. Конечно, философия эпохи Возрождения была, но вот в плане кризиса, по Соловьеву, практически ничего не привнесла.

[С.38-44], гегелевского панлогизма и контовского сциентизма на основании их претензий на окончательность и некий универсализм³².

Сравниваются также любимый автором Шопенгауэр и Спиноза, но это сопоставление по частному признаку скорее случайного свойства. "У Шопенгауэра отдельные особи относятся к всеобщей воле совершенно так же, как у Спинозы отдельные модусы к – субстанции" [С.82]. Это скорее пародийное сравнение, которое мало что дает в познавательном плане, но задевает еще раз Шопенгауэра за его частое смешение безликой Мировой воли и воли отдельных личностей.

Общей "незрелостью мысли" отличаются "в направлении рационалистическом – абстрактный спиритуализм, в направлении же эмпирическом – материализм". У Декарта и Вольфа "абсолютному первоначальному" "приписывается самобытное, независимое от нашего мышления существование в виде абсолютной субстанции". В материализме "эмпирическому веществу приписывается значение безусловной и всеобщей сущности" [С.111]. Автор завершает эту риторическую фигуру блестящей философской метафорой, пожалуй самой яркой в "Кризисе": "Материализм может быть назван *бессознательною метафизикою эмпиризма*".

Формы повествования

Как в большинстве произведений жанра диссертации, в "Кризисе" преобладает описательное объективное повествование, где авторское начало доминирует, но не проявляет себя с помощью ярко выражающих индивидуальность языковых форм. Мы рассмотрим формы авторского голоса на примере случаев "столкновения с истиной", когда автор артикулирует основные положения своего учения.

Вневременная истинность высказывания проходит в "Кризисе" двояким образом. Чаще всего мы имеем дело с безличным повествованием, авторским описанием истинных, с его точки зрения, состояний. Проявляется этот тип авторского высказывания повсеместно, что вполне соответствует безличному научно-философскому стилю, который господствует здесь. Нам интересны особые случаи, когда автор предлагает читателю разделить истинность высказывания. Чаще всего это происходит под знаком обобщенно-личной конструкции "мы имеем.., мы познаем..." Это несколько противоречит мнению автора, (высказанному, кстати, в безличной форме), о том, что "субъект философии есть по преимуществу личное я как познающее" [С.6]. Тем более эту местоименную форму "мы" нельзя признать знаком излишней авторской скромности, поскольку мы найдем немало фраз типа "я наде-

³² Известно, правда, что Соловьев подвергся жесткой критике со стороны позитивиста В.Лесевича, а также М.Владиславлева и Н.Страхова как раз за недооценку различий между школами позитивной философии (См. Лосев А.Ф. Владимир Соловьев и его время... С. 31), но теперь мы можем с полным основанием объяснить это желанием описать историю европейской философии как параллельные фрагменты единого пространства. Известно, что одна из целей фигуры параллелизма – большая наглядность изложения.

юсь", "я заметил", "я показал". Налицо многозначность авторских форм повествования. В тексте "Кризиса" есть реальный автор-повествователь, который иногда говорит о себе в первом лице, когда что-то описывает (Автор описаний), и автор, опирающийся на некий коллективный авторитет "мы", когда речь идет о достаточно сложных философских высказываниях (Автор суждений). Первый раз он встречается в рассуждении о необходимости минимума личной рефлексии в художественном произведении [С.6], чтобы затем надолго уйти в тень безличных выводов, которые дает Автор описаний. Во второй главе мы вновь встречаемся с ним в рассуждении: "Мир явлений, в котором мы живем и движемся, определяется, как мы видели, общими формами пространства, времени и причинности". Во-первых, здесь повествование более живо, автор излагает философию Шопенгауэра и так увлекается переходами мысли в его системе, что стремится увлечь и своего читателя этим приглашающим "мы". Во-вторых, не очень понятно, пересказывается ли шопенгауэровский текст или это самостоятельный философский дискурс на тему, заданную Шопенгауэром. И то, и другое суть авторские вариации на шопенгауэровскую тему. Это как раз стиль Шопенгауэра с чередованием повествования от первого лица с повествованием обобщенно-личным, где появляется "мы".

Соловьев сознательно усиливает эту связку "автор-читатель" яркими примерами совместного открытия каких-то глубин философского познания: "если бы человек был доступен нам только извне, посредством рассудка с его общими формами, как все другие предметы, то он казался бы нам совершенным чудом. Но это чудо – мы сами, и, таким образом, именно тут, где формы представления являются окончательно недостаточными средствами понимания, нам открывается другой источник познания внутреннего и непосредственного – вследствие того, что здесь познающее совпадает с познаваемым" [С.58]. Он настолько увлекается, что один раз допускает чистое смешение всех авторских масок в примере "Я хочу и – поднимаю руку", доказывая, что это движение есть одновременно и представление и "акт воли" [С.59].

Постоянные мотивы в "Кризисе..."

Ранее уже упоминался Призрак вещи в себе, который создает некое дополнительное гносеологическое напряжение при изложении послекантовских философских систем. Кант, конечно тоже не обошелся без "типостаизирования": "У Канта эта вещь о себе, о которой мы совсем ничего не можем знать, тем не менее признается существующею реально вне нас и притом действующею на нас и своим действием производящею на нас тот эмпирический материал ощущений, который, будучи облечен в априорные формы воззрения (пространство и время) и затем в категории рассудка, образует познаваемый нами предметный мир явлений, область нашего опыта" [С.28]. В этой на редкость тяжеловесной конструкции самозарождается постоянный мотив-Призрак,

т.е. какое-то автономное понятийное содержание, которое начинает само существовать в тексте на своей траектории³³.

Персонажи с призраком (каждый по-своему) борются, как с реальным существом, хотя автор оговаривается, что это только кантовское "предположение", а немного погодя называет его "понятие, которое не может быть мыслимо", с чем мы поспешили бы согласиться. Затем на этой риторической фигуре абсурда автор иронически замечает: "Позитивисты допускают некоторую познаваемость – странно сказать – безусловно непознаваемого" [С.45]. Призрак был нужен еще и для упрека позитивистам в непонимании той метафизики, которую они опрометчиво сводили к нулю, как на магистерском диспуте свел к нулю результаты диссертации Соловьева В.Лесевич³⁴.

Метафоры в "Кризисе западной философии"

Несколько повествовательных метафор уже было нами описано в ходе исследования. Нас интересует возможность функциональной классификации метафор в "Кризисе". Собственно, главная метафора, выведенная как основа сюжета – это сам кризис философии. Ее мы назовем *сюжетобразующей*.

Есть два понимания этой метафоры в критической традиции, которые выявились в ходе реакции общественного мнения на диссертацию и основывались на ключевых мыслях "Кризиса". Одни критики хорошо прочитали начало, другие – последнюю страницу. Кризис как закат западной философии – такое понимание выдвинули славянофильски настроенные критики во главе со Н.Страховым. Последний видел заслугу молодого автора в разъяснении кризиса, который выявил Шопенгауэр, и укорял его за возвеличивание Э.Гартмана³⁵. Кризис как собственное видение Соловьева – эту версию выдвинул М.Владиславлев. Он сделал упрек, что Соловьев "не занялся всесторонним разбором позитивизма". По его мнению, Соловьев ошибается, "когда так решительно заявляет, что эмпирическое направление, существующее на Западе, не дает никакого познания"³⁶.

Каждый из интерпретаторов метафоры был по-своему прав. В широком смысле кризис западноевропейской культуры отмечали уже романтики и тот же О.Конт (Соловьев приводит его сетования на "умственное безначалие" в тогдашних обществах [С.123]). Это пессимистический смысл метафоры кризиса, основанный на значении "недостаток". В узком смысле, который тоже вычитывается из "Кризиса", последние философские системы стремятся синтезироваться с "полнотой содержания духовных созерцаний Востока", т.е. кризис

³³ Фихте "имел полное основание отвергнуть совершенно предположение о *Ding an sich*, у Шеллинга она "еще осталась", Гегель ее "окончательно устранил". Шопенгауэр приравнял к ней "волю".

³⁴ Никольский А. Русский Ориген... // Вера и разум, 1902, № 10-19. С.78.

³⁵ Никольский А. Русский Ориген... // Вера и разум, 1902, №15. С.77.

³⁶ Там же, с.75.

можно понимать как переход к синтетическому цельному знанию, проект которого уже существовал. Это оптимистический смысл метафоры, основанный на значении "переходное состояние".

Другие метафоры в соловьевской диссертации оказались менее полемичными, и поэтому легче поддаются классификации по признаку функции в тексте. Метафора "односторонность философских систем" имеет философский смысл в рамках проекта "универсального синтеза теологии, философской метафизики и положительной науки". Проект легитимируется предполагаемым окончанием развития философии, которое "завещало ближайшему будущему полное, универсальное разрешение тех вопросов, которые самим этим развитием разрешались односторонне и потому неудовлетворительно" [С.5]. Односторонность – философская метафора. С ее помощью автор характеризует предшествующие течения в философии, доказывая в итоге "общую ограниченность западной философии – одностороннее преобладание рассудочного анализа" [С.84]. Соответственно в рамках фигуры силлогизма каждая из описанных философских систем постфактум понимается как односторонняя, хотя по отдельности автор не постулирует односторонность систем того же Спинозы или Канта.

Метафора методологического порядка – "первоначало". Его Соловьев ищет в системе каждого философа, и в итоге все они обращаются в "гипостазирование отвлеченных понятий". Шопенгауэр "олицетворяет свою метафизическую волю", Гартман "чистое отрицание гипостазирует как абсолютное первоначало". Выше мы уже говорили о том, что, по Гартману, "бессознательное" образует и сохраняет организм, ...бессознательное не страдает, бессознательное не заблуждается" и т. д. Любопытно, что в соловьевском контексте гартмановское *das Unbewussten* сначала дается в кавычках, а потом, видимо, окончательно гипостазировавшись, представлено как некое существо, которое "не колеблется и не сомневается" [С.71].

Есть в "Кризисе" метафоры ситуативные, имеющие функцию частных характеристик отдельных систем. Например, в системе Декарта его знаменитые "атрибуты" – "мышления" и "протяженности" суть метафоры, характеризующие "действительную множественность отдельных вещей или субстанций" [С.12]. Эта система метафор развивается в выведенной Соловьевым "формуле спинозизма", где метафора вещи – "модус протяжения", а метафора мыслящего существа – "модус мышления". Автор вводит метафору "внешней эмпирии" в догматической метафизике. "Ее содержание – внешний вещественный мир – дается нам непосредственно только как явление в образе представления" [С.56]. При изложении системы Фейербаха автор вводит "кочующую метафору". Заканчивается анализ его системы сведением "стремления к общему благу" к "исключительному самоутверждению каждого отдельного лица в ущерб всем другим", в подтверждение этой разверну-

той метафоры приводится ее лаконичный, связанный с именем Гоббса вариант "войны каждого против всех" [С.96].

Антипозитивистская ирония "Кризиса"

Редкие иронические формы повествования в "Кризисе" могут быть поняты как ранние проявления философско-публицистической манеры автора, которая с блеском проявилась в дальнейшем творчестве. Примеры выпадов "против позитивизма", пожалуй, единственные знаки присутствия иронии в довольно-таки суховатом тексте. На основании введенного О.Контом понятия "функция мозга" Соловьев замечает: "Таким образом, мозг есть и субъект всякого сознания, и вместе с тем тот же самый мозг есть одно из явлений в сознании, т.е. он есть один из продуктов своей же собственной фантазии" [С.43]. Указанный ранее иронический выпад: "позитивисты допускают... некоторую познаваемость... безусловно непознаваемого"³⁷ приводит к реализации метафоры "односторонности самого позитивизма" [С.45]. Иронические выпады, которые, как мы видим, все сосредоточены в тематическом ряду критики позитивизма, направлены в адрес Милля, который, следуя его логике, "должен был бы утверждать, что полудиккие племена Аравии и Мавритании, принявшие Магомедов монотеизм, были к этому подготовлены развитием у них положительного знания" [С.131], и Конта.

Последний иронический пассаж стоит привести целиком. "Ог.Конт утверждает, что Христос был только политический авантюрист; далее на том основании, что протестантство относится отрицательно к внешностям культа, Ог.Конт уверяет, что оно есть только воспроизведение... магометанства"³⁸. Полагаем, что приведенных примеров достаточно для подтверждения вызвавшего в свое время отдельную полемику подзаголовка диссертации – "Против позитивизма"³⁹.

Формы репрезентации исторического

Рассмотрим текст "Кризиса" с точки зрения типов воплощения в сюжет и способов аргументации, т.е. основных аналитических категорий метаисторической интерпретации⁴⁰. В повествовательном сюжете "Кризиса" присутствуют две мифопоэтические составляющие – окончание развития (кризис) философии, введенное в самых первых строках повествования, и преображение философии, сопряженное с возвращением ее к локализованным на христианском Востоке истокам (вечное возвращение), причем этот мотив, вводящий сходство последних достижений западной философии с интуициями первоначального христианства появляется в самом конце текста настолько неожиданно, что объяснить это можно только поэтической логикой сюжета кризиса рационалистической философии – Восток обладал "полнотой духовных

³⁷ Заметим, что основу иронии составил оксюморон.

³⁸ Там же, с.130.

³⁹ Лукьянов С.М. О Вл.С Соловьеве в его молодые годы. Пг., 1916. С.417.

⁴⁰ White H. Metahistory..., p.7.

созерцаний", к которой его младший брат – западный мир – пришел путем долгих философских поисков.

В эти моменты глобальных обобщений автор отрывается от почвы строгой индуктивной логики. Это можно показать на примере того, как мотив некоего духовного первородства Востока вводится без упоминания о восточном (точнее, индийском) происхождении некоторых положений философских учений Шопенгауэра и Гартмана, например, о высшем благе как небытии и последней цели – уничтожении бытия через самоотрицание жизненного хотения [С.119].

Таким образом, в "Кризисе" соседствуют несколько способов сюжетного построения: а) мифологический в самом начале и в заключении, когда чудесным образом отождествляются итоги философского развития и содержание "духовных созерцаний Востока"; б) эпическо-хроникальный, представленный во введении и первой главе, подчиненный строгой композиционной логике, основанной на параллелизме двух хронологических описаний, что выражено схематично в виде фигуры силлогизма; в) эпическо-романный, где наблюдаются инверсии хода повествования, усиливается роль изобразительных приемов и риторических фигур.

Выше мы уже отмечали, что метафора "односторонности" и, как следствие, "ограниченности" является кочующей в тексте "Кризиса", когда свойство формальной ограниченности приписывается системам Шопенгауэра и Гартмана [С.84]. Временами метафора ограниченности становится генерализующей, и тогда всей западной философии, и шире, рассудочному мышлению вообще приписывается свойство "гипостазирования отвлечений", которое "вытекает необходимо из рассудочного познания в его исключительности, ибо оставаясь самим собою, оно не может отнестись к себе отрицательно, признать результаты своей деятельности только отвлечениями или односторонностями" [С.5]. "Односторонняя ограниченность" приписана и всем иррационалистическим направлениям западной мысли, поскольку они есть лишь реакция против господствующего рассудочного мышления [С.76].

Предложенный вариант преодоления кризиса не выглядит утопическим проектом после того, как автор предлагает устранить в философии бессознательного "очевидные нелепости": преодолеть "какую-то безобразную двойню абстрактных ипостасей – воли и идеи" [С.114]⁴¹, "сделать всецелый внутренний синтез противоположных начал" [С.115], признать конечной целью всего не нирвану, а "царство духа как полное проявление всеединого" [С.121]. Несмотря на весь идеалистический пафос способа объяснения, которым пользуется автор, это идеализм конструктивный, имеющий конечной целью синтез основных философских интуиций. Не случайно, один из самых проницательных исследователей Соловьева называет его "софийным идеализмом", от-

⁴¹ Редкий пример иронической оценки метафизической системы философа, близкого Соловьеву по духу.

мечая, что "из всех бывших в истории философии типов идеализма софийный идеализм является в материальном смысле максимально насыщенным".⁴² Этот синтетизм историко-философского подхода позволяет говорить о Соловьеве как приверженце органицистского типа аргументации. По мнению Х.Уайта, "органицист пытается описать детали, различимые в историческом поле как компоненты синтетического процесса."⁴³ Соловьевская способность и тяга к синтезу противоположных начал привела в итоге к финальному сюжетному ходу "вечного возвращения" в "Кризисе".

Основное заключение состоит в том, что философия и история философии могут быть интерпретированы как особый тип повествования, а также исследованы с целями выявить закономерности этого типа "рассказывания историй", описать "поэтику философствования" и способы репрезентации философских идей автора и его персонажей. Прделанный здесь нарративный анализ "Кризиса западной философии" приводит к выводу, что прочтение текста с точки зрения того, как он сделан, в сочетании с ответом на вопрос "что написано в тексте?"⁴⁴ дает возможность обосновать актуальность и притягательность повествования даже тогда, когда авторская концепция выглядит архаичной.

В тексте (в нашем примере, историко-философском), где содержание не может быть сведено к обычному литературно-художественному вымыслу, наблюдается единство риторического и когнитивного компонентов, что мы и постарались показать. Объединяя литературу и философию под определением "особой формы языка", мы должны признать, что, как в традиционной литературе стилистические красоты и фигуры речи являются неотъемлемым компонентом единого художественного целого, так и в философии риторический компонент является частью когнитивной стратегии автора, т.е. элементом познания, а не факультативным украшением текста.

⁴² Лосев А. Ф. Владимир Соловьев и его время. М.: Прогресс, 1990. С.626.

⁴³ White H. *Metahistory...*, p.15.

⁴⁴ В нашем случае существует целая традиция осмысления этой работы.

ИЗ ИСТОРИИ ИСТОРИЧЕСКОЙ МЫСЛИ

Н.В. Ростиславлева

Н.И.Кареев и Карл фон Роттек: традиции либеральной историософии XIX века

Компаративное исследование философии истории Н.И.Кареева (1850-1931) и Карла фон Роттека (1775-1840) несет в себе, на первый взгляд, заряд парадоксальности. Девятитомная "Всеобщая история" Роттека была опубликована во втором десятилетии XIX в. в Германии, а фундаментальный семитомный (а по существу девятитомный – 6 и 7 тома состояли из 2-х частей) труд Н.И.Кареева – в последнем десятилетии XIX в. в России. Однако при ближайшем рассмотрении сравнение оказывается вполне корректным и позволяет не только обозначить схожее и различное, но и "вычислить" общие парадигмы осмысления истории этими авторами.

Политическая ситуация в Германии первой трети XIX в. и в России последней трети XIX в. отчасти сопоставимы. Как немецкий, так и российский либерализм должен был считаться с отсталостью страны и в силу этого был далек от классического образца. Модели конституционализма в России и в Бадене, где прошла жизнь и политическая карьера Роттека, близки по характеру. Герцогство Баден стало конституционным государством в 1818 г. Конституция была дана сверху и содержала четкий монархический принцип. Монархический конституционализм восторжествовал в Прусской хартии 1850 г., которая оказала большое влияние на разработку основного законодательства Российской империи (1905-7 гг.)¹ Уровень распространения либеральных идей в первой трети XIX в. в немецких государствах и в последней трети XIX в. в России примерно совпадал. Фактически перед русским либерализмом того времени стояли те же задачи, что и перед германским накануне революции 1848-1849 гг.

Государства немецкого Юго-Запада, и прежде всего герцогство Баден, отличались от остальных частей Германии как в первой половине XIX в., так и позже, своей ярко выраженной либеральной ориентацией. Не случайно русские либералы конца XIX – начала XX в. тяготели к южнонемецким университетским центрам Гейдельбергу и Фрейбургу (оба города расположены на территории Бадена), где преподавали то-

¹ Медушевский А.Н. Демократия и авторитаризм: российский конституционализм в сравнительной перспективе. М., 1998. С.192.

гда лучшие немецкие ученые: В. Виндельбанд, Г. Риккерт, М. Вебер. Немецкая наука и культура оказали достаточно большое влияние на русскую общественную мысль рубежа веков².

Биографии обоих историков содержат очень много схожих черт. Роттек и Кареев были университетскими профессорами и с samozабвением отдавались преподаванию. Так, в 1798 г. в возрасте 23 лет Роттек получил место ординарного профессора кафедры всеобщей истории Фрейбургского университета и скоро стал мастером яркого и образного исторического рассказа³. Н.И. Кареев в 1879 г. в возрасте 29 лет был приглашен на должность экстраординарного профессора Варшавского университета, а в 1884 г. – на должность приват-доцента Петербургского университета⁴. Оба профессора читали лекции по всем разделам всеобщей истории: от истории древнего мира до истории новейших времен. Итогом деятельности Роттека как преподавателя истории (в 1818 г. он оставил должность профессора истории, чтобы занять кафедру права) стал девятитомный труд по всеобщей истории. С 1812 по 1829 гг. были опубликованы все тома первого издания. Всего «Всеобщая история» Роттека выдержала 27 изданий и была переведена на 5 языков (на русский язык она не переводилась)⁵. В 1831 г. с целью популяризации исторического знания Роттек опубликовал «Всеобщую историю для всех слоев населения»⁶, которая за короткое время выдержала пять изданий. Исторические сочинения Роттека обрели в середине XIX в. необычайную популярность, и их можно было найти практически в каждом немецком доме.

Историческое наследие Н.И. Кареева гораздо обширнее. Он получил известность не только как историк, но также и как автор работ по историографии, социологии и теории исторической науки. Труды по всеобщей истории («История Западной Европы в новое время», учебные книги древней истории, средних веков, нового времени, введения к вышеназванным курсам) были не менее популярны в конце XIX – начале XX в. Так, «Учебная книга древней истории» выдержала девять изданий, «Учебная книга средних веков» – десять.

Оба историка были причастны к политической деятельности. Хотя, безусловно, степень причастности была разной. С апреля 1819 г. началась парламентская деятельность Роттека, которая продолжалась до 1824 г. в качестве члена верхней, а с 1831 г. и до самой его смерти

² Там же. С. 81-82; см. также: *Селезнева Л.В.* Российский либерализм и европейская политическая традиция: созвучия и диссонансы // *Русский либерализм. Исторические судьбы и перспективы.* М., 1999. С. 125.

³ *Rotteck H. von.* Dr. Carl von Rotteck's gesammelte und nachgelassene Schriften. Pforzheim, 1841. Bd. 5. S. 51-52. (Далее – GNS).

⁴ *Кареев Н.И.* Прожитое и пережитое. Л., 1990. С. 12-13.

⁵ *Treskow R. von.* Erlauchter Verteidiger der Menschenrechte! Die Korrespondenz Karl von Rotteck's. Freiburg, 1990. Bd. 1. S. 78.

⁶ *Rotteck C. v.* Allgemeine Weltgeschichte fuer alle Staenden von den fruehesten Zeiten bis zum Jahre 1831. Stuttgart, 1833. 4 Bde.

(1840 г.) – члена нижней палаты ландтага герцогства Баден⁷. Очень скоро он стал лидером парламентских либералов Бадена, а затем обрел и общегерманскую известность. За свою политическую деятельность после принятия в 1832 г. реакционных Венских решений Роттек отстраняется от преподавания в университете Фрейбурга. В 1899 г. Н.И. Кареев был уволен из Петербургского университета за участие в выступлениях студентов. Он считался неблагонадежным еще с периода его преподавательской деятельности в Варшавском университете, и тогда же за ним был установлен надзор⁸. В годы первой русской революции Кареев оказался в водовороте политических событий, вошел в ряды конституционно-демократической партии и даже одно время был председателем петербургского комитета партии кадетов, состоял депутатом I Государственной думы. Политика не стала его судьбой. Свое членство в Думе он оценивал “как короткий эпизод, когда я принял скромное участие в политической жизни”⁹. После революции 1905-1907 гг. Кареев отошел от политической деятельности, осознав, что прежде всего он ученый и педагог. С 1906 г. историк возобновил преподавание в Петербургском университете.

И Роттек, и Кареев стремились защищать права и свободы личности. Средствами истории они это делали лучше всего. Почему обоих исследователей привлекала всеобщая история, и какие критерии познания исторического процесса были для них определяющими?

На развитие историко-философских идей в Германии громадное влияние оказал И. Кант. Великий кенигсбержец был кумиром Роттека. Именно философия Канта во многом определила роттековскую концепцию естественного права¹⁰. Немецкий философ утверждал, что историческое исследование должно быть прежде всего всеобщей историей, показывающей как человеческая раса становится все более рациональной и поэтому все более свободной. Кант стремился представить всемирную историю в соответствии с законами развития природы, имеющей целью создание совершенного гражданского общества¹¹. Вслед за Кантом Роттек полагал, что локальная история, история отдельных наций должны рассматриваться как основа общего развития человечества. По содержанию он выделял историю политики, литературы, религии и церкви, культуры, торговли, войн, историю отдельных стран и народов, всемирную историю или историю человечества. Всемирная история, в представлении Роттека, содержит все виды историй. “Всеобщая история, – писал он, – это связанное изложение всех важнейших изменений на земле и в роде человеческом, а также их

⁷ Gall L. Der Liberalismus als regierende Partei. Wiesbaden, 1968. S.47.

⁸ Кареев Н.И. Прожитое и пережитое. С.21.

⁹ Там же. С.174.

¹⁰ См.: Ростиславлева Н.В. Концепция естественного права в раннелиберальной доктрине // Молодая наука на рубеже веков. М., 1997. С.34-41; она же. Зарождение либерализма в Германии. Карл фон Роттек. М., 1999. С.29-35.

¹¹ Кант И. Соч. В 6-ти т. М., 1966. Т.6. С.8.

объяснение"¹². Роттек утверждал, что исследователей всемирной истории интересует скорее результат общих процессов, нежели отдельные факты, поэтому в рамках всеобщей истории позволительно делать разумные предположения, философские выводы¹³.

Рассуждения Роттека о всеобщей истории прекрасно вписываются в кареевскую формулу. Русский историк также писал о частных и специальных историях, понимая под первыми истории отдельных народов или хронологических периодов, а под вторыми – те, которые “делают своим предметом особые категории явлений, обобщаемые под понятиями религии или философии, науки или поэзии, литературы или художества, политики или права, войны или экономических отношений: есть поэтому историки Египта, Греции, Германии, России, есть поэтому и историки философии, литературы, права”¹⁴. Кареева, как и Роттека, привлекала идея избирательного синтеза, при котором то, что важно для судеб только одной страны, утрачивало свой интерес. Всемирная история, по мнению русского историка, “сообщает нам знание связи событий, их причин, следствий и сопровождающих обстоятельств. Вот основная идея всеобщей истории как всемирной: между нациями происходит взаимодействие, придающее общее направление их историям, и это-то делает возможным всеобщую историю не из механического соединения частных, а из их синтеза, при котором то, что важно для судеб и развития только одной страны, но не оказывает влияние на дела мира в общей истории, утрачивает до значительной степени свой интерес”¹⁵. Подобная склонность обоих исследователей к всеобщей истории объяснима характерными для них представлениями о сущности исторического процесса.

Развитие человеческого сообщества Роттек и Кареев рассматривали с точки зрения теории прогресса, что возможно обосновать лишь в рамках широких исторических полотен. Историк из Бадена писал: “Человечество имеет детство, затем оно становится старше и не возвращается больше к колыбели”¹⁶. Критерием прогресса он считал достижения в культуре, проявление большего гуманизма к людям. Этот подход нашел отражение в структуре роттековского сочинения. Каждый том “Всеобщей истории” поделен автором на две части: первая часть посвящена событийной истории определенного хронологического периода, а во второй – рассматривается состояние культуры. Роттек очень широко толковал понятие “культура”, включая в него государственное устройство и формы правления, законы и обычаи, развитие

¹² *Rotteck C. v. Allgemeiner Geschichte vom Anfang der historischen Kenntniss bis auf unsere Zeiten.* Freiburg i. Br., 1834. 9 Bde. Bd. 1. S.56. (Данее – АГ).

¹³ *Ibid.* S.60.

¹⁴ *Кареев Н.И.* Идея всеобщей истории. СПб., 1885. С.8.

¹⁵ Там же. С.9.

¹⁶ Цит. по: *Ganter E.* Karl von Rotteck als Geschichtsschreiber. Freiburg i. Br. 1908. S.107.

ремесла и торговли, религию, науку и искусство¹⁷. Кареев суть исторического процесса раскрывал через термины “прагматизм” и “культура”. Прагматическое направление, по Карееву, специализируется на описании действий и событий и установлении связи между ними. Другой род исторических фактов – это цивилизация, гражданственность, образованность, которые русский историк определял одним термином “культура” и относил к ней также политические, юридические и экономические учреждения. История должна, по мнению Кареева, связать культурные факты не с точки зрения причины и следствия, а как изменяющиеся образы и формы одного и того же явления, как фазисы и моменты его развития¹⁸.

Культурная среда привлекала обоих исследователей, так как в ее рамках вторжение философии в историю было уместно и оправданно. Их интересовала законченная картина всемирно-исторического развития, что могло быть обеспечено лишь философией. Соотношение философского и исторического воспринималось Роттеком и Кареевым приблизительно одинаково. Роттек писал: “Именно философия истории дает пищу уму и сердцу, делает историю истинной... Философия вдыхает в историю жизнь и позволяет современникам использовать ее опыт”¹⁹. Н.И.Кареев вторжение философии в историю определял как “суд над историей” и полагал, что она должна дать принципы для понимания исторического процесса²⁰. Оба исследователя были противниками фактографии, но признавали факт как первичный элемент исторического знания. Философия, по их мнению, должна выработать комплекс ценностей и идеалов, которые помогут сформулировать всемирно-историческую точку зрения, судить о прогрессивности развития цивилизаций, оценивать отдельные события.

Для Роттека основой системы ценностей была теория естественно-го права. Он писал: “Дух, в котором я начал мои исторические занятия, в котором я историю преподавал и писал, – это уважение к праву и политике... Я уважал историю только как верную советчицу в вечно свя-тых делах человечества, заботившуюся о неоскудении политической мудрости и добродетели, и как беспристрастного судью, чьи решения опираются на право”²¹. Немецкий историк утверждал, что “без знания разумного права собственно история имеет только полцену, так как ей будет недоставать яркой идеи для понимания и оценки исторических событий”²². В теоретическом плане естественно-правовая концепция Роттека выдержана в традициях рационализма Просвещения. Однако,

¹⁷ Rotteck C. v. AG. Bd.1. S.233.

¹⁸ Кареев Н.И. Идея всеобщей истории. С.12-13.

¹⁹ Rotteck C. v. AG. Bd.1. S.27.

²⁰ Кареев Н.И. Основные вопросы философии истории. Ч.1. Сущность и задача философии истории. СПб., 1887.С.118-119.

²¹ GNS. Bd.4. S.197-198.

²² Rotteck C. v. Lehrbuch des Vernunftsrechts und der Staatswissenschaften. Stuttgart, 1829-1834. 4 Bde. Bd.1. S.84.

исходя из соображений политической практики, он использовал наследие Канта и признал параллельное действие морали и права. Теория естественного права, ориентированная на идеалы добродетели и справедливости, вполне может рассматриваться как носитель всеобщности этического принципа. Всеобщность этического принципа проявляется через категорию долга. Эта идея принадлежит Канту и затем получит развитие в творчестве главы баденской школы неокантианства В. Виндельбанда. Долг историка Роттек видел в том, чтобы правдиво рассказать о действительно происходивших событиях, так как без правды история теряет не только свое достоинство, но и свое значение, свою сущность. Одновременно она «должна быть путеводной звездой на пути к добродетели, обращаться не только к разуму, но и к воображению, к сердцу, воздействовать на чувства, волю, возвышать моральную силу, воспитывать ненависть к пороку, воодушевлять на большие дела»²³. Кант, полагая разум основой развития человеческого сообщества, средством его развития считал человеческую иррациональность, т.е. страсти, невежество, эгоизм. В философии истории Роттека – взвешенное сочетание рациональных и этических элементов. Идеал, к которому стремился Роттек, – гармония личности и общества, что достижимо при реализации принципов теории естественного права. Кант утверждал, что для процветания человечества необходимо создать общество, в котором царствовала бы справедливость и которое охватывало бы все нации²⁴.

С позиции теории прогресса Н.И. Кареев считал идею Канта очень привлекательной и отмечал, что план великого мыслителя отражал стремление человечества к совершенству²⁵. Он видел в прогрессе главнейшую историографическую идею, а философию истории рассматривал как применение к судьбам человечества идеи прогресса²⁶. Кареев оценивал исторический процесс в рамках системы этических оценок. Особых акцентов на кантовскую этику он не делал, однако в «Прожитом и пережитом» отмечал, что в студенческие годы «на место бюхнеровского материализма пришли ко мне... идеи «Курса положительной философии» Канта, «Критики чистого разума» Канта и «Основных начал» Спенсера»²⁷. Вопрос о влиянии Канта на историософию Н.И. Кареева мало изучен. Б.Г. Сафронов утверждает: «Кареевская схема историософии чем-то напоминает нам опять-таки И. Канта, его трансцендентальную диалектику в «Критике чистого разума» с ее высшими видами синтеза, идеями подготовленными сферой рассудка (т.е. науки), но немощными быть этими средствами освоенными (отсюда антиномии), оказывающимися поэтому за пределами метафизики как

²³ Rotteck С. v. AG. Bd.1 S.VI-VII.

²⁴ Кант И. Указ соч. Т.6. С.8-10.

²⁵ Кареев Н.И. Основные вопросы философии истории. СПб., 1897.С.67.

²⁶ Там же. С.99.

²⁷ Он же. Прожитое и пережитое. С. 107.

науки. Следовательно, у Кареева не только трактовка внеисторической этики, но и система историософии в целом, источником своим, по всей вероятности, имеет Канта. В какой степени историк сам создавал такую связь, трудно сказать, прямых отсылок на этот счет мы у него не нашли²⁸. Этика Канта вполне могла "проникнуть" в философию истории Кареева под влиянием очень популярной в конце XIX – начале XX в. "баденской школы неокантианства".

Позиции Канта в начале XIX в. были заняты Гегелем, затем последовали годы философского безвременья, а с 70-х гг. в Германии началось философское движение, возрождавшее духовное наследие Канта. Лидер этого движения В. Виндельбанд преподавал во многих университетах Германии, в том числе во Фрейбургском (с 1877 по 1882 г.) и в Гейдельбергском (с 1903 по 1915 г.). По поводу философии Канта он писал: "Представления приходят и уходят, как это совершается, пусть объяснит психология. Философия исследует, какова их ценность с критической точки зрения истины"²⁹. В трактовке Виндельбанда философия выступает как наука об определениях ценностей, следовательно, философия – это, по сути, этика, наука о совести, долге и свободе, а история – процесс осознания и воплощения ценностей.

В отечественной историографии нет единства в оценке влияния неокантианства на концепцию Кареева. Отмечалась близость Кареева с неокантианцами с точки зрения выдвигания им теоретико-познавательного признака в качестве определяющего при классификации социальных наук, что вполне соответствует делению наук по Виндельбанду на номотетические и идеографические. В советской историографии распространенной была точка зрения о соединении в мировоззрении Кареева позитивизма и неокантианства³⁰. В дореволюционной историографии указывалось как на принципиальное различие подхода Кареева к проблемам исторического познания с неокантианским подходом, так и на несовпадение его взглядов с позитивизмом³¹. В современных отечественных исследованиях воззрения Кареева рассматриваются или вне контекста неокантианства³², или подчеркивается первенство русского историка по отношению к неокантианцам в выяснении особенностей обобщения в исторической сфере и других сферах бытия³³. Однако никем не оспаривается влияние немецкой философии, и прежде всего Канта, на творчество Кареева.

²⁸ Сафронов Б.Г. Н.И.Кареев о структуре исторического знания. М., 1995. С.38.

²⁹ Виндельбанд В. Избранное. М., 1995. С.38.

³⁰ См.: Нечухрин А.Н. Н.И.Кареев о классификации социальных наук // Вопросы всеобщей истории и историографии. Томск, 1979. С.182.

³¹ См.: Перцев В. Новые русские труды по теории истории // Голос минувшего 1914, №4; Слонимский Л. Законы истории и социальный прогресс // Вестник Европы. 1883. №11.

³² См.: Корзунок Ю.Г. Разработка вопросов методологии истории в творчестве Н.И. Кареева. Автореферат дисс. к.и.н. М., 1990. С.16-20.

³³ Голосенко И. Предисловие // Кареев Н.И. Основы русской социологии. СПб., 1996. С.5.

В концепциях всеобщей истории обоих историков проявилась разделяемая ими система ценностей. Помимо идеи прогресса они подчеркивали роль индивидуализирующего начала. Роттек творцом истории считал личность. Человек творящий, по Роттеку, это историческая личность, это воодушевляющий дух, без которого народные массы не имеют никакого значения. Баденский мыслитель утверждал, что не всякая крупная личность может претендовать на "жизнь" в истории, а лишь та, которая чувствует ответственность перед моральными устоями общества, способствует утверждению гражданского равенства и свободы³⁴. "Всеобщая история" Роттека – это прежде всего история деятельности выдающихся личностей, которые стали для него как героями (Перикл, Солон, Фридрих II, Иосиф II, Иван Грозный, Петр I, Екатерина II, Александр I), так и антигероями³⁵.

Кареева индивид в истории интересовал с точки зрения непреднамеренного творчества и осознанного целеполагания. Он не разделял распространенную в конце XIX в. "теорию безличной эволюции". Развитие человеческой личности – это и есть прогресс для Кареева, без личности для него не было истории, а был просто быт. На страницах "Истории Западной Европы в новое время" автор, рассматривая любое событие, никогда не упускал из виду его творцов и участников. Моральные оценки их деятельности были им четко прописаны. Так, Марат – это человек, страдавший манией величия и манией убийства. Робеспьер – завистливый ко всякому превосходству...³⁶ Кареев подчеркивал роль личности и в своих учебных книгах по различным разделам всеобщей истории, где хронология событий соседствует с хронологией жизни крупных писателей, ученых, мыслителей, художников. В них он видел людей, которые возвышали культурное и интеллектуальное состояние народов, объединяли их силой своего творческого разума. Принцип самодовлеющей личности стал основным, по мнению Кареева, в западноевропейской цивилизации нового времени.

Личность была для Роттека и Кареева не только объектом исторического познания, но и его субъектом. Роттек видел в историке человека, осознающего, в духе своего времени, задачи, стоящие перед обществом. Историк – это профессия, которая нужна людям, так как она пробуждает в них любовь к свободе, воспаляет на великие и возвышенные дела³⁷. Историк в представлении Роттека скорее воспитатель, нежели ученый. Но принципы этого воспитания довольно хорошо корреспондируются с теорией прогресса. Подход к историческому материалу с точки зрения идеи прогресса близок трансценденталистско-

³⁴ *Rotteck C. v. AG. Bd.2. S.23; Bd.1. S.52.*

³⁵ Александра Македонского Роттек не считал великим, поскольку тот опозорил себя завоевательными войнами и прочими жестокостями. – *Ibid. Bd.2. S.89, 92.*

³⁶ *Кареев Н.И. История Западной Европы в новое время. СПб., 1913. Т.3. С.615, 618.*

³⁷ *Rotteck C. v. AG. Bd.1. S.8.*

му решению Канта. Схожий вариант мы наблюдаем и у Кареева, который настаивал на правомерности “законного субъективизма”, так как разносторонне развитая личность должна занять общечеловеческую позицию при анализе событий всеобщей истории³⁸.

Общечеловеческую позицию заняли оба историка при освещении важнейшего, по их мнению, события всемирной истории – Французской революции. Они полагали, что она положила начало эпохе, которую они называли новейшей³⁹. Роттек посвятил событиям революции целый том своей “Всеобщей истории”. Кареев не только представил анализ хода революции на страницах “Истории Западной Европы в новое время”, но написал серию новаторских работ о парижских секциях и движениях городской бедноты в 1790-1795 гг. об экономической истории периода революции, об историках Французской революции⁴⁰. Чтобы сравнение восприятия революции Роттеком и Кареевым было корректным, будут использованы только этюды о революции из кареевской “Истории Западной Европы в новое время”, где отчетливо проявляется общий взгляд автора на эту проблему.

Роттек был очевидцем событий во Франции конца XVIII в. Его история революции “выверена” политическими пристрастиями автора и несет в себе ярко выраженный постреволюционный синдром, которым “переболела” Европа в период Реставрации. Кареева отделял от революционных потрясений во Франции целый век, и представленный им ход событий – это в подлинном смысле уже история, написанная как в соответствии с канонами позитивизма, так и с учетом “законного субъективизма”, поэтому политические идеалы автора также достаточно узнаваемы.

Идеи освобождения общества, борьба естественного права, принципы которого – свобода и равенство, с правом историческим были в представлении Роттека основными причинами и двигателем революции. Кареев также полагал, что “переворот, совершившийся во Франции, ставил своею целью достижение свободы в двух смыслах этого слова, т.е. свободы политической как участия нации в правлении, и свободы индивидуальной как эмансипации личности из-под опеки государства⁴¹. С позиции приверженности идеалам свободы оба историка высоко оценивали результаты деятельности Учредительного собра-

³⁸ См.: Кареев Н.И. Основные вопросы философии истории. С.234-253. См. также Кареев Н.И. Теория исторического процесса. Историология. Пг., 1915. С.133, 195-198.

³⁹ Кареев Н.И. История Западной Европы... Т.3. С.416; Rotteck C. v. AG. Bd.9. S.8.

⁴⁰ См.: Кареев Н.И. Борьба парижских секций против декретов 5 и 13 фрюктидора II года. Пг., 1915; он же. Беглые заметки по экономической истории Франции в эпоху революции. Сер. 1-2. СПб., 1913- 1915; он же. Великая французская революция. Пг., 1918; он же. Историка французской революции. Т. 1-3. Л., 1924-1925; он же. Крестьянский вопрос во Франции в последней четверти XVIII в. М., 1879.

⁴¹ Кареев Н.И. История Западной Европы... Т.3. С.415-416.

ния, когда была принята либеральная конституция (3 сентября 1791 г.), установлено гражданское равенство, проведены судебная и административная реформы. Они восхищались конституцией 1791 года. Роттек восклицал: "Действительно, кто ругает эту конституцию, тот ругает человечество за то, что оно не может жить в разладе с разумным правом (под ним Роттек понимал естественное право – *Н.Р.*)⁴². Кареев полагал, что конституция 1791 г. заложила основы новейшего государственного права западных стран, поскольку ее "принципами являются свобода индивидуальная... и свобода политическая"⁴³.

Во многом одинаково относились историки к жирондистам. Они писали о них с сочувствием, и им импонировали нравственные качества членов партии Жиронды. "...В них больше душевности – писал Кареев, – их трагическая судьба окружила особым ореолом как имена главных жирондистов, так и всю их партию"⁴⁴. Роттек на страницах своей "Всеобщей истории" перечислил имена всех гильотинированных жирондистов и объявил их жертвами революции. Но жирондистской политической программе немецкий историк не сочувствовал, так как полагал, что ненависть жирондистов "к королевской власти, республиканский их пыл проложил дорогу господству черни и установлению диктатуры..., а в нации отсутствовали тогда добродетели необходимые для установления республиканских свобод"⁴⁵. Роттеку претил столь сильно выраженный демократизм политической программы этой партии. Кареев, наоборот, с одобрением относился к стремлению жирондистов установить демократию, однако отказывал им в политической прозорливости, утверждая, что они, "будучи философами, теоретиками, ораторами... не были людьми жизни, людьми практики, людьми дела"⁴⁶. В освещении историками жирондистского периода революции преобладает нравственный критерий. Точнее, нравственный аспект стал составной частью их либеральной историософии.

Оба историка отрицательно характеризовали якобинизм. По мнению Роттека, события в Вандее свидетельствуют о том, что чувство человечности окончательно покинуло якобинцев. Он писал: "Дети, старики, женщины были убиты, лишь кучи мусора обозначали вступление победителя"⁴⁷. Опираясь на французскую историографию периода Реставрации, Роттек утверждал, что за время якобинского террора свыше миллиона человек пало от рук палачей, примерно столько же погибло в результате военных действий⁴⁸. Пристрастие якобинцев к казням немецкий историк объявлял средством сохранить власть, а людям, которые возглавляли этот режим, он отказывал в каких-либо доб-

⁴² *Rotteck C. v. AG. Bd.9. S.115.*

⁴³ *Кареев Н.И. История Западной Европы... Т.3. С.552-553.*

⁴⁴ Там же. С.611.

⁴⁵ *Rotteck C. v. AG. Bd.9. S.146.*

⁴⁶ *Кареев Н.И. История Западной Европы...Т.3. С.611.*

⁴⁷ *Rotteck C. v. AG. Bd.9. S.160.*

⁴⁸ *Ibid. S.165.*

родетелях. Робеспьера он назвал "фанатиком от республики", отличавшимся непомерным честолюбием, и утверждал, что тот был способен только к демагогии и тирании⁴⁹. Однако в якобинизме Роттек видел не только "республиканский фанатизм" честолюбивых вождей, но широкое движение городских низов. Дух эгалитаризма и методы прямой демократии, присущие этому движению, вызывали резкое неприятие у либерального немецкого историка. Покушение якобинцев на личную свободу вызывало осуждение и у Кареева. Он обвинил сторонников этого движения в том, что во имя утопических целей построения совершенного общества они нарушили принципы свободы, и назвал их "сектой государственников". Социальная политика якобинцев – упразднение феодальных прав, установление максимальных цен на продукты первой необходимости – определялась, по его мнению, не программными требованиями, а союзом с городской беднотой, которая помогла им перехватить власть у жирондистов. Так же, как и Роттек, Кареев объявлял террор методом удержания власти и давал нелестные характеристики якобинским вождям⁵⁰.

Совпадение основных оценок Французской революции, конечно, не позволяет еще говорить об идентичности философии истории Роттека и Кареева. Так, оба историка считали Реформацию важнейшим событием при переходе от средневековья к новому времени. Однако Роттек видел в ней скорее социально-политическое движение, нежели религиозное. Его отвращал догматизм реформаторов, но интересовала идейная преемственность протестантизма и либерализма⁵¹. Подход Кареева более гармоничен. Он синтезировал все аспекты реформационного движения, однако подчеркивал, что "реформация была движением чисто религиозным, крупным событием в истории западного христианства как вероучения и церковной организации"⁵². Объяснить эти различия в восприятии Реформации можно как эволюцией философии XIX века в направлении от рационализма к иррационализму, так и ярко выраженным светским характером раннего либерализма. В конце XVIII – первой половине XIX в. шла борьба за секуляризацию общества, тогда как в конце XIX в. оно уже было секулярным, и взгляд на религиозные сюжеты стал более объективным.

Отмеченные различия – результат трансформации европейского либерализма XIX в. Традиция либеральной историософии XIX в. – познание исторического процесса с точки зрения гарантий прав и свобод личности, которым как Роттек, так и Кареев, придавали общечеловеческое значение, чем и определяется универсальный и непреходящий интерес к их историческим сочинениям.

⁴⁹ Ibid. S. 163-165.

⁵⁰ Кареев Н.И. История Западной Европы... Т.3. С.635; см. сн.36.

⁵¹ Rotteck C. v. AG. Bd.7. S.111.

⁵² Кареев Н.И. История Западной Европы... Т.2. С.3-4, 14.

ИЗ ИСТОРИИ НАУК О ПРИРОДЕ И ОБЩЕСТВЕ

В.В. Зверева

“Естественная история” Бюффона

*...Не существовало самой жизни.
Существовали лишь живые существа,
которые открывались сквозь решетку знания,
установленную естественной историей.
(М.Фуко. Слова и вещи.)¹*

Рассказывая в “Естественной истории” о том или ином животном – о льве, пантере, волке, крокодиле, – римский писатель Плиний Старший из множества известных ему книг выбирал разнородные сведения о том, что представлял собой “герой” его повествования. В главах часто менялись принципы отбора сюжетов, заслуживающих описания. Далекие или необычные существа, как правило, требовали к себе больше внимания, чем те, что жили рядом: о жирафе или гиппопотаме следовало говорить подробнее – на что они походили, каковы были их повадки и свойства, как они соотносились с другими животными. Читателю надлежало узнать, что львы бывают двух видов; низкорослые с короткой курчавой гривой более пугливы, чем те, у которых грива прямая и длинная. У львов тяжелый запах и дыхание; о настроении этого зверя можно догадаться по его глазам и хвосту. Лев милостив; он нередко щадит поверженных, нападает чаще на мужчин, чем на женщин и угрожает детям только когда нестерпимо голоден... Обязательной составляющей “рассказа о льве” была короткая ссылка на то, что писали об этих хищниках Полибий, Помпей, Цезарь, или другие авторы. Для “обыкновенных” зверей, к примеру – для лисы, не всегда находилось место в книгах “Естественной истории”. В таких случаях Плиний упоминал о них вскользь, при рассказе о том, как производят на свет потомство крупные и мелкие животные, или говоря о способах лечения болезней, для которых требовался среди других ингредиентов “лисий жир”...

В одном из самых читаемых в XVI в. сочинений по естественной истории – четырехтомной “Истории живых существ” Конрада Геснера (1551-58 г.) описать лису значило представить исчерпывающую подборку сведений из огромного числа книг, в которых когда-либо заходила речь об этом звере.² Труд автора заключался не в наблюдении или

¹ Фуко М. Слова и вещи. СПб., 1994. С.157.

² Подробнее о сочинении К.Геснера см.: Ashworth W.B. Emblematic natural history of the Renaissance // Cultures of Natural History / Ed. N.Jardine, J.A.Second, E.C.Sparry. Cambridge, 1996.

самостоятельном исследовании, а в извлечении из произведений древних и современных писателей по крупицам того материала, из которого можно было составить свод эрудитского знания о своем предмете. На первых страницах текста помещалась гравюра, сделанная по рисунку с натуры, на которой изображалась лисица.³ Весь материал подразделялся на части. В первой говорилось о том, какие слова обозначают этого зверя в старых и новых языках. Во втором разделе – о разновидностях лис, известных людям: об обычных рыжих, белых, что обитают в Испании, чернобурых, встречающихся в России... Далее речь шла о лисьем нраве, повадках, голосе, питании, о том, могло ли это животное пригодиться человеку. В следующей части приводились эмблематические изображения⁴ этих зверей, говорилось о приметах, легендах, девизах, в которых фигурировали лисы, делались ссылки на произведения античных и новых писателей, цитировались фрагменты из Св.Писания, где с лисой сравнивались праведники и грешники, раскрывалось аллегорическое значение животного в различных контекстах. Кажется, что в центре внимания автора было не столько само животное, сколько человек с его способностью наделять вещи тем или иным смыслом, вопрос о том, как в прошлом и настоящем отзывалась культура на существование того или иного Божьего творения.

В знаменитом сочинении "Система природы" Карла Линнея (ок.1736) на каждое существо заводился своеобразный "паспорт", в который была занесена упорядоченная информация о внешнем виде, строении, питании, повадках, местах его обитания. Можно было не сомневаться в том, что любому животному, ускользнувшему от взгляда естествоиспытателя, найдется место в универсальной классификации и будет присвоено обозначение (в соответствии с двоичной номенклатурой по роду и виду), как только оно попадет в орбиту зрения ученых.

Из приведенных примеров видно, что структура знания о "естественном" с течением времени претерпевала большие изменения. Различалось и то, что могло стать "достойным" изучения, и содержание знания, и

³ Сама идея изображения животных "с натуры" была достаточно новой для книг этого времени. Первым из ученых трудов, где текст сопровождался гравюрами, выполненными по рисункам растений и животных "с натуры", был "Сад Здоровья" ("Gart der Gesundheit", Mainz, 1485). В средневековых bestiариях могли приводиться выполненные по определенным образцам миниатюры, где воспроизводилась сцена из рассказа о характерном поведении животного, наделенного аллегорическим смыслом. Другие сочинения о живых существах, как правило, обходились без иллюстраций: сам текст давал сведения, необходимые для полного и верного знания о предмете.

⁴ Эмблемы – жанр, который сложился и приобрел огромную популярность в XVI в.: в "естественных историях" помещались эмблемы, в которые входило изображение какой-либо сцены с участием животного; над ней располагался девиз или мораль, которую иллюстрировало и действие на гравюре, и помещенный ниже текст. Например, слова "то, к чему стремишься, получит твой враг" сопровождалась картиной: лиса занимает нору барсука; далее в стихах коротко рассказывалась соответствующая история.

форма, в которую оно облекалось. Все окружающее человека говорило в текстах непохожими голосами, по-разному представляло себя читателю.

Жанр естественной истории, пользовавшийся почтением и у античных писателей, и у европейских авторов Нового времени, долгое время привлекал незаслуженно мало внимания исследователей, занимающихся историко-культурной проблематикой. Источники такого рода, как правило, рассматривались в рамках истории естествознания; для ученых-естествовников подобные тексты выглядят подверженными "старению", поскольку в первую очередь подлежат анализу подержанное содержание их концепций – в сравнении с современными теориями.

Подъем интереса к этому жанру, наблюдающийся в работах новых интеллектуальных историков в 1980-е и в особенности 1990-е годы, в большой мере обязан рассуждениям Мишеля Фуко в книге "Слова и вещи". Видение своего способа рационализации как одного из возможных, идеи об относительности знания и принципов, на которых оно строится, рассмотренные на примере текстов "естественных историй", подтолкнули исследователей к тому, чтобы заняться специальным изучением подобных проблем на материале сочинений античных и новоевропейских авторов по естественным наукам.⁵

Прочтение "естественных историй" с точки зрения историка культуры может представлять немалый интерес. На первый взгляд предмет исследования – "Природа", или "естественное" – не изменяется с течением времени. Однако в сочинениях, написанных в пределах разных культур, систем ценностей и значений, прослеживается разнообразие объектов изучения, созданных в текстах. Сама специфика жанра, т.е. подразумеваемое постоянство предмета описания, позволяет более четко разделить форму и содержание текстов, вопросы "что говорится" и "как это сказано", направить взгляд исследователя на формы, в которых представлено знание о природе, что позволяет увидеть разнообразие подходов к культурному конструированию "естественного" и множественность его репрезентаций. В ходе исследования таких сочинений могут быть выявлены особенности мировидения и смыслополагания, присущие их авторам, установлена культурная обусловленность логики повествований, специфики письма, принципов упорядочивания элементов мира и построения объяснительных моделей. Особого внимания также заслуживает изучение эстетики естественной истории. Можно поставить вопрос о том, как в текстах этого жанра выражались представления о "правильном" и "прекрасном", как под их влиянием трансформировалось содержание авторских концепций, как лежащие за ней визуальные образы обнаруживают себя в исследуемом сочинении.

⁵ См. например. *Bogaert-Damin. Livres de Fruits. Namur, 1992; Cultures of Natural History; Desmond R. Wonders of Creation. Natural History Draw. L., 1986; Findlen P. Possessing Nature. Museums, Collecting, and Scientific Culture in Early Modern Italy. California, 1994; French R. Ancient Natural History. L.-N.Y., 1994, и др.*

В настоящей статье рассматриваются некоторые из этих проблем на основании текста "Всеобщей и частной естественной истории" Жоржа Луи Леклера де Бюффона (1707-1788) – одного из самых знаменитых произведений ученой культуры XVIII в.⁶ Слава этого многолетнего труда, выходящего на протяжении более сорока лет, была огромной. Ж.-Ж.Руссо считал за честь целовать ступени кабинета, в котором Бюффон создавал свое творение. Еще при жизни Бюффона король Людовик XVI приказал воздвигнуть в честь него статую с высеченной на пьедестале латинской надписью: "Его гений равен величию природы". Но в XIX в. труд Бюффона был почти забыт; на фоне научных работ Дарвина автора "Естественной истории" стали считать дилетантом. Выдержки из его произведений продолжали публиковаться как нравоучительное чтение для "назидания юношества".

Сочинение Бюффона удивительным образом характеризует интеллектуальную культуру середины XVIII в.; соединяя черты, соответствующие "духу времени", присущие научному энциклопедическому знанию и высокой придворной моде, элементы культуры барокко и классицизма. Сам Бюффон являл собою воплощение "титанического" труда, предпринятого во имя Знания и Славы.

Жорж Луи Леклер родился в Монбаре в Бургундии; его дед был судьей, отец – государственным чиновником по солевой монополии. В 1717 г. мать Анна-Кристина получила большое наследство: семья приобрела землю Бюффон и для отца должность советника в Дижоне. В этом городе Жорж Луи Леклер получил образование в колледже иезуитов, в девятнадцать лет окончил университет Дижона со званием лиценциата прав. В 1728 г. он увлекся ботаникой, поступив на медицинский факультет университета в Анже. Но через пару лет занятия были прерваны: Бюффон из-за участия в дуэли был вынужден покинуть город и уехать в Нант. Там он познакомился и сблизился с молодым английским аристократом, герцогом Кингстоном, путешествующим по Европе со своим наставником, немцем Хикманом, любителем и знатоком естественной истории. Вместе с ними Бюффон совершил путешествие на юг Франции и в Италию. Общаясь со своими спутниками, встречаясь со светскими людьми и учеными, Жорж Луи Леклер приобрел аристократические манеры в модном в то время во Франции английском духе и разнообразные познания в области естественных наук.

В 1732 г. Бюффон получил свою долю наследства. Часть времени он стал проводить в Париже, где посещал и салоны, и научные собрания, отдавая дань как удовольствиям жизни, так и ученым занятиям. Спустя год 26-летний Бюффон представил в Академию наук трактат по

⁶ Buffon G.L.L. de. Histoire Naturelle // Oeuvres complètes. Bruxelles, 1822. Подробнее о Бюффоне см.: Gaillard Y. Buffon. P., 1977; Hanks L. Buffon avant l' "Histoire Naturelle". P., 1966; Un Autre Buffon. P., 1977; Зенкин С.Н. Неклассическая риторика Бюффона // Новое литературное обозрение. №13. 1995; Канаев И.И. Жорж Луи Леклер де Бюффон. М.-Л., 1966.

математике и был избран адъюнктом Академии. Разнообразным проектам, за осуществление которых он брался, сопутствовал успех. От своего друга, молодого министра Морепе, Бюффон начал получать выгодные государственные заказы на металлические изделия и лес для флота. Он занялся лесоводством в Монбаре, изучая сорта древесины, пригодной для кораблестроения, стал издавать статьи о физиологии растений, о разведении новых видов деревьев, о восстановлении лесов. В своих землях он основал один из крупнейших в то время во Франции металлургических заводов, при котором была создана лаборатория для опытов с сортами руды и металлами. В Париже Бюффон жил в зимние месяцы; все остальное время проводя в Монбаре, где по своему замыслу, с присущей ему энергией и страстью к строительству, создавал на месте разрушенного замка бургундских герцогов дворец и сады, разбитые на четырнадцать огромных террасах вокруг нового дома. В 1738 г. Жорж Луи Леклер по приглашению герцога Кингстона совершил путешествие в Англию; там помимо всего прочего он познакомился с разработками британских ученых в области микроскопических исследований. В Лондоне Бюффон стал членом английского Королевского общества. Из поездки он привез с собой, перевел и издал сочинение Ньютона о методе дифференциального исчисления.

Своеобразным поворотным пунктом в карьере Бюффона был 1739 г., когда с помощью сложной интриги он получил должность интенданта Королевского ботанического сада в Париже, основанного за сто лет до того для разведения лекарственных растений и обучения ботанике, химии и медицине врачей. В саду читались публичные научные лекции. Благодаря деятельности Бюффона ботанический сад превратился в одно из самых популярных и процветающих учреждений: ему удалось собрать для обустройства сада большие частные пожертвования, почти вдвое увеличить его территорию, привлечь к работе высокообразованных людей, сделать королевский сад местом обширных научных исследований. Помимо ведения других дел, Бюффону было вверено составление описи коллекции находившегося там же королевского Кабинета, которая включала образцы растений и редкие диковины. Но он решил осуществить иной замысел: описать весь природный мир, создать всеобъемлющую естественную историю и, в качестве приложения, сопроводить ее рассказом о Кабинете короля. Бюффон планировал издать сочинение в 15-ти томах, собрать в них многообразные факты из всех отраслей естествознания и через них попытаться представить и понять целое. За этим последовало сорок лет его собственных трудов и десять лет работы продолжателей его дела.

Замысел Жоржа Луи Леклера де Бюффона, на первый взгляд кажущийся невыполнимым, более объясним в контексте интеллектуальной культуры его времени, когда и ученые, и философы переживали увлечение "природой". "*Natura*", "естественное" – постоянная тема в рассуждениях самых разных авторов. Природа представляла как перво-

основа, суть вещей и отношений между ними, как "великая книга мира", предмет изучения, как хранительница скрытых законов, распространяемых на простые физические тела, на общество в целом и на разнообразие человеческих культур, как мудрый наставник, воспитатель, вдохновитель искусств. В произведениях просветителей она могла мыслиться не только как вместительница всего сущего, но и должного – к ней обращались в поисках естественного человека, качеств, присущих от рождения людям, которые следовало культивировать в человеке цивилизованном. В XVIII в., по замечанию М.Фуко, заговорило то, что до тех пор всегда молчало: все произрастающие, дышащие, движущиеся существа получили свои голоса. Вместе с "диковинами" и "редкостями", привлекавшими внимание коллекционеров предыдущего столетия, право быть увиденными и изученными обрели растения и животные, окружающие человека в повседневной жизни.⁷

Многих современников Бюффона привлекали глобальные описания мира и всех вещей в универсуме. В качестве примера можно привести труд швейцарского ученого Шарля Бонне "Созерцание природы" (1764 г.)⁸, где автор рассматривал не только лестницу живых и неживых творений Бога (подкрепляя умозрительные рассуждения наблюдениями натуралиста, скажем, о гермафродитизме травяной вши, или об анатомическом строении животных), но и бесконечную систему миров, где каждая вселенная сопоставлялась с книгой на полке необъятной небесной библиотеки. В этом смысле самонадеянное желание Бюффона вполне отвечало духу времени. Кроме того, ученый еще мог позволить себе писать об устройстве вещей во всем мире, не покидая кабинета, приводя в качестве аргументов как мнения предшественников, так и свои персональные впечатления, полученные зачастую без систематических наблюдений и экспериментов.

В 1749 г. вышли три первых тома "Всеобщей и частной естественной истории с описанием Кабинета короля", посвященные Людовику XV. За вводным томом, где говорилось о происхождении Земли, следовало 14 книг о млекопитающих, начиная с человека и заканчивая экзотическими животными, 9 – о птицах, 5 – о минералах, 7 книг с дополнениями. Всего при жизни Бюффона в королевской типографии было напечатано 36 томов. Эти книги, прекрасно изданные, иллюстрированные гравюрами, сразу переводились на европейские языки; выхода каждого тома читатели ожидали с нетерпением. Успех сочинения способствовал тому,

⁷ В данном случае отличия от сочинений ученых античности или Возрождения можно представить так: Во-первых, разница состояла в масштабе такого изучения. Во-вторых, для исследователей XVIII в. акцент ставится именно на слове "увидеть": не столько вычитать из книг и рассмотреть любое существо как событие текста, а – пусть даже с помощью книг – разглядеть его рядом с собой, как событие жизни. Согласно Фуко, увидеть отдельно каждую тварь как "вещь" и как рассказ о ней, отдавая преимущество "вещи".

⁸ Бонне Ш. Созерцание природы. Смоленск, 1804.

что в 1753 г. его автор был избран членом Французской Академии.⁹ После смерти Бюффона его последователь Ласепед опубликовал еще 8 томов на основе записей, набросков и собранных ученым материалов – о яйцекладущих четвероногих, змеях, рыбах и китах.

В работе Бюффону помогал врач Луи Добантон, назначенный хранителем Кабинета короля. В свое время Ж.Кювье говорил о них так:

“Бюффон, крепкого сложения, импозантного вида, по природе властный, во всем жадный до безотложного наслаждения, казалось, хотел угадать истину, а не наблюдать ее. Его воображение все время становилось между ним и природой и красноречие его, казалось, изливалось вопреки разуму... Добантон, слабого темперамента, с кротким взглядом, со сдержанностью... вносил во все исследования самую скрупулезную осторожность; он верил только тому, что видел и трогал, и только это решался утверждать...”¹⁰

В конце концов, фрагменты, написанные Добантоном – в основном касающиеся анатомии, изучения строения и внутренних органов животных, – практически не вошли в окончательный текст “Естественной истории”. Более отвечающие современным представлениям о научном труде, они были противны высокому вкусу читателей. Однако, по мнению исследователей, Добантон внес неоценимый вклад в работу над сочинением, предостерегая Бюффона от чересчур опрометчивых суждений всякий раз, когда его уносило воображение.

Личность Бюффона притягивала внимание современников; в ней сочетались такие черты, как подвижничество во имя знания, необычайная работоспособность и гедонизм, любовь к радостям жизни, к роскоши и славе как заслуженной награде за труды.¹¹ По словам Бюффона, на свете было всего пять величайших гениев: “Ньютон, Бэкон, Лейбниц, Монтескье и я”.¹² Отдельные высказывания самого Бюффона и некоторые суждения о нем знавших его людей превратились в легенду или анекдот, вошли в число популярных сентенций. Например, то, что можно в полной мере отнести к самому автору “Естественной истории”: “Гений, или творческая сила, есть не что иное как терпение в превосходной степени”.¹³ Бюффона именовали “французским Плинием”. Сходство находили в названиях главных произведений обоих авторов, в замысле большого эрудитского сочинения и отчасти – в выборе объекта изучения. Подобно своему знаменитому предшественнику, Бюффон осуществил непосильную для обыкновенного человека задачу, написав (по его собственным словам, “из голо-

⁹ См.: Жорж Луи Леклерк де Бюффон. Речь при вступлении во Французскую академию // Новое литературное обозрение. №13. 1995. Пер. и прим. В.Мильчиной.

¹⁰ Цит. по: Канаев И.И. Жорж Луи Леклерк де Бюффон. С.24.

¹¹ Подобное заключение можно сделать на основе записок Эро де Сешеля. “Он сам сказал мне, что науки составляют первое удовольствие и страсть его, вместе с чрезвычайною любовью к славе”. Цит. по: Эро де Сешель. Бюффон перед концом жизни // Карамзин Н.М. Переводы. М., 1835. Т.8. С.193.

¹² *Hérault de Séchelles J.-M. Voyage à Montbard. P., 1890. P.37.*

¹³ Эро де Сешель. Бюффон перед концом жизни. С.193.

вы") множество томов. Этой цели должна была подчиняться вся жизнь ученого-философа, с ее каждодневным распорядком.

Поклонник творчества Бюффона, молодой парижский адвокат Эро де Сешель, посетив знаменитого соотечественника, опубликовал очерк, в котором так описывал его достойные восхищения труды:

"Вот каким образом он проводил, или еще проводит день свой. В пять часов встает, одевается, причесывается, диктует письма, занимается хозяйственными делами. В шесть идет в свой кабинет, который на самом конце сада, расстоянием от дома по крайней мере в двухстах саженях, и к которому надо идти горою, с террасы на террасу. Там он пишет или ходит в аллеях. Никто не смеет помешать ему; никто не смеет приблизиться. Он перечитывает несколько раз всякое из сочинений своих и кладет его отдыхать. Не надобно спешить, говорит он: через несколько дней глаза освежатся; все лучше увидишь и всегда найдешь, что поправить. Когда в манускрипте много поправок, Бюффон отдает его переписывать секретарю своему, иногда несколько раз, пока совершенно будет доволен мыслями и слогом. ...В девять часов приносит ему завтрак, состоящий из двух рюмок вина и белого хлеба; после чего он работает еще до двух часов, и возвращается в дом обедать. За столом обыкновенно сидит долго; забывает свою ученость, великий ум; любит шутить..."¹⁴

Сочинение "французского Плиния" обладает особым свойством, которое в разное время отмечали его читатели: образ Бюффона, "его индивидуальность", вопреки тезису о неизбежной смерти автора в тексте, оказался плотно вписан в текст "Естественной истории". Построение нарратива, выбор языка, стиля, способов репрезентации изучаемого предмета – несут вполне определенное сообщение, рисуя портрет Жоржа Луи Леклера де Бюффона. Еще до знакомства с исследовательской литературой и отзывами современников, из самого чтения "Естественной истории" у меня сложилось впечатление об "авторском теле": за текстом предстал неспешный, пышно одетый "Бюффон" в костюме с кружевами и лентами. Позже, к удивлению, обнаружилось, что эта деталь не только отмечалась теми, кто знал ученого, но и стала частью анекдота о нем.¹⁵

¹⁴ Эро де Сешель. Указ.соч.: С.194-197. Ср. с описанием распорядка дня Плиния Старшего: "Ты удивляешься, что столько книг, при этом часто посвященных вопросам трудным и запутанным, мог закончить человек занятый... Но он был человеком острого ума, невероятного прилежания и способности бодрствовать. Он начинал работать... задолго до рассвета... Еще в темноте он отправлялся к императору Веспасиану (тот тоже не тратил ночей даром); а затем по своим должностям. Вернувшись домой, он оставшееся время отдавал занятиям. Поев (днем, по старинному обычаю, простой легкой пищи), он летом, если было время, лежал на солнце; ему читали, а он делал заметки и выписки. Без выписок он ничего не читал и любил говорить, что нет такой плохой книги, в которой не найдется ничего полезного. Полежав на солнце, он обычно обливался холодной водой, закусывал и чуточку спал. Затем, словно начиная новый день, занимался до обеда. За обедом читалась книга и делались беглые заметки... В дороге ... рядом с ним сидел скорописец с книгой и записной книжкой. Зимой его руки были защищены от холода длинными рукавами, чтобы не упустить ни минуты для занятий... Потерянным он считал все время, отданное не занятиям". – Письма Плиния Младшего. М., 1983. Пер. М.Е.Сергеенко, А.И.Доватура. С.45-6.

¹⁵ "Он чрезмерно уважает наряд, уборку, богатые кафтаны; одевается всегда как старинный, пышный барон, и бранит молодого графа, что тот носит простые, модные фракки... В начале рассуждения своего о человеке он сказал, что платье

Сто лет спустя биограф опровергал излишние домыслы:

"Говорят, он любил блеск и роскошь, что например, он писал не иначе, как в вышитой одежде и кружевных манжетах. Это заблуждение. У себя он одевался просто. Не его вина была, если и в небрежном костюме Бюффон с его высокой талией, открытой фигурой, с его широким лбом и улыбающимся ртом имел вид вельможи и, как говорили, скорее был похож на маршала Франции, чем на человека науки".¹⁶

Без сомнения складыванию такого стереотипа способствовала чрезвычайно популярная фраза Бюффона: "Стиль – это сам человек". Но при этом, даже опираясь на собственный читательский опыт, кажется, можно говорить о том, что "ленты" причудливо запечатлены в самом тексте. Они столь осязаемы, что именно через них читателю открывается та "Природа", которую описывал Бюффон, и что они стали неотъемлемой частью знания о естественном мире.

Обратимся теперь к тексту "Естественной истории", ограничиваясь томами, посвященными преимущественно общим методологическим вопросам, истории человека и четвероногих млекопитающих (Т.1, 3-6).

Для философов и ученых XVIII в., как представляется, сохраняла свое значение метафора, которую приводили в свое время и Галилей, и Бэкон, и Декарт: Природа как *Великая книга мира*, сопоставимая с великой книгой духовного откровения, Св. Писанием. Ее явленность, открытость для "чтения" составляла необходимое условие и залог исследования, ведущего к познанию истин: требовалось уметь "прочитать", понять и верно интерпретировать ее слова. Однако, каждый читатель, любой из "великих гениев", неизбежно сам писал ее текст, творя познаваемый мир по своему подобию. Во всяком сочинении, где изучалась Природа, концепты "природного", "естественного" созидались искусственно, как сложные культурные конструкты. "Книга мира" могла быть написана в разных жанрах, Природа могла говорить разными языками. Для Бюффона ее текст создавался в жанре *Естественной истории*; выразительные средства и способы репрезентации должны были соответствовать величию избранного предмета.

Сочинение начинается словами, призванными выразить удивление и восторг перед завораживающим многообразием Природы.

"Естественная история, взятая во всем ее пространстве, есть история безграничная; она объемлет все предметы, что нам являет вселенная. Это чудесное множество четвероногих, птиц, рыб, насекомых, растений, минералов и т.п., представляет любопытству человеческого разума огромное зрелище, которое в целом столь велико, что, кажется, оно неисчерпаемо в своих дета-

составляет часть самих нас; глаз не отличает сперва человека от его наряда; видит все вместе и по внешнему судит о внутреннем... Бюффон так привык к нарядам, что не может, по словам его, работать, если не хорошо одет, не хорошо причесан. Великий автор идет в кабинет свой, как мы идем в торжественное собрание; он один, но перед ним вселенная и потомство". – *Эро де Сешель*. Бюффон перед концом жизни. С.204-205. Г.Флобер в "Лексиконе прописных истин" приводил наиболее расхожее и банальное высказывание об этом человеке: "Бюффон Когда писал, надевал манжеты".

¹⁶ Лесбазель Е. Бюффон. Курск, 1888. С.22.

лях. ...Когда мы бросим впервые взгляд на это собрание разных, новых и чужеземных вещей, первым приистекающим чувством будет изумление, смешанное с восхищением, и первым происходящим от него размышлением – смиренное обращение к самому себе". (Т.1. Р.42)

Удивление – важная составляющая такого исследования, однако само по себе оно не подсказывает ученому тот путь, по которому ему предстоит пойти. Данный фрагмент можно сопоставить с рассуждениями автора "Системы природы" – Карла Линнея, главного оппонента Бюффона, шведского натуралиста, который изучал и описывал Природу методами и языком, в корне отличными от избранных его французским коллегой.¹⁷ Основное методологическое расхождение между двумя учеными заключается в том, какие следствия выводятся ими из сходной посылки – из замешательства наблюдателя, перед которым открывается непередаваемое разнообразие видов, хвостов, крыльев, пятен на шкуре, копыт и когтей. Текст "Книги мира" должен быть структурирован, разбит на главы и объединен общей логикой повествования.¹⁸ Как следовало упорядочивать хаос?

Первое различие тварей Божьих давал Ветхий Завет. Наиболее авторитетным писателем, который ввел свое разделение живых существ, был Аристотель.¹⁹ Способ, предложенный Линнеем, учитывал рассуждения Аристотеля и ученых XVI-XVII вв. Он состоял в том, чтобы опираясь на труды предшественников, собственные наблюдения и опыт выделить ряд признаков, на основании сходства и различия которых построить универсальную классификацию – в данном случае, классификацию животных. Открыв, таким образом, присущий самим вещам порядок, можно было руководствоваться им и в дальнейшем, помещая каждый новый вид на свое место, создавая классы и отряды, находя подтверждение существованию универсалий в окружающем мире. Этот путь рационализации, использованный в трудах шведского ученого (признанный наукой XIX в.), казался Бюффону совершенно неприемлемым. Для него ложной представлялась идея построения классификации как искусственно конструируемого и проецируемого на природу порядка – "подчинения произвольным законам законов природы". По его

¹⁷ "Обширность царства животных, чрезвычайное множество заключающихся в нем тварей, и великое между родами их различие едва бы возможно было обозреть человеку и привело бы его в величайшее замешательство, в котором невозможно приобрести порядочного об истории животных понятия, ежели бы не подумал о средствах, как бесчисленное множество предметов ясно и порядочно впечатлеть в памяти своей". – *Линней К.* Система природы. Царство животных. СПб., 1804. С.9.

¹⁸ Заметим, однако, что для натуралистов XVII в., культивировавших "эстетику любопытства", такое упорядочивание своего предмета исследования и текста о нем не было не только необходимым, но и желательным. Коллекции "редкостей" и книги по "естественной истории" чаще строились по принципу столкновения контрастных вещей, которые по размеру, цвету, форме, по присущему им "стилю" способным были поразить воображение зрителя или читателя. Подробнее см.: *Whitaker K.* The Culture of Curiosity // *Cultures of Natural History.*

¹⁹ См.: *Аристотель.* История животных. М., 1996.

мнению, человек испытывает непреодолимую потребность в упорядочивании разнообразных вещей, возможно не связанных между собой. Последовательность, объединение предметов в союзы, классификация – свойство ума, способности рассуждать.

“Мы имеем врожденную склонность представлять себе во всех вещах некоторый род порядка и единообразия”; доверие ведет к тому, что исследователи “строят системы на неясных основаниях, которые никто никогда не проверял, и которые служат лишь тому, чтобы показать желание находить сходство между самыми различающимися предметами, регулярность там, где царит разнообразие...” (Т.1. Р.47).

Но если эта процедура неизбежно присутствует в человеческих умозаключениях, то важно отдавать себе отчет в том, насколько условно, “сделанно” каждое исполняемое обобщение.

Были ли эти идеи оригинальными? С одной стороны, выбор облика, который примут естественные науки XIX в., во времена Бюффона не был предопределен. С другой, точка зрения французского философа не была самой распространенной. Напротив, в среде интеллектуалов существовал устойчивый интерес к “должному”, к поиску модели, нормы, закономерности. В особенности это было характерно для рассуждений французских просветителей, с которыми непосредственно общался Бюффон. Заметим, что для Линнея констатация множественности форм в мире служит точкой отталкивания; в своем сочинении ученый как бы преодолевает ее, подчиняет своей логике. Для Бюффона именно это и есть предмет эстетизации и исследовательского интереса. В своем тексте он заботливо возвращает идею множественности, несводимости и беспорядочности как чарующей и наполненной смыслом составляющей бытия.

“Чудное число произведений природы тогда составит самую малую часть нашего удивления; ее механика, искусство, богатство и даже ее беспорядки привлекут все наше восхищение. Человеческий разум, слишком малый для этой громады, подавленный множеством чудес, изнемогает. Кажется, что все, что может быть, уже есть; десница Творца распростерлась не ради того, чтобы даровать жизнь ограниченному числу видов, но сразу создала целый мир существ, относящихся и не относящихся друг к другу, бесконечность гармоничных и противоречащих сочетаний, постоянство разрушений и обновлений” (Т.1. Р.47).

Естественная история для Бюффона, как и для его предшественников, – повествование, сумма рассказов об изучаемых видах. Ученому следовало “узнать все, что относится к их рождению, воспроизведению, организации, обычаям, одним словом, историю каждой вещи в отдельности” (Т.1. Р.43). Можно попытаться ответить на вопрос, каким образом, по мнению Бюффона, возникало знание о “вещах”, и что к нему относилось. На естественные предметы следовало “вначале долго смотреть; смотреть почти без умысла” (чтобы не прийти к заранее готовым результатам) и часто их “пересматривать”. В результате такой практики в уме

наблюдателя постепенно складывались "долговременные впечатления", которые вели к правильным заключениям.²⁰

Из этого рассуждения, которое в работах современных исследователей нередко оценивалось как уязвимое, можно сделать вывод о том когнитивном статусе, которым для французского философа обладало зрение. Верно направленный взгляд был способен давать истинное знание. Естественная история, таким образом, мыслилась как называние видимого, именование тех вещей в мире, которые между собой различал взгляд. Бюффон как натуралист не ставил опытов, не экспериментировал с изучаемыми объектами. Идея собирания вещей и медленного их разглядывания обнаруживается в данном сочинении как высказанное автором намерение²¹ и как основной принцип организации материала (созерцание каждого нового животного в специально отведенном ему текстуальном пространстве).

В конце XVI в. знаменитый ученый Альдрованди впервые счел нужным поместить в текст естественной истории изображения скелетов зверей. Мысль о возможности увидеть живое существо "изнутри", о необходимости детально знать его анатомическое строение завладела воображением исследователей XVII столетия, особенно, после публикации труда Гарвея о системе кровообращения.²² Веком позже, несмотря на увлечение оптическими приборами, микроскопом, ученые, казалось, на время утратили интерес к этой идее. В "Естественной истории" взгляд Бюффона, как правило, скользил по поверхности рассматриваемой формы, не устремляясь вглубь, не рассекая предмет. (Не удивительно, что из основной редакции текста были исключены "потроха г-на Добантона").

Статьи сочинения, посвященные животным, обычно начинались с внешнего описания, рассказа о "естественных" свойствах вида. (Отметим, что первостепенность зрения для складывания знания о предмете сказала и в том весьма малом внимании, которое уделялось характеристике "звуков" и "запаха" существ). К минимуму была сведена та часть, в которой говорилось о "предании", о легендарных качествах того или иного зверя. Однако эта составляющая не исключалась вовсе: она продолжала бытовать в "Естественной истории" как важная отсылка к традиции, к трудам предшественников. Так, согласно автору этого произведения, "поскольку люди всегда вслед за истиной приводят не-

²⁰ "...Надобно иметь терпение, чтобы долго смотреть на предмет со всех сторон; смотрев долго, наконец понимаем его". — *Эро де Сешель*. Бюффон перед концом жизни. С. 193.

²¹ "...Собрать по образцу всех произведений, находящихся в нашем мире" (Т.1. Р.42). По словам Сешеля, Бюффон долгое время держал в Монбаре львов, других диких зверей и экзотических птиц для того, чтобы, рассматривая, изучать их.

²² В "Рассуждении о методе" Декарт советовал читателям: "Чтобы излагаемое мною легче было понять, я желал бы, чтобы лица, несведущие в анатомии, прежде чем читать это, потрудились разрезать сердце какого-нибудь крупного животного, имеющего легкие..." — *Декарт Р.* Рассуждение о методе // Сочинения в двух томах. Т.1. М., 1989. С.277.

былицу” мангуст ведет себя так, как подобает фараоновой мыши у Плиния и гидре в средневековых bestiариях. Он, испытывая “антипатию к крокодилу, забирается внутрь его тела, пока тот спит” с раскрытой пастью, и разрывает его когтями и зубами (Т.5. Р.195).

Бюффону, несмотря на утверждение об относительности систематики, было необходимо предложить свой способ внесения порядка в “предметы” мира. Работу натуралиста можно сравнить с изготовлением большого шкафа с полками, на которых помещались живые существа. Выбор автора состоял в том, какие “полки” сделать для своей конструкции, в каком порядке “рассадить” по ним своих героев. Сама форма письменного текста, в которую облекалось знание, требовала определенного расположения частей нарратива, с началом и концом, центром и периферией. Бюффон избрал такой путь построения текста, при котором читателю была видна условность последовательности глав и, одновременно, она могла восприниматься как само собой разумеющаяся, “естественная”. Создания располагались по мере близости или удаленности от человека той культуры, к которой принадлежали и автор, и читатели. Первые статьи были посвящены домашним “обычным” животным. Описания лошади, осла и быка заняли целый том; в следующем говорилось об овце, козе, свинье, собаке и кошке. На этих примерах можно было раскрыть некоторые характерные признаки, свойственные живым существам, поставить общие вопросы. Хорошо известные животные давали наилучшую пищу для размышления, для извлечения урока, морали, для философских заключений. Далее шел рассказ о диких зверях, обитающих рядом; постепенно повествование доходило до экзотических зверей, обитателей Африки и Нового Света. Объем статей сокращался, но по-прежнему в них содержались рассуждения о чертах, повадках, образе жизни животных, на основе чего делались некоторые общие философские выводы.

Мысль о ненадежности систематики подразумевала видение мира во множественности индивидуального. Бюффон предпочитал писать о частных явлениях, как единственно возможных, о живых существах вне родов, отрядов и классов. Всеобщее должно было раскрываться через отдельные примеры. Что же в таком случае могло приниматься за “единичное”, “индивидуальное” в сочинении, которое претендовало на всеобъемлющее описание? Бюффон использовал самое простое, наименьшее обобщение – “вид”, и ввел понятие “прототип”.

“В природе имеется общий прототип в каждом виде, по которому образован каждый индивидуум; но этот прототип, как кажется, реализуясь, изменяется или совершенствуется благодаря обстоятельствам. Таким образом, в отношении некоторых качеств имеется странная на вид изменчивость в последовательности индивидуумов и в то же время замечательное постоянство у вида в целом”.²³

²³ Цит. по: Канаев И.И. Очерки из истории сравнительной анатомии до Дарвина М.-Л., 1963. С.30.

Другими словами, любое существо, например, любую лошадь, можно было возвести к "прототипу", т.е. к "лошади" как устойчивому набору повторяющихся признаков, которые обладали изменчивостью.²⁴ Идея типов не противоречит желанию изучать единичное: запечатлеваясь в неисчислимых уникальных существах, "тип" мог рассматриваться в качестве "индивидуального" начала – в сопоставлении с множеством видов – для фиксирования различий, несовпадений.

Для того, чтобы понять логику ученого, изучающего всеобщее и частное в природе, можно поставить вопрос о том, что в его представлении было создано "от начала времен" и как это "сотворенное" находится в мире "здесь и теперь". В сочинениях Бюффона присутствует мысль о "паразительном сходстве" внешнего строения и внутренних органов у всех живых тварей.

"Если среди необъятного разнообразия живых существ, населяющих вселенную, мы выберем животное или даже тело человека в качестве основы нашего исследования и отнесем к нему, путем сравнения, другие организмы, мы найдем, что хотя все они существуют отдельно и все постепенно варьируют до бесконечности, существует в то же время примитивная и общая схема, которую мы можем проследить очень далеко..." Это подобие "говорит с неизбежностью об идее первичного замысла, лежащего в основе всего".²⁵

Данная идея, встречающаяся в работах многих ученых, может вести их к рассуждениям о Божественном плане, о "лестнице существ", объединяющей все живые и неживые создания.²⁶ Однако в трудах Бюффона сама по себе констатация изначального "замысла" не позволяет однозначно истолковать вопрос о том, как этот философ представлял себе процесс создания мира.

Бюффон, по всей видимости, не был религиозен: исполняя в повседневной жизни все католические обряды, он, тем не менее, объяснял свои действия нежеланием провоцировать ненужные трения с церковью. В первых томах "Естественной истории", где говорилось об образовании Земли и возникновении жизни, авторская концепция не имела ничего общего с ветхозаветной историей сотворения мира. Богословы Сорбонны направили Бюффону официальное письмо: в нем были перечис-

²⁴ Думается, что, формулируя для себя некоторые общие принципы, Бюффон мог обращаться к авторитету античных писателей. Прочитированный фрагмент соотносится с рассуждениями Аристотеля о "форме"; сами главы "Естественной истории" можно сравнивать с "Характерами" Теофраста, где развивается идея "типов", спроецированных на людей.

²⁵ Цит. по: Канаев И.И. Очерки из истории... С.34-35.

²⁶ Этот образ, удобный для объяснения "постепенности" в изменениях форм неживых и живых созданий, был заимствован учеными у Аристотеля, и встречается с разными вариациями в текстах средневековых философов, у авторов Нового времени, в том числе и у Бюффона, и у Линнея. Убеденный протестант Карл Линней последовательно придерживался в своих работах христианского взгляда на Творение. Возможно, поэтому в его мире существовала изначальное заложенная система, классификация, которую надлежало "открыть" исследователю. "Природа" мыслилась как "непременный Создатель закон, по которому всякое существо есть то, чем оно от Бога создано и действует так, как оному действовать предписано". – Линней К. Система природы... С.3.

лены допущенные им “ошибки” и содержалось требование признать и опровергнуть их в следующем томе. Ученый, не вступая в споры, согласился с таким возражением (хотя и не стал сам себя опровергать); и дело постепенно было забыто. Вследствие этого, в тексте “Естественной истории” трудно определить, где и как общая христианская риторика расходится или совпадает с воззрениями самого автора.

Как бы то ни было, Бог-Творец в сочинении Бюффона, похоже, был выведен за пределы мира, а “замысел” или “общая схема” существовали не столько как Божественная “идея”, сколько как реализация одного принципа, повторяющегося на разных уровнях бытия. Для Бюффона было приемлемым творить свой мир таким, в каком он мог бы блистать, “купаться” в эстетически осмысленном разнообразии форм, всякий раз обнаруживать что-то новое, неожиданное и увлекательное, от чего могли бы получать удовольствие он сам и его читатели.

Одной из величайших тайн природы Бюффон называл проблему родства в животном мире. Был ли у похожих животных общий предок? Например, не произошли ли осел и лошадь от одного и того же вида? Утвердительный ответ предполагал бы, что созданные Богом твари трансформируются с течением времени. Автор “Естественной истории” приводил аргументы, которые могли бы подтвердить эту точку зрения (в трудах ученых XIX в. она преобразовалась в теорию эволюции). Однако, наряду с ними Бюффон выдвигал доводы в пользу того, что сотворенные виды не могли превращаться один в другой. Думается, что для самого Бюффона была приемлема такая позиция, которая сочетала элементы обеих, противоречащих друг другу гипотез.

Каждые “первые индивидуумы”, согласно французскому натуралисту, были созданы Богом. Так, зебра могла бы быть моделью осла и лошади, если бы в природе все существа не являлись бы оригиналами и не имели бы “равного права быть сотворенными” (Т.5. Р.228). Но все последующие индивиды изменялись с каждым поколением в зависимости от обстоятельств – “деградировали” или “улучшались”, на что влияли климат, пища, одомашнивание (“муки рабства”), комбинация признаков из-за скрещивания разных особей, наследование приобретенных черт. Иначе говоря, в природе, по мнению Бюффона, присутствовало движение – в противоположность “статическим” концепциям, где все сущее дано раз и навсегда в одних и тех же формах. Но при этом, в теории Бюффона, все виды как бы располагались на своих полочках, перегородки между которыми непроницаемы.

Тезис о постепенном движении природы подтверждала новая наука – палеонтология, которой увлекался Бюффон. Свидетельства гибели доисторических животных интерпретировались ученым как подтверждение изменчивости, которой подвержены все виды.²⁷ Из этого положения следовал весьма важный вопрос о целесообразности творений. Наиболее распространенной точкой зрения была идея о том, что Бо-

²⁷ Buffon. Oeuvres philosophiques de Buffon / Ed. J.Piveteau. P., 1954. P.382.

жественность замысла предполагала наличие цели, положенной всем созданиям. В природе не было ничего лишнего высшего смысла: как, к примеру, писал Линней, мудрость Бога видна уже в том, как Он заботливо оградил легкие и сердце ребрами.

В своих рассуждениях на этот счет Бюффон был достаточно оригинален: в "Естественной истории" неоднократно повторялась мысль о бесцельности, случайности возникновения форм в природе. Со временем, из более "удачных" существ образовались устойчивые виды, остальные же вымерли подобно мамонтам. Некоторые из нынешних животных, по мнению Бюффона, подтверждали эту гипотезу: так, скажем, гибель ожидала несуразного ленивца, мало приспособленный вид, особенно если бы в его "естественную историю" вмешался человек.

Как строилось знание о двух видах, о том, на какую полочку поместить каждый из них? Достаточно важным было установление сходства между изучаемыми существами. Выявление похожего подразумевало возможность делить целое на элементы (вплоть до "организованных молекул", в соответствии с ньютоновской картиной мира) и сравнивать простейшие части. Однако принцип сходства в науках XVII-XVIII вв. играл иную роль, чем для средневековых ученых, по логике которых свойства и качества одного предмета по аналогии переносились на другой, внешне ему подобный (корень мандрагоры похож на человека, следовательно, с его помощью можно лечить больных). По словам М.Фуко, после критики этого принципа Декартом сходство стало "поводом совершить ошибку".²⁸ Другими словами, из него больше не выводилась аналогия; наоборот, за констатацией сходства должно было следовать нахождение различия. Именно оно воспринималось исследователями как более значимое и расценивалось как подлинный критерий перехода от одного предмета (вида) к другому.

В природе, согласно тому же Декарту, нет пустоты. Природа представлялась непрерывной; Бюффон мыслил различие как конструктивный элемент, выполняющий связующую роль между всеми живыми существами. При этом, оно было наделено эстетическим значением. Любопытный пример содержится в главе, посвященной популярной во времена Бюффона теории о влиянии климата на облик, характер и обычаи человека. Описывая народы, населяющие Землю, ученый говорил, в том числе, о жителях Мадагаскара – людях с хвостами. Все люди под влиянием климата, пищи и нравов различны. Бюффону нравилось фиксировать несовпадения, множественность. Думается, что хвостатый народ появился в тексте благодаря общей логике поиска отличий. Нужно было последовательно показать представителей человеческого рода, с их удивительной несводимостью друг к другу, и, кажется, Бюффон был очарован самой идеей наполненных многообразием кругов, расходящихся от центра, в котором пребывал он сам.

²⁸ Фуко М. Указ. соч. С.86.

В его сочинении все “круги” существ, включая животных, птиц, рыб описаны вокруг человека: естественная история Бюффона антропоцентрична. Несмотря на сходство с животными, его, обладающего разумом и душой, нельзя было причислить к млекопитающим. Человек – вершина творения; по Бюффону, помимо других свойств, он обладал знанием о прекрасном – важным качеством для созидания красоты в окружающем мире. Красивое в природе редко существует само по себе: “...Модель прекрасного и хорошего как бы рассыпана по всей земле и... в каждом климате пребывает лишь часть ее, которая постоянно дегенерирует, пока ее не соединят с другой порцией, взятой издалека...”²⁹ Красота мыслилась как результат некоего вполне продуманного усилия. Бюффон полагал, что прекрасной природу делал человек-преобразователь: запущенная, без должной “регулярности”, дикая природа сама по себе ждала прикосновения человеческой руки.³⁰

Красота, значимый принцип “Естественной истории”, могла быть критерием для знакомства читателя с тем или иным существом. Какие признаки могли оцениваться автором как проявления прекрасного?

“Зебра, возможно, сложена лучше всех четвероногих животных и наиболее изящно одета”. Зебра напоминает осла, кроме того “у нее облик и грация лошади, легкость оленя, и платье, расчерченное черными и белыми полосами, расположенными попеременно с такой правильностью и симметрией, что кажется, будто природа использовала линейку и циркуль, чтобы его расписать... Издалека похоже, что это животное отовсюду окружено лентами...” (Т.5. Р.297, 227).

Созидая нечто прекрасное, природа как бы подражала искусству с его пропорциональностью форм и точным расчетом, что заставляло автора “Естественной истории” восклицать: “Как прекрасна эта культурная природа!”. Кроме того, по всей видимости, в качестве одного из признаков “красивого”, в сочинении Бюффона выступала эклектичность строения какого-либо вида, заимствование им лучших качеств у разных существ. Культурная красота видов у Бюффона соотносилась с идеей пользы, которую мог извлечь для себя человек.³¹ По мысли автора, пользу должно было давать само знание о животном. Его следовало представить в тексте таким образом, чтобы рассказ о нем содержал наставление, моральный урок. “Нравы” зверей перекликались с человеческими нормами и ценностями; их повадки иногда получали этическую оценку (так, читателю имело смысл задуматься о добродетельном поведении коня или собаки и

²⁹ Перевод: Канаев И.И. Указ. соч. С.32.

³⁰ Ср. с героем романа Д.Дэфо. Единственный раз, когда живущий на острове Робинзон говорил о красоте окружающей его природы: “Вся окрестность зелена, цвела и благоухала, точно сад, насажденный руками человека, в котором каждое растение блистало красой весеннего наряда”. – Цит. по: Дэфо Д. Приключения Робинзона Крузо. М., 1998. С.104.

³¹ “Жираф – одно из первых, самых прекрасных и крупных животных, – которое, не будучи вредным, в то же время является одним из наиболее бесполезных” (Т.5. Р. 215). Этот же принцип заставлял Карла Линнея, к примеру, в статье о слонах добавлять, что это весьма полезное (но несъедобное) животное имело хобот, годящийся в пищу человеку. – Линней К. Система природы... С.215.

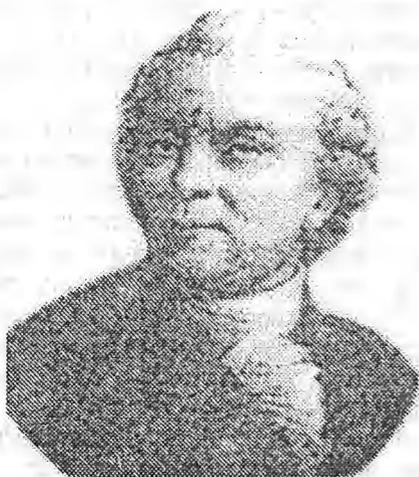
не подражать вероломству кошек). Немаловажным, как кажется, был неявно присутствующий подтекст: "Счастье в нас самих, оно нам дано".

Природе в "Естественной истории" предлагалось определенным образом говорить и выглядеть. Для Бюффона вопрос о том, каким языком следовало описывать столь величественный предмет, был едва ли не первостепенным. Его современники полагали, что он был не только крупным ученым, но и выдающимся писателем. Во Франции XIX в. более пятидесяти раз переиздавали знаменитую "Речь о стиле", произнесенную Бюффоном в 1753 г. при вступлении в Академию. И Бюффон, и его оппонент Линней, искали такой способ выражения мысли, который не противоречил бы объекту, язык аутентичный самой природе. Из текста шведского натуралиста были изгнаны и метафора, и ирония; в статьях общий тон был подчеркнуто нейтральным, тяготеющим к "объективному" описанию. Бюффон же, в свою очередь, стремился использовать в письме приемы классической риторики и, переосмыслив их, добиться того, чтобы выверенность возвышенного и одновременно простого стиля максимально совпадала с содержанием высказывания.³² По словам Эро де Сешеля, Бюффон соотносил "мысль с выражением, как число с числом: удивительная точность – следствие его математических упражнений".³³

Текст "Естественной истории" сопровождали иллюстрации, раскрашенные гравюры, которые выполнил знаменитый художник Жак де Сев. Все изображенные на них существа были более чем "культурны": звери позировали на фоне "естественного" пейзажа (как правило, "типичного": например, египетский мангуст рядом с пирамидами, лиса – возле курятника, болонка – на бюро со свечой), нередко для большего эффекта их помещали на пьедесталы. Обезьяны походили на настоящих джентльменов. Птицы сидели чинно сложив крылья, не пытаясь летать; изредка хищники, от которых ожидалась жестокость, аккуратно вкушали свою добычу ("живые" птицы и звери появились в иллюстрациях, когда и движение и воздух стали частью их вербального описания, которую привнесли натуралисты XIX в.). Главы, повествующие о человеческих уродствах, сопровождались соответствующими картинками, где "монстры" располагались в кабинетах на фоне затейливых драпировок и цветов. Иллюстрации в "Естественной истории" не были второстепенным элементом. Слитность текста и изображения создавала нужный образ, эстетическое было неотъемлемой частью познавательного. В сочинении Бюффона были установлены определенные рамки и линзы для восприятия "естественной природы". Такой – интересной, приятной, поучительной, культурно-красивой – ее надлежало увидеть и широкому и узкому (профессиональному) кругу читателей. Парфразируя Линнея, Жорж Луи Леклер де Бюффон "заставил любить" науку и природу, что "послужило на пользу" им обеим.

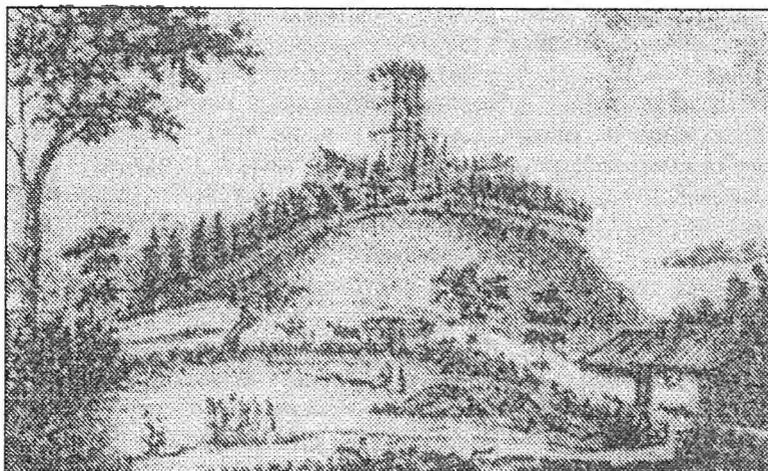
³² Подробнее о понимании стиля в сочинениях Бюффона см.: *Зенкин С.Н.* Не-классическая риторика Бюффона.

³³ *Эро де Сешель.* Бюффон перед концом жизни. С. 198.



1. Жорж Луи Леклер де Бюффон

2. Имение Бюффона в Монбаре



HISTOIRE
NATURELLE,
GENERALE ET PARTICULIERE.
AVEC LA DESCRIPTION
DU CABINET DU ROI:

Tome Quatrième.



A PARIS,
DE L'IMPRIMERIE ROYALE.

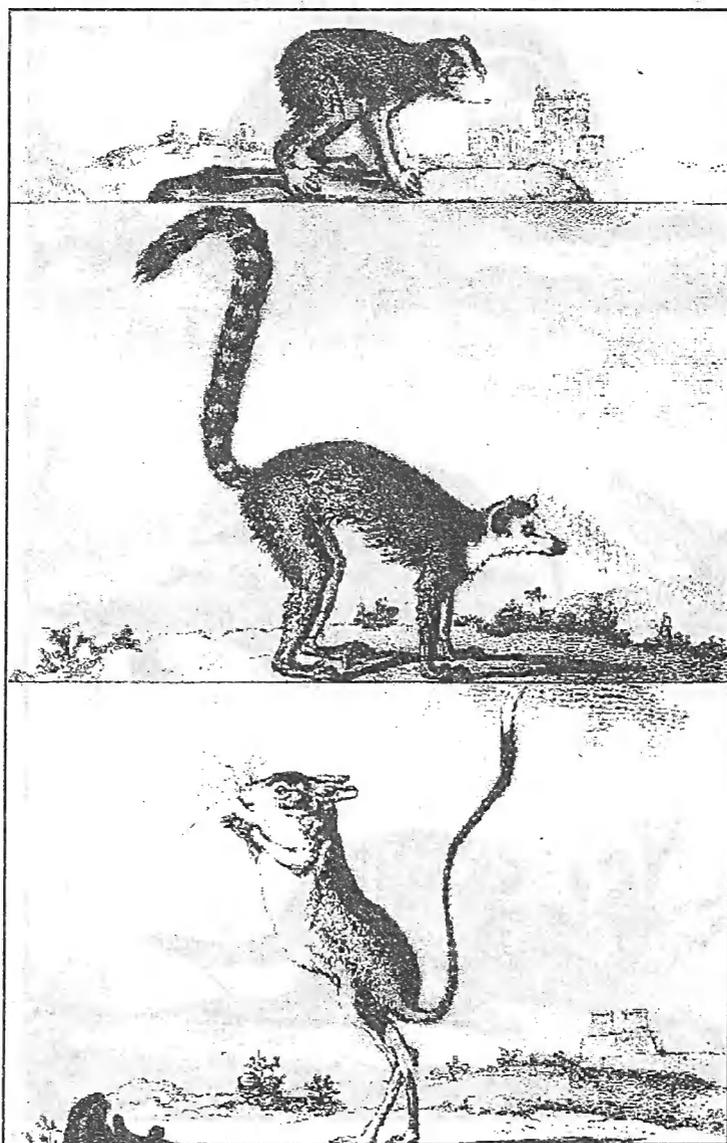
M D C C L I I I .

Титульный лист издания «Естественной истории»

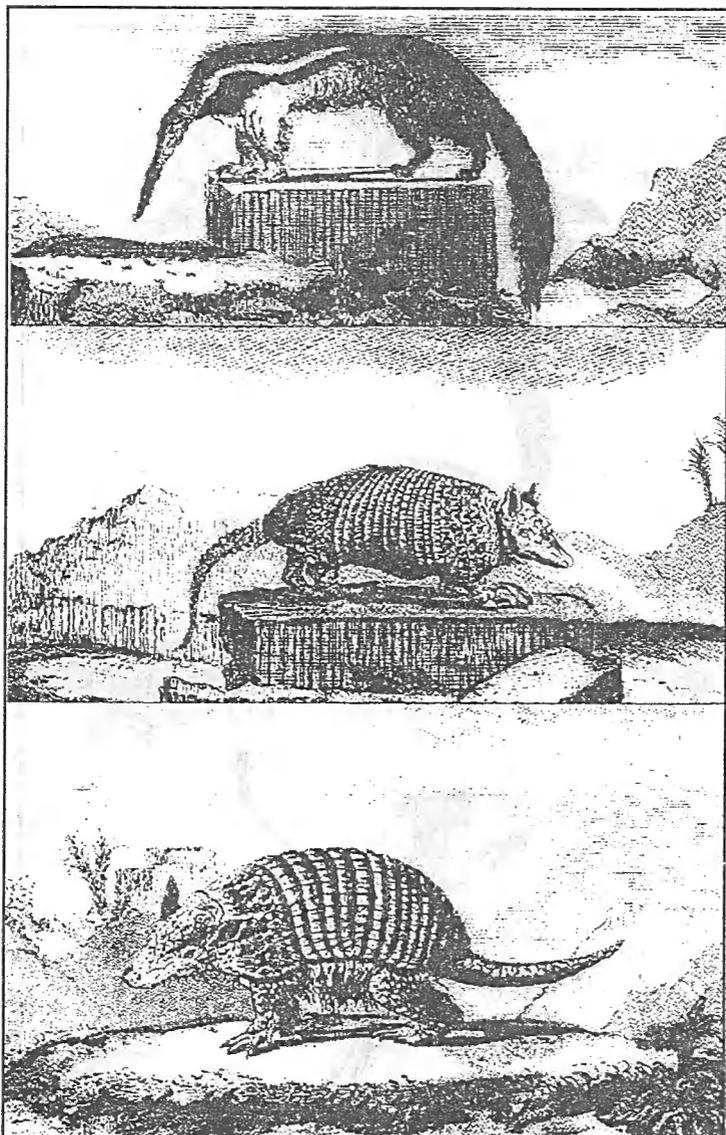


Le Jocko¹

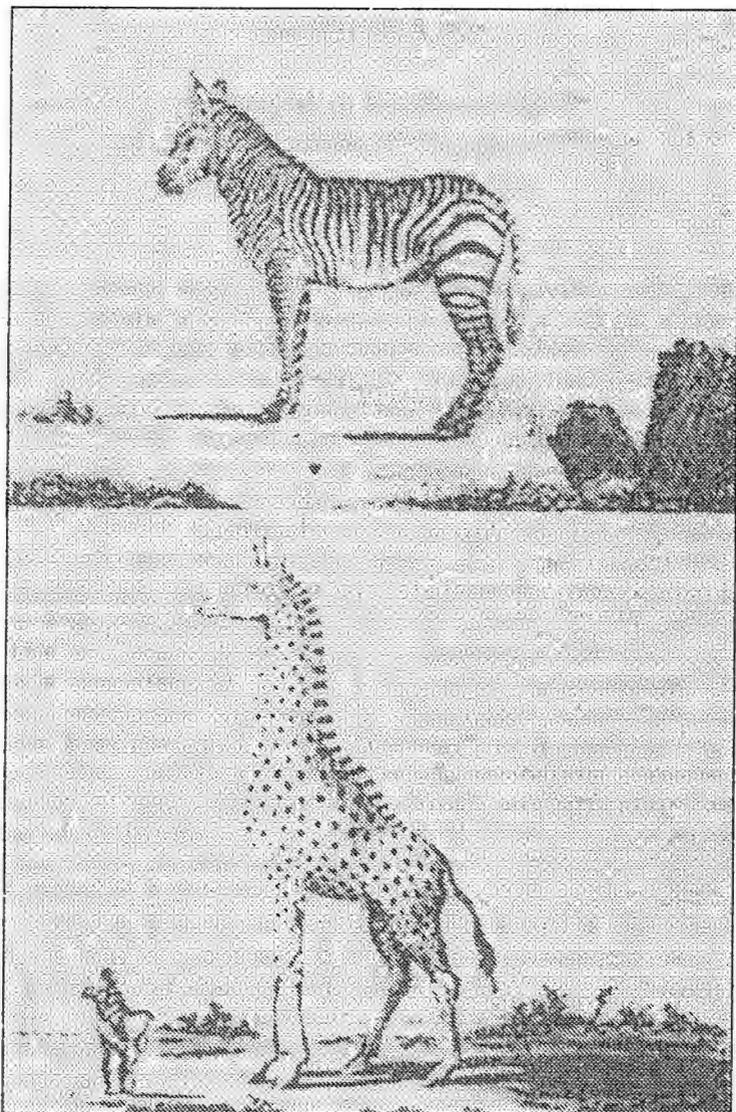
¹ Здесь и далее приводятся иллюстрации из первого издания «Естественной истории» Бюффона.



1. Le Loris 2. Le Moco 3. La Gerboise



1. Le Tamanoir 2. Le Kabassou 3. L'Encoubert



1.Le Zebre 2.La Giraffe

Н.А.Макашева

**Нравственная философия
у истоков экономической науки:
загадка Адама Смита**

В конце XIX – начале XX в. экономическая наука заявила о себе как о позитивной науке, изучающей хозяйственные процессы вне каких-либо этических установок. При этом хозяйственные процессы понимались как взаимодействие между рационально действующими индивидами, стремящимися добиться наилучших, с их точки зрения, результатов при использовании ограниченных ресурсов. Можно сказать, что на протяжении XX в. экономическая наука пыталась, не в последнюю очередь благодаря использованию и развитию математического аппарата, превратиться в строгую научную дисциплину.

Все это имеет отношение прежде всего к построенному на строгой аксиоматической базе (касающейся поведения индивида) разделу экономической науки – микроэкономике. Вместе с тем, ряд проблем (прежде всего проблемы вынужденной безработицы), которые были осознаны как значимые для общества в целом, не вписывались в рамки индивидуалистического подхода, что создавало в экономической науке некоторую внутреннюю напряженность. Она проявляется, в частности, в разрыве между микро- и макротеорией, который был не только порождением технической проблемы агрегирования, но и результатом стремления к очищению науки от нормативных элементов. Еще одним источником внутренней напряженности является то, что в современном представлении экономическая наука – это наука о капиталистическом, рыночном хозяйстве. Делая акцент на изучении поведения рационального экономического индивида, которое отвечает неким универсальным правилам (оптимизация при заданных ограничениях), и в то же время подразумевая, что он действует в рыночной экономике, экономическая наука неявным образом предлагала и моральное оправдание системы свободного обмена, т.е. капитализма. Здесь имеется в виду утверждение о том, что добровольный обмен, побуждаемый частным интересом, ведет ко всеобщей выгоде – к росту материального богатства как отдельного индивида, так и всех, и при этом рыночная система обеспечивает хозяйственным субъектам большую индивидуальную свободу, чем какая-либо иная система экономической организации¹. Рост богатства и обеспечение свободы выступают, таким образом, как две стороны рыночного процесса.

¹ The philosophy of economics / Hausman D.M. (ed.). Cambridge, 1993. P.31.

Нетрудно видеть, что позитивная составляющая экономической науки и ее нормативная сторона оказываются тесно связанными, но в методологическом отношении они всегда противостоят друг другу. Острота этого противостояния отчасти ослабляется ссылками на историю науки, на то обстоятельство, что само обретение экономической наукой самостоятельного статуса происходило тогда, когда хозяйство стало капиталистическим; что это превращение в самостоятельную дисциплину означало обособление от нравственной философии и ориентацию на теоретическое исследование в отличие от практического; что в центр исследования был поставлен человек с его естественным (а потому законным, оправданным) стремлением к материальному благополучию и было дано нравственное оправдание капитализму как системе, наиболее соответствующей принципу свободы личности. Однако несмотря на подобное историческое объяснение, некоторая неловкость сохраняется. Возникает вопрос, как же происходило освобождение экономической науки от нравственной философии?

Дилемма экономической науки и Адам Смит

И в попытке ответить на этот вопрос мы закономерно обращаемся к Адаму Смиту, поскольку именно он заложил основы современного экономического знания, именно он выделил экономическую науку из системы нравственной философии и тем самым открыл дорогу позитивистскому направлению экономических исследований. Более того, обращаясь к нему, мы пытаемся выяснить, не является ли представление об экономической науке как свободной от нравственного контекста порождением позднейшего времени и стремлением опереться на авторитет Смита при утверждении собственной точки зрения?

В современных исследованиях наследия Смита нет единого мнения по данному вопросу, имеется даже специальный термин – "*Das Smith Problem*", указывающий на двойственное отношение Смита к взаимосвязи этики и экономической науки: с одной стороны, он наметил ее развитие как системы позитивного знания, а с другой – рассматривал экономические явления прежде всего как философ. Что сегодня не вызывает сомнения, так это новаторство Смита в способе изложения философских и экономических взглядов. Так, в отличие от своего учителя и предшественника на посту заведующего кафедрой моральной философии университета Глазго Ф.Хатчесона, который свои соображения по экономическим проблемам излагал внутри системы моральной философии², А.Смит написал специальную работу по экономике. Тем са-

² *Hutcheson F. A System of Moral Philosophy in Three Books, written by the late Francis Hutcheson, professor of Moral Philosophy in the University of Glasgow. Published from the original MS. by his son Francis Hutcheson, M.D., to which is prefixed Some Account of the Life, Writings, and Character of the Author / By Rev. William Leechan, D.D., Professor of Divinity in the same University. Glasgow, 1755.* В этом обширном труде экономическим проблемам были посвящены пять глав второй книги и одна третьей. Однако его влияние на А.Смита определялось не только этими главами, но и изложенными в работе принципами нравственной

мым он задал и предметные рамки экономических исследований. Заметим, речь шла о богатстве *народа* (не отдельного человека) и причинах его роста и упадка.

В рамках "*Das Smith Problem*" поднимается целый ряд вопросов: может ли сам по себе факт выделения экономической проблематики свидетельствовать о том, что Смит провел строгую линию демаркации между нравственной философией и экономической теорией? Можно ли считать Смита беспристрастным исследователем складывающейся на его глазах системы свободного капитализма или же он выступал как моралист, стремящийся определить, какие практические шаги в хозяйственной области приблизят ее к тому, что казалось ему более справедливым устройством хозяйственной жизни? Ответы на эти вопросы следует искать, опираясь на всю совокупность основополагающих работ Смита, прежде всего "Теорию нравственных чувств" (1759) и "Исследования о природе и причинах богатства народов" (1776), а также "Лекции по юриспруденции" (1763/1764).

Об удивительно разных судьбах этих работ Смита и о несовпадении их оценок самим автором и последующими поколениями исследователей писали еще в XIX в. Так, Л.Бланки в предисловии к "Богатству народов" указывал, что Смицу гораздо важнее была философская сторона его произведений и "он далек был от мысли, что настанет время, когда экономические труды его будут считаться важнейшей эпохой в жизни человеческих обществ... А между тем, какое различие в судьбе обеих этих книг! Между тем, как одна из них позабыта, на другой устанавливается будущее политическое устройство". Бланки полагал, что именно благодаря тому, что Смит соединил два подхода, он достиг таких высот анализа: "Как только шотландскому философу удалось стать на рубеже, на котором сходятся оба великих предмета, мир нравственный и мир материальный, то ему нетрудно уже было сделать величайшие открытия, более блистательные, во всяком случае в области экономической, чем метафизической"³.

Примерно в том же ключе высказывался и русский переводчик "Богатства" П.А.Бибиков: "Исследования о богатстве народов" остались непоколебимы именно вследствие того, что в основании их лежат системы, развиваемые в теории нравственных чувств, или науке о природе человеческой, которая вся принадлежит будущему"⁴. В этом высказывании интригующе звучит фраза о науке о природе человека как науке будущего. Казалось бы, – и таково общее мнение – именно XVIII век стал веком внимания к человеку, именно Смит и его современники, прежде всего представители Шотландского просвещения, сделали

философии, которые во многом определили нравственную философию Смита, а тем самым и общий философский контекст его экономических воззрений.

³ Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. СПб., 1866. Т.1. С.21.

⁴ Там же.

важный вклад в изучение человека и природы его нравственных чувств; но, по-видимому, некоторые интеллектуалы XIX века полагали, что работа в этом направлении должна быть продолжена.

Сам Смит достаточно ясно выразил свою позицию по поводу соотношения двух книг в рекламном объявлении шестого издания "Теории нравственных чувств" (1790). После многолетних переделок и переизданий⁵ он вновь напомнил о заключительных словах первого издания, давая понять, что обе работы являются частями единого замысла, который он хочет дополнить исследованием об общих принципах права и управления⁶. Но несмотря на единство общего замысла, Смит написал все-таки две работы, выделил экономическую теорию из нравственной философии, что независимо от его собственных намерений имело огромное значение для развития экономической науки.

Пытаясь ответить на вопрос, почему Смит, пусть формально, но провел разграничение между нравственной философией и экономической наукой, Шумпетер, просто заявил, что прошло время для изложения в один прием моральной философии и системы общественных наук. Означает ли это, что Смит наблюдал систему свободного капитализма и ее описывал как беспристрастный наблюдатель?

Капиталистическая утопия Адама Смита

Среди ученых, занимавшихся экономической историей, нет и не было единства относительно того, насколько резкими были изменения в экономике в XVIII в., и можно ли сказать, что экономическая система в 1770-е гг. была значительно более капиталистической, чем одним-двумя десятилетиями ранее? В классической работе А.Тойнби утверждается, что рубежом, отделявшим индустриальную эпоху от доиндустриальной был 1760 год, после которого начали происходить резкие изменения⁷. Существует и другая точка зрения⁸, утвердившаяся уже в XX в., что изменения в XVIII в. были менее резкими и неожиданными, что капиталистическая система внедрялась менее катастрофичным

⁵ Со времени первого издания прошло более 30 лет, в течение которых автор все время возвращался к этой книге. Такое пристальное внимание к теме свидетельствует о том, что Смит считал гораздо более важными и сложными проблемы нравственной природы человека, нежели проблемы богатства. История науки дает нам достаточно примеров того, как работы, которым автор уделял особое внимание и на которые он потратил много сил, уступали в известности тем, на которые было потрачено несравненно меньше времени и которые не рассматривались им как первостепенные по значимости.

⁶ Skinner A.S. Adam Smith // The invisible hand / Eatwell J., Milgate M., Newman P. (ed.). L. etc., 1989 P.6. О связи двух работ писал в предисловии к "Теории нравственных чувств" Г.Бокль: "Чтобы понять философию обоих сочинений величайшего из всех шотландских мыслителей, оба они должны рассматриваться в совокупности, как одно целое, потому что в сущности это – два отдела одного и того же предмета. В "Теории нравственных чувств" автор исследует сочувственную сторону человеческой природы, а в "Богатстве народов" – своеобразную ее сторону". – Смит А. Теория нравственных чувств. Спб., 1868. С.7.

⁷ Toynbee A. Lectures on the Industrial Revolution. L. 1881.

⁸ Redford A.. The economic history of England (1760-1860). L. etc., 1941.

образом. Думаю, что хотя вопрос этот можно отнести к области эмпирической, ответ на него скорее зависит от теоретической и идеологической позиции, чем от грубой правды фактов, а следовательно, окончательный ответ вряд ли возможен.

Идея постепенности привлекательна для современных защитников *laissez-faire*, поскольку позволяет снять с капитализма обвинения в социальных катаклизмах, которые ему сопутствуют с самого начала, и сделать упор на естественности возникновения и становления капитализма и его позитивных результатах для общества в целом⁹. Нас же интересует вопрос о том, как Смит воспринимал происходящие на его глазах изменения? Описывал ли существовавший порядок и оценивал его как наилучший или пытался указать путь к лучшему?

Как известно, "Богатство народов" было опубликовано в 1776 г., т.е. в период бурного развития ряда отраслей промышленности, прежде всего прядильной и ткацкой, угольной и чугунолитейной, где особенно быстро внедрялись новейшие способы производства, машины и оборудование. Одновременно, причем в результате острой борьбы, складывались институты новой системы хозяйства – индустриального капитализма. Нет, однако, никаких свидетельств того, что капитализм свободной конкуренции возник спонтанно. "Капитаны" капиталистической индустрии, как и позднее идеологи экономического либерализма весьма селективно отстаивали принцип свободы заключения контрактов. Как писал Поланьи, "рассматриваем ли мы рабочие ассоциации, стремящиеся к увеличению заработной платы, или ассоциации торговцев, стремящиеся к повышению цен, принцип *laissez-faire* очевидно мог использоваться заинтересованными группами, с тем, чтобы искусственно ограничить рынок труда или других товаров"¹⁰. Экономический либерализм стал политикой и идеологией невмешательства только тогда, когда капиталистическая система производства достаточно утвердилась. Но пока этого не произошло, "экономические либералы без колебания призывали к вмешательству со стороны государства, чтобы ее установить, а после этого – поддерживать"¹¹.

Конечно, Поланьи имел в виду скорее либералов XIX в., а не Смита. Последний – именно потому, что он был философом и моралистом – на заре капитализма свободной конкуренции пытался отстаивать философские принципы либеральной экономики. Но то, что он отстаивал, было скорее утопией: экономические отношения, о которых он писал как о желательных (справедливых, естественных и др.), вовсе не были господствующими в то время. Можно сказать, что его теория была призывом к будущему и стала идейным обоснованием того порядка, который сложился в XIX в. Разумеется, утопический характер не озна-

⁹ Такова, например, позиция Хайека и его единомышленников. – Hayek F.A. History and politics // Capitalism and the historians. Chicago, 1954.

¹⁰ Polanyi K. The great transformation. Boston, 1957. P.148.

¹¹ Ibid. P.149.

чает, что Смит навязывал обществу умозрительную схему. Его "проектирование" скорее можно отнести к тому, что Поппер называет "*peacemeal engineering*"¹². Смит видел возникающие новые институты и своими работами, а также педагогической и общественной деятельностью, способствовал их укреплению. Не случайно, на конференции, посвященной 200-летию "Богатства народов", отмечалось, что в истории экономической науки Смит предстает как человек нового общества, сумевший не только заметить наступление нового порядка, но приблизить его, а в чем-то и определить его характер¹³.

Наряду с ощущением нового, что еще могло быть опорой модели идеального экономического порядка Смита? Эту опору следует искать в его философии и этике, а также в той интеллектуальной атмосфере, которая окружала Смита и которую он сам формировал.

**Шотландское просвещение:
философия деизма и идея естественной гармонии**

Какую бы великую новаторскую роль мы ни отводили Адаму Смиту как отцу-основателю науки, совершенно очевидно, что он, как и любой другой великий мыслитель, теснейшим образом связан со своим временем и являлся частью своей эпохи, культурной среды, наконец, частью судьбы своей страны. В истории науки есть понятие "Шотландское просвещение", обозначающее интеллектуальный, научный и экономический подъем в Шотландии в 1740-1790 гг. Интеллектуальная сторона этого подъема связана с именами Д.Юма, А.Смита, А.Фергюсона, Ф.Хатчесона, У.Робертсона, Д.Стюарта, Дж.Миллара и др. Очень важной проблемой, занимавшей умы этих ученых, была проблема нравственного отношения к прогрессу вообще и экономическому (т.е. росту материального богатства) в частности.

Объединение с Англией в результате Унии 1707 г. повлекло за собой расширение рынков, стимулировало экономический рост, дало мощный импульс развитию культуры и науки и сделало господствующей определенную систему взглядов. Вместе с тем, уже само заключение Унии выражало осознание того, что для успешного экономического роста необходимо создание определенных институциональных условий. В это же время получила признание идея необратимости и естественности прогресса, в том числе и роста богатства. К идее естественной юриспруденции Пуфендорфа и Локка шотландские мыслители добавили концепцию стадий (А.Фергюсон) общественного развития, которая рассматривала экономическое развитие как поступательное движение от одной стадии к другой, сопровождающееся естественным прогрессом богатства, его необратимым ростом.

¹² Поппер К. Открытое общество и его враги. М., 1992. Т.1. С.30.

¹³ Black R.D.C. Smith's contribution in historical perspective // Essays on Adam Smith / Wilson T., Skinner A.S. (ed.). Oxford, 1975. P.51.

В таких условиях проблема нравственного отношения к экономическому прогрессу оказывалась связанной с моральной оценкой природы вообще и природы человека, проявляющейся, в частности, в хозяйственной практике. Шотландские философы дали моральное оправдание естественному процессу экономического развития в целом, и в том числе росту богатства и сложившимся принципам распределения. Мировоззренческой основой подобного согласования была философия деизма. Как известно, деизм представляет собой религиозно-философское учение, отвергающее идею личностного Бога и его повседневного вмешательства в жизнь природы и человека, но рассматривающего Бога как первопричину бытия мира, творения которого обладают определенной свободой действия. Для шотландского деизма особенно характерно тесное соединение христианских положений по поводу веры и универсальных, естественных принципов. Можно сказать, что утверждение научного мировоззрения происходило с помощью и через религию. Именно это обстоятельство и позволяло сочетать энтузиазм исследователя с озабоченностью моралиста.

Центральным для сторонников философии деизма является понимание мира как осуществления величайшего замысла. При этом наиболее привычной аналогией картины мироздания для них была механическая модель с заданной извне целью и жесткой связанностью отдельных частей. Наиболее привычной для того времени механической моделью был часовой механизм. Бог выступал в роли гениального часовщика, который не только сконструировал часы по собственному проекту, но и запустил. Слаженность часового механизма – аналогия мировой гармонии, многочисленные свидетельства которой человек постепенно, шаг за шагом осознает, восхищаясь Высшим замыслом. Вера в гармонию мира стала источником глубокого философского оптимизма. Именно оптимизм, основанный на вере и подкрепленный наукой, осеял само рождение экономической науки.

Механистическая интерпретация мира, которой придерживался Смит и другие шотландские мыслители его времени, безусловно, была навеяна ньютоновской механикой, которую Смит считал величайшим достижением человеческого разума. Однако вместе со свойственным всему Просвещению восхищением человеческим разумом в данном случае можно говорить об указании на истинное место человека в системе мироздания, на его неспособность не только овладеть миром, но и осознать свое место в нем. Смит писал, например, что хотя колеса "часов" точно соответствуют своему назначению, а их движение согласовано и отвечает цели, ради которой они были созданы, нам это движение может представляться не имеющим цели. И в то же время людям свойственно приписывать явлениям цели и смысл, которых те не имеют и иметь не могут. "Мы, – писал он, – часто принимаем за выработанные просвещенным разумом цели то, что является естествен-

ным, склонны рассматривать его как источник целей и воображать себя такими мудрыми, каким может быть только Бог"¹⁴.

Конечно, механистический подход к мирозданию сегодня представляется крайне наивным, но для своего времени как ньютоновская механика, так и вся система взглядов, построенная в русле механистического подхода, была огромным шагом вперед. Подобная система взглядов не только позволила объективировать экономические процессы и выделить экономическую науку из нравственной философии, но и задавала системный подход к общественному знанию в целом, впоследствии в значительной степени утраченный в процессе специализации общественных наук. Конечно, это была механическая система, но механистический подход был всеобщим: совершенно одинаковая аналогия использовалась для физического мира, для человека, для общества и для системы идей. Это были различные, но связанные в единое целое части мира. Предполагалось, что часовщик, устроивший все в соответствии со своим замыслом в природе, проявил себя аналогичным образом и при устройстве общественной жизни.

Отсюда социальный оптимизм, выразителем которого еще в большей степени, чем шотландцы, и в более прямолинейной форме, чем они, был Бастиа. "Я верю, – писал он, – что тот, кто устроил материальный универсум, не устранился от организации социального мира. Я верю, что он соединил и заставил действовать в гармонии свободных людей так же, как и молекулы... Я верю в то, что непобедимая социальная тенденция состоит в постоянном приближении людей к общему моральному, интеллектуальному и физическому уровню, причем этот уровень постоянно и безгранично повышается. Я полагаю, что все, что необходимо для непрерывного и мирного развития человечества, так это то, чтобы не нарушалась свобода этого движения"¹⁵. Таким образом, "все природное считается совершенным и целесообразным, рожденное природой рассматривается как идеал разума"¹⁶. Натурализм связывается с рационализмом и проявляется в оптимизме.

Тезис о гармонии в обществе, которому впоследствии экономисты давали самые различные интерпретации и толкования и который оказался столь важным для экономической науки, не был выводом, полученным логическим путем на основе научного анализа. Это была исходная мировоззренческая предпосылка, основанная на вере в Бога как единого начала всего сущего. Гармония экономического мира не была открыта экономистами как закон, а экономические законы формулировались в рамках мировоззрения, построенного на вере в гармонию. Законы, в том числе и экономические, были проявлением способ-

¹⁴ Смит А. Теория нравственных чувств. С.120-121.

¹⁵ Цит. по: Keynes J.M. Liberalism and industry // CW. V.19. 1927. Part 2. P.28.

¹⁶ Buscher M. Gott und Markt – religionsgeschichtliche Wurzeln Adam Smiths und die "Invisible Hand" in der sakularisierten Industriegesellschaft // Der andere Adam Smith / Meyer-Faje A., Ulrich P. (Hrsg.). Bern etc., 1991. P.127.

ности человека определенным образом выразить эту гармонию, проявляющуюся в данной области бытия.

Исходная идея трансформировалась в различные утверждения из области науки о хозяйстве, которые воспринимались как выводы из теоретических построений. Причем в разные периоды истории идея гармонии выражалась в различных теоретических положениях, которые были одновременно и предпосылками, и выводами, превращаясь то в утверждение о возможности одновременного удовлетворения потребностей всех, то в тезис об отсутствии классовых и иных групповых антагонизмов и т.д. Для экономистов-классиков идея гармонии была тесно связана с принципом разделения труда, при том, что сам этот принцип для разных ученых означал разное. Так, например, Смит рассуждая о разделении труда, не ставил на первое место его роль в увеличении производительности труда (хотя и не был совсем чужд этой идее), но рассматривал разделение труда в контексте проблемы прогресса и процветания в широком смысле¹⁷. Для него важнейшим моментом была внутренняя связанность хозяйственной жизни, с одной стороны, и ее разнообразие, с другой. Важнейшую, едва ли не единственную, причину связанности он видел в природной склонности человека к обмену в широком смысле.

Постепенно расширяя круг рассматриваемых экономических явлений и (говоря современным языком) снимая ограничения прочих равных, Смит выявлял гармонию в более обширных срезах экономической жизни. Это проявилось в его анализе цен, заработной платы, прибыли. В силу того, что Смит изначально исходил из идеи гармонии, в его теории не могли возникнуть противоречия между подходами с позиций *short-run* и *long-run*, и в целом между статикой и динамикой, между теорией производства и распределения. Впоследствии, когда в картине экономического мира на первый план выдвинулся принцип эффективности, подчиненным ему оказался и принцип разделения труда¹⁸.

В XVIII в. важной составляющей идеи естественной гармонии, присутствовавшей у Смита и, возможно, заимствованной у А.Фергюсона, была идея гармонии как спонтанного порядка. Конечно, подобные представления не совсем согласуются с механистической картиной мира, предполагающей заданность структуры отношений и детерминированность результатов, хоть и недоступную для осмысления. Именно поэтому в конце XIX и в XX в. разработка принципа непреднамеренности, связанная прежде всего с австрийской традицией и именем Ф.Хайека, потребовала отхода от механистических представлений и акцента на проблемы неопределенности и ограниченности информации. При таком подходе гармония уже не может интерпретироваться как отсутствие конфликтов в обществе, а предполагает уравнива-

¹⁷ Schumpeter J.A. Economic doctrine and method. L., 1954. С.187.

¹⁸ См., напр.: Mises L. Human action: A treatise on economics. L., 1949. P.674.

ние разнонаправленных сил, действующих в условиях неопределенности, равнодействующая которых и определяет вектор развития¹⁹.

В отличие от Бастиа, для которого идея естественной гармонии была основой социального оптимизма и принципа невмешательства, оптимизм А.Смита был связан с верой в возможности человека улучшить социальный порядок. Смит весьма критически относился к существовавшему порядку, и пафос его работ свидетельствует о пророческой направленности его учения. Критикуя существующий порядок и рисуя картину правильного порядка, он обращался не только к логике и разуму, но и к чувствам, как бы опасаясь, что один лишь человеческий разум не может охватить картину мира. Он полагал, что чувства, возможно, даже лучше, чем разум, помогают уловить Замысел и смысл происходящего. Отсюда и то большое значение, которое Смит придавал нравственной стороне жизни и рассуждениям о природе нравственных чувств в системе знания. Нравственные чувства для Смита были, по существу, нитью, связующей человека и Бога.

Идея естественной гармонии не означала для Смита оправдания и приятия несправедливости как неизбежного. Естественной была для него способность человека понять несправедливость, готовность оценить собственные поступки и поступки других людей, способность сопереживать и т.д. Эти врожденные качества, а также приобретенные воспитанием способности людей формировали, как он полагал, основу и для нравственных оценок существующего порядка²⁰.

Одновременно с признанием нравственной стороны человека Смит признал и стремление человека к улучшению материального состояния, т.е. к богатству. Хотя ни у самого Смита, ни у его современников не было единства в моральной оценке богатства – так, например, Юм более снисходительно, чем Фергюсон, относился к богатству, Смит же сначала был склонен присоединиться к Юму, а в конце жизни проникся опасениями, которые высказывал Фергюсон. Тем не менее они все не только считали рост потребностей неизбежным, но и рассматривали его как свидетельство цивилизованности, которая, несмотря на проблемы нравственного характера, предпочтительнее варварства²¹. Смит принимал человека таким, каков он есть: вместе с корыстным интересом и естественной симпатией к ближнему, жестокостью и чувством сострадания. И именно к природе человека, которая мало подвержена изменениям²² и в которой, так же как и в остальном мире, проглядыва-

¹⁹ См., напр.: Kirzner I.M. Economic Harmony // The invisible hand. L., 1989; Hayek F.A. The fatal conceit: The errors of socialism. Chicago, 1988.

²⁰ Essays on Adam Smith. P.3.

²¹ Robertson J. Scottish Enlightenment // The invisible hand. P.636.

²² Э.Берк, идеи которого послужили основой воинствующего *laissez-faire*, в письме к Смицу от 10 сентября 1759 г. писал: "Теория, подобная вашей, основанная на природе человека, которая неизменна, будет существовать и тогда, когда другие, во главу угла ставящие подверженные изменениям взгляды людей, будут забыты". – Цит. по: Skinner A.S. Adam Smith // The invisible hand. P.86.

ется образ Бога, он обращался, разрабатывая нравственную философию и идеи социального устройства.

Центральными понятиями нравственной философии А.Смита были понятия симпатии и бесстрастного наблюдателя. "В основе моральной философии Смита, – писал В.Уолш, – лежали его представления о природе человека. Важнейшими характеристиками последней он считал, во-первых, то, что люди морально оценивают поступки других людей, спрашивая себя, разделяют ли они чувства, которые, как они считают, являются мотивами соответствующих действий; а во-вторых, то, что они оценивают собственные действия, спрашивая себя, как эти действия и мотивы, которые их вызывают, воспринимает бесстрастный наблюдатель"²³. Чувство симпатии к другим людям, естественное для каждого человека, так же, как и присутствие внутреннего наблюдателя, которого можно назвать совестью, – вот тот естественный духовный фундамент, на котором, по мнению Смита, строится любое общество и который в конечном счете определяет возможность мирного сосуществования и развития, в том числе и экономического. Поэтому Смит столь большое значение придавал "Теории нравственных чувств", в которой он попытался выявить этот фундамент.

Именно в этой работе он впервые указал на принципиальную возможность согласования интересов отдельного человека с интересами других людей, возможность, которая заложена самой природой (можно сказать, предусмотрена Замыслом Божиим) и проявляется в том, что человек соотносит свои поступки и намерения с требованиями нравственного закона. Обе идеи: врожденного нравственного чувства и совести, имеют первостепенное значение для всей системы взглядов Смита и для той ее части, которая связана с проблематикой хозяйства. Дело в том, что само существование нравственного императива становится у Смита законом природы, самой природой предопределяется единство всех сторон человека, а если вспомнить, что симпатия к другим людям свойственна человеку изначально, то изначально и возможность согласования устремлений различных людей.

Такая позиция представляет собой и философскую основу индивидуализма, опирающегося на идеи просвещения и гуманизма и являющегося скорее философией, чем методологией. В центр философской системы человек был поставлен только тогда, когда нравственный закон стал восприниматься как часть его природы. При таком подходе проблема "человек – общество" может рассматриваться прежде всего через призму нравственного закона (потому Смит и начал с "Теории нравственных чувств"), а не через призму, скажем, роста национального богатства, причем справедливость может рассматриваться как главный принцип существования человеческого общества.

²³ Walsh V. Philosophy and economics // The New Palgrave. V.3. 1987. P.864.

"Благотворительные добродетели, – писал Смит, – украшают общественное здание, но не служат ему основанием: их можно ожидать, но не требовать. Справедливость, напротив, представляет главную основу общественного устройства. Если она нарушается, то громадное здание, представляемое человеческим обществом, воздвигаемое и скрепляемое самой природой, немедленно рушится и обращается в прах. Для побуждения к справедливости природа запечатлела в сердце человеческого неизгладимое сознание преступления, в случае ее нарушения, и страх заслуженного наказания. Она употребляет эти чувства как вернейшее средство для охранения общественного спокойствия, для ограждения слабых, для обуздания вредных страстей и для наказания виновных. Хотя симпатия и составляет естественное свойство человека, все же люди так сильно сочувствуют самим себе, а несчастья ближних имеют такое ничтожное для них значение в сравнении с самыми пустыми личными неудачами, и они имеют такое множество средств и случаев вредить друг другу, что если бы закон справедливости не был постоянно на страже для их взаимного охранения, если бы он не вызывал уважения к себе своею святостью и своим важным значением, то они ежеминутно готовы бы были забыть его, подобно диким зверям, и человек боялся бы приблизиться к сборищу людей, как он боится вступить пещеру, населенную львами"²⁴.

Таким образом, соблюдение закона справедливости было для Смита необходимым условием существования общества. В конечном счете "Теория нравственных чувств" – это трактат об основах справедливого общества, о правилах, которыми руководствуется человек в этом обществе. Принимая механистическую картину мира, Смит тем не менее не сводил человека к автомату, действующему по заранее определенным правилам (как это предложили экономисты через много лет). Он оставлял за человеком свободу выбора, в противном случае все рассуждения о внутреннем наблюдателе потеряли бы всякий смысл. Свобода для Смита – это свобода по совести. Совесть, или внутренний наблюдатель, выступает как часть самого человека и как некая духовная связь его с Богом и обществом. "Человек несет общество в самом себе, он утверждает как часть самого себя обобщение нормы, оценки и чувства других людей"²⁵. Идея внутреннего наблюдателя, обеспечивающего интернализацию общественных норм, стала для Смита той принципиальной философской базой, на которую опиралась его вера в возможность согласования личных устремлений с общественным благом, причем когда и блага, и их согласование понимаются в широком смысле, а не с точки зрения оптимума, по Парето.

Для отдельного человека внутренний наблюдатель – это одновременно и связь с Богом. Обращение к Богу дает надежду на высшую справедливость, на истинную оценку поступков и намерений людей, которая недоступна людям в силу ограниченности их временного горизонта, несовершенства их знаний и т.д. Вера в высший суд, от которого не скроются не только дела, но и помыслы, – это надежда на справедливость, если не в этой, так в другой жизни. Без этого, сталкиваясь с несправедливостью, которую он не может устранить, человек бы не

²⁴ Смит А. Теория нравственных чувств. С.119-120.

²⁵ Там же. С.121.

мог следовать своим принципам²⁶. Таким образом, Смит говорил о необходимости и естественности существования в обществе некоторой религиозно-нравственной установки, не затрагивая вопрос о выработке норм и правил общественной жизни. Религия предстает здесь как воплощение естественного устремления человека к высшей справедливости; принцип справедливости оказывается основополагающим природным устремлением человека.

Вместе с тем Смит поставил вопрос и о конкретных критериях оценки поступков. Он считал, что оценивая себя и других, человек не только исходит из трансцендентных норм, но и опирается на моральные установки, существующие в данном обществе. Человек стремится не только "угодить" Высшему судье, но добиться одобрения современников. Иными словами, признавалась общественная природа индивидуальных нравственных установок. Следует заметить, однако, что вопрос о связи индивидуальных и общественных норм до конца не был им проработан. Смит писал, что человек воспринимает заданные нормы и "обращается к Богу, чтобы согласовать свою природу с требованиями морали, но только в будущей жизни. Любое согласование такого рода, которое может быть достигнуто в этой жизни, находится в руках человека. И выполняя эту миссию, он должен обращаться не к Богу, а к моральным нормам, преобладающим в обществе"²⁷. И вместе с тем он говорил о том, что внутренний наблюдатель – совесть – может быть в противоречии с общественными оценками. В письме к Г.Эллиоту, который обратил внимание на эту проблему, Смит признавал приоритет внутренних установок, которые могут поддерживать человека и "при неодобрении всего человечества".²⁸

Анализируя нравственную основу общества с позиций естественной философии, Смит мог бы выступить в роли беспристрастного исследователя, но он даже в своих аналитических работах выступал как моралист, указывающий путь совершенствования человеку и обществу. Он апеллировал к природе человека и в то же время выдвигал вполне определенный нравственный императив, который можно сформулировать следующим образом: ограничение личного эгоизма плюс снисходительная симпатия к другим²⁹. Используя современную терминологию, можно сказать, что его позицию отличало соединение позитивного и нормативного подходов. Вопрос в том, насколько это соединение проявилось при обращении к экономическим проблемам?

Справедливость, личная выгода, общественное благо

Сегодня "Богатство народов" считается первой научной работой в области политэкономии. При этом термин "научная" понимается прежде всего как – свободная от ценностной ориентации. Между тем, по-

²⁶ Lindgren T.R. The social philosophy of Adam Smith. The Hague, 1973. P.145.

²⁷ Цит. по: Ibid. P.148.

²⁸ The correspondence of Adam Smith. Oxford, 1977. P.49.

²⁹ Смит А. Теория нравственных чувств. С.37.

добно тому, как задачей "Теории нравственных чувств" было выявление общих принципов справедливости в связи с естественными устремлениями людей, задачей "Богатства народов" было описание основных принципов справедливого хозяйственного устройства. Справедливое хозяйственное устройство – главная тема "Богатства народов", и в ее разработке Смит опирался на общие принципы справедливости, изложенные в "Теории нравственных чувств". Суть этих принципов может быть сведена к следующему: справедливо то, что естественно, а естественно – стремление человека к собственному благу при благожелательном отношении к другим людям. Возможность согласования эгоизма и симпатии к ближним в конечном счете заложена природой (или Богом), наделившей человека совестью. Разумеется, общая позиция находит специфическое воплощение при обсуждении вопросов хозяйственного устройства и экономической политики.

Проблема справедливого хозяйственного устройства предстает в "Богатстве народов" многими гранями. отождествление естественного и справедливого в "Теории нравственных чувств", дополняется в "Богатстве" отождествлением естественного и нормального. Внутренний наблюдатель каждого отдельного человека "заменяется" внутренним наблюдателем самого Смита, а его собственные представления о справедливом и несправедливом положении вещей выступают как обобщающие представления, принятые в данном обществе.

"Богатство народов" было написано как критика меркантилизма. Причем основной пафос этой критики определялся тем, что политика, рекомендовавшаяся меркантилистами, воспринималась Смитом как несправедливая по отношению к человеку и нарушающая естественный порядок вещей, предполагавший свободу выбора сферы приложения труда, возможность реализовать естественное стремление к человеку к благосостоянию. Следует подчеркнуть, что обращенность Смита к человеку, которая проистекала из его религиозных и философских представлений, определила в конечном счете нравственную компоненту и классической политэкономии в целом. Эта нравственная компонента проявилась по крайней мере в двух важнейших моментах. Во-первых, стоимость была связана с трудом, а во-вторых, за человеком было фактически признано право свободно распоряжаться собой в области хозяйствования. Связь стоимости с трудом означала, что в труде соединились этический и экономический аспекты³⁰. Требование свободного распоряжения своими ресурсами, и прежде всего рабочей силой – "парой рук", свободы использовать их где угодно и на каких угодно условиях, отражало, как писал П.Дракер, сдвиг теории стоимости от

³⁰ См., напр., *Корациони Г.* Экономика и этика: Вопрос открыт // Вопросы экономики. 1993. №8. С.23.

"природы" к "человеку" и означало, что экономическая наука является наукой нравственной"³¹.

Критика ограничения экономической свободы как неприемлемого, с точки зрения прежде всего справедливости, а не эффективности, была направлена не только против политики государства, но и против действий, которые мы сегодня называем сговором, групповыми соглашениями и т.д. Во второй половине XVIII в. нарождающийся класс промышленников и уже сильный класс торговцев всячески стремились – и небезуспешно – использовать все имеющиеся у них средства для извлечения сверхприбыли: от негласных соглашений до принятия соответствующих законов. Для осуществления коллективных действий создавались различного рода организации, которые устанавливали соглашения между собой, предпринимали лоббистские действия и т.д. Наемные работники также пытались осуществлять коллективные действия, хотя их возможности были весьма ограничены.

Экономическая ситуация времен Смита была таким образом далека от идеала, соответствующего принципу *laissez-faire*, который предполагал свободное взаимодействие производителей и продавцов. В то же время связующим моментом для общества было, по мнению Смита, чувство симпатии, которое по своей природе обращено только к человеку, но не к обществу или группе. В этой позиции и коренится суть индивидуалистического подхода Смита, отличавшегося от подхода меркантилистов и физиократов, которые рассматривали хозяйственные процессы через призму сословий и социальных групп. Если первые выдавали интересы торгового сословия за интересы общества, а вторые говорили о бесплодности ремесленников с точки зрения производства национального богатства, то Смит видел прежде всего человека вместе с его естественным корыстным интересом, причем особую симпатию вызывал у него человек, живущий своим трудом. Последнее дало основание некоторым современным исследователям Смита утверждать, что он оправдывал корыстный интерес прежде всего мелких собственников, выполняющих важнейшую историческую миссию – накопления капитала³². Думаю, однако, что дело здесь не столько в накоплении капитала, сколько в несправедливом распределении доходов в пользу земельных собственников. Так, в "Лекциях о справедливости, политике, доходах государства и армии" Смит, в частности, писал: "Тот, кто как бы несет на себе все тяготы общества, имеет меньше всего преимуществ"³³. Аналогичную мысль он высказывал и в "Богатстве народов": "простая справедливость требует, чтобы люди, которые кормят, одевают и строят жилища для всего народа, получали такую долю

³¹ *Drucker P. Towards the next economics // The crisis of economic theory. N.Y., 1981. P.7.*

³² См., напр.: *Walsh V. Philosophy and economics. P.865.*

³³ *Smith A. Lectures on justice, policy, revenue and army. Oxford, 1896. P.162-163.*

продуктов своего собственного труда, чтобы сами могли иметь сносную пищу, одежду и жилище"³⁴.

Представление Смита о справедливом хозяйственном устройстве тесно связано с понятием естественных цен. В некотором смысле такие цены воображаемы, идеальны; они устанавливаются, когда отсутствуют ограничения на свободные действия людей, стремящихся к реализации своего корыстного интереса, или когда реализуется священное право собственности, прежде всего на свой труд как источник всякой собственности вообще. "Все достояние бедняка заключается в силе и ловкости его рук, и мешать воспользоваться этой силой и ловкостью так, как он сам считает для себя удобным, если только он не вредит своему ближнему, значит посягать на эту собственность. Это представляет собой явное посягательство на законную свободу как самого работника, так и тех, кто хотел бы нанять его. Такие ограничения препятствуют рабочему работать так, как он считает выгодным, а остальным людям – нанимать тех, кого они хотят"³⁵.

Что же мешает установлению справедливых цен, или посягает на право собственности на труд? Очевидно, что основную вину за различные ограничения Смит возлагает на государство, а также на заинтересованные группы и созданные ими организации. Причем, проблеме справедливых цен невозможно решить простым "снятием ограничений", поскольку Смиту безразлично, как и к какому состоянию может прийти в этом случае общество. Именно в связи с этой проблемой и были высказаны идеи, объединенные понятием "невидимая рука".

"Невидимая рука": непреднамеренные, но благотворные для общества результаты

В экономической науке едва ли найдется еще одно выражение, популярность которого была бы сравнима с "невидимой рукой". Между тем, оно – не более, чем метафора, выражающая мировоззренческий контекст экономической теории Смита.³⁶

Сам Смит, по-видимому, не придавал этому выражению того значения, которое оно приобрело позже. Он употребил его лишь трижды и по конкретному поводу, без каких-либо обобщающих и разъясняющих комментариев. Впервые – в "History of Astronomy", когда шла речь о политическом устройстве общества и о силах, стоящих за неожиданными и разрушительными природными событиями; вторично – в "Теории нравственных чувств", когда пытался объяснить возможность бла-

³⁴ Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. М., 1962. С. 73.

³⁵ Там же. С. 104.

³⁶ "Невидимая рука", – читаем мы в популярной энциклопедии *New Palgrave*, – это метафора, использованная Адамом Смитом, чтобы описать принцип, с помощью которого благоприятный общественный порядок возникает как непреднамеренное следствие действий людей". – *Vaughn K.I. Invisible hand // The New Palgrave. L.etc., 1987. V.2. P.997.*

гоприятных для общества последствий погони за богатством³⁷. Он писал, что природа как бы обманывает людей, побуждая их следовать своим эгоистическим устремлениям (в том числе стремлению к богатству и наслаждениям), но от этого лучше становится людям, о благе которых никто не помышлял. В "Теории нравственных чувств" читаем:

"...несмотря на то, что они имеют в виду только личные выгоды, несмотря на то, что они стараются удовлетворять только своим пустым и ненасытным желанием, тем не менее они разделяют с последним чернорабочим плоды работ, производимых по их приказанию. По-видимому, какая-то *невидимая рука*³⁸ (курсив мой. — Н.М.) принуждает их принимать участие в таком распределении предметов, необходимых для жизни, которое существовало бы, если бы земля была разделена поровну между всеми населяющими ее людьми; таким образом, без всякого преднамеренного желания и вовсе того не подозревая, богатый служит общественным интересам и распространению человеческой природы. Провидение, разделив, так сказать, землю между небольшим числом богатых людей, не позабыло и о тех, кого оно с виду только лишило наследства, тем что они получили свою долю из всего, что производится землей..."³⁹

В "Богатстве народов" термин "невидимая рука" употребляется в главе о мировой торговле, в том месте, где Смит обсуждает проблему протекционизма и всякого рода ограничений на свободное движение товаров между странами, которое, как он хотел показать, отражает стремление получить наибольшую прибыль на капитал. При этом из-за соображений издержек и риска капиталист предпочитает отечественную промышленность, которую направляет таким образом, чтобы произвести продукт, обладающий наибольшей стоимостью.

"Предпочитая оказывать предпочтение отечественной, а не иностранной промышленности, он имеет в виду лишь свой собственный интерес, а направляя эту промышленность таким образом, чтобы ее продукт обладал максимальной стоимостью, он преследует лишь собственную выгоду, причем в этом случае, как и во многих других, он *невидимой рукой* (выделено мною. — Н.М.) направляется к цели, которая совсем не входила в его намерения; при этом общество не всегда страдает от того, что эта цель не входила в его намерения. Преследуя свои собственные интересы, он часто более действенным образом служит интересам общества, чем тогда, когда сознательно стремится сделать это"⁴⁰.

Из приведенных цитат с очевидностью следует, что в понятии "невидимая рука" соединились две идеи: о непреднамеренности, или непредсказуемости, последствий целенаправленных действий людей, и о благотворности этих последствий для общества. Оба эти момента не являются однозначно между собою связанными. Более того, они отра-

³⁷ Понятие богатства у А.Смита далеко не однозначно. Разумеется, оно включало материальные блага, но Смит указывал и на социально-психологический аспект богатства, на богатство как символ статуса, как отражение представлений о хорошей жизни. Некоторые исследователи, ссылаясь на признание Смитом такого явления, как демонстративное поведение, даже считают его предшественником Веблена. — *Lindgren T.R. Op.cit. Ch.5.*

³⁸ Именно так переведено выражение "*invisible hand*" в первом издании "Теории" на русском языке.

³⁹ *Смит А. Теория нравственных чувств. С.239-240.*

⁴⁰ *Смит А. Исследование о природе и причинах... (1962). С.392.*

жают разные стороны восприятия мира. Если первый признает "естественность" мира, то второй – предполагает моральную оценку сложившегося естественным путем состояния. Единственной точкой соприкосновения этих двух моментов является вера в Бога, устроившего мир наилучшим образом. Однако, если на философском уровне согласование в принципе возможно, на уровне практическом и теоретическом возникает масса вопросов (они касаются, например, способов оценки конкретных состояний общества), которые Смит отчасти обходит, поэтизируя это выражение.⁴¹ Вспомним, что оно пришло из поэзии: из "Макбета" Шекспира и "Метаморфоз" Овидия.⁴²

История экономической мысли показывает, что в зависимости от того, какой из двух указанных выше моментов оказывается наиболее важным, меняется и видение экономического мира. Так, идея непреднамеренности социальных последствий целенаправленных действий, идущая от А.Фергюсона (вспомним его утверждение о том, что частная собственность и политические институты представляют собой результат человеческих действий, но не намерений), становится у К.Менгера основой "органического понимания социальных феноменов" и, наконец, воплощается в идее спонтанного порядка Ф.Хайека, которая предполагает отказ от моральной оценки социального порядка, или, более точно, поглощает эту проблему. Другое направление, базирующееся на идее согласованности интересов, приходит к проблематике общего равновесия и общественного выбора. Центральным здесь является доказательство возможности достижения состояния, наилучшего для всех, в том смысле, что ни для кого оно не может быть улучшено без потерь для других.

Адам Смит, быть может, в ущерб строгости соединил оба момента и тем самым решил, или лучше сказать, обошел несколько сложных философских и этических проблем. Он, в частности, вывел проблему распределения из области нравственной философии и оправдал корыстный интерес. Это оправдание базировалось на убежденности в открытости человека для нравственного совершенствования и стремления к добру и на уверенности в том, что при соответствующем институциональном окружении энергия частного интереса будет работать на общество. Следует отметить, что Смит не исключал наличия неблагоприятных последствий реализации корыстного интереса. Он не мог полностью полагаться на внутреннего наблюдателя как на гаранта экономической гармонии. Он полагался на мудрость Провидения, и проявление этой мудрости видел в рыночном хозяйстве, которое обес-

⁴¹ Смысл его пояснялся соответствующими поэтическими аналогиями. Не следует забывать, что латинское слово "*caecus*", которому в английском соответствует "*invisible*", означает слепой.

⁴² *Nozick R. Anarchy, state, and utopia.* Oxford, 1974. P.18-19; *Arrow K., Hahn F. General competitive analysis.* San Francisco, 1971. P.1.

печивало более эффективное использование ресурсов и более справедливое распределение.

Адам Смит, безусловно, признавал важность моральных принципов и норм для экономической жизни. Он считал, что эти нормы отражают природу человека, а в своем конкретном проявлении – данное общество в конкретных исторических условиях. Тем самым он предопределил возможность изучения влияния нравственных норм на экономическое поведение. Вместе с тем, это не был подход отстраненного наблюдателя: влиянию нравственных норм был подвержен сам исследователь и не скрывал этого. Отсутствие четкой грани между исследованием хозяйственных процессов и их моральной оценкой нам, людям XX века, представляется свидетельством незрелости науки, неразвитости ее инструментария, недостаточной разработанности аксиоматической базы и т.д. Но эта неразграниченность экономического знания и нравственной философии была проявлением универсализма концепции Смита, универсализма, чуждого экономической науке XX века. Стремление к высокой степени абстракции и строгости инструментария, которое было характерно для экономистов-теоретиков XX столетия, позволило получить множество нетривиальных формальных результатов, содержательная интерпретация которых, как правило, оказывалась невозможной. Экономисты оказались перед сложным выбором между тем, что они привыкли называть научным, и тем, что можно назвать правдой жизни. Эта дилемма обострялась тогда, когда экономическая наука сталкивалась с вызовами времени, которые ставили на повестку дня вопросы, выходящие за рамки строгого теоретического дискурса. Последний такой вызов связан с процессами трансформации в бывших социалистических странах. В подобных ситуациях выбор делается обычно в пользу правды жизни, а не "научности".

На рубеже веков естественно анализировать достижения и неудачи и попытаться заглянуть в будущее. После длительного периода специализации и борьбы за формализацию экономического знания можно наблюдать некоторое движение к расширению рамок экономической науки. Конечно, речь не может идти о возвращении к образу экономической науки XVIII века, но универсализм Смита, нравственная предопределенность его концепции могут оказаться именно теми чертами будущей науки, которые мы можем угадать в ее прошлом.

ИСТОРИЯ СРЕДНЕВЕКОВОЙ РЕЛИГИОЗНОСТИ

А.Г.Суприянович (Казань)

Когда мать – не женщина: "Откровения божественной любви" Юлии из Нориджа

Много столетий носит имя Св.Юлии старая церковь монастыря Кэрроу в Норидже. Пыль веков давно поглотила следы бенедиктинских монахинь, живших здесь в затворничестве. Возможно, судьбу своих сестер во Христе, безвестно канувших в лету, разделила бы и нориджская отшельница Юлия, если не ее сочинение "Откровения божественной любви", в котором она описала свою спиритуальную практику¹.

О самой Юлии известно не много². Она жила во второй половине XIV – начале XV в. (1342 – после 1416 г.³) в одном из крупных и бога-

¹ "Revelations of Divine Love", озаглавленные также в одной из версий "Revelations to one who could not read a letter" ("Откровения той, что не могла прочесть письма"), сохранились в восьми манускриптах. Признано, что несколько редакций были составлены самой Юлией в разные периоды ее жизни. Первое издание "Откровений" было осуществлено в 1670 г. в Париже. В настоящий момент существуют многочисленные переиздания, особенно умножившиеся после празднования 600-летнего юбилея ее творения. При работе мы пользовались одним из наиболее полных вариантов текста Юлии – так называемым "пространным текстом" (см.: Warrack G. Revelations of Divine Love. L., 1901) в версии Интернет из библиотечного сервера *Christian Classics Ethereal Library*.

² Отсутствие фактического материала о жизни Юлии до 1373 г. и незначительные упоминания (возможно) о ней в период с 1373 по 1416 г. позволяют говорить об условиях, в которых проходило становление ее личности, лишь гипотетически. Дискуссии ведутся о социальном статусе, грамотности, болезнях и их связи с видениями, а также об образе жизни Юлии. Наименование "леди Джулиана" в одном из манускриптов вызвало к жизни теорию о ее благородном происхождении, хотя есть и противоположная точка зрения, основанная на применении эпитета "леди" к затворницам без учета их происхождения. Остается нерешенным и вопрос об образовании Юлии: ведь известны многочисленные примеры неграмотных авторов мистической литературы, диктовавших свои видения секретарям. Появлению сомнений в образованности Юлии способствовало ее самоопределение "unlettered creature" – "необразованное создание" (Rev.2). – см., напр.: Pelprey B. Love was his meaning. The theology and mysticism of Julian of Norwich. Salzburg, 1982. P.18-19. Между тем, очевидная эрудиция Юлии в богословских вопросах и глубокое знание трудов предшественников склоняют большинство исследователей к признанию ее учености. Неясно также, была ли определена ее стезя с раннего детства: ведь в монастырских школах нередко обучались девочки из знатных и богатых семей, не обязательно становившиеся впоследствии монахинями. Картина пребывания Юлии в Кэрроу может быть реконструирована по широко распространенным в ее время правилам для затворниц, определявшим распорядок дня, одежду и питание, круг общения. Как ни странно звучат слова о круге общения для затворницы, он, хотя и

тых городов Англии. Средневековый Норидж был ремесленным и торговым центром, имел ряд духовных учреждений, в том числе школ, солидную богословскую библиотеку⁴. Многочисленные братства спиритуалов, как мужчин, так и женщин, нашли здесь пристанище. Поэтому богословская и литературная образованность Юлии не вызывает удивления⁵, так же, как и избранный жизненный путь.

По свидетельству Юлии, с ранней юности ей было присуще желание пройти крестным путем. Она мечтала о страданиях тела и духа, что и было ей даровано в возрасте 30-ти лет. Тяжело заболев и находясь при смерти (как считала сама и все окружавшие), она и удостоилась шестнадцати откровений господ, объяснивших ей смысл божественной природы и человеческого существования (Rev.2). По словам Юлии, божественные откровения она получала через зрительные образы, через духовное понимание, отражавшее смысл увиденного (часто далекое от зрительных образов), и словесно (Rev.9). Так, видение страданий Христа сопровождалось словами о торжестве бога над дьяволом, смысл же увиденного выражал любовь бога к человечеству.

На первый взгляд, концептуальные построения затворницы вполне ортодоксальны. Между тем, при всей близости ее сюжетов и формы их изложения к трудам предшественников, смысловое наполнение значительно с ними расходится. "Откровения" традиционно ориентированы на постижение божественной сути и поиски путей Спасения человечества, понимаемого как совокупность верующих, объединенных в церкви. Как и большинство ей подобных, Юлия не разделяет собственной участи, личного Спасения и судьбы всех братьев по вере. Ее мышле-

очень узкий, но все же существовал. Часть его составляла девушка-прислужница, имели место визиты духовных особ, да и работа по опубличиванию "Откровений" требовала определенных контактов с окружающим миром.

³ Дату рождения позволяет определить упоминание Юлией своего возраста, в котором она получила видения ("I was thirty years old and half" / "Мне было тридцать с половиной лет" (Rev.3)) и точной даты происшедшего ("These Revelations were shewed to a simple creature unlettered, the year of our Lord 1373, the Thirteenth day of May") / "Эти Откровения были показаны простому необразованному созданию в 1373 г. от рождения Христова 13 дня Мая".(Rev.2)); дата смерти приблизительно вычисляется по последним прижизненным редакциям "Откровений" и упоминании о визите к Юлии Маргариты Кемпийской.

⁴ Reynolds S. An Introduction to the History of English Medieval Towns. Oxford, 1977. Библиотека Нориджа была одной из лучших для своего времени. – Jones C. Julian of Norwich // Medieval women writers. Athens, 1984. P.272.

⁵ Юлия признана "первой англоязычной духовной писательницей" своей страны, что позволяет филологам сравнивать ее значение с той ролью, которую сыграл Дж. Чосер, а богословам – Дж. Уиклиф в истории английской мысли и литературы. Но если писательский талант ее, хотя и не вполне, но оценен (См.: Stone R.K. Middle English Prose Style: Margery Kempe and Julian of Norwich. Mouton, 1970; Knowlton M.A. The influence of Richard Rolle and of Julian of Norwich on the Middle English lyrics. Mouton, 1973; The medieval mystical tradition in England. Exeter, 1980 и др.), то содержательная сторона "Откровений", несмотря на обширную библиографию (см.: *Maisonrouve R. L'Univers visionnaire de Julian of Norwich. Lille, 1982. P.567-608*), во многом остается неисследованной.

ние глобально, она воспринимает себя частью христианского социума, труд ее написан для и от его имени: "В глазах Господа все люди, что один человек, а один, что все" (Rev.51).

Картина мира Юлии также кажется типичной: она осмысливается через познание Творца всего сущего, субстанции особого рода. Развивая классическое понимание Бога как создателя (*Maker*) и хранителя (*Keeper*) человечества, затворница дополняет определение его природы еще одним свойством – *Lover* ("Тот, кто любит"). Понятие "господа любящего", в принципе, не новое для богословия, в "Откровениях божественной любви" приобретает особую смысловую нагрузку, превращаясь в основную характеристику небожителя. Он создал Адама из любви и в ней его хранит. Все, что было им сделано и делается для людей, продиктовано исключительно этим возвышенным чувством:

And I saw full surely that ere God made us He loved us;
which love was never slacked, nor ever shall be.
And in this love He hath done all His works;
and in this love He hath made all things profitable to us;
and in this love our life is everlasting.
In our making we had beginning; but the love wherein He made us
was in Him from without beginning: in which love we have our beginning.
And all this shall we see in God, without end.

И видела я в полной уверенности,
что Господь любил нас до того как создал;
и любовь его никогда не ослабеет, но будет всегда.
И в этой любви Он создал все свои творения;
и в этой любви Он создал все полезные нам вещи;
и в этой любви наша жизнь – вечна.
В нашем творении мы имеем начало, но любовь,
в которой мы сотворены, была в Нем без начала:
и наше начало в этой любви.
И все это мы увидим в Боге, без конца.

(Rev.86)

Собственно, сущность Бога, по определению Юлии, и есть Любовь. Однако, общеизвестно, что Бог есть Троица. Как совмещает она эти сущности? Троичность Бога выражается ею в идеях всемогущества (*Almight*), мудрости (*Wisdom*) и доброты (*Goodness*). Всемогущество соотносится с первым лицом Троицы, мудрость – со вторым, а на долю Св.Духа достается – доброта. На этом распределение функций не заканчивается: Св.Дух обеспечивает награду и воздаяние людям за мучения в земной жизни, Бог-Отец по определению является их небесным креатором со всеми вытекающими отсюда обязанностями и полномочиями, и самая интересная функция достается на долю второго лица Троицы – Иисуса Христа: он... – "мать человечества"⁶.

⁶ Если идея Иисуса-матери является у Юлии определяющей, то братство Христа (он выступает в качестве брата человечества, поскольку, наряду с Адамом, является сыном божьим) особенного значения для ее концепции не имеет.

For the Almighty Truth of the Trinity is our Father:
 for He made us and keepeth us in Him;
 and the deep Wisdom of the Trinity is our Mother,
 in Whom we are all enclosed;
 the high Goodness of the Trinity is our Lord,
 and in Him we are enclosed, and He in us.
 We are enclosed in the Father, and we are enclosed in
 the Son, and we are enclosed in the Holy Ghost.
 And the Father is enclosed in us, and the Son is enclosed in us,
 and the Holy Ghost is enclosed in us...

Всемогущая Истина Троицы – наш Отец,
 Он создал и хранит нас в себе;
 и глубочайшая Мудрость Троицы – наша Мать,
 в которую все мы включены;
 высшая Доброта Троицы – наш Лорд,
 и мы в него включены, а он – в нас...

Мы включены в Отца, мы включены в Сына,
 мы включены в Св.Духа,
 И отец включен в нас, Сын включен в нас,
 Св.Дух включен в нас...

(Rev.54)

Осмысление Бога как матери – один из интереснейших элементов сотериологии Юлии. Всевышний, утверждает затворница, настолько же является нашей матерью, насколько и отцом. Определяется это тем, что при создании "венца творения" господь вложил в него собственную сущность (*Substance*), составляющую высшую часть человеческой души. Именно она включает человека в Бога и Бога в человека. Наряду с ней "создание шестого дня" имеет еще и чувствующую душу (*Sense-soul*) (или низшую часть души), связанную с вылепленным из глины телом. Последнее вызывает у Юлии сильнейшее отвращение. Она сравнивает его с разлагающейся плотью, с бесформенным болотом, грязным и зловонным. Плоть слепа в отношении божественных тайн, а потому гневлива, упряма и самоуверенна. Эта неприязнь к телу вызвана тем, что именно оно привязывает дитя божье к земле и мешает быть счастливым. Лишь расставание с телом избавляет его от земных страданий, так как освобождает подлинную человеческую сущность – образ и подобие Бога – *Substance* (Rev.53-64). Если отцовство Троицы определяется, главным образом, наличием в человеке *Substance*, то ее материнство тоекратно. Оно состоит 1) так же, как и отцовство, в нашем субстанционном создании; 2) в принятии нашей чувственной (*sensible*) природы; 3) в конкретной материнской работе.

Итак, Бог разделен на отца и мать также и по той роли, которую сыграл в создании человека. Отцовство, как мы убедились, выражается в сообщении ему основной субстанции, важнейшей части челове-

ского существа, определяющей все его бытие и являющейся вечным бытием; материнство – в рождении и воспитании⁷.

Ипостасью Бога, воплощающей материнское начало, "нашей истинной матерью" (*Very Mother*) является Иисус Христос. Он стал матерью человечества, воплотившись через деву Марию в земное существо и приобретя (единственный из Троицы), помимо божественной субстанции, и человеческую душу (*Sense-soul*). Пройдя крестным путем ради человечества, Иисус родил его для Спасения и с тех пор, как любящая мать, хранит людей и ведет к вечному счастью. Таким образом, крестные страдания и смерть Христа – это второе создание человечества. Подобно настоящей смертной матери, Христос родил людей в боли и муках, а потому важнейшим атрибутом его материнства является страдание. "Если бы я мог страдать больше, я бы страдал", – говорит Юлии Иисус (*Rev.22*), имея в виду безмерность его материнской любви. Так идея материнства Иисуса подкрепляется библейским сюжетом о родовом страдании как расплате за первое грехопадение.

Страдания Иисуса-матери раскрываются Юлией и в ином контексте. Неотъемлемым материнским чувством является также сострадание. С одной стороны, оно – причина принятия Христом на себя грехов мира, искупление которых потребовало столь болезненных родов. С другой, – неустрашимый (до Страшного суда) источник постоянных мук небесной матери. Материнство не бывает однократным и не исчерпывается произведением на свет. "Идеальная мать" Иисус любит людей в любом состоянии, безотносительно возраста, пола, греховности. И поскольку человечество в виду своего несовершенства и телесности не перестает грешить, его "истинная мать" продолжает сострадать и отмыкать свое дитя от скверны собственной кровью. Признавая полезность и неизбежность страдания, Юлия задается вопросом о его причинах. Откуда берется боль, и как она возникает? Боль, размышляет затворница, – это грех, ведь он наносит урон божественной природе человека, тем самым раня и мучая его. Это человеческая слабость, и все люди, нарушая заповеди небесного отца, в силу того, что чистая *Substance* в них разбавлена иными сущностями, подвержены греху. Человек – это "смешение блага и горя... в нас падение, умирание, ничтожность Адама", и в то же время "Бог живет в душе нашей" (*Rev.52*). Грех сопутствует человеку постоянно (от падения Адама до Страшного суда) пока он не будет избавлен от своей земной оболочки.

Как столь любящая и заботливая мать допускает грех, от которого сама же и страдает? Простой жизненный пример помогает Юлии ответить на этот вопрос. Задача истинно любящей матери – уберечь своего ребенка от настоящей опасности, боли и страданий, для чего необходимо знать, что они из себя представляют. Мудрая мать не просто мо-

⁷ Подробнее см.: *Heimmel J.P. "God is our Mother": Julian of Norwich and the Medieval Image of Christian Feminine Divinity. Salzburg, 1982.*

жет, но должна и обязана позволить своему ребенку иногда упасть и научить его тому, что есть страдание. Падая, дитя может пораниться, что и является источником боли. Незначительные падения служат к пользе человечества, серьезного же ущерба, утверждает Юлия, божественная мать не допустит никогда. Соответственно лишь отдельные люди могут впасть в грех, но не все дети Христа – христиане.

Но почему бы не устранить первопричину греха, продолжает свои рассуждения Юлия. "Если бы греха не было, мы были бы чистыми, подобно Богу, и часто я думала, почему при великой мудрости Бога начало греха не было устранено?" (Rev.27). Этот вопрос постоянно беспокоит затворницу. Двадцать лет, по ее собственному признанию, размышляла она над видением о слуге и господине, объясняющем природу грехопадения Адама (Rev.51). Явилось ей видение слуги, что, торопясь выполнить поручение господина, упал. Бедняга, испытывая боль, в момент падения не видит лица хозяина и думает, что тот сердится. Это пугает слугу. Господин же любит его, страдает и совсем не винит. Так и Бог, по мнению Юлии, не винит, а жалеет людей; боль же, которую они переживают, греша, – боль падения. Более того, страдая, Бог испытывает боль вместе с человеком, ведь такова природа Бога, то есть любви. Потому-то Иисус из великой любви к человечеству взял на себя грех (боль) человека⁸, и он будет искупать его, пока небесный отец не призовет человека на небеса.⁹ Вместе с тем, Бог не может гневаться на человека больше, чем на Иисуса, взявшего на себя вину Адама, а грех любого человека не может быть тяжелее первородного. Поэтому на человечестве нет вины. Кроме того, гнев вообще не свойственен божественной природе. Это атрибут человека, проистекающий из его невежества. Это понятие земного, телесного мира страданий, в котором грех служит средством очищения. Следовательно, заключает Юлия, грех ведет человека не к стыду, а к почету. Значит для Бога греха нет? Он существует лишь в мире *Sense-souls*, в мире тел, которые могут падать? А в мире подлинной реальности греха нет?! Нет вины человечества?! Всех ждет Спасение?! Рефреном повторяет Юлия слова Господа "Все будет хорошо" (Rev.27, 32, 34).

В результате ближайшего рассмотрения оказывается, что Бог Юлии, скрывавшийся в традиционных христианских одеяниях, это Любовь, да еще с сильно выраженными гендерными началами. Концепция же божественного материнства, в конечном счете, чревата идеей всеобщего спасения¹⁰. Определение Бога как матери, вне сомнения,

⁸ Точнее, Иисус соединился с человеком природой, то есть стал частью Адама (его головой), а потому переживает все ощущения последнего.

⁹ "Адам упал из жизни в смерть, Иисус упал с неба на землю (во чрево Девы), чтобы снять вину с Адама на небе и на земле и избавить от Ада" (Rev.51).

¹⁰ Фактически обосновывая идею всеобщего спасения, Юлия (возможно, боясь обвинения в ереси) не утверждает этого прямо, ограничиваясь изложением концепций материнства и божественной любви, для которой греха нет. Все время указывая, что ее видения относятся к тем, кто будет спасен, она косвенно

является одним из центральных (и наиболее дискутируемых) звеньев в концепции Юлии¹¹. Спектр мнений простирается от полного неприятия наименования Иисуса Христа матерью человечества до сообщения ему не только материнской, но и вообще женской природы¹².

Соотносит ли Юлия понятия материнства и женской природы? (Странно звучащий для человека XX в., этот вопрос вполне уместен, когда речь идет о средневековой затворнице). Если да, то Бог феминизируется, что вызывает не меньшие подозрения в ереси, чем идея всеобщего спасения. В этой связи необходимо решить еще один "еретический" вопрос: имеет ли Бог пол? Или даже: какого рода Бог?

Несмотря на догматическое утверждение бесполости Бога, человек создан по его не только подобию, но и образу. Конечно, можно подразумевать под "образом и подобием" невоплощенную сущность, душу или *Substance* Юлии. Тем не менее, на деле бог осмысливался в христианской традиции через местоимение "Он" и в случаях изображения имел явно мужские черты. Тем более, маскулинизирован был облик второго лица Троицы. Иисус не только мыслился как сын божий, но при своем легендарном земном воплощении имел явно мужские черты, запечатленные всей христианской изобразительной традицией. Конечно, можно было подразумевать бесполою сущность за характерными внешними родовыми признаками, но в восприятии людей отложился именно мужской образ, на который соответственно были перенесены и особенности мужского поведения и сознания. Показательно в этой связи восприятие Иисуса Христа как небесного жениха, характерное для многих средневековых затворниц. Общим местом стало признание эротической окрашенности их отношения к Иисусу.

признает, что могут быть и другие. Но в ее картине сущего места для "других" уже не остается. Опасения затворницы имели реальную основу: не будучи официально признаны еретическими, "Откровения" все же вызывали подозрения. Не только средневековым, но и некоторым современным исследователям трудно согласиться с идеями всеобщего спасения и материнства Бога. Так, Пелпрей пишет об ошибочности ее послышки "греха нет". – *Pelprey B. Op.sit.*, p.153.

¹¹ Усилиями таких исследователей как А.Кабассут, Е.МакЛаулин, К.Бинум, Р.Брэдли, А.Аллчин, Дж.Хеймел и др., было доказано библейское происхождение созданного Юлией образа Бога-матери и его широкое применение в христианских теологических сочинениях. Вместе с тем, большинство исследователей творчества Юлии отмечает, что в ее труде, этот образ достигает наиболее полного развития и приобретает принципиально иное значение.

¹² Дж.Хеймел склонна считать, что Юлия говорит не просто о материнской, но и женской сущности божества, и воспринимает это как проявление средневекового феминизма, нацеленного на возвышение роли женщины и борьбу с социальным доминированием мужчин. – *Heimmel J.P. Op.sit.* P.81. Однако, Хеймел подвергла анализу только образ Христа-матери. Женская ипостась Бога соотносится ею с материнской автоматически. Объединяла ли Юлия образ Христа-матери и женщины остается не выясненным, как и вопрос о том, могла ли средневековая затворница быть феминисткой.

Определенно и Юлия в своих видениях Христа наблюдала образ, наделенный мужскими чертами¹³. Во-первых, это связано с тем, что ее видения были инициированы образом распятия. Во-вторых, местоимения, употребляемые ею по отношению ко второму лицу Троицы, ясно указывают на пол, с которым она его соотносила. Даже говоря о материнстве Бога, Юлия заявляет: "Он – наша мать" (Rev.58 и др.). Если Иисус представляется Юлии все-таки носителем мужской природы, каким образом соотносится она с материнством? Проще всего, было бы, вслед за Б.Пелтреем, признать, что материнство Иисуса – метафора, подразумевающая исключительно материнские свойства и обязанности.¹⁴ Но Юлия определенно и настойчиво утверждает "He is Mother" ("Он *есть* Мать") (Rev.58 и др.).

Значит, решению подлежит еще один вопрос: что есть пол для Юлии? Очевидно, речь идет не о внешних, телесных отличиях – они не имеют значения для затворницы, а о важных для нее родовых признаках. Присутствует ли вообще в "Откровениях" понятие пола? И в каком качестве? Относительно Спасения для Юлии нет различия между мужчинами и женщинами. Она осмысливает человечество как совокупность верующих, как некоего суммарного человека – "тварь божью", в связи с чем предпочитает обозначать его "Адам", "человечество", "создание" или "дитя" Бога. Несколько раз она употребляет термины "мужчина или женщина", когда хочет подчеркнуть, что половые различия не имеют значения (Rev.10, 14, 34 и др.). Иными словами, перед Богом у человека нет пола. Определяется эта бесполость функциями, которые выполняет человек по отношению к небесному родителю, системой связей между ним и Господом. Для Бога человек – его дитя, наделенное единой с родителем природой и, в идеале, сыновней (без разницы – дочерней) любовью и почтением. Свою особу Юлия мыслит также бесполо, обозначая себя "Божье создание" (Rev.2 и далее).

Вместе с тем, Юлия широко использует гендерные характеристики при описании Троицы. Основное место здесь занимают родительские функции, перенесенные из норм человеческого общежития. Так, Бог оказывается по отношению к Адаму отцом и матерью, поскольку имеет их свойства и выполняет их природные и социальные обязанности. Более того, наряду с собственно родительскими свойствами, Юлия сообщает ему особенности, присущие природным отцам и матерям, то есть наделяет Бога человеческими характеристиками.

Вседержитель изначально изображается Юлией как носитель двойственной природы. Она определяет его как почтенного и страшного (*reverend and dreadful*) и, в то же время, простого и любезного (*homely and courteous*); он высочайший и могущественнейший, благороднейший

¹³ Трудно согласиться с Дж.Хеймел, полагающей, что Юлия наблюдала "бесполоый" образ Христа, в то время как дьявол, по заявлению затворницы, предстал в образе молодого человека. – *Heimmel J.P. Op.cit. P.75.*

¹⁴ *Pelprey B. Op.cit. P.184-189.*

и достойнейший (*highest and mightiest, noblest and worthiest*) и, одновременно, низайший и кротчайший, очень простой и учтивейший (*lowest and meekest, homeliest and most courteous*). Этот всемогущий господин любит ласково и нежно (*sweetly and tenderly*). И любовь его имеет два качественно различных вида: это милость (*grace*) и милосердие (*mercy*). Милость, по определению Юлии, это выражение королевского достоинства и господства, милосердие – нежная снисходительность, имеющая "ласковые глаза жалости" ("*sweet eye of pity*"). Милость – свойство награждающее, воздающее; милосердие проявляет сострадание и терпение (Rev.58). Очевидно, что Юлия описывает бога не столько через признаки отцов и матерей, сколько вообще мужчин и женщин. Было бы странно сказать о женщине могущественная и устрашающая, в то время как эпитеты кротчайший и мягчайший вряд ли сочетаются с понятием мужественности¹⁵.

Разделение мужских и женских качеств Бога еще полнее выражено в описаниях первого и второго лиц Троицы. Бог-отец, главным образом, всемогущ. На его долю отводится немного эпитетов. (Может потому, что Юлии не очень понятна мужская природа?) Он возвеличивает, награждает, он способен превратить смертное падение в утешение, а скорбное умирание в святую и счастливую жизнь (Rev.58).¹⁶ В описании Христа Юлия гораздо более щедра на определения. Сколько нежности и тепла проливает он на человечество. Его любовь хранит, вынашивает, лечит, жалеет и, самое главное, страдает. Его нежная, ласковая материнская забота обнаруживает глубоко женские качества терпения и кротости. Иисус не просто Истинная Мать человечества, он мать с типичными женскими психическими установками.

Еще более женственности ("красоты небес и цветка земли" (Rev.10) Иисуса обнаруживается в его портретных характеристиках. "Прекрасная и ласковая наша Небесная Мать" ("*Fair and sweet is our Heavenly Mother*"), – пишет Юлия (Rev.63). Чаще всего употребляются эпитеты: *fair* (прекрасный, светлый), *tender* (нежный, мягкий, хрупкий), *blessed* (благословенный) и *sweet* (ласковый, сладкий, милый). Если определение *blessed* Юлия употребляет достаточно часто по отношению к различным объектам, то *fair*, *tender*, *sweet* в основном относятся к Иисусу Христу (около дюжины каждого определения), а также служат для описания любви, которую Господь Бог испытывает к человечеству. Конечно, названные эпитеты могут прилагаться как к лицам женского,

¹⁵ Конечно же библейский тезис "кротких и смиренных есть царствие небесное" (Мф.5.5) подразумевал и мужчин, и женщин. Но если в отношении мужчин в большинстве случаев эти библейские требования оставались скорее добрым пожеланием, то для женщин они составляли поведенческую норму.

¹⁶ Он велик и несколько страшен. Благоговейный страх постоянно охватывает Юлию в его присутствии (Rev.7,8). Анализируя свои чувства, она приходит к выводу о том, что внушение благоговейного страха людям является составной частью "отцовства" и "господства" бога. Юлия специально останавливается на этом вопросе, выясняя природу и сущность страха, в 74-й главе "Откровений".

так и мужского пола¹⁷. Но если при описании мужчин *fair, tender, sweet* или выражают отношение (например, "ласковый сеньор") или образ в целом, то Юлия широко употребляет их и при детализированном описании. Так, определение *sweet* она относит к телу и плоти¹⁸ Христа в целом, а также отдельно к его лицу, коже¹⁹, волосам, рукам и ногам (Rev.12,16 и др.). Нередко эти эпитеты идут в связке: например, "*tenderness of the sweet hands and of the sweet feet*" – "нежность ласковых рук и ног" (Rev.17), что усиливало представление о прелести облика Спасителя. В целом, портрет Христа "кисти" Юлии оставляет впечатление хрупкости, нежности, женственности. Интересно, что она применяет эти термины и при описании других объектов и лиц женского пола, особенно девы Марии (*sweet Mother, sweet Maiden* – Rev.18, 25).

В отношении же других существ мужского рода или маскулинизированных (как первого лица Троицы) Юлия не столь щедра на эпитеты вообще, особенно названные. Бог-отец предстает перед ней в телесном образе в видении о слуге и господине (Rev.51). Создавая облик любящего родителя, затворница ни разу не прилагает к нему эпитеты *sweet* и *tender*, предпочитая применять их для выражения отношения (например, господин "ласково смотрел"). Лишь по одному упоминанию содержится о прекрасных глазах и прекрасном лице доброго сеньора, что для описания небожителя более чем скромно, особенно в сравнении с его ближайшим соседом и родственником. Несмотря на то, что господин призван олицетворять в этом видении доброту и участие, в первую очередь, он оставляет впечатление почтенности и могущества, а своему любимому упавшему слуге он продолжает внушать страх.

Анализ портретных характеристик первых двух лиц Троицы, выведенных пером Юлии, наглядно свидетельствуют о том, что вместе с родительскими функциями на Бога переносятся психологические, поведенческие и даже внешние особенности, превращающие лица Троицы не просто в отца и мать, но также в мужчину и женщину.

Особенно важны для понимания родовой принадлежности Христа видения девы Марии²⁰ (это единственный персонаж, за исключением Бога, многократно посещавший Юлию). Мать Спасителя – ключ к пониманию материнства самого Христа. Ее заслуга во втором рождении

¹⁷ Современники Юлии Дж.Чосер и У.Ленгленд употребляют эти эпитеты по отношению и к мужчинам, и к женщинам, хотя ко вторым – гораздо чаще. – *Chaucer G. The Canterbury tales; Chaucer G. The legend of good women // The complete works of G. Chaucer. V.II. Oxford, 1900* (из собрания Online Medieval and Classical Library); *Langland W. The vision of Piers Plowman. L.-N.Y., 1978.*

¹⁸ Для описания плоти Христа Юлия часто использует и определение *tender* (нежная).

¹⁹ По отношению к коже применяется и эпитет *fair* (пресветлая).

²⁰ Понимание Марии как посредника между богом и людьми было достаточно широко распространено в литературе (см.: *Ferrante M. Women as image in medieval literature, from the 12-th century to Dante. N.Y., 1975*), однако, встроенный в "материнскую концепцию" Юлии он приобретает совершенно особое значение.

человечества немногим уступает жертве ее сына. Юлия постоянно подчеркивает, что спасая Адама, Иисус создал его вновь. У истоков этого события стоит Богородица, генетически связанная с Христом и связавшая его с людьми. Стало быть, она – мать человечества!

God knitted Himself to our body in the Virgin's womb,
He took our Sensual soul: in which taking He, us all having
enclosed in Him, oned it to our Substance: in which
oneing He was perfect Man...

Thus our Lady is our Mother in whom we are all
enclosed and of her born, in Christ:
(for she that is Mother of our Saviour is Mother of all...).

Бог связал себя с нашим телом во чреве Девы,
Он принял нашу чувствующую душу: и в этом принятии
Он, включив в себя всех нас, соединился с нашей Сущностью:
И в этом соединении Он был совершенный Человек.

Так, наша Госпожа является нашей Матерью,
в которую все мы включены и ее родами, в Христа:
(так как Она – Мать нашего Спасителя, есть Мать всех...) (Rev.57).

Итак, Мария – как и Иисус – мать человечества, и оба они обладают тождественными свойствами и добродетелями, из которых важнейшие – мудрость, вера, любовь, сострадание. Более того, именно Мария, наряду с Иисусом, является воплощением любви (Rev.18). Не ее ли добродетели называет Юлия, говоря о Христе: "Он – милосердие божье", характеризуемое "послушанием, кротостью, терпением" (Rev.51). Не его ли путем проходит Мария от страдающей матери до благословенной и славной? (А может быть он – ее?). Юлия не просто использует одинаковую терминологию в описании Иисуса Христа и Марии, но и наделяет их тождественными сущностями, понимая один образ через другой. Очеловечивая Христа, Юлия переносит на него не вообще человеческую, а женскую природу Марии.

For God of His Goodness hath ordained means to help us,
full fair and many: of which the chief and principal mean
is the blessed nature that He took of the Maid,
with all the means that go afore and come after
which belong to our redemption and to endless salvation. (Rev.6).

Господь по своей доброте назначил средства в помощь нам
прекрасные и многочисленные: главное и основное из которых –
благословенная природа, которую Он приобрел от Девы,
со всеми средствами, идущими до и после,
относящимися к нашему восстановлению и бесконечному спасению.

Тезис о феминизации Юлией образа Иисуса может быть подтвержден и отсутствием у затворницы характерного для женщин ее положения эротизма в отношении к Христу²¹. Не отказываясь абсолютно от образа небесного жениха, она трансформирует его на другие объекты.

²¹ Исследователи творчества Юлии отмечали этот факт, не обосновывая, однако, его природы.

Так, женихом является Бог-Троица, невестой/женой – человечество. Причем Иисус выступает в этом контексте не только как ипостась Бога, но и как часть Адама, его брат, так как он единосущен не только Богу, но и людям. Отметим и то, что концептуальной нагрузки это сравнение не несет и приводится в целом ряде аналогичных примеров.

And thus I saw that God rejoiceth that He is our Father,
and God rejoiceth that He is our Mother, and God rejoiceth
that He is our Very Spouse and our soul is His loved Wife.
And Christ rejoiceth that He is our Brother,
and Jesus rejoiceth that He is our Saviour.

И так я видела, что Господь радуется что Он – наш отец,
и Господь радуется, что Он – наша мать, и Господь радуется,
что Он наш истинный жених, и наша душа есть его любимая жена
И Иисус радуется, что он наш Брат,
и Иисус радуется, что он – наш Спаситель. (Rev.52, 58).

Очевидно, что здесь используется шаблонное выражение, распространенное в мистической литературе. Анализ ощущений, возникающих у Юлии при явлении ей Иисуса, также демонстрирует отсутствие какого бы то ни было эротизма. Восхищение и радость от присутствия Бога почти всегда соединяется у Юлии с благоговейным страхом и почтением (Rev.7,8). Ее восприятие Христа абсолютно лишено любовного придыхания, которым так отличаются, например, "Откровения блаженной Анжелы"²². Почти современница Юлии, итальянская монахиня из Фолиньо, тоже поведавшая миру о своих видениях Христа, совсем иначе реагирует на приближение божественного возлюбленного. Любовь и блаженство переполняют все существо Анжелы: "И тотчас же ощутила... любовь Божию внутри в душе моей. И изливалось это в тело... и, чувствуя, плавилась душа моя в любви Божьей." (Откровения блаженной Анжелы, 55).

Слова, обращенные к Юлии теплы и добры, но любовного экстаза Анжелы они не вызывают.

My darling, behold and see thy Lord, thy God
that is thy Maker and thine endless joy,
see what satisfying and bliss I have in thy salvation;
and for my love rejoice [thou] with me...
Lo, how I loved thee! Behold and see that I loved thee
so much ere I died for thee that I would die for thee;
and now I have died for thee and suffered willingly....
And now is all my bitter pain and all my hard travail
turned to endless joy and bliss to me and to thee...
For my pleasing is thy holiness and thine endless joy
and bliss with me.

Дорогая моя²³, пойми и увидь твоего Господина, твоего Бога,

²² Откровения блаженной Анжелы. Киев, 1996.

²³ Не так ли обращается к своей дочери один из героев Дж.Чосера? – *Chaucer* G. The legend of Hyperminestra // The legend of good women (IX:70).

который является твоим Создателем и твоей бесконечной радостью; увидь, что удовольствие и счастье имею я в твоём спасении; и ради моей любви соединишься со мной.
 Вот, как я люблю тебя! Пойми и увидь, что я любил тебя так сильно, до того как я умер за тебя, что я мог бы умереть за тебя; и теперь я охотно умер и пострадал за тебя...
 И теперь все мои горькие раны и тяжкие муки обращены в бесконечные радость и счастье для тебя и для меня...
 Угодна мне твоя святость
 и твои бесконечные радость и счастье со мной. (Rev.24).

Может быть, это и признание в любви, но никак не жениха, пусть даже небесного, невесте. Скорее это заботливое, родительское отношение, лишённое какой бы то ни было эротической окраски. Сравним с теми словами, которые обращал Христос к Блаженной Анжеле:

"Невеста и красавица моя, возлюбленная мною любовью и во истине."
 Или "... возлюбленная Моя, невеста Моя, любви Меня."

(Откровения блаженной Анжелы, 253).

Анжела воспринимает Иисуса как собственного, персонального "жениха", так как он "возлюбил ее больше, чем других в долине Сполетской" (Откровения блаженной Анжелы, 49). Юлия мыслит себя неким медиатором, задача которого – передать всем христианам Божью милость, и – естественно – частью человечества, частью Адама, с которым Бог имеет определенные, а именно родственные, связи. Никакого индивидуального избранничества она не ощущает:

...for we are all one in comfort. For truly it was not shewed me that God loved me better than the least soul that is in grace...

...так как все мы едины в утешении. Воистину, мне не было показано, что Бог полюбил меня больше, чем последнюю душу, что находится в милости...

(Rev.9).

Ее личные брачные контакты с Богом, таким образом, абсолютно исключаются. Провозглашаемая Юлией собственная бесполость в отношении Бога, подтверждается, как мы видели выше, и неосознанными проявлениями ее отношения к Иисусу. Определенно, Юлия, в отличие от Анжелы, не воспринимает Иисуса (да и не может в принципе воспринимать) как избравшего ее и избранного ею мужчину и как мужчину вообще. Однако, мы уже убедились, что бесполом существом она также его не мыслит и не изображает. Сохраняя внешне мужской облик и соответствующие местоимения для его обозначения, затворница феминизирует поведенческие и психические проявления Христа.

И все-таки Юлия пишет "Он – Мать". Очевидно, женские черты общаются Иисусу неосознанно. Каким образом это происходит? Во-первых, это родовое замещение изначально заложено в ее систему постижения божественной сущности. Исходя из тождественности божественной и человеческой *Substance*, Юлия пытается понять себя через Бога и Бога через себя (Rev.56), при этом свои человеческие особенности она не принимает во внимание, ведь она (в собственном

понимании) бесполое "дитя Божье". Можно предположить, что сознательно отказывая себе в половой принадлежности, бессознательно она переносит на Бога свои женские особенности. Во-вторых, не будем забывать и о силе ее воображения. Многолетняя практика вживания в образ Иисуса Христа должна была дать свои плоды. Юлиа не просто желала повторить стезю Спасителя. В своем сознании она многократно прошла путем Христа, пережила все ощущения вместе с ним и, возможно, в его облике. Насколько ярко передается картина его страданий, телесные и духовные муки! Это не размышления со стороны, из толпы последователей. Это взгляд изнутри, ощущения человека, распятого на кресте. Это прекрасное тело Юлии иссушают ветер и солнце, это ее нежная кожа обезвоживается и меняет цвет, это она жаждет и страдает... Вживаясь в роль Иисуса, Юлиа подменяет его образ собственным, со всеми вытекающими отсюда последствиями. В-третьих, создавая образ Иисуса-матери, вместе с материнскими функциями Юлиа транслирует и свойство женщины-матери, переноса на Христа целостный образ, наблюдаемый в жизни²⁴.

²⁴ Существует мнение, что постижение Юлией природы божественного материнства базируется на опыте ее взаимоотношений с матерью. — *Knowles D. The English mystical tradition. L., 1961. P.121.* Нам представляется, что оно могло быть основано на собственных переживаниях. Откровения были получены Юлией в тридцатилетнем возрасте, когда она могла быть не только матерью, но и бабушкой. Мы не склонны считать, что все первые тридцать лет ее жизни прошли в монастырском затворничестве. Образный ряд ее "Откровений" наполнен, как нам кажется, картинами городской жизни (Rev.7). Описание моря, от которого Норидж значительно удален, свидетельствует о том же. Кроме того, если бы во время болезни Юлиа находилась в монастырской среде, ее просьбы любить Бога сильнее и напоминания о быстротечности земной жизни, обращенные к присутствующим, выглядели бы не очень уместно (Rev.8).

В.Л.Керов

Братья свободного духа

Секты Братьев (Сестер) свободного духа (иногда применялись термины Братья "нового духа", "высочайшей бедности" и др.) распространились в XIII-XV вв. на огромной территории от Фландрии и Германии до Средиземного моря и от Испании до Византии, в условиях весьма различных. Но имелось и нечто общее, выделявшее их из массы еретических движений средневековья, и это "общее" заслуживает специального анализа.¹ Известно, что члены секты жили и действовали в рамках "ассоциации", общины (прежде всего в городах) и отличались образом жизни и одеждой. Нищенство являлось основным источником их существования. Часто эти сообщества имели руководителя. Это был священник или мирянин, более смысленный, чем его товарищи; он развивал общие для всей секты философские принципы в соответствии со своим складом ума.² Единой церковной организации у братьев не было, и каждая община действовала самостоятельно при сохранении общей идеологической основы.

Как отмечал С.Д.Сказкин, христианство, как и всякая религия, – а также, добавим, и антицерковные ереси, – содержит в себе два элемента: этику и метафизику, т.е. учение об отношении человека к человеку и учение об отношении человека к миру, Причем этика реально составляет основу религии, а метафизика представляет собой лишь обоснование этики.³ Что касается взглядов Братьев, то прежде всего выделим те их стороны, которые связаны с конкретной, практической деятельностью, с культом и обрядами. Центральное место занимала

¹ В отечественной историографии нет исследований, посвященных ереси Братьев свободного духа, имеются лишь отдельные замечания немногих авторов (И.Арсеньев, В.П.Волгин, Б.Ф.Поршнев, О.В.Трахтенберг, И.Я.Лернер). В западной историографии специальные монографии также отсутствуют. Один из крупнейших немецких историков XVIII в. И.-Л.Мосгейм первым посвятил упоминутую ересь, названной им движением, немало места в своей книге о бергардах и бегинах. – *Mosheim J.L. De beghardis et beguinabus commentarius*. Lipsiae, 1790. Однако, по мнению Р.Гварнери, высказанному в 1964 г., история Братьев свободного духа к этому времени еще не была написана (*Guarnieri R. Freres du libre esprit // Dictionnaire de spiritualité ascétique et mystique. Doctrine et histoire*. T.V. P., 1964. P.1241), а за последующие 30 лет положение не изменилось.

² *Jundt A. Histoire du panthéisme populaire au moyen âge et au seizième siècle*. P., 1875. P.55.

³ *Сказкин С.Д. Введение к книге "Основы средневекового мирозерцания" // Из истории социально-политической и духовной жизни Западной Европы в средние века. М., 1981. С.99-100.*

идея покаяния, покаяния очень тяжелого, часто, по определению некоторых авторов, "ужасного". Братьев отличала крайняя бедность, грубая и отталкивающая на вид пища, нищенская одежда, строжайшая дисциплина. Их молитвы сопровождалась пением и танцами. Все это приводило вначале к состоянию экстаза, а затем – прострации. Члены секты почитали как богов "учителей" – руководителей своих изолированных общин. Братья исповедовались перед ними и причащались, хотя и без соблюдения церковных правил, которых они не признавали, ибо считали себя "сынами Церкви", но не церкви католической.

Необходимо уточнить отношение Братьев к вопросу о бедности. Заметим, что призывы к бедности, лозунги возврата к временам первоначального христианства и евангельским принципам были довольно распространенным явлением в средние века. Побудительные мотивы этих призывов были весьма разнообразны. Это и форма социального протеста, который нередко во время народных волнений приводил к захвату имущества богатых, а в обычное время представлял в виде повседневногo аскетизма. Это и стремление представителей католической церкви найти путь к сердцам обездоленных, которое лежало в основе создания нищенствующих монашеских орденов. Естественно, что среди феодалов и церковнослужителей встречались и такие люди, которые искренне симпатизировали беднякам и резко выступали против накопления богатств, особенно прелатами, клириками и монахами.

Именно таким деятелем был Петр Иоанн Оливи, глава мятежной группировки т.н. спиритуалов в лоне францисканского ордена, возникшей во второй половине XIII в. и близкой по взглядам к Братьям свободного духа.⁴ Для последних бедность была прежде всего одним из компонентов их культового поклонения. Наряду с бедностью это была нагота и сверхъестественные явления. Бедность и нагота символизировали источник появления всего сущего на земле, а также возвращение к жизни в раю. Идея бедности в воззрениях Братьев приводила, как считает Гварнери, к некоему псевдокоммунизму. Членам секты как бы принадлежало все и ничего. Телесная же нагота иногда приводила к опасным беспорядкам. Сверхъестественные явления, такие как чудеса, пророчества, состояние экстаза и т.д., рассматривались членами секты как доказательство святости, свойственной т.н. совершенным. Здесь видна аналогия с катарами. Однако, если у последних статус "совершенных" (*perfecti*) четко отличался от положения простых членов секты – "верующих" (*credentes*), то у Братьев свободного духа условия перехода в высшее состояние "совершенного" в источниках не определяется. Испытание угрызений совести являлось, согласно правилам жизни Братьев, признаком несовершенства. "Совершенный" преступал веру и надежду и как бы входил тем самым в состояние невинности и

⁴ Об Оливи и спиритуалах см.: Керов В.Л. Народные восстания и еретические движения во Франции и в конце XIII – начале XIV века. М., 1986. С.83 и след.

безгрешности. Бог, как символ Милосердия, воплотился в "совершенном". И это превращение в Бога свидетельствовало о крайнем выражении духа, которое является подлинным блаженством. Согласно распространенному среди Братьев мнению, не существовало никакого различия между душой "совершенного", или иначе – совершенной душой, и Христом. Человек может достигнуть на этом свете высшего предела святости, которую Христос достиг ценой огромных страданий, перенесенных им для себя самого, а не для человечества.⁵

Но здесь мы уже вторглись в область философско-теологических взглядов членов секты. Основным источником этих взглядов является произведение под названием "Зеркало простых душ", написанное на народном старофранцузском языке. Его автор – Маргерит Порет из Геннегау (Эно), скорее всего принадлежала к зажиточным кругам и получила широкое гуманитарное образование. Как свидетельствуют источники, Маргерит Порет написала свою книгу, признанную еретической, во Фландрии примерно в 1305 г. Экземпляр книги был публично сожжен на площади г.Валансьенна по приказанию Ги II, епископа Камбрэ. Возможно подобная судьба постигла и многие другие экземпляры. Но сама Маргерит не пострадала и продолжала распространять свои крамольные идеи среди населения Фландрии, Лотарингии и соседних областей, прежде всего среди "простых" людей, в частности бегардов. Больше того, она преподнесла запрещенное сочинение епископу Шалонскому Иоанну. В 1308 г. Маргерит прибыла в Париж, где также занималась пропагандой своих идей. Немудрено, что вскоре она попала в руки инквизитора Гильома Парижского. Он приказал заточить ее в тюрьму, где она провела долгих восемнадцать месяцев до своего аутодафе. Видимо решающим для судьбы Маргерит Порет был вердикт специальной комиссии теологов Парижского университета: 11 апреля 1309 г. члены этого собрания единодушно вынесли решение о еретическом и ошибочном, то есть противоречащем католической догме, характере целого ряда положений книги Маргерит Порет. Логическим развитием этого вердикта было решение комиссии теологов того же университета, собравшейся 30 мая 1310 г. положительно ответить на вопрос: является ли Порет еретичкой. И уже на завтра, в Троицын день по приказу инквизитора она была сожжена на Гревской площади вместе с одним из своих последователей, в присутствии епископа, а также парижских властей, при стечении огромной толпы.⁶

⁵ *Jundt A. Op.cit. P.55.*

⁶ *Continuatio chronici Guillelmi de Nangiaco // Recueil des Historiens des Gaules et de la France. T.XX. P., 1840. P.601; Cartularium universitatis parisiensis... contulit H.Denifle, O.P. et Châtelain. T.II. P.,1891. N 681, p.143; Corpus documentorum inquisitionis haereticae pravitatis Neerlandicae. Uitgegeven door Dr.Paul Fredericq I deel (1025-1520). Gent, 1889. N 165, p.157-160; N 166, p.160; Langlois Ch.-V. Marguerite Porete // Revue Historique. T.54. 1894. P.295-299; Paul J. Histoire intellectuelle de l'Occident médiéval. P., 1973. P.421-422.*

Но вернемся к содержанию "Зеркала простых душ". Прежде всего обращает на себя внимание эзотерический, потаенный, символический характер этого произведения. Автор излагает свои идеи в форме диалога между Душой, Любовью и Разумом. Темой этого диалога является проблема освобождения души, которая проходит семь состояний бытия, семь ступеней, этапов постижения благодати. Душа как бы восходит из низины смирения и покорности до вершины горы созерцания или познания Бога. Во время первого ее состояния, на первом этапе, душа, которой коснулась милость, освобожденная от смертного греха и соблюдающая божественные заповеди, уничтожает себя строгой аскезой. На втором и третьем этапах душа учится следовать божественным советам и повиновению. На четвертом – она обретает определенного рода опыт и достигает способности к созерцанию, к духовному ликованию и даже духовному опьянению: душа обольщена, ослеплена "великим светом Любви". Бог-Любовь с помощью чистой любви возвышает душу над ней самой. На этой стадии развития души она связана с иступленной любовью и становится свободной душой.

На пятом этапе душа благодаря внезапному озарению Святого Духа рассматривает себя как Всеобщность и как полную Доброту. Душа превращается в свойство любви. "Зеркало простых душ" поясняет: "Я Бог, говорит Любовь, потому что Любовь – это Бог, и Бог – это Любовь; и эта Душа есть Бог благодаря любви, и я Бог благодаря божественному свойству, и эта Душа существует благодаря правоте любви." (Речь здесь идет о распространенной в средние века идее мистического превращения в Бога благодаря Любви). На шестом этапе душа поглощается божеством, конкретно Богом-Отцом, как бы уничтожается им и переходит в состояние совершенной свободы. (Здесь видно сходство с идеями Плотина – душа, преступая через сиюминутное, возвращается к своему подлинному отцу и любит его чистой любовью.) Наконец, на седьмом этапе душа погружается в блаженство Раю.

Таким образом, смысл развития души заключается в постепенном приближении к ее вечному существованию в Боге. Душа объединяется с Богом, как пламя с огнем, она растворяется в Боге, как вода в море. Бог во мне, говорит Душа, я существую лишь благодаря Богу и превращаюсь в ничто вне Бога. (Здесь уже заметно сходство с идеями пантеизма, близкого к неоплатонизму Плотина: отождествление Бога и мира, растворение Бога в природе.) Душа достигает в своем движении к Богу нерушимого совершенства. Находясь в состоянии мира, радости и абсолютного покоя, душа занята лишь созерцанием Божественной Троицы. Возвращая Богу свою свободную волю, душа восстанавливается в Раю, в состоянии невинности, которое было потеряно Адамом. Все последствия первородного греха устраняются. Душа исчезает, становится обожествленной и совершенной, ибо успокаивается в благодати, лишается собственной воли, ибо ее воля полностью сливается с божественной волей". Эти и другие, близкие к ним, идеи были осуждены Вьенским собором католической церкви.

Согласно "Зеркалу" искупление грехов отдельного человека не имело смысла, поскольку Бог страдал за грешные души вообще. Здесь видно сходство с некоторыми тезисами Мейстера Экхарта, осужденными церковью в 1329 г. Очевидна и близость взглядов Братьев свободного духа к концепциям Иоахима Флорского, Петра Иоанна Оливи и его последователей, касающимся этапов развития божественной идеи. Вообще следует отметить близость идей, высказывавшихся Братями свободного духа к идеям самых различных сект и еретических групп.⁷

Й.Хейзинга, имея в виду сочинения Маргерит Порет, высказал мнение, что для католической церкви громадная опасность заключалась в выводе о том, что совершенная душа, погруженная в созерцание и любовь, более не способна грешить. Доказывая правоту своего утверждения, он ссылается на Жана Жерсона, известного на рубеже XIV и XV вв. теолога, канцлера Парижского университета: душа растворенная в Боге более не обладает собственной волей; остается одна только божественная воля, и даже если душа следует влечениям плоти, здесь более нет греха.⁸ Однако сочинение Маргерит Порет, относящееся к самому началу XIV в., – не единственный источник, характеризующий концепции Братьев свободного духа. Имеется и более раннее изложение их взглядов и умонастроений, объясняющее их отношение к человеку и к миру, к Богу. Речь идет об анонимных документах, приписываемых знаменитому немецкому теологу и философу XIII в. Альберту Великому, считавшемуся учителем Фомы Аквинского. Первый материал имеет название *Compilatio de novo spiritu, hec continet C errores minus tribus* – "Собрание документов [о секте] нового духа, содержащее 100 ошибок минус три" (т.е. 97). К этому манускрипту тяготела еще одна рукопись, содержащая 24 другие ошибки еретиков⁹. Обе рукописи датируются периодом между 1262 и 1280 годами.¹⁰ Из 121 пункта обвинений явственно вырисовывается близость взглядов еретиков, о которых в них идет речь, к концепциям Маргерит Порет.

При анализе указанных документов прежде всего бросается в глаза близкий к пантеизму характер взглядов еретиков, которые считали, что душа извлечена из субстанции Бога, а следовательно является вечной (пункты 7, 95, 96), и что всякое создание является Богом (76, 77, 103). Человек может стать Богом, равным Богу (13, 14, 25, 27, 36, 37); рав-

⁷ Allier R. Les freres du Libre esprit // Religions et societes. P., 1905. P.109; Guarnieri R. Op.cit.; Grundmann H. Ketzerverhöre des Spätmittelalters als quellenkritisches Problem. Köln-Gras, 1965. S.524.

⁸ Хейзинга Й. Осень Средневековья. Исследование форм жизненного уклада и форм мышления в XIV и XV веках во Франции и Нидерландах. М., 1988. С.216.

⁹ Оба манускрипта, представляющих собой обвинительное заключение, были опубликованы немецким историком В.Пререром: Preger W. Geschichte der deutschen Mystic bis zum Tode Meister Eckhart's. Leipzig, 1874. Anhang. S.461-471.

¹⁰ Vernet F. Freres du libre esprit // Dictionnaire de théologie catholique. T.VI. Partie 1. P., 1924. Col.800.

ный Христу человек достоин почитания, как и он (23, 65, 85, 28, 51, 109, 120), и стать даже выше, чем он (58, 98), Христос не страдал в своих страстях (59, 67, 91, 99, 118); божественное начало отделено от его тела (47), он не воскресал (48), и люди больше не воскреснут (40). Не существует ни ада, ни чистилища (46, 202), ни ангелов, ни демонов: ангелы – это добродетели человека, а демоны – его пороки (45, 62, 101), следовательно нельзя говорить ни о падении ангелов (60, 104) ни о дьявольских попытках (82). Равный Богу человек, единый с Богом, не имеет необходимости в нем (11) и не обязан его почитать (105). Бог действует в нем, с ним, благодаря ему (15, 49, 56). Все, что человек делает, предопределено Богом (66, 117). Человек, единый с Богом, безгрешен (21, 24, 94, 100); он может осуществить, не впадая в грех, акт представляющий собой, с точки зрения церкви, смертный грех (6). Однако на самом деле не существует ни греха, ни добродетели – это лишь действия, кажущиеся нам греховными (55, 61, 75, 85, 117).

Братья свободного духа обвиняются в пелагианской ереси на основании их утверждения, что человек, осознавший свое единство с Богом, может делать все, что захочет (72).¹¹ Осуждается также их тезис о том, что в священнике нет нужды, особенно для отпущения грехов (16, 17, 116, 87, 119). Человек, единый с Богом, не соблюдает церковных праздников и требования поста (44, 50). Умерщвление плоти и молитвы являются лишь препятствием для члена секты на пути его совершенствования (110, 44, 50). Члены секты посещали церковь, но им разрешалось вести себя по отношению к церковным правилам так, как им это заблагорассудится (72). Они не верят в воскресение мертвых, но и не огорчаются даже потеряв своего отца и свою мать, что сблизает их, как отмечается в источнике, с манихеями, т.е. с катарами (68).

В социальном плане примечательны те постулаты, согласно которым допускается присвоение имущества других (43, 92, 113), а также требование, чтобы членам секты запрещалось заниматься трудом (имеется в виду физическим – *“homines non debent insistere laboribus”*) (111). Плотские удовольствия не должны осквернять праведную душу (63), однако плотская связь не является предосудительной (53, 81), и всякий человек, единый с Богом, смело может удовлетворить плотское вожделение любым способом (106). Он располагает всей полнотой свободы и становится прибежищем Святого Духа (121). Естественно, что секта прячется, действует тайно против веры (1, 35, 71). Члены ее убеждены, что они владеют истиной (88). По мнению Верне, из осужденных постулатов видно, что они рассчитаны на представителей раз-

¹¹ Напомним, что пелагианство – ересь, осужденная католической церковью и получившая свое название от имени своего основателя Пелагия, знаменитого церковного деятеля V в. Пелагий, в частности, учил, что всякий человек может быть безгрешен, если захочет, так как Бог не требует невозможного. Первородный же грех, по Пелагию, лишь дурной пример, данный Адамом, и поэтому он не имеет никакой реальной силы; грех же есть проявление единичной воли.

ных групп населения. Так, с одной стороны, в п.44 говорится о том, что человек, единый с Богом, не должен ни поститься, ни молиться, а в п.52 – о том, что разрешается помогать постящимся. В одном случае говорится, что нет необходимости признаваться в легких грешках, в другом – не следует признаваться даже в смертных грехах. Верне считает, что смысл постулата, отраженного в первом случае, состоит в том, чтобы облегчить прием в секту новых членов.¹²

И третий важный источник определения взглядов и характера деятельности Братьев – послание епископа Страсбургского Иоанна служителям его епархии в 1317 г. Выводы епископа о взглядах, деятельности и образе жизни Братьев свободного духа в его диоцезе основывались на результатах обследования, проведенного назначенной им инквизиционной комиссией. В замечаниях комиссии Братья были объединены с еретиками-бегардами, точнее с теми из них, кто не входил в число т.н. терциариев (из "третьего францисканского ордена", включавшего только мирян). Прежде всего епископ осудил все еретические заблуждения членов секты и их обряды, объявил об их изгнании из домов, где они проводили свои сборища (эти дома должны быть проданы на публичных торгах в пользу церкви). Книги, в которых содержатся их доктрины, должны быть переданы в течение пятнадцати дней священникам и сожжены. Те из членов секты, кто в течение трех дней не попросит покаяния и не сменит свою одежду (сходную с монашеской), будут отлучены. Такая же судьба ожидает тех, кто подаст им милостыню. Как утверждал епископ, осужденные еретики считали, что нет различий между ними и Богом, всякий "совершенный" человек является Христом в силу своей природы и как Христос может достичь самого большого достоинства. В них, считали еретики, соединяются все божественные совершенства, и они будут жить на этом свете вечно. Католическая же церковь – это лишь суета и чванство. "Совершенный" может не повиноваться предписаниям Бога и потому избавлен от обязанности следовать предписаниям прелатов и уставам церкви.

Еретики, продолжал епископ, совершенно не почитают тело Христа. Больше того, они отворачиваются, богохульствуя, от облатки и утверждают, что тело Господа находится в любом хлебе в том же качестве, что и в хлебе во время причащения. Они также утверждают, что всякий честный мирянин может освящать предметы и что священник, когда он снимает с себя священные одежды, теряет какую бы то ни было особую власть. Исповедоваться в своих грехах священнику для спасения нет необходимости. Получение облатки из рук мирянина так же ускоряет освобождение душ умерших, как и выполнение мессы священником. Не существует ни ада, ни чистилища. Не будет и Страшного суда, человек будет судим лишь в момент своей смерти. В это время его дух

¹² Vernet F. Op.cit., col. 801.

возвратится к тому, от кого он изошел, и вновь воссоединится с ним, столь полно, что в дальнейшем останется один лишь Бог, такой, какой существует в вечности. Никто не будет осужден – ни Евреи, ни Сарацины, потому что смерть возвратит их [душу] Богу. Совершенный человек не имеет в этой жизни нужды в трех главных добродетелях – вере, надежде, милосердии; он должен быть свободным от любой добродетели и какого-либо проявления добродетели, свободным от Христа и людей, свободным даже от Бога. Всякий чувственный союз – это грех, за исключением того, целью которого является рождение детей.

Как мы видим, много, но не все из того, что осуждалось епископом Страсбурга соответствует постулатам, осужденным за много лет до того Альбертом Великим. Философская система, характеризующая взгляды Братьев свободного духа, является более развитой, чем у предшествовавших сект. Она имеет более четкие формы, так как в значительной мере лишена аллегорического символизма, свойственного многим другим сектам. Выводы секты Братьев свободного духа более смелые – главной истиной для них является идентичность Бога и земного мира. В моральном плане главным было убеждение Братьев в том, что для того, чтобы достичь добра, достаточно отстраниться от движения собственной природы – никакой внешний закон не сможет поставить пределы свободе человеческого духа.¹³

По мнению Ж.Поля, характерная для взглядов Братьев мистика союза с Богом, вплоть до слияния, объясняется возрождением пантеистических элементов, а также средневекового неоплатонизма.¹⁴ На пантеистический характер взглядов Братьев свободного духа указывали А.Делакруа и Г.Сёдерберг.¹⁵ Проблема пантеизма и мистицизма в воззрениях Братьев привлекала внимание и отечественных историков. И.Арсеньев предостерегал от смешения “истинного мистицизма”, который составлял одну из важнейших сторон истинного христианства, с “мистицизмом ложным”, характерным для взглядов еретиков, которые настолько не понимали и искажали истину внутреннего единения души с Богом (как важнейшего момента духовной жизни), что толковали эту истину в смысле равенства человеческой личности с Богом и даже ее превосходства над Богом.¹⁶ М.М.Смирин подчеркивал, что основой доктрины “секты свободного духа” являлся мистический пантеизм, который доводил представление о полном обожествлении природы и человека до того, что снимал с того, кто достиг сознания своей божест-

¹³ См.: *Jundt A. Op.cit.*, p.55.

¹⁴ *Paul J. Op.cit.*, p.421.

¹⁵ *Delacroix H. Essai sur le mysticisme spéculatif en Allemagne au quatorzieme siecle.* P., 1899. P.53; *Söderberg H. La religion des cathares. Etude sur le gnosticisme de la Basse Antiquité et du Moyen Age.* Uppsala, 1949. P.200.

¹⁶ *Арсеньев И. От Карла Великого до Реформации. (Историческое исследование о важнейших реформационных течениях в Западной церкви в течение восьми столетий).* Т. II М., 1910. С 52.

венности, не только бремя грехов и наказаний, но и вообще – морального долга и норм поведения. Особенно ярким доказательством этического равнодушия М.М.Смирин считал осужденное как пелагианство учение о том, что кровь человека одинакова с кровью Христа и что этому нельзя ни оказать содействия добродетелью, ни помешать грехами. Члены секты, отмечал Смирин, как и амальриканы, стремились не к преобразованию мира, а к уходу от мира в свою секту.¹⁷

Внимание В.П.Волгина привлекло заявление братьев и сестер свободного духа, сделанное на судебном процессе над ними в 1260 г.: “Всякое создание божественно, ибо душа – от сущности бога”. Человек должен стремиться к воссоединению с богом, от которого он отпал. Для этого он должен презреть внешний закон и руководствоваться исключительно законом внутренним, получая непосредственное откровение от бога”. Волгин поясняет, что согласно воззрениям этих еретиков, в людях, слившихся с Богом, действует сам Бог, царство свободного духа уже наступает, и они – его провозвестники. В противоположность Смирину, Волгин считал, что из отвлеченного философского постулата еретики делали революционно-анархические выводы и представляли собой крайнее направление в отрицании существующего общественного строя с его институтами и освящающей его моралью.¹⁸ Аналогичной позиции придерживался Б.Ф.Поршнев, видевший близость взглядов Братьев к манихейству. Учение Братьев, освобождавшее его приверженцев от понятия греха и страха загробного наказания трактовалось как попытка легализации восстания.¹⁹

Сходные оценки получили отражение в работах ряда немецких историков.²⁰ Так, Э.Вернер и М.Эрбштессер поставили себе целью выявить классовую подоплеку движения Братьев. Их вывод о том, что во взглядах членов секты проявилось стремление народных масс к изменению существовавших общественных порядков, опирался на анализ главного для ереси Братьев пантеистического принципа, согласно которому всякое творение божественно и потому обладающий божественной природой человек совершенно безгрешен и не нуждается в помощи церкви для своего спасения.²¹

Но вернемся к вопросу о происхождении секты. По мнению Р.Гварнери, она является прямым наследником и продолжателем дви-

¹⁷ Смирин М.М. Народная реформация Томаса Мюнстера и великая крестьянская война. Изд. 2-е. М., 1955. С.246-247.

¹⁸ Волгин В.П. Очерки истории социалистических идей с древности до конца XVIII в. М., 1975. С.93-94.

¹⁹ Поршнев Б.Ф. Феодализм и народные массы. М., 1964. С.402.

²⁰ Лей Г. Очерк истории средневекового материализма / Пер. с нем. М., 1962. С.400; *Erbstösser M., Verner E. Ideologische Probleme des mittelalterlichen Plebejertums. Die freigeistige Heresie und ihre sozialen Wurzeln.* Berlin, 1960. S.23, 95; *Ruh K. Hadewijch, Mechthild von Magdeburg, Marguerite Porete // Zeitschrift für Deutsches Altertum und Deutsches Literatur.* 1977. Band CVI. Heft 3.

²¹ *Erbstösser M., Verner E. Op.cit., S.48.*

жения Христовых бедняков, появившихся в начале II тысячелетия н.э. Христовы бедняки, называвшие себя "подлинными бедняками" относились к бедности в мистическом духе, который был позднее характерен для взглядов Экхарта, опиравшегося на известное евангельское изречение "блаженны нищие духом". Другие историки связывают появление ереси свободного духа с Танхельмом из Антверпена, умершим в 1115 г. Близки к взглядам Братьев были и идеи любви к бедности, принадлежавшие итальянскому мыслителю XIII-XIV в. Якопоне да Тоди.

Многие авторы отмечают близость взглядов Братьев свободного духа к концепциям магистра Парижского университета Амори (или Амальрика) Бенского (ум. в 1204 г.). Он и его последователи (амальриканы) утверждали, что все сущее есть Бог. Парижский собор 1209 г. осудил взгляды Амори как еретические. По мнению французского историка А.Делакура, характерное для учения Амори соединение морального аскетизма с фундаментальными положениями повторилось во взглядах Ортлиба из Страсбурга и его учеников, действовавших примерно в 1200 г. Но особенно близка доктрина амальрикан к взглядам членов секты Нового или Свободного духа, что не исключает и довольно чувствительных различий между ними. Характерный для учения Амори тезис, близкий к концепции теолога и мыслителя XII в. Иоахима Флорского о трех периодах в истории человечества, основанный на трех последовательных воплощениях: Бога-отца, Бога-сына и Святого Духа, у Братьев свободного духа исчез. Они считали, что царство Св.Духа существует всегда. Этот-то вывод и осуждался как амальриканами, так и францисканцами-спиритуалами, комментаторами Иоахима Флорского.²² В то же время позиция Братьев по вопросу о бедности была довольно близка концепциям вождя францисканцев-спиритуалов Петра Иоанна Оливи и некоторых теологов начала XIV в. (прежде всего Убертино да Казале и Анджело Кларено), а также еретиков-бегинов Южной Франции.²³ Но еще большее сходство, нередко даже идентичность, обнаруживали не столько историки, сколько современники описываемых событий между членами секты Свободного духа и еретиками-бегардами, действовавшими в германских землях.²⁴

Категорическое требование страсбургского епископа о борьбе с еретиками, высказанное в 1317 г., возымело свое действие. Еретиков преследовали столь энергично, что оставшиеся в живых в панике бе-

²² Delacroix H. Op.cit., p.33, 53-54, 74-75.

²³ См. подробнее по этому вопросу: Керов В.Л. Указ. соч., с.97 и след., а также Callaye F. L'idéalisme franciscain spirituel au XIV siècle. Etude sur Ubertin de Casale. Louvain, 1911. P.159.

²⁴ Тезис о близости, а иногда и идентичности этих сект поддерживают Л.Танон, Ф.Рапп и другие историки. Рапп видит много общего между Братями свободного духа и катарами. — Tanon L. Histoire des tribunaux de l'Inquisition en France. P., 1893. P.81-82; Rapp F. L'Eglise et la vie religieuse en Occident a la fin du Moyen âge. P., 1971. P.181-183/

жали в другие провинции – Гессен, Саксонию, Тюрингию. Большое их число спустилось по течению Рейна к Майнцу и Кельну.²⁵ Однако еще за несколько лет до этих событий, в 1311 г. папа Климент V направил епископу Кремоны послание, озаглавленное “против секты свободного духа”. Из этого документа видно, что ересь широко распространилась на Апеннинском полуострове. Как указывал папа: “В некоторых районах Италии, в провинции Сполето и в соседних областях находится некоторое число мужчин и женщин, как членов монашеских орденов, так и мирян, которые стремятся ввести в церковь способ омерзительной жизни, именуемой ими свободой духа, то есть свободой делать все, что они пожелают”.²⁶ В германских землях, в Нидерландах и Анжуйском графстве сложилось особенно тревожное положение. Побуждаемый немецкими епископами папа Климент V осудил в 1312 г. ошибки и “дух свободы” бегардов “in regno Alemanniae”. Шесть из восьми пунктов этой декреталии недвусмысленно касались идей, изложенных в “Зеркале”, и включали латинские цитаты из этого сочинения.

В Кельне обстановка была более спокойной. Последняя в начале XIV в. вспышка преследования Братьев свободного духа имела место здесь в 1306 г. Но значительное увеличение числа еретиков в Кельнском округе обеспокоило церковные власти, и преследования возобновились. В 1319 г. погиб на костре вступивший в секту священнослужитель. В начале 1320-х гг. у Братьев выделился человек, которого они почитали своим руководителем. Это был некий голландец по имени Вальтер, прибывший в Кельн из Майнца. Он немного знал латынь и изложил свои доктрины в нескольких рукописных книгах, переведенных на немецкий язык. Брошенный в тюрьму, он заявил незадолго до того как попал на костер, что у него много последователей в городе и предместье. К середине 1320-х гг. относится сообщение хрониста о том, что в Кельне Братья свободного духа совместно с бегардами и бегинками устраивали собрания в одном из подземелий, которое они называли раем. Хронист возмущался тем, что в их обрядах принимали участие женщины, приглашенные из города, будучи совершенно нагими.²⁷

Крайне близки к Братьям свободного духа были и члены секты апостоликов, или апостольских братьев, созданной Сегарелли в районе Пармы примерно в 1260 г. При этом, если западные историки пишут, как правило, отдельно о взглядах Сегарелли и его последователя Дольчино, то С.Д.Сказкин использует термин “учение Сегарелли-Дольчино”, объединив таким образом их идейную платформу. Общим источником учения Сегарелли-Дольчино и представлений Братьев свободного духа были концепции Иоахима Флорского и Оливи. Однако, если Братья основной упор делали на проблему жизни в бедности, то у

²⁵ Mosheim J.-Z. Op.cit., S.253.

²⁶ Jundt A. Op.cit., p.50.

²⁷ Ibid., p.54.

апостоликов взгляд на бедность был тесно связан с эсхатологическими мечтаниями. Как отмечал С.Д.Сказкин, Дольчино верил в грядущее царство подлинного Христа, Христа бедняков.²⁸ Одной из самых решительных мер против апостоликов было осуждение их папой Бонифацием VIII буллой от 1 августа 1296 г., в которой он отмечает близость апостоликов одновременно к катаризму и к ереси "свободного духа". Папа осудил еретиков за то, что они "сами себе отпускают грехи, сами проповедуют, передают Святой Дух путем наложения рук, живут в блуде, осуждают физический труд, голыми участвуют в религиозных церемониях". В 1320 (1321) г. папа Иоанн XXII снова осудил "бегардов, называющих себя братьями или сестрами свободного духа". Поддержка папы развязала руки германским церковным властям: в Кёльне и в других городах началось ожесточенное преследование еретиков, нередко приводившее их на костер.

Для папства и католических теологов не была тайной связь между взглядами членов секты Свободного духа и концепцией Мейстера Экхарта. Как отмечал И.Арсеньев, Мейстер Экхарт принадлежал к тому редкому типу средневековых богословов, которые сумели соединить в своем творчестве два главных направления средневековой мысли – схоластику и мистику. Его мистическая система представляла собой смелую и оригинальную обработку тех пантеистических учений, которые в самых разнообразных формах оказывали свое влияние на народные массы в XIII-XIV вв. Этим вполне объясняется тот факт, что между Экхартом и современными ему пантеистическими сектами была установлена тесная взаимосвязь.²⁹ Инквизиторы Кёльна подготовили материалы, обвиняющие Мейстера и составленные из отрывков его сочинений и проповедей: два листа, в которые были включены 49 и 59 пунктов соответственно. Экхарт пытался оправдаться и обратился к папе, лично прибыв в Авиньон, где находилась тогда папская резиденция. Здесь же он вскоре и скончался (в 1327 г.). "Ответ" ему Иоанн XXII высказал в булле, датированной 27 марта 1329 г. Хотя папа и признал в ней, что "в конце своей жизни Мейстер отрекся от своих ошибок", тем не менее он осудил пятнадцать положений как еретические. Многие из них, действительно, схожи с идеями Братьев свободного духа.

Преследования Братьев продолжались. В течение всего XIV и в XV в. влияние этой секты в Западной Европе расширялось, а в Англии интерес к "Зеркалу простых душ" отмечался вплоть до 1650 г. Впрочем, история еретического движения Братьев (Сестер) свободного духа, охватившего в эпоху Средневековья многие европейские страны, еще ждет всестороннего анализа.

²⁸ Сказкин С.Д. Первое послание Дольчино // Избранные труды по истории. М., 1973. С.288 и след.

²⁹ Арсеньев И. Указ. соч. Т. II. С.53.

ИЗ ИСТОРИИ ИДЕЙ И ПРЕДСТАВЛЕНИЙ

А.В.Стогова

“Без этого дружба не будет истинной”: споры во Франции XVII века

Вопрос о том, что же представляют собой дружеские отношения, никогда не занимал человеческие умы настолько, чтобы стать приоритетным в размышлениях людей, обычно занятых другими проблемами. Но все же в отдельные периоды в разных странах эта тема вдруг всплывала на поверхность, о ней принимались раздумывать, и она как бы “витаала в воздухе”. Распространение в XVII веке идеала *honnête homme*¹ и пессимистичной янсенистской этики, появление многочисленных светских салонов, где было модно рассуждать о морали, способствовали оживлению дискуссий на эту тему, особенно во второй половине столетия. О дружбе активно заговорили, пассажи о ней включались во многие моралистические сочинения. Обнаружилось, что она связана с массой актуальных проблем. И это оживление интереса к дружбе продолжалось, по меньшей мере, еще весь следующий век, пока, в самом его конце, не оказалось, что людям опять не до нее. Но к счастью не надолго.

Размышления о дружбе той эпохи можно встретить и в сочинениях о морали и нравственности, природе страстей, как у Мальбранша, Сено и других, и в небольших эссе, непосредственно ей посвященных – Сент-Эвремон, Арно д'Андийи – и среди чрезвычайно модных в этот период афоризмов (тут, несомненно, прежде придется назвать Ларошфуко и Лабрюйера). Подавляющее большинство таких сочинений относится ко второй половине XVII века. Среди используемых нами произведений лишь два были написаны в его первой половине – сочинения П.Шаррона (1601) и Ж.-ф.Сено (1641). Развернутые, детальные трактаты о дружбе появились уже в самом конце столетия. В 1699 г. была опубликована работа неизвестного автора под названием “Похвалы и картина дружбы, ее происхождение, что ее формирует, ее особенности, ее преимущества, ее причи-

¹ “*Honnête homme*” – выражение весьма распространенное в XVII в. в светских кругах, академиях, салонах. Обозначало идеальный образ придворного, благовоспитанного человека, наделенного красотой, смекалкой, ловкостью, склонностью к искусствам и литературе, умением вести беседы и т.п., а также всевозможными добродетелями – всем тем, что необходимо для успешной и достойной светской жизни. Был и религиозный вариант интерпретации этого понятия, с большим акцентом на христианских добродетелях.

ны, ее доказательства и ее примеры".² К сожалению, наиболее обстоятельный анализ дружеских отношений появился в "Трактате о дружбе" Луи де Саси только в 1703 г.³, и нам пришлось слегка погрешить против хронологии, включив его в эту работу. Избежать этого было довольно затруднительно, ибо только Саси затрагивает все рассматриваемые ниже вопросы. Разумеется, здесь представлены не все сочинения о дружбе той эпохи. Своеобразная дискуссия, устроенная на этих страницах, соткана из произведений одиннадцати авторов. Но на сопоставлении их рассуждений можно составить мнение о том, что их волновало, и какие аспекты этого вопроса казались им наиболее животрепещущими.

Участники нашей полемики – люди разных взглядов и с разным положением в обществе. Среди них можно встретить вполне светских персон – герцога Франсуа де Ларошфуко, маркизу Мадлен де Сабле, адвоката Луи де Саси и литераторов Шарля де Сент-Эвремона и Франсуа де Ламота Левайе. Сент-Эвремонт, Ларошфуко и мадам де Сабле были сторонниками идеала *honnête homme*. Ламот Левайе прослыл гуманистом и скептиком, а Ларошфуко и вовсе циником, зато сочинения Саси демонстрируют оптимизм и веру в разумность и добродетельность людей. Были и люди, близкие к религии: два члена конгрегации ораторианцев – преподобные отцы Жан-Франсуа Сено и Никола де Мальбранш, два янсениста – Блез Паскаль и Робер Арно д'Андийи, католический каноник и проповедник Пьер Шаррон и неизвестный автор "Похвал и картины дружбы" (если судить по той роли, которую он отводит Богу в своей картине дружбы). Влияние янсенизма, весьма ощутимое во французской культуре, затронуло и Ларошфуко, и особенно мадам де Сабле.

Дискуссия, представленная ниже, лишь отчасти является порождением своеволия автора. В XVII в. действительно имели место подобные диспуты о дружбе. Доподлинно известно, что некоторые из них проходили в салоне мадам де Сабле в конце 50-х – начале 60-х годов, и участие в них, кроме, разумеется, самой хозяйки, по видимому, принимали Ларошфуко, Сент-Эвремонт и Арно д'Андийи.

В своих размышлениях авторы опирались в основном на концепции дружбы, изложенные в работах Цицерона, Аристотеля и Монтеня, и большая часть дискутируемых вопросов была определена расхождениями во взглядах у этих трех авторов. Упоминаются также Гераклит, Сенека, Эпиктет, Пифагор, Анаксимандр, Гесиод, Эпикур, Диоген, Августин и другие мыслители.⁴

² Les eloges et le tableau de l'amitié, son origine, ce qui la forme, sa propriété, ses avantages, ses causes, ses preuves et ses exemples. Tirez de l'Écriture Sainte, des Peres de l'Église et des philosophes. P., 1699.

³ Sacy L. de. Traité de l'amitié. P., 1703.

⁴ Отсылки почти ко всем из них можно найти в небольшом сочинении "О дружбе" Ламота Левайе. - La Mothe Le Vayer F. de. De l'amitié // Oeuvres de François de La Mothe Le Vayer, conseiller d'état. P., 1756. V.II. Pt.2.

Еще в Античности дружба рисовалась как добродетель и источник наивысшего человеческого счастья. Авторы XVII в. на все лады повторяют это положение.⁵ "Дружба – это радость жизни, и тот, кто не обладает этой добродетелью, не может надеяться на блаженство", – писал отец Сено.⁶ "Дружба – это один из видов добродетели", – вторит ему мадам де Сабле.⁷ И таких цитат можно привести множество, практически каждый автор, решившийся писать о дружбе, непременно упомянет об этом. Добродетельность дружбы и ее способность приносить счастье – это, пожалуй, единственное, на чем все они сходятся. Но этот вопрос мы еще рассмотрим позднее, и упоминаем о нем здесь лишь потому, что это своего рода краеугольный камень, на котором зиждутся все последующие рассуждения.

Начнем с самого начала: что, собственно, следует иметь в виду, говоря о дружбе? Опираясь на эти рассуждения, можно выделить три "уровня" понятия дружбы. Первый из них, дружба как универсальная любовь, встречается не часто. Вопрос о принципах устройства мира – слишком значительная тема, чтобы связывать ее с размышлениями о дружеских отношениях, и посему их "онтология" рассматривается довольно редко. Но каждый из тех трех наших авторов, которые затрагивают этот вопрос, имеет свою версию универсальной дружбы. При этом в понятии "дружба" остается какой-либо один доминирующий качественный признак, молчаливо принимающийся за ее квинтэссенцию, остальные не берутся в расчет.

Робер Арно д'Андилли называет дружбой принцип, лежащий в основе природы и необходимый, дабы различные вещи могли сосуществовать друг с другом: "Таким образом, та сильная склонность, которая ведет элементы к их центру, та любовь растений и цветов к солнцу, те воздействия светил на землю и те узы любви, которые завязываются между самыми дикими животными также являются следствиями этой первой привязанности, как небо проявляется во всех вещах как всеобщая душа мира".⁸ Реализуется эта склонность в природе "благодаря необходимости или инстинктам"⁹, у человека же она гораздо возвышеннее, ибо при помощи разума он может держать "поводья своей дружбы"¹⁰ и направлять ее, куда пожелает. Таким образом, в данном случае дружба понимается как сила, влеку-

⁵ В 80-е годы XVI в. вышло анонимное сочинение под названием "*Traicté de l'amitié par forme de paradox*", в котором отрицалась добродетельность дружбы. Она признавалась источником всех склок и раздоров.

⁶ Senault J.-F. De l'usage des passions. P., 1987. P.181.

⁷ Sablé M. de. Traité de l'amitié // Cousin V. Madame de Sablé. P., 1859. P.116.

⁸ Arnauld d'Andilly R. Que l'on doit préférer son ami à sa patrie // Lafond J. L'amitié selon Arnauld d'Andilly // Foi, fidélité, amitié à la période moderne. Melanges offerts à Robert Sauzet. Tours, 1995. Vol.2. P.496.

⁹ Ibidem.

¹⁰ Ibidem.

щая различные вещи друг к другу. Два других автора такой качественной характеристикой дружбы выбрали альтруизм.

Вторую, религиозную, версию универсальной дружбы представил анонимный автор трактата "Похвалы и картина дружбы". Согласно его взглядам, "дружба это первый безвозмездный дар, в котором заключены все прочие"¹¹, это дар Бога, "который и является автором дружбы".¹² Дружба – это те чувства, которые Бог испытывает к своим творениям, и которые человек питает к нему и другим людям. Ж.-Ф.Сено так же считает, что дружба дана людям Богом. Для него она является одним из *следствий* любви, которая дана людям, чтобы соединить их с Господом. Уже силою природы (которую тоже сотворил Бог) она обратилась и на других людей, на вещи, животных и т.д. Таким образом, любовь делится на сверхъестественную (к Богу) и естественную (ко всему прочему). Последняя, в свою очередь подразделяется на духовную, которая ценит в предмете любви прежде всего добродетель, и чувственную, составляющую низшую часть души, так как она слишком тесно связана с ощущениями тела – именно ее чаще всего называют страстью. Каждый из этих двух видов любви делится еще на два: дружескую любовь и заинтересованную. Самым ярким воплощением дружеской любви, от которого она и получила свое название, является дружба.

Второй "уровень" дружбы представляет собой различные отношения между людьми. С ним тесно связан активно обсуждавшийся вопрос о типах дружбы и проблема личного интереса в дружеских отношениях. Аристотель выделил три основания для возникновения дружбы и соответствующие им типы отношений: основанные на пользе, на удовольствии и на добродетели. Все эти отношения Аристотель считал дружескими, но поскольку различны их основы (то есть первотолчки, вызывающие появление привязанности), то "отличаются и дружеские чувства и сами дружбы".¹³ Наиболее совершенной из этих "трех дружб" является та, что выросла из добродетели. Дружба из соображений пользы, по его мнению, чаще встречается между стариками, тогда как дружба юношей обычно завязывается ради удовольствия. Но обе эти причины непрочны и непостоянны, а потому и отношения редко бывают длительными.

Арно д'Андийи повторяет эту триаду (правда, вместо добродетели у него стоит честь), оговариваясь, что "приятность – это почти всегда причина любви", а "польза слишком часто порождает только корыстные связи".¹⁴

Автор "Похвал и картины дружбы" упоминает аристотелевское деление, называя это "манерами дружбы", но предлагает выделить

¹¹ Les eloges et le tableau de l'amitié... P. 1.

¹² Ibid. P. 9.

¹³ Аристотель. Никомахова этика // Сочинения. М., 1983. Т.4. С.222.

¹⁴ Arnauld d'Andilly R. Op. cit.

также четыре типа дружбы в зависимости от способов объединения людей: через постоянное присутствие и беседы; через духовный союз; союз сердец; через сходство или симпатию. Называет он и четыре различные причины дружбы: красоту, доброту (т.е. душевную красоту), симпатию и естественную и взаимную любовь. Красота - это первое, что оказывает впечатление на человека, и заставляя надеяться на прочие достоинства. Симпатия способствует наиболее быстрому завязыванию дружеских отношений, а любовь вызывает наиболее чувствительные проявления дружбы. Но самая совершенная и прочная дружба вырастает из доброты. Эта сложная структура, насчитывающая 48 различных комбинаций, охватывает, по сути, все сколько-нибудь доброжелательные отношения, но не все из них способны перерасти в совершенную дружбу.

Не менее сложную классификацию дружбы представляет и Шаррон. В зависимости от причин, порождающих дружбу, он выделяет четыре типа: основанную на природе ("естественная склонность"), на добродетели, на выгоде или удовольствии. Иногда могут быть объединены сразу несколько причин. Самой лучшей из них является добродетель: "кто любит за добродетель, тот не перестает любить..."¹⁵ В зависимости от людей, которых она объединяет, дружба бывает по прямой линии (между выше- и нижестоящими), по боковой (между равными или почти равными) и смешанная. Первая делится на естественную (родители - дети) и законную (принц - подданные, учитель - последователи), но она не является дружбой в полной мере, так как различие в положении мешает проявлению многих сторон этих отношений. В дружбе по боковой линии более совершенной является дружба между людьми, не связанными родственными отношениями, так как она более свободна и в ней меньше поводов для разногласий. Но наиболее прочной является смешанная дружба - и это, как ни удивительно, супружество, где жена одновременно и подчинена мужу, и равна ему. И, наконец, в зависимости от силы и крепости дружба бывает обычная и совершенная. Вторая не требует ни услуг, ни правил, она всегда одна и та же и существует благодаря самой себе.

Совершенно с других позиций предлагает взглянуть на это Н. де Мальбранш, утверждая, что следует различать и "предпочитать обязанности дружбы в Иисусе Христе и вечном обществе обычным обязанностям дружбы и общества, которые должны окончиться вместе с жизнью".¹⁶

От Цицерона и, впоследствии, Монтеня идет другая линия. То, что Аристотель понимал как первопричины появления дружеской симпатии, эти авторы рассматривали как суть, к которой, в конечном

¹⁵ Charron P. De la Sagesse. Trois livres. Amsterdam, 1662. P.472.

¹⁶ Malebranche N. de. Traité de morale // Oeuvres complètes. P., 1966. V.XI. P.208.

итоге, сводятся отношения. И посему они признавали только один вид дружбы, ту, которую другие называли совершенной, и считали, что все прочие отношения вовсе не заслуживают этого названия. Вся критика Франсуа де Ларошфуко относится к отношениям, которые маскируются под ту или иную добродетель, в том числе и эту: "люди обычно называют дружбой совместное времяпрепровождение, взаимную пользу в делах, обмен услугами..."¹⁷

И только Ламот Левайе оказался столь суров, что вовсе отказал этой прекрасной и возвышенной дружбе в возможности реального воплощения, рассматривая ее "как пустое имя, красивую химеру и приятную иллюзию духа".¹⁸ Он признает, что в древности она, возможно, и могла иметь место (ведь тому есть примеры), но считает, что дружбы, рассматриваемой во всей ее чистоте, не стоит искать среди испорченностей его века.

Совершенная дружба, или же единственная, которая и является дружбой, составляет третий "уровень". Далее дискуссия будет вестись исходя в основном именно из такого понимания. С его определением связан вопрос о личном интересе и себялюбии в дружеских отношениях. По этому вопросу авторы аккуратно разделились на два лагеря. Одни (Ларошфуко, Паскаль, автор "Похвал и картины дружбы" и Ламот Левайе) считают, что себялюбие - это неотъемлемая человеческая черта, а значит, в той или иной степени, личный интерес неизменно присутствует во всех желаниях и поступках. Другие (Арно д'Андии, мадам де Сабле, Саси, Сено) полагают, что настоящая дружба лишена этого интереса (по крайней мере, он не должен быть ее причиной) и вследствие этого стоит выше всех прочих отношений.

Трудности с разрешением этого вопроса возникли еще у древних авторов. Аристотель, дабы его разрешить, предложил различать два вида себялюбия - хорошее и плохое (эгоизм). И в первом случае то, что человек должен делать, будет согласоваться с тем, чего он хочет, и предпочитать интересы друга (как и положено порядочному человеку) будет и его собственным интересом. Цицерон осторожно отмечал, что "дружба возникла скорее от природы, чем в силу необходимости"¹⁹, но не стал вовсе исключать интерес из причин зарождения дружбы, оговорив, что в данном случае он проявляется в меньшей степени, нежели душевная склонность, и даже в себялюбии выгода не имеет решающего значения: "ведь каждый любит сам себя, и не для того, чтобы самому извлекать какую-нибудь пользу из своей любви к самому себе, но так как каждый сам себе дорог".²⁰

¹⁷ Ларошфуко Ф. де. Максимы // Мемуары. Максимы. М., 1993. С.157.

¹⁸ La Mothe Le Vayer F. de. Op. cit. P.130.

¹⁹ Цицерон М.Т. О старости. О дружбе. Об обязанностях. М., 1993. С.38.

²⁰ Там же. С.51.

Эти осторожные позиции были неприемлемы для Монтеня, считавшего, что в дружбе вообще нельзя говорить о своем и чужом, ибо она заставляет все смешиваться воедино. Описывая свои отношения с Ла Бозси, он говорит, что в них "не осталось ничего, что было бы достоянием только одного или только другого, ничего, что было бы только его или только моим".²¹ А. посему личный интерес может быть только в обычной, неверно понимаемой дружбе. С ним согласен Шаррон, утверждавший, что все предосторожности и требования отсутствия интереса применимы лишь к обычным друзьям, в совершенной дружбе для них нет места, а получаемая польза или удовольствие не имеют для нее значения.

Позиции Ларошфуко и Паскаля ближе к менее категоричным (или более скептическим?) взглядам древних. Себялюбие для Ларошфуко, его признанного теоретика, это скрытый, порой неосознанный мотив любого поступка, свойство человеческой природы, но это не означает, что не существует добродетели или настоящей дружбы: "Мы способны любить только то, без чего не можем обойтись; таким образом, жертвуя собственными интересами ради друзей, мы просто следуем своим вкусам и склонностям. Однако именно эти жертвы делают дружбу подлинной и совершенной".²² При всем этом, такие отношения, где себялюбие старается что-нибудь выгадать, не являются настоящей дружбой, а лишь тем, что люди обычно называют дружбой. Разница, очевидно, в том, насколько добродетельны желания. Если Ларошфуко анализирует себялюбие с беспристрастностью исследователя, то у Ламота подобные рассуждения проникнуты глубокой печалью и пессимизмом. Реально взглянув на возможности человека, пишет он, "мы обнаружим, что нет ни одной (дружбы – А.С.), у которой не было бы своего интереса и которая, под прекрасным предлогом порядочности, не завязывалась бы в основном из соображений пользы или удовольствия".²³ И потому неудивительно, что даже великие дружбы оказываются непрочными. Ведь человек всегда больше привязан к своим благам, чем к чужим, сколь бы сильна ни была привязанность между друзьями.

По несколько иным причинам полагает существование дружбы и интереса автор "Похвал". Он отмечает, что нельзя разделять любовь к человеку из-за его достоинств и из-за пользы и удовольствия, которые он приносит, так как это всегда одна и та же любовь, "...исходящая из одного принципа, коим являются преимущества человека, которого мы любим".²⁴ Человек не может любить иначе, и отделять того, кого мы любим, от блага, что он нам приносит, значит изменять сам предмет любви.

²¹ Монтень М. де. Опыты. Избранные главы. М., 1991. С.162.

²² Ларошфуко Ф. де. Указ. соч. С.156.

²³ La Mothe Le Vayer F. de. Op. cit. P.138.

²⁴ Les eloges et le tableau de l'amitié... P.81.

С доводами сторонников этой позиции не согласна мадам де Сабле, будучи убеждена, что о себялюбии следует говорить как о пороке и корысти. По ее мнению, настоящая дружба должна быть незаинтересованной, ее причиной не должны быть польза и удовольствие, но только добродетель, а «дружбы, которые не основаны на добродетели и ищут только интереса и удовольствия, вовсе не заслуживают имени дружбы».²⁵ Услуга – это обязанность и радость друзей, но возможная выгода не должна быть поводом для возникновения дружеских чувств.

Подобные мысли высказывает и Арно д'Анжийи, полагая, что «каждый живет в согласии с тем, что дружба не может быть искренней, если она корыстна. Мы почти не любим, когда любим, имея в виду лишь преимущество, которое получаем; и чувства, что мы питаем к тому, кому обязаны своей уверенностью и своим спокойствием, являются, собственно говоря, только признательностью и благодарностью».²⁶ Он противопоставляет незаинтересованную дружбу любви к родине, которая зиждется на тех благах, что она нам предоставляет: «дружба, рассматриваемая во всей своей безупречности, должна быть без какой-либо примеси интереса или славы, или частного интереса, а то, что мы испытываем к государству, никогда не может быть такого типа...»²⁷

Ж.-Ф.Сено, представивший свою классификацию видов любви предлагает различать любовь дружескую и заинтересованную любовь. Незаинтересованность в его интерпретации становится качественной характеристикой дружбы, как и милосердия, отличающей их и ставящей выше других, неправедных, проявлений любви и прежде всего себялюбия. Люди, которые поддаются этим страстям, любят других «не столько за добродетель, которой они отмечены, сколько за благо, которое они обещают».²⁸ Любовь же за добродетель не есть заинтересованная любовь, но дружба и милосердие.

Однако при детальном изучении, как у Луи де Саси, идея совершенного бескорыстия в дружбе, как это ни прискорбно, наталкивается на противоречия. У Монтеня, где дружба напоминает страсть, эта незаинтересованность понятна, но авторы второй половины XVII века в большинстве своем утверждают, что выбор друга должен диктоваться не склонностью, а разумом. А значит, выбирая, мы неизбежно преследуем какой-то интерес. Саси пытается устранить это противоречие, убеждая, что следует понимать преимущества друга, но любить его самого по себе: «чтобы заслужить имя друга, нужно любить сознательно и не заинтересованно. Во всех других случаях,

²⁵ Sablé M. de. Op. cit. P.117.

²⁶ Arnauld d'Andilly R. Op. cit. P.496.

²⁷ Ibid. P.498.

²⁸ Senault J.-F. Op. cit. P.163.

вы любите, не будучи другом".²⁹ И все-таки затем он заявляет, что "по законам природы человек любит только соразмерно своему интересу, который он здесь находит".³⁰

Многочисленные моралисты предпочитали говорить о том, чего не должно быть в дружбе, на вопрос же, за что следует любить друга, или же что *должно* лежать в основе привязанности, они отвечали кратко – добродетель.³¹ "Это благородное поведение души, – писал Арно д'Андийи, – что рождается от знакомства с испытанной добродетелью, которое, будучи само по себе первой из моральных добродетелей, не может существовать, кроме как между добродетельными людьми..."³² Шаррон также упоминает, что совершенная дружба (в отличие от обычной) строится исключительно на взаимных добродетелях. Здесь пылкая дискуссия, если бы она проходила на самом деле, на время сменилась бы всеобщим согласием и одобрительным киванием головами.

Сено по понятным причинам особо выделяет благочестие – "для того, чтобы быть подлинной необходимо, чтобы она (дружба – А.С.) была основана на набожности, нужно, чтобы люди, которые хотят любить друг друга, были объединены в Вере, и чтобы они имели равные чувства к Религии..."³³ Прочие же авторы отмечали более "светские" качества – те, что обычно называют достоинствами человека. Мадам де Сабле перечисляет несколько таких положительных черт: "Дружба – это вид добродетели, который не может быть основан ни на чем, кроме уважения к людям, которых любишь, то есть на качествах души, таких как верность, великодушие и скромность, и на хороших качествах духа".³⁴ Великодушие называет и Лабрюйер, утверждая, что "истинной дружбой могут быть связаны только те люди, которые умеют прощать друг другу мелкие недостатки".³⁵

То, что дружба тесно связана с достоинствами людей, косвенно подтверждает и Ларошфуко, подмечая, что "когда мы преувеличиваем привязанность к нам наших друзей, нами обычно руководит не столько благодарность, сколько желание выставить напоказ наши достоинства".³⁶

Удовольствие любить друга, по мнению Саси, связано исключительно с его похвальными качествами. Именно за эту связь с добродетелью так и ценят дружбу во всем мире. Как раз она-то и должна обретаться в основе привязанности, "все прочее зависит от соответ-

²⁹ Sacy L. de. Op. cit. P.40.

³⁰ Ibid. P.183.

³¹ Собственно говоря, двое скептиков не упоминают этого слова – Паскаль и Ламот Левайе.

³² Arnauld d'Andilly R. Op. cit. P.497-498.

³³ Senault J.-F. Op. cit. P.180.

³⁴ Sablé M. de. Traité de l'amitié... P.116.

³⁵ Лабрюйер Ж. де. Указ. соч. С.115.

³⁶ Ларошфуко Ф. де. Максимы... С.172.

ствия нравов, вкусов, скрытого обаяния, которое нелегко определить разумом, легкости, с коей завязываются отношения".³⁷ Но эти свойства слишком поверхностны, они не зависят от разума, и их нельзя считать обязательными, за исключением полной несовместимости нравов, которая делает взаимоотношения невозможными. Что же касается характеров, то они скорее должны отличаться, чем соответствовать друг другу, так как вследствие их полного сходства исчезают многие удовольствия дружбы.

Мирная передышка в нашем воображаемом диспуте была очень недолгой, и уже следующий вопрос – каким именно должно быть соотношение разума и симпатии в дружбе – вновь вызвал разногласия. Большинство авторов, вслед за греческими философами, отделяют дружбу от страсти (или "романтической любви", как ее иногда изящно именуют в литературе) как раз на основании разумности первой и вопиющей неконтролируемости второй. Сближают эти понятия чаще всего те, для кого объектом рассмотрения является не сама по себе дружба, а любовь или чувства вообще. Так, Шаррон назвал раздел, посвященный дружбе, "О любви, или дружбе": в рамки дружбы у него укладываются и отношения между родственниками и между супругами. Совершенная дружба, по его мнению, строится на основе чистого и свободного выбора, и при этом должно быть абсолютное единение в привязанности, "во всех вещах, имуществе, чести, суждениях, мыслях, желаниях, жизни".³⁸

Для Сено дружба является не только одним из проявлений любви, но и одной из страстей. Под страстями он понимает чувства, которые испытывает душа (любовь, страх, надежда), в противоположность ощущениям тела (голод, сонливость). В этом же значении слова страстью называет дружбу и Декарт, так же считая ее одним из видов любви.³⁹ Все страсти, говорит Сено, в отличие от ощущений тела, подвластны разуму и их нерегулируемость лишь следствие недобросовестного использования последнего. С помощью разума любую страсть можно направить на благо. Но если некоторые из них могут и вовсе не прибегать к участию разума, то дружба – нет. И в силу этого она является исключительно достоянием людей, ибо животные, "будучи лишены разума, не способны на дружбу".⁴⁰

Автор "Похвал" тоже считает дружбу одним из видов любви, но видит ее отличительную особенность не в обязательной связи с разумом, а во взаимности: "существует любовь, вовсе не предполагающая дружбы, так как дружба это взаимная любовь, и любовь может быть без дружбы, если ее объектом является неодушевленный

³⁷ Sacy L. de. Op. cit. P.44.

³⁸ Charron P. Op. cit. P.476.

³⁹ Descartes R. Les passions de l'âme // Oeuvres de Descartes. P., 1909. V.11. P.390.

⁴⁰ Senault J.-F. Op. cit. P.186.

предмет, как золото или деньги".⁴¹ Если употреблять слово "любовь" не в столь универсальном значении, то разница между ней и дружбой будет состоять в цели. Цель дружбы – делать добро, а любви – сообщить свою склонность предмету любви.⁴² Дружба, по его мнению, "рождается вместе с нами, это первая из всех страстей, которая первая творит и провозглашает действия".⁴³ Более рассудочными в его изображении выглядят те виды дружбы, которые завязываются через "духовный союз" и "постоянное присутствие и беседы", а с чувствами больше связаны те, что возникают благодаря "союзу сердец" и при "сходстве и симпатии".

Всех прочих авторов можно поделить на тех, кто, описывая дружбу, делает акцент на ее разумности и осознанности и тех, кто признает, что прежде всего это склонность и "существует какая-то необъяснимая сила, устроившая этот союз".⁴⁴ При этом все они под любовью подразумевают уже не симпатию вообще и не христианскую любовь, а "романтическую любовь".

Ларошфуко, Лабрюйер, мадам де Сабле и Саси – сторонники "разумной" дружбы. Для них осознанность выбора, логичность, а вместе с тем уравновешенность и требовательность – вот те критерии, которые прежде всего отличают дружбу от страсти, хотя в основе своей эти два чувства и "подчинены схожим законам".⁴⁵ Мадам де Сабле пишет, что не следует "давать имя дружбы естественным склонностям, поскольку они совершенно не зависят ни от нашей воли, ни от нашего выбора, и хотя они придают нашим дружбам большую приятность, они не должны быть ее основой".⁴⁶ Из трех авторов афоризмов наибольшее внимание этому вопросу уделил Ж. де Лабрюйер. Он признает, что "трудно отличить от настоящей дружбы те отношения, которые мы завязываем во имя любви", но приводит массу примеров большей осмысленности и рассудочности дружбы. "Любовь возникает внезапно и безотчетно: нас толкает к ней страсть или слабость. Довольно одной привлекательной черты, чтобы поразить наше сердце и решить нашу судьбу. Напротив того, дружба завязывается медленно и требует времени, близкого знакомства и частых встреч".⁴⁷ Кроме того, в дружбе для ссоры всегда есть хоть какая-то причина, а любовь просто проходит, дружбе необходим уход и забота, к друзьям более требовательны и т.д. Несколько раз он повторяет и ту мысль, что в сердце человека есть место только для одной из этих привязанностей, если они действительно сильны:

⁴¹ Les eloges et le tableau de l'amitié... P.65.

⁴² Ibid. P.47.

⁴³ Ibid. P.44.

⁴⁴ Монтень М. де. Указ. соч. С.161.

⁴⁵ Ларошфуко Ф. де. Размышления на разные темы // Указ. соч. С.233.

⁴⁶ Sablé M. de. Traité de l'amitié... P.117.

⁴⁷ Лабрюйер Ж. де. Указ. соч. С.85.

“Тот, кто испытал большую любовь, пренебрегает дружбой; но тот, кто растворил себя в дружбе, еще ничего не знает о любви”.⁴⁸

Настоящим гимном “разумной” и добродетельной дружбе является сочинение Саси, он и называет ее “разумным чувством”. Сама структура его трактата подчеркивает это: критерии выбора друзей, обязанности между ними, возможные сложности и способы их преодоления – все разложено по полочкам, все ясно и четко, всему приводится логичное объяснение. Прочтя это, никто не усомнится, что его автор был адвокатом (и хорошим). “Как говорится, в любви вкус решает, не советуясь с разумом, – пишет он, – а в дружбе вкусу отдается только то, что ему позволяет разум”.⁴⁹ Неизбежно рядом находится и добродетель, ибо именно к ней разум ведет друзей: “истинная дружба заставляет замолчать свою склонность, чтобы слушать только добродетель”.⁵⁰ Иначе говоря, силою разума друзья могут подчинить свою привязанность требованиям долга и добродетели, тогда как страсти устремляются к предмету своих желаний, не оглядываясь ни на что и сметая все на своем пути.

В этом вопросе лишь двух авторов можно считать наследниками Монтеня – Р.Арно д’Андии и Ш.Сент-Эвремона. Повторюсь еще раз, что они вовсе не отказывали дружбе в руководстве разума, как и предыдущие авторы, никогда не забывали, что дружба это чувство привязанности. Сент-Эвремон специально подчеркивал: “Чего я хочу в дружбе, так это чтобы познание предшествовало движениям, и чтобы именно уважение, созданное в разуме, оживлялось в сердце и придавало ему пыл, так же необходимый для дружбы, как и для любви”.⁵¹ Но все же отличие его взглядов сразу заметно – признание сильной склонности и некоторой страстности столь же важными для совершенной дружбы. “Дружба, – пишет он, – требует пыла, который ее оживляет, и недовольна осмотрительностью, которая ее останавливает: она всегда должна проявлять себя хозяйкой добра, а иногда и жизни, тех, кого она объединяет”.⁵² Арно д’Андии рисует трогательную и красочную картину такой дружбы, уже напрямую апеллируя к Монтеню. В его изображении эти отношения таковы, “...что без человека, которого любишь, находишься в одиночестве посреди своей страны, не мыслишь жизни, кроме как в нем; что, вопреки мнению стоиков, мудрец может любить какую-то вещь больше, нежели себя самого, увлеченный таким типом желаний, что полностью погружается в желания друга, и, наконец, что души становятся настолько перемешанными, что, если говорить как Монтень, они не

⁴⁸ Там же. С.86.

⁴⁹ *Sacy L. de. Op. cit. P.206.*

⁵⁰ *Ibid. P.195.*

⁵¹ *Saint-Evremond C. de. Sur l'amitié. A madame Mazarin // Oeuvres choisies. P., 1866. P.301.*

⁵² *Ibid. P.299.*

замечают швов, которые их скрепляют".⁵³ Таким образом, в изображении д'Андии и Сент-Эвремона дружба предстает менее рассудочной и сдержанной, в ней дается большая свобода эмоциям. Чувство или склонность предстает уже не как бедная падчерица, а как младшая любимая сестра.

Наверное, где-то посередине между этими двумя группами можно поместить Ламота Левайе. Он утверждал, что существует несколько различий между любовью и дружбой, и называл два из них. Во-первых, дружба обязательно должна быть взаимной, и более того – равной по силе, что для любви, как известно, вовсе не обязательно. Но при этом дружбе не свойственны столь сильные эмоции, и в этом "наибольшее различие между Любовью, которая является страстью, и Дружбой, которая есть привычка".⁵⁴ Привычка – одно это слово убивает всякий пыл. Но, с другой стороны, друзья объединены одним сердцем и могут "...видеть и доверять один другому, как в верном зеркале, что во многом служит тому, чтобы прийти к пониманию самого себя".⁵⁵ На фоне прочих рассуждений эта идея выглядит несколько чужеродной, но легко ее представить в современном сочинении или в произведении Монтеня.

Большинство авторов утверждали, что дружба это полный союз желаний, но только Шаррон употребляет знаменитую формулу *alter ego*. Совершенная дружба для него возможна только с "одним человеком, который является другим мной, и только между двумя, которые составляют одно целое"⁵⁶. Затем в пылу споров о разуме, о ней как-то забыли. Ламот, пожалуй, ближе всех подошел к ней со своей метафорой зеркала. Лишь Саси вспоминает о "втором я", да и то, чтобы разбранить Монтеня. Последний утверждал, что "тайной, которую я поклялся не открывать никому другому, я могу, не совершая клятвопреступления, поделиться с тем, кто для меня не "другой", а то же, что я сам".⁵⁷ Саси с возмущением приводит эту цитату, называя позицию Монтеня "презренными уловками" и "постыдными ухищрениями" предательства.⁵⁸

Размышления о любви, чувствах и симпатиях неизбежно должны были напомнить о женщинах (тем более что большинство авторов – мужчины) и подвести к "женскому вопросу". Однако далеко не все стремятся его затронуть. Собственно говоря, только четверо отважились определить свою позицию по данному вопросу, хотя тема была очень животрепещущей.⁵⁹ Из остальных авторов можно опре-

⁵³ *Arnauld d'Andilly R.* Op. cit. P.497.

⁵⁴ *La Mothe Le Vayer F. de.* Op. cit. P.131-132.

⁵⁵ *Ibid.* P.132.

⁵⁶ *Charron P.* Op. cit. P.475.

⁵⁷ *Монтень М. де.* Указ. соч. С.165.

⁵⁸ *Sacy L. de.* Op. cit. P.151-152.

⁵⁹ Все XVII столетие велись споры о равенстве полов, исследователи говорят о феминизме XVII века. См. например: Maclean I. *Woman triumphant.*

делить взгляды только двоих. Мадам де Сабле, во-первых, сама женщина, а во-вторых, женщина, рассуждавшая о дружбе, вряд ли считала себя неспособной на эти отношения. Саси же посвятил свой трактат мадам де Ламбер, памятуя не только о дружбе между ними, но и о ее глубоком знании этого вопроса: "Я пишу о том, о чем часто слышал, как Вы говорили, но еще чаще видел, как Вы применяете".⁶⁰ Так что, если только это не было изысканной лестью, можно считать его не только сторонником "полноправия женщин" в вопросах дружбы, но и человеком, реально познавшим возможность таких отношений между женщиной и женщиной.

Каждый из тех четырех авторов, о которых я упомянула, – Ларошфуко, Лабрюйер, Сено и Сент-Эвремон, – имеет свой собственный взгляд на этот вопрос. Никто из них не считает, что женщины вовсе неспособны на дружбу, однако у каждого нашлись свои "но".

Лабрюйер, следуя за Монтенем, замечает, что в большинстве своем женщины не приспособлены для таких отношений, они "умеют любить сильнее, но мужчины более способны к истинной дружбе".⁶¹ К примеру, "мужчина соблюдает чужую тайну вернее, чем свою собственную, а женщина лучше хранит свою, нежели чужую".⁶² Также он признает и возможность существования дружественных отношений между полами, однако "женщина всегда будет видеть в своем друге мужчину, точно так же, как он будет видеть в ней женщину. Такие отношения нельзя назвать ни любовью, ни дружбой: это нечто совсем особое".⁶³

Ларошфуко менее категоричен, он говорит уже не о способностях, а о предпочтениях: "Женщины оттого так безразличны к дружбе, что она кажется им пресной в сравнении с любовью"⁶⁴ (еще бы, ведь ее поставили под контроль разума!). Принцип "неспособности" женщин отвергает и отец Сено, по той причине, что "души не имеют пола"⁶⁵, а значит и отличий по половому признаку. Считает он возможной и дружбу между женщиной и женщиной, и даже приводит примеры из древности. Но все же в столь развращенный век дружба слишком часто служит прикрытием для распутных связей, поэтому другом порядочной женщины должен быть только ее муж. В противном случае дружба с женщиной таит опасность: "Любезности, имеющие место между людьми разного пола, редко бывают невинными:

Feminism in French literature, 1610 – 1652. Oxford, 1977; Davies S. The idea of woman in Renaissance literature: The Feminine reclaimed. Brighton, 1986; Re-writing the Renaissance: The Discourses of sexual difference in early modern Europe / Ed. by M.W. Ferguson et al. Chicago, 1986.

⁶⁰ Sacy L. de. Op. cit. P.[4].

⁶¹ Лабрюйер Ж. де. Указ. соч. С.77.

⁶² Там же. С.78.

⁶³ Там же. С.85.

⁶⁴ Ларошфуко Ф. де. Максимумы // Указ. соч. С.184.

⁶⁵ Senault J.-F. Op. cit. P.183.

те же речи, что занимают их умы, соединяют их желания, и любовь проникает в сердце под именем благосклонности и вежливости".⁶⁶ Свободно завязывать дружбу с женщинами можно будет, лишь только "когда мужчины станут Ангелами"⁶⁷ – то есть в Раю.

Взгляды Сент-Эвремона можно считать наиболее "либеральными". Он не только говорит о том, что находит женщин "более просвещенными и более способными, чем мужчин", но и отмечает, что "частные отношения с красивой, духовной, разумной женщиной придадут такой связи (т.е. дружбе – А.С.) еще больше сладости, но - он не забывает добавить и свою ложку дегтя, – если можно быть уверенным в ее длительности".⁶⁸

Женщины оказались не единственной ущемленной категорией людей, в чьих способностях к дружбе выражались сомнения. Саси называет три таких типа людей – негодяи, безумцы и амбициозные люди. Он не исключает их вовсе, но считает наименее подходящими для дружеских отношений. Негодяи, в силу своей порочности, не могут поддерживать связь, основанную на добродетели. С этим не совсем согласен Сено: "Воры, которые покушаются на общественную свободу, которые развязывают войну во время мира и которые, кажется, хотят задушить ту любовь, которую природа установила между людьми, сохраняют, однако, уважение к дружбе...",⁶⁹ хотя и он считает, что между ними может существовать лишь тень подобных отношений. Безумцы мало подходят для дружбы, поскольку это "разумное чувство"; они неспособны выполнять ее обязанности и им трудно объяснить деликатность дружбы. Здесь Саси более острожен: "...человеку разумному не стоит останавливать свой выбор на глупце...".⁷⁰ Амбициозные же люди обычно ставят свой интерес выше всего прочего, и друзья нужны им лишь до тех пор, пока не становятся бесполезными.

Лабрюйер считал неподходящими для дружбы черствых людей (от рождения или ставших таковыми силою обстоятельств), ибо они нечувствительны к невзгодам ближних: "Настоящий финансист, – пишет он, – не способен горевать о смерти друга, жены, детей".⁷¹

Сент-Эвремон не говорит об этом прямо, но отмечает два качества, которых боится дружба: чрезмерная любовь к справедливости и глубокие размышления мудрости. Первая не знает жалости и человечности и способна только разъединять людей, а "размышления мудрости" постоянно возвращают к самому себе, тогда как дружба

⁶⁶ Ibid. P.184.

⁶⁷ Ibidem.

⁶⁸ Saint-Evremond C. de. Op. cit. P.300

⁶⁹ Senault J.-F. Op. cit. P.180.

⁷⁰ Sacy L. de. Op. cit. P.32.

⁷¹ Лабрюйер Ж. де. Указ. соч. С.133.

ведет к другому человеку. Кроме того, дружба “боится осмотрительности”⁷² и требует пыла.

Совершенно особым вопросом стала возможность дружбы по отношению к властителям, ибо прежде всего со всем уважением к ним требовалось определить, является ли равенство необходимым условием дружбы. Ни один из участников нашей дискуссии не дал четкого, однозначного ответа. Мадам де Сабле, Ларошфуко и Лабрюйер считали, что неравное положение создает больше помех дружеским отношениям, так как проявляет себялюбие. Пожалуй, здесь наиболее категоричен Ларошфуко: “Мы часто убеждаем себя в том, что действительно любим людей, стоящих над нами; между тем такая дружба вызвана одним лишь своекорыстием...”⁷³ Мадам де Сабле отмечает, что нельзя быть уверенным в бескорыстности такой дружбы, до тех пор, пока человек стоящий выше не потеряет свою власть.⁷⁴ Лабрюйер предлагает обратную ситуацию: “Вы нашли себе преданного друга, если, возвысившись, он не раззнакомился с вами”.⁷⁵ Шаррон хотя и называет подобные отношения как один из видов дружбы, но признает, что это не вполне дружба, а скорее уважение и благожелательность.

А вот Саси утверждал, что равенство не только “не является необходимым для дружбы, оно часто бывает для нее губительным”⁷⁶, поскольку заставляет друзей конкурировать между собой. Но все же неравное положение таит в себе не меньше опасностей. При этом, говоря о властителях, он отмечает, что “дружба устанавливает совершенное равенство между друзьями. Трон всегда устанавливает между Сувереном и подданным бесконечную дистанцию”.⁷⁷ Кроме того, принцам трудно отличить друзей от льстецов, а те, кто решатся завести с ними дружбу, станут врагами придворных. Тем не менее, Саси приходит к выводу, что король может любить и быть любимым, а значит “следует согласиться, что он способен на дружбу”.⁷⁸ Но эта дружба должна быть связана с максимальными предосторожностями, так как короли редко хорошо знают тех, кого приближают, хотя именно для них это наиболее важно, ведь в их руках судьба государства. И это смущает его гораздо больше, чем неравенство положения. Пожалуй в этом с ним согласен Лабрюйер, также считавший, что для властителей дружба возможна, но является очень большой редкостью: “Монарху не хватает лишь одного – ра-

⁷² *Saint-Evremond C. de.* Op. cit. P.299.

⁷³ *Ларошфуко Ф. де.* Максимы... С.157.

⁷⁴ *Sablé M.* Maximes et pensées diverses de M.L.D. Haye, 1679. P.84.

⁷⁵ *Лабрюйер Ж. де.* Указ. соч. С.167.

⁷⁶ *Sacy L. de.* Op. cit. P.55.

⁷⁷ *Ibid.* P.235.

⁷⁸ *Ibid.* P.241.

достей частной жизни. Утешить его в столь великом лишении могут только бескорыстная дружба и преданность друзей".⁷⁹

А для Сент-Эвремона положение монарха и подданного кажется неодолимым препятствием для дружеских отношений: "Верно, что нельзя рассматривать своего принца как своего друга: удаление, имеющееся между господством и зависимостью, не позволяет создать тот союз желаний, который необходим для того, чтобы сильно любить. Власть принцев и обязанности подданных это нечто противоположное ласкам, которых требует дружба".⁸⁰ В доводах, которые приводят Саси и Сент-Эвремон в поддержку своих суждений, можно уловить отголоски различия в их взглядах на рассудочность и пылкость дружбы. Или все дело в том, что Саси принадлежал к поколению, чья жизнь была озарена блеском и великолепием абсолютизма, а Фронда, о которой Сент-Эвремон знал не понаслышке, стала похожа на страшную сказку?

Паскаль, видимо, считал, что светские небожители, избалованные всевозможными благами, просто пренебрегают дружбой: "Даже именитейшему придворному, — замечает он, — весьма полезно обзавестись истинным другом, ибо друг будет расточать ему похвалы и стоять за него горой не только при нем, но и в его отсутствие".⁸¹ И при этом отмечал непрочность привязанностей монархов.

От дружбы властителей легко перейти к вопросу о существовании высшего по отношению к дружбе долга. Цицерон в одном из своих трактатов изложил иерархию обязанностей, которую должно соблюдать человеку: "...первая довлеет бессмертным богам, вторая — отечеству, третья — родителям, затем, в последовательности, — всем остальным".⁸² Эта система, где дружбе отводилось почетное четвертое место, кочевала затем из одной работы в другую вместе с рассказом из трактата "О дружбе" о возмутительном поведении Гая Блозия, ввязавшегося в мятеж и поставившего дружбу к Тиберию Гракху выше долга по отношению к родине. Его образ действий Цицерон считает не только бесчестным, но и противным природе дружбы: "...нет извинения проступку, совершенному ради друга; ибо если посредницей для возникновения дружбы будет молва о твоей доблести, то дружбе будет трудно сохраниться, если ты изменишь доблести".⁸³

Добродетель, как мы видели, в XVII веке считалась обязательной для дружбы. Изменив первой, полагали тогда, разрушаешь вторую. "Тот, кто любит своего друга больше, чем разум и справедливость, в

⁷⁹ Лабрюйер Ж. де. Указ. соч. С.216.

⁸⁰ Saint-Evremond С. de. Op. cit. P.295.

⁸¹ Паскаль Б. Из "Мыслей" // Ларошфуко Ф. де, Паскаль Б., Лабрюйер Ж. де. Суждения и афоризмы. М., 1990. С.200.

⁸² Цицерон М. Т. Об обязанностях // Указ. соч. С.99.

⁸³ Он же. О дружбе // Там же. С.41.

другом случае будет больше любить свое удовольствие или свою выгоду, нежели своего друга", — писала мадам де Сабле.⁸⁴ Саси принимает и подробно объясняет иерархию, предложенную Цицероном. Согласно его взглядам, обязанности по отношению к Богу, родине и родителям определены нам самим фактом рождения и потому первичны и неотменяемы. Дружеские обязательства мы добровольно накладываем на себя сами в дополнение к ним, а значит, они не могут превалировать. Он продолжает мысль мадам де Сабле: "...какая уверенность может быть в друзьях, способных принести Бога, свою родину и свою семью в жертву дружбе? Каков будет принцип столь чудовищной связи?".⁸⁵ Саси с сожалением признает, что все-таки находятся люди, которые "верят, что быть самым лучшим другом пропорционально хвастовству о готовности принести дружбе самые дорогие жертвы".⁸⁶

Мальбранш, также приемлющий эту систему, усложняет вопрос: "Но следует ли предпочитать одного родственника четверем или восьми друзьям; родственника-врага близким друзьям?".⁸⁷ При ответе на него, соображения, которые следует принимать во внимание, и должны, по его мнению, подчиняться этой системе ценностей. "...Зачастую следует предпочитать врага другу: своего врага, друга своих родителей, уважающего принца, верно служащего государству, своему другу, довольно бесполезному для государства или испытывающему лишь холодность по отношению к тому, кто должен быть нам наиболее дорог". К этому он добавляет уже чисто христианское деление: "следует предпочитать обязанности дружбы в Иисусе Христе и вечном обществе обычным обязанностям дружбы, которые должны окончиться вместе с жизнью".⁸⁸

Любопытно, но не столь удивительно для эпохи, отмеченной гражданской войной и выросшей из смут XVI века, что нашелся человек оспоривший один из элементов этой иерархии: приоритет любви к родине над дружбой. Он оказался благодаря этому одним из людей, о существовании которых так сожалел Саси. Арно д'Андейи, выдвигая такое заявление, опирался в какой-то мере на идеи Монтеня. Последний, как и многие другие, пересказывает историю Гая Блозия. Когда Блозия на допросе спросили, как бы он поступил, если бы друг приказал ему сжечь храмы, тот ответил, что Гракх не сделал бы этого, но если бы так случилось, он бы повиновался. Монтень занимает позицию противоположную цицероновской, отмечая, что "те, которые осуждают этот ответ как мятежный, не понимают по-настоящему тайны истинной дружбы и не могут постичь того, что воля Гракха

⁸⁴ *Sablé M. de. Traité de l'amitié...* P.118.

⁸⁵ *Sacy L. de. Op. cit. P.205.*

⁸⁶ *Ibid. P.194.*

⁸⁷ *Malebranche N. de. Op. cit. P. 208.*

⁸⁸ *Ibidem.*

была его волей, что он знал ее и мог располагать ею. Они были больше друзьями, чем гражданами, больше друзьями, чем друзьями или недругами своей страны, чем друзьями честолюбия или смуты".⁸⁹ Отношения между Блозием и Грахом как пример совершенной дружбы приводит и Шаррон, но, не акцентируя вопрос на проблеме высшего долга, а говоря лишь о полном слиянии душ.

Арно д'Андии свое небольшое сочинение о дружбе посвятил обоснованию того, что люди могут быть "больше друзьями, чем гражданами". Во-первых, государства "...были порождены жестокостью или слабостью первых людей".⁹⁰ Желание захватить господство или страх потерять свободу вызывали необходимость во взаимопомощи и привели к созданию государств. И эти чувства, отмечает д'Андии, продолжают воздействовать и на нас. Как же можно оказывать им предпочтение? Во-вторых, наша любовь к родине основана только на тех благих, которые мы от нее получаем. Люди "любят ее сохранность, поскольку боятся погибнуть под ее руинами, и объединяются, чтобы ее сохранить по тем же причинам, по которым объединялись их отцы, чтобы ее основать, то есть из-за амбиций и страха".⁹¹ Глупо полагать, будто великие полководцы древности сражались за свою родину только из любви к черни, они "искали для себя или удовольствия прославленной жизни, или славы самой почетной смерти".⁹² И поскольку дружба объединяет людей более безупречными связями, не основанными на необходимости или интересе, то об их сохранении и следует печься прежде всего. Любовь же к государству никогда не может быть столь совершенной, и тот, кто "...выражает большую привязанность к своей родине, нежели к своему другу, дает понять, что никогда полностью не отдавал ему своего сердца, и что он гораздо чувствительней к любви к славе, чем к обязательным законам дружбы".⁹³

Что первым делом бросается в глаза? Главным образом то, что в вопросах дружбы авторы XVII века были не очень единомышленны, а также, что среди них сложно найти последовательного сторонника какой-либо из уже имеющихся теорий, за исключением, пожалуй, Саси, методичного поклонника Цицерона. Даже Шаррон, признанный последователь и друг Монтеня, зачастую расходится с ним во взглядах. Из уже предложенных идей каждый выбирает наиболее близкие, перетасовывая концепции древних так, что образуются самые причудливые, неповторимые, но в то же время неуловимо похожие комбинации. Среди элементов этих мозаик следует выделить традиции, идущие от античных авторов, прежде всего Аристотеля, Ци-

⁸⁹ Монтень М. де. Указ. соч. С.162.

⁹⁰ Arnauld d'Andilly R. Op. cit. P.497.

⁹¹ Ibid. P.496.

⁹² Ibid. P.497.

⁹³ Ibid. P.498.

церона и стоиков, взгляды Монтеня и адаптацию дружеского идеала христианством, главным образом у Августина. Христианская модель дружбы воспринята авторами этого времени, пожалуй, в наименьшей степени. Идея христианской любви изначально противоречила дружескому канону. Как нравственный идеал, дружба, с ее любовью к ближнему и всевозможными благодеяниями, очень импонировала религиозным мыслителям. Поэтому многие из них (даже гораздо позднее XVII века) старались найти компромисс между христианской любовью как милосердием ко всем, даже к врагам (в греческой классификации такая любовь зовется *agape*), с одной стороны, и дружбой как любовью предпочтительной, к одному или нескольким выбранным за какие-то качества людям (*philia*), с другой. "Онтологический" аспект дружбы, как мы видели, не слишком интересовал наших авторов. А Сено и автор "Похвал" практически отождествляют дружбу с любовью к Богу и другим людям, более не углубляясь в этот вопрос, но универсальную и обычную дружбу так и не удается объединить в единое целое. Прочие же размышления носят вполне светский характер. Вероятно, это было одной из причин, почему не были особенно популярны идеи Платона, в чьем понимании дружба из *philia* стремится перерасти в *agape*.

Своей неколебимой добродетельностью дружба обязана модному в XVII в. в образованных кругах стоицизму. Но сами стоики хоть и писали об этом, все же не уделили дружбе должного внимания, и посему помимо Аристотеля (без которого в изучении дружбы и вовсе не обойтись) любимым автором стал Цицерон, который хотя и был эклектиком, но "стоическим эклектиком". А вот Эпикур, чьи взгляды импонировали Монтеню, а затем Гассенди, не нашел такого признания, очевидно, показавшись чрезмерно утилитарным. Его понимание дружбы среди моралистов XVII века могли принять лишь те, кто признавал неизбежность преследования какого-то интереса. Сент-Эврмон выражает свое восхищение им за "то предпочтение, которое он оказывает дружбе перед всеми прочими добродетелями"⁹⁴, но не вдается в подробности. Эта линия, идущая от Эпикура и Монтеня, медленно угасает на протяжении столетия, пока, наконец, Саси не перейдет к осуждению их взглядов.

Большая часть спорных вопросов, которые были отмечены, обусловлены актуальными или только назревавшими темами для дискуссий. Обозначим те из них, что проявляются наиболее явственно.

Об интересе и себялюбии – кто только не писал об этом в то время!⁹⁵ Слово "себялюбие" было одним из самых модных, и ему придавались разные значения: от неизбежного свойства челове-

⁹⁴ Saint-Evremond C. de. Op. cit.P.297.

⁹⁵ См. об этом: Krailsheimer A.J. Studies in Self-interest. From Descartes to La Bruyère. Oxford, 1962; Thweatt V. La Rochefoucauld and the XVIIth-century Concept of the Self. Geneva, 1980.

ской природы до эгоизма и самолюбования. Ниточку можно провести и дальше – к проблеме возвышенности и низменности человеческих стремлений, к пессимизму янсенистов и их противостоянию с иезуитами и аристократическими идеалами и далее...

О "разуме и чувстве". Многочисленные исследования о природе страстей, проблемах познания находили живой отклик в эту эпоху формирования новой науки. Не случайно новая философия Декарта нашла так много сторонников и так много критиков, среди которых были такие знаменитости, как Гассенди и Паскаль. И все же, хотя еще нельзя говорить о рационализме, обаяние идеала логичности и разумности действовало все сильней.

О равноправии или неравноправии полов. Полемика о "природе женщин", развернувшаяся в XVI – XVII в.в., охватила самые различные аспекты – биологический, юридический, религиозный, моральный, интеллектуальный и др. Сюда вплелись и споры о человеческой природе, о свойствах души и т.д. Особый интерес к моральным и интеллектуальным отличиям между полами был подогрев появлением множества образованных женщин, хозяек и завсегдатаев светских салонов, писательниц и др.

И о лояльности к государству (религиозные войны XVI в. и Фронда сделали этот вопрос особенно интересным), которая то и дело всплывала в дискуссиях с гугенотами и янсенистами, в соперничестве аристократических и религиозных идеалов. Таким образом, интерес к дружбе был вызван к жизни бездной других, подчас весьма далеких от нее проблем и дискуссий. Именно эти, казалось бы, внешние, привнесенные вопросы и определили своеобразие трактовок дружбы того времени.

Нравственные человеческие идеалы мало изменяются с течением веков. Именно благодаря этому проблемы, которые отмечали античные авторы, кажутся нам понятными и родными. Но каждая культура и эпоха ставит свои акценты и выстраивает собственную иерархию ценностей. В этом переменчивом соотношении актуального и "позабытого" и проявляется их своеобразие. Культурный концепт складывается на пересечении множества понятий, проблем, взаимосвязей. И изменения, подвижки в некоем, на первый взгляд совершенно стороннем от дружбы, представлении передаются по цепочке и, быть может, каким-то причудливым, своеобразным способом, отражаются в ней. Вот почему наиболее интересными, неоднозначными и заслуживающими внимания в рассуждениях о дружбе стали те аспекты, которые больше всего волновали умы того времени, а другие, которые нам кажутся наиболее существенными в дружеских отношениях, упомянуты лишь вскользь или же вовсе обойдены молчанием.

Относительно эволюции понимания дружбы существуют различные теории. Одни из них довольно пессимистичны: "золотым веком"

дружбы была Античность, общество того времени было устроено так, что всячески способствовало развитию дружеских отношений.⁹⁶ С тех пор ситуация изменилась коренным образом, но люди так и не сумели выработать новый идеал, по причине чего на практике дружба становится все большей редкостью и о ней стали забывать (Ламот Левайе, наверное, согласился бы с этим утверждением). Мы, например, излишне мобильны для поддержания таких отношений и, кроме этого, разрываемся между работой и семьей, на все прочее просто не остается времени. Многие ли философы пишут сегодня о дружбе? Другие, напротив, полагают, что экзистенциальное одиночество современного человека выводит дружбу в число самых актуальных потребностей, в отличие от предыдущих эпох. К тому же умение выживать одному делает дружбу более чистой, почти освобождая ее от примеси прикладных, практических составляющих. Такая совершенная, неинструментальная дружба была невозможна для людей прошлого, единение для которых было во многом не духовной потребностью, а жизненной необходимостью.⁹⁷ Появление же этого нового канона дружбы относят к самым различным эпохам, начиная с Возрождения.

Вряд ли следует одно понимание дружбы принимать как "более правильное", нежели другое. В каждую эпоху свое отношение и является самым верным. Более того, разногласия в рассуждениях наших авторов заставляют усомниться в том, что может существовать некая единая модель.⁹⁸ Очевидно, несколько различных пониманий сосуществовали (и должно быть сосуществуют и поныне) в рамках одного общества, и правильной, вероятно, говорить о доминирующей концепции, или же вовсе о некоем идейном пространстве, в рамках которого могли формироваться различные версии одного понятия. Помимо высоких культурных составляющих, оно зависит и от характера человека, от его потребностей, от того, как реально складываются его взаимоотношения с друзьями.

Различия во взглядах наших героев вряд ли стоит явственнее прочерчивать. Среди них есть и печальные скептики (тут на первом месте Ламот Левайе) и неисправимые оптимисты, как Саси. Рационалисты и умеренные "сенсуалисты", приверженцы религиозной или светской трактовки. При желании можно найти еще массу отличий. Все это, однако, не исключает некоторых общих черт, неизбежно ха-

⁹⁶ См.: *Bruch J.L. La philosophie de l'amitié: son passé et son avenir // Bulletin de la Société française de philosophie. P., 1977. Vol.72. №2. P.35-58.*

⁹⁷ Наиболее обстоятельно эта теория представлена в статье: *Silver A. Friendship and Trust as Moral Ideals: an Historical Approach // Archives européennes de sociologie. Cambridge, 1989. V.XXX. №2. P.274-297.*

⁹⁸ Идею сосуществования различных концепций в одно время подтверждает и исследование Лорны Хатсон, сделанное на английском материале предыдущего столетия: *Hutson L. The Usurer's Daughter: Male Friendship and Fictions of Women in XVIth-century England. L., 1994.*

рактерных для понимания дружбы. Каждая из них в отдельности может показаться банальностью, но их набор специфичен именно для этой эпохи и этого общества.

Дружба, исходя из суждений авторов XVII в., предстает нам как некое *состояние* отношений между людьми. В ней практически отсутствует элемент развития (в этом смысле любовь больше походит на процесс, так как она более изменчива). Сама идея трансформации мало подходит для дружбы, в таких превосходных отношениях любое изменение связывается с ухудшением. Дружба должна быть прочной и постоянной, именно поэтому она связана с добродетелью.

Дружба социальна, в том плане, что прочно вплетена в жизнь общества. Идею дружеских отношений как убежища от забот общественной жизни можно проследить (взять, к примеру, мнения о дружбе властителей), но в ней нет элемента противостояния. Дружеские отношения не уход от общества, но наиболее приятный его элемент. Тесная связь с общественной сферой проявляется и в других аспектах. Хотя дружба и прославляется как источник личного счастья, но для авторов гораздо важнее подчеркнуть ее связь с благом, добром. Добродетельность, на необходимость которой для дружеских отношений так настаивали в XVII веке, понятие гораздо более унифицированное, нежели счастье. Добродетель подразумевает некую норму, нечто одинаковое для всех, хотя, вероятно, свойственное очень немногим. Понятие счастья несет в себе куда больше индивидуальных черт.

Именно в силу своей универсальности добродетельность является лучшей основой для дружбы. Она четко определена, ее природа постоянна, так же как и наше к ней отношение, ее принципы согласуются с разумом, все это делает дружбу прочной и длительной. Источники симпатии – приятность и схожесть характеров, обаяние, родство интересов и пристрастий, напротив, не имеют разумных причин, недолговечны, как переменчиво и наше понимание этих черт. По этим причинам симпатия может быть лишь второстепенным основанием для дружбы. Несомненно, участники нашей дискуссии были искренни в своем требовании добродетели и столь же искренне ухитрились найти себе истинно добродетельных людей, подходящих для дружбы (по крайней мере, считали таковыми самих себя).

Индивидуальный выбор друга, таким образом, должен базироваться не на том, что есть в этом человеке неповторимого, специфичного только для него, а на его соответствии идеалу добродетельности. И в этом своеобразии понимания индивидуальности – не просто быть другим, уникальным, неповторимым, но быть лучше, правильнее других. Это нашло отражение в распространившихся в то время идеале *honnête homme* и идее прециозности⁹⁹, и очень жи-

⁹⁹ Прециозность – социальный, чувственный и интеллектуальный феномен, затронувший определенные круги парижского дворянства. Так называли

во запечатлено в литературных портретах и автопортретах, ставших популярными во второй половине столетия.

Если принять рассуждения Алана Сильвера¹⁰⁰, то выходит, что приоритет моральных качеств в выборе друга неизбежно связан с неким интересом и пользой. Этот двуликий Янус не мог устраивать авторов XVII века (некоторые, правда, признали его, но под давлением обстоятельств), однако попытки примирить добродетельность и альтруизм в дружбе удавались только в том случае, если не особенно вглядываться в детали. Сквозь все тексты, где с грустью, где с возмущением, проводится противопоставление *Дружбы* в ее высоком понимании и тех отношений, что обычно зовутся дружбой. В чем же дело? В упадке и деградации реальных дружеских отношений? Если да, то был ли этот упадок следствием того, что дружба стала менее институционализирована и, следовательно, менее определена, чем в средневековье? Или же причина в чрезмерной суровости установленного идеала? Или второе является закономерным протестным следствием первого? На все эти вопросы нельзя ответить, не рассмотрев, что же творилось на самом деле. А это уже очевидным образом выходит за рамки данной статьи.

Можно предложить еще один вопрос. Как мы видели в некоторых случаях (в частности при рассмотрении онтологических аспектов) авторы используют слово "дружба" в несколько ином значении, чем в остальном тексте. Так возможно, все дело в том, что само это слово во французском языке многозначно? Современные словари выделяют такое его значение, как "отношения доброго согласия, хорошие взаимоотношения".¹⁰¹ А вот словарь Фюретьера конца XVII в. – нет. Быть может потому, что это значение еще не было осознано как отдельное, такое употребление слова и воспринималось как подделка, фальшивка?

Дружба в сочинениях XVII в. существует как некая абсолютная, совершенная модель. Она не очень связана с конкретными, реальными людьми, большинство из которых в нее не вписываются. Дружба как идея продолжает существовать, даже если люди ввиду шаткости моральных устоев не могут добиться ее воплощения. Наиболее отчетливо это заметно у Ламота Левайе, который рассматри-

стремление думать, чувствовать и говорить иначе, чем весь свет и быть выше вульгарности. Центром прециозности был салон мадам Рамбуйе. Объектом для подражания были пасторальные романы. Характерная особенность этого веяния – особый метафорический язык: поэт – дитя муз, зеркало – советчик прелестей и т.д. После выхода в свет комедии Мольера "Смешные жеманницы" появилось разделение на "истинных" и "плохих" прециозниц. Прециозницы превозносили чистоту и добродетельность "возвышенных чувств", прежде всего платонической любви, а вместе с ней и безупречность дружбы.

¹⁰⁰ Silver A. Op. cit.

¹⁰¹ Dictionnaire de l'Academie Française. P., 1994. Vol. 1. P. 163.

вает и отвергает различные суждения о дружбе, ибо они не соответствуют этой модели.

Очевидно, что некоторые принципы дружбы трактуются непривычным для нас образом. Помимо того, некоторые аспекты, рассматриваемые в наше время как ключевые, остались в тени. Взять, к примеру, сферы отношений, от которых отграничивали дружбу. Для авторов XVII в. актуальными являются две таких сферы – любовь и те связи, что в повседневной жизни оказываются не заслуживающими названия дружбы. Приблизительным аналогом этих последних в современных работах являются приятельские отношения. Кроме того, нынешний исследователь, умудренный опытом антропологов, непременно упомянет и сферу родства. Но как это ни парадоксально, в XVII в. дружба не рассматривалась как социальный институт, хотя и была таковым в гораздо большей степени, нежели сейчас. Теснейшая ее связь с жизнью общества была очевидна, но дружба и родство были понятиями разноплановыми, если не в обыденном сознании, то, по крайней мере, в сфере моральных размышлений. В такой плоскости рассмотрения эти понятия соприкасались только в вопросе об обязанностях. Во всем прочем это были вещи из разных смысловых областей: дружба рассматривалась как испытываемое чувство (и лишь в силу этого какие-то взаимоотношения), в родственных же отношениях чувство привязанности – лишь второстепенный элемент. Он, разумеется, важен, но и без него родственники останутся родственниками. Как явления одного порядка они могли рассматриваться только в обыденной жизни¹⁰², но никак не в подобных рассуждениях.

Дабы еще нагляднее продемонстрировать различие в понимании, вспомним важнейшую, согласно современным исследованиям, характеристику концепта дружбы – интимность отношений или связанную с этим потребность в самораскрытии. Сейчас вряд ли найдется книга, рассказывающая о личных взаимоотношениях (а их, если взглянуть на полки книжных магазинов, можно обнаружить великое множество, и это, видимо, неспроста), которая не осветила бы эти вопросы. Среди размышлений XVII века ответы на них пришлось бы собирать по крохам, выискивая намеки и отрывочные фразы. Само слово "интимность" упоминается только у Шаррона. Но стоит ли из этого делать вывод, что интимность не была свойственна дружеским отношениям этого времени? Безусловно, нет, и это станет очевидным при рассмотрении отдельных, конкретных взаимоотношений. Но эта тема не укладывалась в тот спектр вопросов, которые интересовали эпоху. Она слишком деликатна, слишком неопределенна и слишком связана с симпатией, которую большинство пред-

¹⁰² Примеры этого см. в: Стогова А.В. Ларошфуко о дружбе и друзьях (из представлений о дружбе во Франции XVII в.) // Частная жизнь: человек в мире чувств. М., (в печати).

почитало оставлять где-то на заднем дворе дружбы, не имея возможности вовсе не считаться с ней, но немногие решались пригласить ее в парадную залу. Самораскрытие рассматривалось под углом искренности и честности, скорее в терминах моральных императивов, чем душевных потребностей. Мысль Ламота Левайе о самопознании, к которому ведет дружба, звучит очень одиноко, теряясь среди прочих голосов.

Противопоставление любви – дружбе происходило на основе подконтрольности разуму и, как следствие, добродетельности. В нынешние же времена большинство исследований демонстрируют, что разграничение проводится по степени интимности и исключительности (одна любовная привязанность, как правило, вытесняет другую, в дружбе этого не происходит). И в таком контексте у сильной любви оказывается больше преимуществ, чем у сильной дружбы. Второе важное отличие – любовь более многообразна и многолика. Но это уже относится скорее к теме самой любви.

Стремление авторов XVII в. сделать дружбу более осмысленной и подконтрольной разуму напоминает нам, сведущим современникам века XX, о том, что приближался триумф рационализма. Но с наступлением нового столетия споры не затихли. Более того, именно рассудительная, добродетельная дружба, как она представлена в трактате Саси, породит новый виток дискуссии уже после смерти автора. В 1728 г. выйдет "Размышление о дружбе" Дююи, где будет страстно раскритиковано сочинение Саси. А затем, в том же году, появится "Защита "Трактата о дружбе". Споры будут продолжаться, обнаруживая все новые нюансы и поводы для разногласий.

А.Ю.Серегина

Проблема происхождения власти и государства в английской католической мысли на рубеже XVI и XVII веков

События XVI в. заставили многих обратиться к размышлениям о взаимоотношениях подданных и государя, их правах и обязательствах по отношению друг к другу. Этому способствовало, с одной стороны, складывание абсолютных монархий, процесс, заставивший переосмыслить традиционные представления о власти государя, ее происхождении и ограничениях (или их отсутствии). С другой стороны, Реформация и Католическая реформа породили резкое противостояние конфессий не только во внешне-, но и во внутривластной сфере.

Государь и подданные, разделенные конфессиональным барьером, – подобная картина если и не была нормой, то во всяком случае, возникала слишком часто, чтобы не оказать воздействия на политическую мысль, заставляя авторов рассуждать о границах подчинения монарху-инверцу. В Англии конфессиональный барьер отделил католиков от прочих подданных короны, сделав их основной оппозиционной группой. Неудивительно поэтому, что католическим авторам был свойственен повышенный интерес к проблемам политической теории.

Однако католические памфлетисты в целом не придавали проблеме происхождения власти и государства большого значения, что вполне объяснимо: жанр их произведений не требовал пристального внимания к столь далеким от современных событий вопросам политической теории. Лишь в трактате иезуита Парсонса "Рассуждение о наследовании короны Англии" (1594) данному сюжету посвящена целая глава. Тем не менее, этот вопрос не мог полностью выпасть из сферы их интересов, поскольку именно он был исходной точкой всех построений, призванных оправдать нежелание английских католиков подчиняться законам своего монарха.

В 1571 г. священник-эмигрант Николас Сандер писал:

"Иудеи пожелали, чтобы, подобно другим народам, у них была учреждена царская власть. Из этого следует, что царская власть [*potestatem regiam*] происходит от Бога не непосредственно, но скорее, при посредничестве права наций. Ведь если законная власть принята [*recepta*] одним обществом или областью, но не используется многими другими народами, такая власть – от Бога, но [форму] ее определяет гражданское или муниципаль-

ное право, то есть, согласие и закон [*consensum & legem*] того народа или общества, которому принадлежит право создания власти [*ius constitutum*]."¹

Уже в этом пассаже присутствуют те моменты, на которых английские памфлетисты были склонны акцентировать внимание – происхождение власти от Бога и определение ее конкретной формы народом, которому дается такое право. Более четко это было сформулировано спустя десятилетие в комментарии на 13-й стих 1 Послания Св.Павла Римлянам в Реймсском издании Нового Завета²:

"Хотя всякая власть от Бога, и короли управляют по его воле, это происходит благодаря его провидению: оно обеспечивает земное благо человечества, поддерживая должный порядок и подчинение одного другому, а также давая народу и обществу [*Commonwealth*] власть самим избрать форму правления, при которой они согласились бы жить в мире и спокойствии"³.

Более подробно данный сюжет рассматривается Парсонсом в его "Рассуждении". Следуя традиционной схоластической манере изложения, он начинает свои построения с высказывания Аристотеля о естественной социальности человека, а затем воспроизводит и аргументацию греческого философа:

"Во-первых, ...люди всех наций, даже диких и варварских, стремятся жить вместе, ...и это всеобщее стремление не могло бы существовать без веления самой природы. Во-вторых, ...с этой целью и ради такого назначения людям дана речь, ибо привилегия речи была бы бесполезной, если бы человек жил один и ни с кем не общался. В-третьих, не только Аристотель, но Теофраст, Плутарх и другие подтверждают это бедственным состоянием, в котором человек рождается, более уязвимый, чем любая иная тварь... Человек неспособен сам заботиться о себе в течение многих лет, но существует лишь с помощью других, значит, он рождается для того, чтобы жить в обществе"⁴.

Социальное чувство, свойственное человеческой природе, исходит от Бога, творца всего сущего. Первое человеческое общество на земле создано им же: "И сказал Господь: не хорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, подобного ему (Бытие 2,18); из этих слов следует, что первое общество наших праотцев было от Бога, ...и все прочие общества основываются на тех же велениях Бога ради той же цели – человеческой пользы". Из социального чувства происходят все основные формы человеческого общежития – семья, города и деревни, государства⁵. Парсонс не разделял свойственного ряду его современников представления о "золотом веке" предшествовавшем появлению государства. Власть в обществе, согласно Парсонсу, возникает одновременно с его появлением, поскольку жизнь в обществе невозможна без организующего начала.

¹ Sander N. De Visibili Monarchia Ecclesiae. Louvain, 1571. P.56 f.

² Это был первый католический перевод Нового Завета на английский язык, подготовленный преподавателями Английской коллегии в Реймсе.

³ New Testament. Reims, 1582. P.658.

⁴ Doleman R. A Conference about the next succession to the crowne of Inghland. ERL. V.104. 1972. I, p.4-5.

⁵ Ibid., p.6-7.

“Если собралось вместе множество людей, и нет никого для подавления дерзких, помощи слабым, награждения доблестных, наказания преступников, сохранения справедливости и равенства, тогда жизнь вместе становится гораздо более опасной, чем жизнь поодиночке, так как один может истребить и пожрать другого... Из совместного жительство вытекает необходимость какого-либо рода власти и правителей ...и поскольку первое – от природы, второе – также от нее”⁶.

Итак, сам принцип власти порожден природой, а следовательно, ее Творцом. Однако частную форму правления для своей страны избирает народ: “Не может быть сомнений в том, что общество имеет власть избрать собственную форму правления, а также изменить ее по разумным причинам, ...и Господь... одобряет то, что общество решит”⁷.

В качестве доказательства данной посылки Парсонс приводит многочисленные примеры изменения форм правления в Риме, итальянских городах-государствах и других странах (зачастую смешивая действительные изменения формы правления, например, установление республики в Риме, и изменение титула главы государства в случае с Чехией, Польшей и др.)⁸ Народ может не только избрать частную форму правления, но и наложить на правителя ряд ограничений, поскольку власть и правитель существуют лишь для блага общества.

“Если общество имеет власть избрать и изменить форму правления, то оно может ограничить ее такими законами и условиями, какими пожелает, откуда проистекает огромное разнообразие прав, коими обладают различные правительства”⁹.

Эти различия определяются правом отдельных народов, которое Парсонс именует “политическими законами”. По традиции Парсонс рассматривает три основные формы правления – демократию, аристократию и монархию. И хотя общество может выбрать любую из них, для самого автора они, конечно, неравноценны.

“Демократия, при которой правит простой народ, есть многоголосое чудовище, порождающее мятежи, волнения, восстания, преступления и несправедливости, совершаемые при каждом удобном случае, особенно тогда, когда хитрым и властолюбивым людям удастся льстить ему или пугать его пламенными словами... Из всех форм правления эта – наихудшая”¹⁰.

На примере итальянских городов Парсонс показывает, что в конце концов общество, устав от бесконечных мятежей, насилия и беззакония, принимает другую форму правления. Аристократия (или олигархия), по Парсонсу, есть власть нескольких, “считающихся лучшими”. Это – переходная форма, сочетающая в себе черты и демократии, и монархии. Она “имеет в себе и добро, и зло, но более склонна ко злу из-за вражды, которая обыкновенно возникает между правителями по

⁶ Ibidem.

⁷ Ibid., p.12.

⁸ Ibid., p.12-14. См. также А. Philopater (preud. Persons'). Elizabethae, Angliae reginae ...in catholicos edictum, cum responsione. Augustae, 1592. P.107f.

⁹ Ibid., p.12-13.

¹⁰ Ibid., p.18-19.

слабости и греховности людской”¹¹. Следовательно, из всех форм правления лучшей, наиболее полно отвечающей своей цели – общему благу, является монархия. Она же обладает и привилегией древности¹², поскольку была первой формой правления у всех народов.

Рассуждения католического священника Мэтью Келлисона практически идентичны: во второй главе своего трактата “Право и юрисдикция прелата и государя” (1621) он, ссылаясь на Аристотеля и Цицерона, пишет о естественной социальности человека – даре Бога, создающем государство: “Ибо Господь вложил в нас склонность к обществу и, следовательно, Он есть создатель всех законных обществ. Он дал им власть управлять, каковая власть называется гражданской или светской [*potestas civilis or temporalis*]”¹³.

Аналогичным образом Келлисон указывает и на право общества самому выбрать первоначальную форму правления, а также упоминает три традиционные формы – монархию, аристократию, демократию, выделяя монархию как лучшую¹⁴.

Подобный подход к проблеме происхождения власти разделяли практически все католические авторы, затрагивавшие данный сюжет, вне зависимости от их политических и партийных пристрастий. Так, священники Ричард Брутон и Ричард Шелдон, оппоненты Парсонса и его собратьев-иезуитов, считали, тем не менее, что правители получают власть (в принципе исходящую от Бога) от общества¹⁵, да и другие их противники никогда не выдвигали альтернативную теорию происхождения власти.

Английские католики не были склонны, следуя Цицерону, живописать некий догосударственный период, хотя в конце XVI в. данный подход был довольно популярен как у их единоверцев на континенте, так и у соотечественников-протестантов; ему отдавали дань и иезуиты (в частности Хуан де Мариана), и английские юристы рубежа XVI-XVII вв. Правда, Дж.Сэлмон полагал, что нечто подобное можно отыскать в “Рассуждении” Парсонса, исходя, по всей видимости, из факта цитирования последним Цицерона (на которого ссылались все авторы, разделявшие представление о догосударственном периоде), а также следуя устоявшейся версии, согласно которой Парсонс при создании своего труда вдохновлялся трактатом “*De Justa Reipublicae Christianae in reges impios et hereticos Autoritate*”, опубликованным в 1590 г.¹⁶ Однако

¹¹ Ibid., p.20.

¹² Ibid., p.16.

¹³ Kellison M. The Right and Jurisdiction of the Prelate and the Prince. 1621. ERL. V.208. 1974. P.43.

¹⁴ Ibid., p.45f.

¹⁵ Sheldon R. Certain general reasons providing the lawfulness of the oath of allegiance. 1611. P.12; Broughton R. A Just and Moderate Answer to a most injurious and seditious Pamphlet. 1606. ERL. V.93. 1972. P.2.

¹⁶ Автор предпочел выступить под псевдонимом *Gullielmus Rossaeus*; большинство современников, в том числе и сам Парсонс, полагало, что за ним скрывался английский католик-эмигрант Уильям Рейнолдс (1544-1594), связанный с

с данной позицией трудно согласиться. Цитирование Цицерона само по себе еще ни о чем не говорит, тем более, что Парсонс явно склоняется к аристотелианской традиции и не приводит те места из Цицерона, где речь впрямую идет о догосударственном периоде, но использует его текст только для подтверждения тезиса о естественной социальности человека. Таким образом, Парсонс не столько следует своему предполагаемому источнику, сколько противоречит ему (поскольку в первой главе "*De justa... autoritate*" речь идет именно о догосударственном периоде)¹⁷.

Неприятие идеи догосударственного периода английскими католиками отчасти объясняется их следованием томистской традиции в интерпретации представителей поздней схоластики и, в частности, Роберто Беллармино¹⁸. Возможно также, что в их сознании она связывалась с концепцией происхождения монархии из патриархальной власти отцов семейств над своими домочадцами (формой власти, существовавшей, по Цицерону, изначально), и именно этим, по всей видимости, объясняется стойкое неприятие идеи догосударственного периода английскими католиками. Так, М.Келлисон категорически отвергал возможность "вырастания" монархической власти из патриархальной¹⁹.

"Патриархальная" теория, окончательно сформулированная позднее (Ричардом Филмером в 1640-е гг.), позволяла ее сторонникам обойти момент передачи власти правителю обществом, и таким образом избежать рассуждений о народном суверенитете и ограничении власти монарха (признавая тем самым эту власть абсолютной). Для католиков, находившихся в оппозиции к правящему монарху и постоянно нарушавших его законы (пусть только в отношении вероисповедания), теория, открывавшая простор для построений абсолютистского толка, была неприемлема. Согласно их представлениям, королевская власть, являясь лишь одной из возможных форм государственного управления, имеет общий с ними источник – власть общества. Это мнение разделяли эмигранты старшего поколения (1560–70 гг.), так называемые авторы Лувенского круга, и их наследники. Так, Н.Сандер полагал, что "король создается согласием людей в соответствии с правом наций"²⁰. Кардинал Уильям Аллен в своих памфлетах подробно не рассматривает вопрос о происхождении светской власти, однако называет ее "человеческим творением" [*humana creatura*] и отмечает, что

семьей Гизов – Salmon J.H.M. Gallicanism and Anglicanism in the age of the Counter-Reformation // Renaissance and Revolt: Essays in the Intellectual and Social History of Early Modern France. Cambridge, 1987. P.174. См. также Clancy T.H. Papist Pamphleteers, p.64; Pritchard A. Catholic Loyalty in Elizabethan England. Chapel Hill, 1979. P.18-21; Holmes P. Resistance & Compromise, p.152.

¹⁷ Rosseau G. De justa reipublicae christianae in reges impios et hereticos autoritate. Antverpiae, 1592 (2 ed.). P.1-33.

¹⁸ Bellarmino R. De Laicis, c.5.

¹⁹ Kellison M. Op. cit., p.44.

²⁰ Sander N. The Rocks of the Church. Lovanii, 1567. P.53.

формы правления (в том числе и монархия) создаются согласием народа²¹.

По мнению Парсонса, "светская власть дана Богом в силу естественного закона народу или множеству [*multitude*], которое поэтому имеет право передать ее той форме правительства, которую он изберет, монархии или другой; следовательно, общество имеет власть избрать [*to chose or appoint*] королей, чтобы те управляли ими"²². Однако это не означает, что общество передает свою власть раз и навсегда.

"Все общество... является не подчиненным, но, напротив, высшим по отношению к государю. Общество никогда не передает власть таким образом, чтобы полностью лишиться ее, поскольку нужда может потребовать ее для защиты, ради чего она и существует"²³.

Если Парсонс считал, что общество, несмотря на акт передачи власти, сохраняет за собой суверенитет, то трактовка других авторов не так радикальна. По мнению М.Келлисона, "если общество избирает короля, оно лишает себя власти и становится подчиненным, как частное лицо, и передает всю власть [*all power and authority*] монарху, чтобы тот управлял не ради своего собственного, но ради общего блага всего королевства"²⁴. Приведенный пассаж выглядит несколько противоречиво. Он констатирует, что общество лишается своего суверенитета при избрании государя. Однако передача власти происходит отнюдь не безусловно. Таким условием становится обязанность государя управлять в соответствии с общим благом.

Иезуит Джон Флойд выделяет три варианта возникновения монархической власти – "народное избрание, законное завоевание и воля Господа, явным образом высказанная"²⁵. Последний способ выпадает из компетенции человека, и Флойд, естественно, его не рассматривает. Его представления о народном избрании монарха не отличаются оригинальностью по сравнению с другими католическими, и не только католическими авторами: как отмечает сам Флойд, большинство их, вне зависимости от исповедания и национальной принадлежности, склонно "выводить королевскую власть из власти общества"²⁶. Интереснее его рассуждения по поводу завоевания – ведь именно этот вариант оставлял сторонникам неограниченной монархии наибольший простор для толкований.

"Право законного завоевания обязывает побежденных [*the state conquered*] сделать завоевателя своим королем на условиях, которые он пожелает им предписать, и тяжесть коих зависит от степени их вины. Если они откажутся

²¹ *Allen W.* An Apologie and true declaration of the institution of the two English colleges. Antwerp. 1581. ERL. V.67. 1971. P.40; An Admonition to the nobility and people of England. Antwerp, 1588. ERL. V.74. 1971. P.47.

²² *Persons R.* An Answer to the Reportes, p.358.; см. также p.23-26; A quiet and sober reckoning, p.329.

²³ *Idem.* A Conference, 1,72.

²⁴ *Kellison M.* Op.cit. P.46.

²⁵ *Floyd J.* God and the King. 1620. ERL. V.9. 1969. P.27.

²⁶ *Ibid.*, p.32.

подчиниться, он может принуждать их до тех пор, пока они не согласятся, обладая правом меча, но не правом государя управлять ими. После того, как они дадут свое согласие, возникает новое общество и государство [a new Society and Common Wealth], состоящее из завоевателя и завоеванного народа, а победитель становится королем и управляет им по законам и условиям соглашения [conditions agreed upon]; если он пренебрежет этими условиями, он подлежит исправлению со стороны общества так же, как и короли, получившие власть через избрание"²⁷.

Таким образом, даже завоевание не давало монарху власти независимо от общества, поскольку завоеватель мог по своей воле управлять не подданными, но завоеванным народом, который не заслуживал наименования общества (*Commonwealth*). Народ становится обществом, только заключив договор с государем; без чего нормальное функционирование государства невозможно. Соответственно, абсолютная власть государя, не зависящая по своему происхождению от народа, возникает лишь в ходе войны; когда война прекращается, и подданные признают его своим правителем, эта власть меняет свой характер, она словно бы возвращается возрожденному обществу.

Флойд не был одинок в своей трактовке права завоевания. Так, анонимный автор английского перевода речи кардинала Дю Перрона, произнесенной перед Генеральными Штатами 1615 г., в предисловии писал, что в случае завоевания "власть общества, которая была узурпирована, может быть возвращена". По его мнению, именно народ был "первым на земле обладателем высшей власти [the first owner of supreme authority]"²⁸.

Итак, по мнению английских католиков, источником королевской власти являлось общество. Это положение, распространенное и среди их соотечественников – протестантов, фактически было одним из общих мест английской политической мысли рубежа XVI-XVII вв.²⁹

Еще одним общим местом было определение королевской власти как отражения власти Бога. Отдали ему дань и английские католики. Так, по мнению Парсонса, "если государь правит единолично и имеет высшую власть [supreme authority], он напоминает Бога не только личными правами, но может походить на него мудрым, спокойным правлением, не подверженным страстям... Ничего более совершенного и желать нельзя для счастья подданных"³⁰.

Парсонсу вторит и другой иезуит, Роберт Саутуэлл, по словам которого "государь напоминает Господа всемогущего"³¹. Однако данные пассажи никак не могут быть истолкованы в абсолютистском духе, поскольку в текстах Парсонса и его единоверцев они соседствуют с заявлениями об ограниченности власти монарха. В этом отношении осо-

²⁷ Ibid., p.29.

²⁸ An Oration made on the Parte of the Lordes Spirituall in the Chamber of the Third Estate of France ... by the Lord cardinal of Peron. 1616.

²⁹ Sommerville J.P. Politics and Ideology in England, 1603-1640. L., 1986. P.61-69.

³⁰ A Conference. I,21.

³¹ Southwell R. A Humble Supplication. 1595. ERL. V.123. P.2.

бенно показателен классический пример из истории Англии, приводимый практически всеми авторами, – отлучение от церкви короля Джона и признание им вассальной зависимости от Рима, а также позиция его подданных. В трактовке Парсонса эта история выглядит следующим образом: под давлением общества король Джон признал свою присягу незаконной, поскольку не имел права принимать подобного решения “без согласия всего королевства”³².

Следует отметить, что эта трактовка отнюдь не была свойственна только эмигрантам испанской группы, настроенным резко враждебно по отношению к английскому правительству, и не являлась выражением нелояльности. В строго лоялистском трактате католика Джона Бишопа (он был издан правительством!) история короля Джона истолкована точно так же, как у Парсонса: “король этого королевства не может сам по себе распоряжаться тем, что связано с его короной [*thing annexed and incorporated to the crowne*]³³. Подобные же утверждения можно встретить и у Томаса Престона, более других католических авторов склонного к возвеличиванию монархии. По его мнению, “король Англии не имеет власти дарить свое королевство или подчинять его какому-либо государю без согласия самого королевства”³⁴.

Представления об ограниченности власти монарха в Англии было свойственно большинству английских авторов конца XVI – начала XVII в., вне зависимости от их представления о ее источнике: и сторонники божественного происхождения королевской власти, и их оппоненты, склонявшиеся к теории “народного согласия”, равным образом считали, что власть английских королей не является абсолютной, но ограничивается законами страны и правом парламента (т.е. представителей королевства) вотивовать налоги³⁵. В этом отношении авторы-католики ничем не отличались от прочих своих соотечественников. Подобно прочим англичанам, они считали законы страны и парламент основными средствами ограничения власти монарха, спасающими от возможной тирании.

Согласно Парсонсу, главным средством направления и исправления воли государя является закон, “принятый по должном размышлении и рассуждении, без волнений, злых страстей – гнева, зависти, ненависти”³⁶. Второе средство – это наличие у государя советников и более широких представительных органов (парламентов, кортесов, ландтагов), участвующих в решении наиболее важных для страны дел (в том числе вопросов престолонаследия), издающих законы, дающих согласие на взимание определенных денежных сумм (которые Парсонс

³² *Persons R.* An Answer to the Reportes, p.234.

³³ *Bishop J.* A Courteous Conference with the English Catholickes Romane. London, 1598. P.74f.

³⁴ *Preston T.* A new-yeares gift for English Catholikes. 1620. ERL. V.130. 1973. P.60.

³⁵ *Sommerville J.P.* Op.cit., p.34-39.

³⁶ *A Conference.* I, 21.

именует субсидиями, помощью и т.п., избегая слова “налоги”, что подчеркивало бы обязательность выплаты)³⁷. Говоря об Англии, Парсонс прибегает к традиционному для английской политической мысли XV-XVI вв. понятию “смешанной монархии”:

“В Англии же более или менее присутствуют все три формы [государственной власти], ибо здесь есть один король или королева – это Монархия, здесь есть советы, которые обладают значительной властью – это указывает на Аристократию, простой народ отдает голоса за членов парламента – в этом присутствуют черты Демократии, или народного правления”³⁸.

Другие католические авторы в меньшей степени, нежели Парсонс, были склонны теоретизировать по поводу ограничения власти государя, однако во многих текстах воспроизводятся суждения, полностью вписывающиеся в русло английской политической традиции. Так, У.Аллен говорил о праве сословий, представленных в парламенте, принимать новые статуты, не имеющие без их согласия юридической силы, и в некоторых случаях определять законность правления того или иного монарха³⁹. Аналогичные рассуждения встречаются и у других авторов, например, у Уильяма Уормингтона и Томаса Райта⁴⁰.

Тем не менее, в произведениях католических авторов часто фигурирует термин “абсолютная власть” или “абсолютный монарх” [*absolute & supreme power or king*]⁴¹. Принимая во внимание предыдущие рассуждения, вряд ли можно трактовать его как признание неограниченности королевской власти, стоящей над законом или ее происхождения непосредственно от Бога (хотя в отношении Престона и особенно Уормингтона это может быть верным). Представляется, что называя английских королей абсолютными правителями, памфлетисты стремились подчеркнуть независимость английской короны от какой бы то ни было иной светской власти, и прежде всего, от власти папы. Не случайно поэтому этот термин чаще встречается у авторов, отвергавших теорию косвенной власти папы в светских делах (Престон, Уормингтон) или оспаривавших ее применимость по отношению к Англии.

Следует отметить, что, несмотря на преобладание среди католических авторов сторонников теории происхождения королевской власти от “согласия народа”, идея божественного права королей также не была оставлена без внимания. Однако для католиков это было скорее исключение, нежели правило; соответствующие утверждения встречаются только у двух авторов – У. Уормингтона и Т. Престона. По Уор-

³⁷ Ibid., I, 24,35,64-65.

³⁸ Ibid., I, 24.

³⁹ Allen W. An Apologie, p.45; An Admonition, p.4.

⁴⁰ Wright T. An licitum sit Catholicis in Anglia arma sumere ... contra Hispanos // Strype J. Annals of the Reformation. V. III. London, 1737. P.255; Warmington W. A. Moderate defence of the oath of allegiance. 1612. P.2, 65.

⁴¹ См., например, Watson W. A Decacordon of Ten Qoudlibeticall Questions. 1602. ERL. V.197. P.158; Broughton R. A. Just and Moderate Answer. N2; Preston T. A Last Reionder. 1619. P.386.

мингтону, власть королей происходит непосредственно от Бога⁴², а идея народного согласия лишает монарха суверенитета:

“Нельзя сказать, что король, завладевший короной в силу законного права наследования или избрания, допускается к власти [*is assumed to the office*] своими подданными или кем-либо еще; ибо из этого следовало бы, что он не является сувереном [*Dominus Supremos, a Sovereigne*], но подчинен тем, кто допускает его. Ведь тот, кто назначается на должность, получает власть от того, кто назначает его”⁴³.

Если Уормингтон недвусмысленно писал о том, что власть государя пристокает только от Бога, без посредничества народа, то с Престоном дело обстоит сложнее. Подчеркивая “абсолютность” власти монарха, не знающего над собой никаких владык, кроме Бога, и никому, кроме него, не обязанного отчетом⁴⁴, Престон, однако, сознательно уклонялся от разрешения вопроса о суверенитете (хотя и сформулировал его в одном из своих трактатов), под тем предлогом, что он не имеет прямого отношения к полемике⁴⁵. Но в одном из более ранних текстов он писал: “После того, как государя избрали, ...общество [*Respublica*] отрекается от своей власти, и она передается королю”⁴⁶.

Данный пассаж не поддается однозначному толкованию, поскольку Престон мог подразумевать, что общество изначально обладает высшей властью, но затем лишается ее, передавая избранному монарху и его наследникам. Такая трактовка встречалась и у других католических авторов (например, у М.Келлисона); она в принципе не исключает возможность ограничения власти государя со стороны подданных⁴⁷. Однако возможен и другой вариант – общество лишь определяет личность правителя для того, чтобы отдать ему власть, предназначенную Богом, которой само общество не может пользоваться. К какому варианту склонялся сам Престон, сказать невозможно: в его текстах встречаются упоминания о народном суверенитете, но они всегда приводятся только в сослагательном наклонении, как мнения других авторов⁴⁸, а свое отношение к ним он избегал высказывать.

Среди католических авторов присутствовал еще один явный противник идеи народного суверенитета – Генри Констебл (1562-1613), эмигрант шотландской ориентации, активно поддерживавший права Якова VI на английский престол. Он выступил против “Рассуждения” Парсонса, в котором последний обосновывал право подданных решать вопросы престолонаследия. По мнению Констебла, общество есть ни-

⁴² Warmington W. A Moderate Defence, p.53, 65.

⁴³ *Ibid.*, p.29.

⁴⁴ Preston T. Last Reionder, p.224.

⁴⁵ *Ibid.*, p.422.

⁴⁶ Preston T. Apologa pro iure principum. 1611. P.185.

⁴⁷ Келлисон, например, считал, что “поскольку народ дает королю его власть, именно он ограничивает ее” (The Right and Jurisdiction..., p.54).

⁴⁸ A New yeares gift, p.71-73.

что иное, как "огромное многоголовое чудовище"⁴⁹, и передача ему власти может привести только к мятежам и в конечном итоге к хаосу⁵⁰, как это произошло в соседних Нидерландах⁵¹ и в Шотландии, свергнувшей королеву Марию. Он напрямую связывает ее падение с распространением идей Джона Бьюкенена, проповедовавшего народный суверенитет, и отождествляет Парсонса с последним⁵².

Однако отрицая идею народного суверенитета, Констебл практически ничего не говорит о собственных взглядах; можно предположить, что он был сторонником божественного происхождения королевской власти, так как его гневные филиппики в адрес общества вряд ли возможно соединить с признанием этого самого общества источником монархической власти. Но считал ли Констебл эту власть неограниченной? Прямого ответа на этот вопрос в его тексте нет, однако рассуждая о власти, предоставленной обществу в трактате Парсонса, Констебл замечает, что последний отдает обществу то, что по праву должно принадлежать Церкви и папе⁵³. Таким образом, вряд ли может идти речь об абсолютной монархии.

Как уже отмечалось, идеи "народного согласия" (*popular consent*) были широко распространены в Англии, поэтому их восприятие католическими авторами не вызывает удивления, хотя следует отметить, что приверженность некоторых из них (особенно Парсонса) теории народного суверенитета, безусловно, носит на себе отпечаток влияния континентальной, прежде всего, французской политической мысли.

С теорией божественного права монарха дело обстоит сложнее. Исследователи расходятся во мнении относительно того, следует ли считать ее сторонников абсолютистами в полном смысле слова. Так, Дж.Фиджис в своей монографии⁵⁴ рассматривал теорию божественного права как последовательно абсолютистскую, поскольку она, по его мнению, формулировала новую теорию монаршего суверенитета⁵⁵. Спустя почти сто лет этот тезис был развит Дж.Соммервиллем⁵⁶.

Однако ряду историков подобная трактовка казалась слишком упрощенной. Маргарет Джадсон считала, что только два автора из тех, кто развивал в своих сочинениях идею божественного происхождения монархии, затрагивали вопросы суверенитета⁵⁷. Дж.Аллен и Ф.Оукли полагали, что эта идея легко могла сочетаться с признанием ограниче-

⁴⁹ Constable H. A Discoverye of a Counterfecte Conference. 1600. ERL. V.6. 1969. P.24.

⁵⁰ Ibid., p.37f, 50, 71, 73.

⁵¹ Ibid., p.24.

⁵² Ibid., p.56-58.

⁵³ Ibid., p.83.

⁵⁴ Figgis J. The Divine Right of Kings. L., 1896.

⁵⁵ Figgis J.N. The Divine Right of Kings. 2nd ed. Cambridge, 1922. P.256-263 etc.

⁵⁶ Sommerville J.P. Op.cit., ch.1.

⁵⁷ Judson M. The Crisis of the Constitution: An Essay in Constitutional and Political Thought in England, 1603 – 1645. N.Y., 1976. P.202, 213-215.

ния власти короля⁵⁸. К этому же мнению склоняются К.Шарп и К.Расселл⁵⁹. Наконец, Г.Бёрджесс четко разводит теорию божественного права монархов и теорию абсолютизма. По его мнению, первая из них активно разрабатывалась в межконфессиональной полемике и была нацелена, прежде всего, против развиваемых католиками и кальвинистами тираноборческих идей. Функцией указания на божественность происхождения королевской власти было опровержение возможности сопротивления государю со стороны его подданных, но отнюдь не разрешение вопроса о суверенитете. И именно этот вариант наиболее часто встречался в произведениях английских авторов (особенно клириков). Что же касается теории абсолютизма, то она предполагает признание элемента произвольности в действиях монарха, который неподвластен никакому закону, кроме божественного и имеет право издавать законы (и требовать налоги) без согласия подданных. Последняя же позиция была значительно менее распространена, и высказывалась обычно в иных обстоятельствах – в контексте полемики вокруг королевской прерогативы⁶⁰.

Католические сторонники теории божественного права монарха – Уормингтон, Престон и, возможно, Констебл – подобно многим своим соотечественникам-протестантам не были склонны выводить из нее идею неограниченной произвольной власти государя. Напротив, в их текстах божественная по происхождению власть английского короля явно ограничена в соответствии с традиционными представлениями о парламенте и его правах. В этом отношении на всех трех авторов не повлияло даже их многолетнее пребывание во Франции и прекрасное знакомство с идеями королевского абсолютизма, высказанными теоретиками галликанского толка⁶¹. Если в вопросах взаимоотношения духовной и светской властей они склонны были прислушиваться к мнению французских богословов, то сюжеты, связанные со светской властью, трактовались ими исключительно в русле английской политической традиции.

⁵⁸ Allen J.W. *English Political Thought, 1603 – 1660*. V. 1. L., 1938, p.97-101; Oakley F. *Omnipotence, Covenant, and Order: An Excursion in the History of Ideas from Abelard to Leibniz*. Ithaca, 1984. Ch.4.

⁵⁹ Sharpe K. *Politics and Ideas in Early Stuart England*. L., 1989. P.285-288; Russell C. *The Causes of the English Civil War*. Oxford, 1990. Ch.6; *Idem*. *Divine Rights in the Early Seventeenth Century // Public Duty and Private Conscience in Seventeenth-century England / Ed. by J. Morrill etc.* Oxford, 1993. Ch.7.

⁶⁰ Burgess G. *The Divine Right of Kings Reconsidered // Idem*. *Absolute Monarchy and the Stuart Constitution*. New Haven; L., 1996. P.91-123.

⁶¹ Констебл провел в Париже более 30 лет (1580-1603); Уормингтон в 1585г. был выслан в Нормандию и вернулся в Англию только в 1594г. Престон большую часть своей жизни в эмиграции провел в Италии, в бенедиктинском монастыре Св.Юстины в Падуе (1591-1602). Однако и он прожил несколько лет во Франции, в Реймской коллегии (в 1580-е гг., и затем в 1603-1605 гг.), а его произведения демонстрируют прекрасное знакомство с трактатами французских авторов; в этом отношении он явно превосходит и Уормингтона, и Констебла.

В своих представлениях о светской власти английские католические авторы колебались между следованием национальной традиции и влиянием континентальных образцов. Осознание собственной конфессиональной принадлежности мешало католикам чувствовать себя верноподданными англичанами, заставляя обращаться к признанному оправданию всех религиозных неконформистов – идее о повиновении монарху только в гражданских делах. Ряд авторов шел еще дальше, пытаясь адаптировать к английским условиям континентальные тиранические идеи. Но их размышления о происхождении государства и природе королевской власти прекрасно вписываются в контекст английской политической мысли. Именно это обстоятельство и позволило им сыграть важную роль в ее истории.

В начале XVII в. в Англии резко возрос интерес к трудам авторов-католиков (как теологическим, так и политическим). Этот интерес отчасти подстегивался правительством, поощрявшим межконфессиональную полемику. Сказывалось здесь воздействие постепенно усиливавшегося конфликта между короной и парламентской оппозицией, по неволе привлекавшего внимание к вопросам политической теории. В таких условиях труды католиков-эмигрантов играли особенно важную роль: написанные привычным слогом, оперировавшие знакомыми понятиями, известными любому англичанину, они одновременно знакомили своих соотечественников с континентальными политическими теориями. Их книги порой вызывали негативную реакцию, с ними многократно полемизировали, но их, безусловно, знали. Фактически их произведения стали одним из каналов, при помощи которых достижения континентальной мысли адаптировались английской традицией.

И.В.Немченко (Украина)

**Томас Гоббс и теоретики “власти *de facto*”:
право индивидуума
в контексте политического конфликта**

Индивидуализм как этический принцип – дитя Ренессанса. Утверждение самостоятельной ценности человеческой личности и ее неограниченных возможностей, потрясающий воображение образ *homo universalis* – всем этим европейская цивилизация обязана мыслителям и поэтам-гуманистам эпохи Возрождения. В то же время нельзя не заметить, что этика и филология, блистательно представленные в произведениях гуманистов, вытеснили на задний план другую сферу интеллектуальной деятельности, имевшую давние и прочные корни в истории общественной мысли – политическую теорию. Гуманисты привнесли в общественное сознание светское рационалистическое видение мира, предоставив преемникам искать в нем место строгим категориям политической науки. Проникновение индивидуализма в политическую мысль XVI-XVII вв. – обширная научная проблема, в настоящей статье рассматривается лишь один из ее аспектов.

В 40-е годы XVII в. в Англии появляются политические трактаты, резко отличающиеся от всех остальных по своему содержанию и методологии. Их автором был 52-летний одинокий человек, без титула и состояния, занимавший скромное место домашнего воспитателя в семье барона Кавендиша. Имя его – Томас Гоббс. Немного найдется политических философов в Англии, в Европе и в мире, которые могли бы сравниться с ним по силе и глубине мысли, бесстрашию выводов, по степени воздействия на умы современников и, наконец, по числу посвященных его творчеству исследований.¹

Гоббс – отец современной политической науки, и принцип индивидуализма, чуждый средневековой традиции, был привнесен в английскую политическую мысль именно им.² Одним из важнейших положений учения Гоббса является идея равенства всех людей от природы.³

¹ Willms B. Der Weg des Leviathan: Die Hobbes. Forschung von 1968 – 1978. Berlin, 1979; Garcia A. Thomas Hobbes: bibliographie internationale de 1620 a 1986. Caen, 1986. Zagorin P. Hobbes in Our Mind // Journal of the History of Ideas. 1990. V.51. №2.

² Strauss L. The Political Philosophy of Hobbes, its Basis and Genesis. Oxford, 1936. Macpherson C.B. The Political Theory of Possessive Individualism: Hobbes to Locke. Oxford, 1962. Eccleshall R. Order and Reason in Politics. Theories of Absolutism and Limited Monarchy in Early Modern England. Oxford, 1978.

³ Выступая против освященного столетиями авторитета Аристотеля, Гоббс четко формулирует в “Левиафане”: “Природа создала людей... равными телесно

С этой идеей связана другая – о естественном праве каждого человека. Гоббс пишет, что всякому человеку в равной мере присуще стремление обрести благо и избежать зла для себя. Это врожденные страсти каждого. Самая сильная из страстей – страх насильственной смерти, этого извечного врага человечества, и именно из нее Гоббс выводит естественное право индивидуума. "Первое положение естественного права, – пишет он, – заключается в том, что каждый человек изо всех сил стремится защитить свою жизнь и неприкосновенность". И далее: "...поскольку каждый человек имеет право на самосохранение, его должно также наделить правом использовать все средства и совершать любые поступки, без которых его самосохранение невозможно"⁴. В "Левиафане" Гоббс дает наиболее четкое определение понятию естественного права индивидуума: "Естественное право (*jus naturale*) есть свобода каждого человека использовать свою силу по собственному усмотрению для сохранения своей природы, ...жизни и, следовательно, все, что по своему суждению и разумению он признает наилучшим для того средством"⁵.

Другой важнейшей категорией политического учения Гоббса является естественный закон (*lex naturalis*), общее предписание разума, запрещающее человеку делать то, что разрушительно для его жизни и лишает его средств к самосохранению, и пренебрегать тем, что, по его мнению, способствует самосохранению более всего⁶. Понятия естественного права и естественного закона, таким образом, коренятся в стремлении индивидуума к самосохранению, но различаются по самому своему существу: "Право заключается в свободе делать что-либо или воздержаться, в то время как закон определяет, обязывает к чему-то одному"⁷. Каждый человек должен стремиться к миру, если есть надежда его достичь, когда же мир невозможен, человек волен искать и использовать все средства и преимущества в ведении войны. Требование первого, важнейшего естественного закона – ищи мира и сохраняй его. Последующие естественные законы подчинены первому. Гоббс подчеркивает, что несоблюдение естественных законов ведет к войне, грозящей человеку гибелью и, следовательно, "противоречит первому и основному естественному закону, предписывающему людям искать мира"⁸. Итак, самосохранение индивидуума – цель, а мир – наилучшее средство для его достижения.

Пока речь идет о естественном праве и естественных законах самих по себе, цель и средство не приходят в противоречие. Однако в

и умственно" – *Hobbes T. Leviathan: or the Matter, Form and Power of a Commonwealth Ecclesiastical and Civil // The English Works of Thomas Hobbes of Malmesbury. Now first collected and edited by sir William Molesworth. V.III. L., 1839.*

⁴ English Works, v.II, p.9; v.IV (L., 1840), p.83.

⁵ English Works, v.III, p.116.

⁶ *ibid.*, p.117.

⁷ *ibidem.*

⁸ English Works. V.III. P.138.

каждом из политических произведений Гоббса ("Элементы закона", "О гражданине", "Левиафан") вслед за первой частью, где рассматриваются эти категории, следует вторая, посвященная проблемам государства, его возникновения и функционирования. Специальное рассмотрение гоббсовских концепций общественного договора и суверенитета не входит сейчас в наши задачи⁹. Попытаемся проследить, что происходит с правом индивидуума на самосохранение, когда он, по воле Томаса Гоббса, становится членом гражданского общества.

Автора "Левиафана" нередко обвиняют в создании модели тоталитарного государства. Учитывая необыкновенную широту полномочий гоббсовского суверена (или государства – эти понятия идентичны), такие утверждения не лишены некоторых оснований. Тем не менее, и пресловутый "меч в руках государства", и беспредельная власть суверена, распространяющаяся даже на имущество и духовную жизнь подданных, оказываются бессильны перед непоколебимым естественным правом каждого человека – правом на жизнь, на самосохранение. Во имя осуществления этого права заключается общественный договор, по которому люди отказываются от многих других своих прав, данных самой природой. В силу этого властвует могучий Левиафан. В противном случае теряется смысл первого и второго, и законопослушные подданные возвращаются в свое естественное состояние.

Справедливости ради отметим, что подобные положения не выступают на передний план в политическом учении государственника Гоббса. Однако они, безусловно, в нем присутствуют. "Назначение суверена, – пишет Гоббс, – будь это одно лицо или собрание лиц, заключается в обеспечении безопасности подданных"¹⁰. Долг подданного – подчиняться суверену и не оказывать непослушания. Однако, ни один человек при заключении общественного договора не отказывается от права защиты своей жизни и неприкосновенности в случае, если гражданский закон не может своевременно прийти ему на помощь. Более того, ни один закон не может обязать человека пренебречь самосохранением¹¹. Каждый, согласно своему естественному праву, сам выбирает необходимые средства борьбы и судит, насколько велика опасность¹². Соглашения, обязывающие не заботиться о своей безопасности, недействительны, поскольку противоречат естественному праву индивидуума. Гоббс приводит в "Левиафане" яркие примеры превосходства естественного права над гражданским. Так, преступник не обязан сознаваться в содеянном, если он не уверен в помиловании, так как ни один договор не может обязать человека обвинять самого себя. Если солдат, идущий на войну, дезертирует, но сделает это только из

⁹ См.: Немченко И.В. Томас Гоббс и Английская революция середины XVII века. Канд. дисс. М., 1981.

¹⁰ English Works, v.III, p.322.

¹¹ Ibid., p.285, 288; v.II, p.25; v.IV, p.103.

¹² Ibid., v.IV, p.83.

страха, его можно назвать трусом, но не изменником¹³.

Вышеизложенное относится к критическим моментам во взаимоотношениях государства и индивидуума. Но Гоббс идет дальше и обращается к ситуации, когда не один, а множество людей оказалось в оппозиции власти. "...В случае, если сразу множество людей неправо воспротивились суверену или совершили какое-нибудь крупное преступление, за которое каждого из них ждет смерть, неужели они не вольны объединиться, помогая и защищая друг друга? Конечно, вольны, ибо они защищают свою жизнь, что равно дозволено виновному и невиновному"¹⁴. Восстание несправедливо по своей сути, ибо противоречит общественному договору, но доводить начатое до конца – не значит совершать новую несправедливость.

Гоббс пишет, что если в войне, внешней или внутренней, враг одержал решительную победу, и потерпевшее поражение государство не может более обеспечивать безопасность подданных, каждый человек может защищать себя теми средствами, какие сочтет нужными¹⁵. Общественный договор расторгается, но может быть опять заключен в случае, если новый правитель способен обеспечить безопасность граждан. Обращаясь к вопросу о путях возникновения государства, Гоббс выделяет особый их тип – "приобретенные государства". Разница между "установленными" и "приобретенными" государствами состоит только в том, что в первом случае люди избирают суверена из страха друг перед другом, а во втором – перед тем, кого они признают своим правителем. "В обоих случаях они делают это из страха... перед смертью или насилием". Иначе ни один человек в каком бы то ни было государстве не мог бы быть обязан повиноваться¹⁶.

Мы попытались проследить одно из направлений в учении Гоббса, наиболее существенное для понимания теории власти "de facto", представленной рядом английских политических мыслителей середины XVII в. Важно подчеркнуть, что политическая мысль Гоббса созревала в условиях кризиса стюартовского абсолютизма, до начала вооруженного конфликта между королем и парламентом. В 1640 г. были написаны "Элементы закона, естественного и политического"¹⁷. Второе его значительное сочинение – "О гражданине" было опубликовано в Париже два года спустя на латинском языке¹⁸. Наконец, в 1651 г. в Англии, в условиях индипендентской республики был издан "Левиафан".

Политическое учение Гоббса в основных чертах сформулировано уже в "Элементах закона". В последующих работах он оттачивал отдельные положения, но нет оснований говорить о сколько-нибудь су-

¹³ Ibid., v.III, p.204-205.

¹⁴ Ibid., p.206.

¹⁵ Ibid., v.III, p.321.

¹⁶ Ibid., v.III, p.159.

¹⁷ *Hobbes Th. The Elements of Law, Natural and Politic // English Works. V.IV.*

¹⁸ Английский перевод под названием "*Philosophical Rudiments concerning Government and Society*" увидел свет в 1651 г. См.: *English Works. V.II.*

щественной эволюции его системы в целом. Создается впечатление, что социальные и военные бури, пронесшиеся над Англией в середине столетия – гражданские войны, свержение монархии, установление республики – не только не поколебали уверенности Гоббса в справедливости его политической теории, но укрепили ее. Это стало возможным потому, что как в 1640 г., так и в 1651 г. Гоббс писал не о каких-либо конкретных монархах или правительствах, а о государстве как таковом, исходя из неизменной природы человека, наделенного неотчуждаемым естественным правом на самосохранение. Его политическая система рационалистична и абстрактна, в ней нет места верности династии или даже какой-либо одной политической форме. Современные критики нередко обвиняли Гоббса в “непрактичности”. Но именно эта “непрактичность”, отвлеченный характер учения позволяли применять его положения и к стюартовской монархии, и к протекторату Кромвеля, и к любому другому виду государства. Гоббс в свое время сетовал, как трудно пройти невредимым между двух воюющих армий. Ему удалось это сделать, поднявшись над “линией фронта”. С высоты теоретического осмысления политических вопросов он разглядел многое из того, что было скрыто для участников политических баталий.

Сегодня не вызывает сомнений влияние идей Гоббса на современников¹⁹. Каждое из проявлений этого влияния достойно исследования. Обратимся к кругу политических авторов, которые зачастую не скрывали связи с гоббсовскими идеями. Это так называемые теоретики “власти *de facto*” конца 40-50-х гг. XVII в. – Энтони Эшем, Марчмонт Нидхем, Томас Уайт, Джон Дюри, Френсис Осборн и др.²⁰ Они не были объединены в какой-либо партии или движении, которые во множестве вызвала к жизни Английская революция. Труды их появляются не ранее конца 40-х гг., особенно после казни Карла I и провозглашения республики, которая быстро приобретала черты диктатуры.

Пожалуй, наиболее колоритной фигурой был М.Нидхем (1620-1678), стоявший у истоков английской журналистики. С 1643 г. он, выпускник Оксфордского университета, сотрудничает в пропарламентской газете “*Mercurius Britannicus*” и одновременно учится медицине. Жизненный и политический путь Нидхема извилист. Начав как сторонник парламента, он в 1644 г. призывает к аресту короля, а в 1647 г. уже работает в роялистской газете “*Mercurius Pragmaticus*” и в 1649 г. пишет трактат в защиту Карла I. Отсидев несколько месяцев в тюрьме, он

¹⁹ Skinner Q. Thomas Hobbes and His Disciples in France and England // Comparative Studies in Society and History. 1966. V.8. № 2. *Idem*. The Ideological Context of Hobbes's Political Thought // Historical Journal. 1966. V.9. №3.

²⁰ Одним из первых обратил на них внимание П.Загорин (Zagorin P.A. History of Political Thought in the English Revolution. L., 1954). См. также: Skinner Q. The Ideological context.; Nedham M. The Case of Commonwealth of England / Ed. by Ph.Knachel. Virginia, 1969; Coltman I. Private Men and Public Causes. Philosophy and Politics in the English Civil War. L., 1962.

готовит "Дело государства в Англии" (1650)²¹, где открыто называет себя раскаявшимся роялистом и призывает сограждан последовать своему примеру. Дружит с Джоном Мильтоном, страстным сторонником индипендентской республики. Накануне реставрации Стюартов Нидхем оказывается на континенте. Каким-то невероятным образом он получает прощение Карла II и разрешение вернуться в Англию²². В 1676 г. он – автор трактата, направленного против антикоролевской оппозиции. В наиболее смутные периоды жизни Нидхем мудро обращается к врачебной практике и даже посвящает ей особый трактат²³.

Энтони Эшем (1618-1650) последователен в своих политических пристрастиях. Джентльмен, закончивший Кембриджский университет в 1633 г., член Долгого парламента, он сближается с пресвитерианами, а затем поддерживает индипендентов²⁴. В 1648 г. Эшем публикует политический трактат, известный под названием, данным его второму изданию 1649 г.: "О беспорядках и революциях власти". Спустя два месяца после казни Карла I им был написан памфлет "Происхождение и цель гражданской власти". Эшем выполняет дипломатические поручения парламента в Гамбурге летом 1649 г., а в январе 1650 г. он отправляется в Мадрид в качестве посла. Его верительные грамоты были подготовлены Мильтоном. На следующий день по прибытии Энтони Эшем был убит в результате заговора роялистской эмиграции.

Таким образом, политические судьбы теоретиков "власти de facto" весьма различны, связи между ними довольно слабы. Иногда они ссылаются друг на друга²⁵, но главное, что дает основания говорить о них как об особом направлении в английской политической мысли середины XVII в. – это содержащаяся в их работах идея подчинения граждан той власти, которая существует. Казалось бы, эта идея стара, как христианский мир. Необходимость "воздать кесарю кесарево" – общее место средневековой политической философии, в слегка модернизированном виде переживавшее в политические трактаты XVI-XVII вв. Лояльность со стороны подданных воспринималась как необходимое условие существования государства, глава которого, в свою очередь, по божественному или естественному закону обязан был заботиться об их благе.

В то же время европейская политическая мысль никогда не оставалась равнодушной к вопросу, почему именно необходимо подчинение властям. Апелляции к Священной истории или естественному закону, разнообразные трактовки возникновения государства – все это по духу весьма далеко от идеи подчинения власти просто потому, что она фак-

²¹ Опубликован по частям в редактируемой им газете "Mercurius Politicus".

²² Nedham M. The Case of the Commonwealth..., Introduction, p.XLI.

²³ Подробную биографию М.Нидхема см. в Dictionary of National Biographies.

²⁴ Colman I. Op. cit., p.198.

²⁵ Некоторые были знакомы с Гоббсом лично: по свидетельству современника, Гоббс, живя в Лондоне, часто посещал Т.Уайта и даже восхищался им, хотя они постоянно спорили. Ф.Осборн был другом Гоббса. – Ibid., p.121, 226.

тически существует. Усилия поколений мыслителей разобраться, почему необходимо подчиняться правителям, сами по себе отрицают такую постановку вопроса. Кроме того, средневековая и ренессансная политическая мысль содержала сильное противоядие идее слепого подчинения властям. Тираноборчество, присутствовавшее в европейской традиции как привычный элемент, а иногда вырывающееся на свободу в гневных обличениях порочных правителей, требовало в своей теократической или светской формах “воздать Богу Богово” либо следовать естественному закону скорее, чем повелениям неправого монарха. Пассивное – всегда, а иногда и активное сопротивление следовало оказывать тирану, пренебрегшему своими обязательствами перед Богом или подданными.

В мощном русле европейской традиции политической мысли и, в особенности, на фоне демократических идей, порожденных Английской революцией, концепция подчинения фактической власти может показаться бледной и даже в чем-то аморальной попыткой ее авторов увязать свои взгляды с политической конъюнктурой. Между тем, идеи такого рода, действительно тесно связанные с реалиями современной им Англии (а можно ли считать это исключительным явлением?), обладали собственной логикой и при ближайшем рассмотрении, оказываются гораздо богаче и рельефнее уготованной им схемы.

Отметим прежде всего, что вопрос о подчинении подданных власти, да и о законности самой этой власти, в конце 40-х – начале 50-х годов XVII в. был более чем актуален. В Англии произошли резкие политические перемены. У власти оказалась партия, посягнувшая на вековые устои английской монархии. Карл I Стюарт был казнен, Палата лордов распущена. Англия стала республикой, но диктатура Кромвеля приобретала все более отчетливые очертания. Ситуация падения старого суверенитета и утверждения нового, столь обстоятельно рассмотренная Гоббсом еще в начале 40-х, стала драматической реальностью для миллионов англичан. Сознательные политические борцы составляли лишь малую их часть. Широкие массы граждан “вне политики” были потрясены, обескуражены невиданными переменами. Между тем, им предписывалось принятие присяги на верность Республике. Вначале это требование распространилось только на ведущих государственных служащих. В октябре 1649 г. круг лиц, подлежащих присяге, был расширен по решению Парламента, а с февраля 1650 г. принесение присяги стало обязательным для всех граждан²⁶.

По этому вопросу развернулись дебаты. Ведь англичане уже клялись в верности королю, подписывали Ковенант. Обсуждение вопроса о присяге вызвало к жизни большое число политических произведений, часть которых издавалась анонимно²⁷. Многие значительные труды

²⁶ *Nedham M. The Case of Commonwealth...*, Introduction, p.XIII.

²⁷ *Wallace J. The Engagement Controversy, 1649–52: An Annotated List of Pamphlets // Bulletin of the New York Public Library. 1964. P.384-405.*

теоретиков "власти de facto" возникли в ходе этой полемики как ее составная часть. Все они обращены к рядовым гражданам, далеким от государственных дел и власти, к "маленькому человеку", наделенному, тем не менее, разумом и совестью. В стремлении обратить своих читателей на сторону Республики авторы берут на вооружение "гоббистскую" аргументацию. При этом, в одних случаях прямых ссылок на Гоббса нет, а в других он явно присутствует в качестве авторитета, подтверждающего положения пишущего.

Последнее относится к произведению М.Нидхема "Дело государства в Англии". В самом начале Нидхем упоминает "знающих людей, которые писали на эти темы раньше и, по всей видимости, говорили правду, так как не были заинтересованы в наших делах"²⁸. В конце работы в виде приложения опубликован отрывок из трактата Гоббса "Элементы закона", наряду с фрагментом из "*Defensio regia*" Салмазия. Трактат перенасыщен примерами из истории Англии, Европы, а также из Священной истории. Исторический пример, подсказанный широкой эрудицией, – верный союзник Нидхема, подкрепляющий любой маневр его изобретательного ума. С точки зрения политической теории, трактат содержит два основных положения. Первое – о временном, преходящем характере любого государства, политической формы, династии. "Так, древние четыре монархии, – пишет Нидхем, – существовали по 500 лет каждая, затем наступал "фатальный период", и они уходили в небытие. Иногда время существования государства измерялось половиной этого срока, иногда столетием. В таком случае, не удивительно, что наша английская монархия, достигшая почти 600-летия со времен нормандского завоевания, должна сейчас, согласно общей судьбе всех других государств, отказаться от своих интересов в пользу некой другой власти, семьи или формы"²⁹. В мире, таким образом, царит судьба, которую Нидхем, не слишком углубляясь в суть вопроса, называет также Божественным провидением или фатальной необходимостью. Противостоять этой силе – безумие.

Нидхем небрежен не только в характеристике сверхчеловеческой силы, распоряжающейся мирскими державами, но и в определении самой смены государственных образований. В названии соответствующего раздела его текста присутствует термин "революция", обозначивший в XVII в., прежде всего, круговорот. Поминается и Платон, впервые в европейской традиции писавший о круговороте политических форм.³⁰ Но у Нидхема "революции" нет, а есть упадок той или иной государственности, достигшей своего "фатального периода" без каких-либо надежд на возвращение ее в будущем.

Обратимся ко второму фундаментальному положению трактата. Кратко оно сформулировано в названии второй его части: "О том, что

²⁸ Nedham M. The Case of Commonwealth..., p.3.

²⁹ Ibid., p.13.

³⁰ Ibid., p.8.

власть меча есть и всегда была основанием всех прав на власть". На исторических примерах Нидхем показывает, что насилие ("власть меча") было источником власти как первой монархии (имеется в виду правление библейского царя Нимрода), так и всех последующих государств, немонархических в том числе. Отдадим справедливость автору – в примерах такого рода, действительно, нет недостатка. Одна лишь английская история – до- и посленормандская – предоставляет Нидхему благодатный материал. Меч Цезаря, меч саксов, господство датчан, нормандское завоевание, затем убийство Вильгельма Рыжего, борьба между Стефаном и Матильдой, завоевание Ирландии и Уэльса, смещение Эдуарда II и Ричарда II и т.д., наконец, основатель династии Тюдоров Генрих VII, который "пришел с армией и просто силой был сделан королем в армии и армией"³¹. "Что до справедливых оснований, их у него не было никаких". Большинство правителей, – полемизирует Нидхем с пресвитерианским священником Эдуардом Ги, – пришло к власти не только без какого-либо "призвания" со стороны подданных, но абсолютно против воли народа. Из 25-ти королей, которые правили Англией, не более полудюжины получили свою корону по наследству. Тем не менее, люди (вся нация) всегда признавали полномочия этих правителей и оказывали им послушание, пока они были у власти. Как глас народа звучит: законно повиноваться тем, кто обладает властью, даже если их право на нее предположительно незаконно и основано на силе. Об этом свидетельствует опыт предков, которые так поступали ради сохранения мира. Те, кто отказывают новой власти в подчинении из соображений совести, по причине ранее произнесенных присяг, клятв, ковенантов, или ссылаясь на незаконность власти, добытой мечом, – это сварливые люди, упорствующие против разума и обычая всего мира. В глазах закона любой нации это изменники. Если такой человек погибнет, в лучшем случае его признают святым сумасшедших и мучеником дураков³². Что касается присяг и клятв, то они даются людьми при определенных обстоятельствах и в определенных политических целях. Если обстоятельства изменились, они не могут оставаться в силе. Нидхем ссылается на авторитет Гуго Гроция: клятва верности, данная магистрату, не связывает более человека, если магистрат перестает быть таковым³³.

Что дает подданному подчинение новой власти? Нидхем рассматривает этот вопрос "от обратного". Третья глава его труда называется "О том, что неподчинение государству справедливо лишает людей блага защиты с его стороны". Оказывается, государство защищает подданных в ответ на послушание и дружественность тех, кого оно защищает. В противном случае люди ставят себя в положение врагов государства и законно могут быть наказаны. Это анархисты, разру-

³¹ Ibid., p.25-27.

³² Ibid., p.28, 29, 38.

³³ Ibid., p.50.

шающие главную цель гражданского объединения – общественную безопасность. Государство, – ссылается Нидхем на Аристотеля, – обеспечивает правосудие, поощряет добродетель и наказывает порок. Без этого невозможно наслаждаться миром и счастьем³⁴.

В трактате смутно присутствует и идея общественного договора. Какое бы новое государство не было установлено, оно так же прочно *de jure*, как если бы имел место договор всех людей страны³⁵. Не удивительно, что Нидхему для подтверждения своей правоты потребовалась апелляция к Гоббсу. Как можно было убедиться, некоторые его утверждения перекликаются с теоретическими положениями мыслителя. Но они односторонне и плоско восприняты. Создается впечатление, что Нидхем относится к Гоббсу примерно так же, как к самой Английской республике – прагматически. Поддерживая победивший режим, Нидхем использует вырванные из контекста и тем самым лишённые глубины положения. У Гоббса на первом месте – неотчуждаемое естественное право человека. Нидхему же важно доказать, что царевубийца Кромвель не менее достоин подчинения граждан, чем все его предшественники у кормила власти.

Джон Дюри, как и М.Нидхем, – участник противостояния по вопросу о присяге. В 1650 г. он издает два небольших по объёму трактата, в которых спорит с анонимными противниками ее подписания³⁶. Автор набожный и благочестивый, Дюри стремится освободить совесть подданных от угрызений в связи с ранее произнесенными клятвами и Ковенантами. Присяги приносятся в определенных обстоятельствах и на определенных условиях (Дюри склонен видеть в присяге род общественного договора, при котором обе стороны – подданные и правитель – берут на себя ряд обязательств). Нет уже короля и Палаты лордов, следовательно, все клятвы, данные им, недействительны³⁷. Нет никаких моральных препятствий принятию присяги Республике.

Что, с точки зрения Дюри, лежит в основе падения монархии и установления республики? Божественное провидение, – пишет он, – пошатнуло основания монархии и лишило ее возможности обеспечить какую бы то ни было защиту и сохранность (*preservation*) каждому из жителей этой страны и дало такую возможность другой форме государства. Отсюда следует, что, согласно природе, суждениям сведущих людей, опыту христиан былых времен и нашим прошлым присягам, мы, по воле Божьей, должны тихо и мирно, оставаясь на своих местах и при своих занятиях (*callings*), жить под этим правлением и подчиняться ему в том, что требуют от нас власть предержажшие. Это закон-

³⁴ *Ibid.*, p.31.

³⁵ *Ibid.*, p.36.

³⁶ *Dury J. Just Re-proposals to Humble Proposals. L., 1650. Idem. Two Treatises Concerning the Matter of the Engagement. The second of Mr.Dureus maintaining the satisfactoriness of his considerations against the Unknown Authors exceptions. L., 1650.*

³⁷ *Dury J. Just Re-proposals...*, p.15.

но и необходимо для сохранения нас самих и других людей³⁸. В такого рода положениях Дюри отчетливо проступают гоббсовская концепция самосохранения индивидуума³⁹, его трактовка назначения государства, облеченные в характерную для пуритан религиозную форму. Дюри нигде не упоминает имени мыслителя, хотя не исключено, что под "сведущими людьми" подразумевается именно Гоббс.

Энтони Эшем – один из наиболее глубоких мыслителей рассматриваемого направления. В его политических произведениях, изданных в 1649 г., идея подчинения существующей власти не выступает как самоцель, но логически следует из основных положений автора. Выше уже отмечалось, что политические теоретики этого круга обращались, прежде всего, к рядовому человеку, гражданину. Более того, интересы этого человека, индивидуума, оказывались в основе их более или менее совершенных построений. Энтони Эшем продвинулся в этом направлении достаточно далеко. Что такое "народ"? – задается он вопросом в памфлете "Происхождение и цель гражданской власти". Общепринято, что народ – это "сорт людей похуже и поглубе". Между тем, народ – это "каждый отдельный человек внутри любой нации или королевства"⁴⁰, вне зависимости от его положения в обществе, сословия или богатства, вне разделения на "лучших", более знатных, и "низших", плебеев. Народ, состоящий из отдельных людей, – истинный источник всякой власти. Воля народа, воплощенная в общественном договоре, создает государство в любой из его форм. Мир и благоденствие народа – конечная и единственная – кроме славы Божьей – цель государства. Противно разуму предположение, что люди могут отказаться от силы, которой они обладают, в пользу короля или правителя ради вреда и собственной гибели⁴¹.

Памфлет Эшема был написан через два месяца после казни Карла I и содержит обоснование права народа, который есть источник всякой власти, избавиться от тирана. Его положения звучат вполне оптимистично. Иной характер носит трактат "О беспорядках и революциях", в котором исследуется, насколько человек может законно приспособиться к власти и указам тех, кто с различным успехом владеет королевствами, разделенными гражданскими и внешними войнами⁴². Работа была издана в дополненном варианте в том же 1649 г., но написана в 1648-м. Уже из названия видно, что речь в трактате идет о положении человека в смутное время, когда ни одна из сторон общест-

³⁸ Ibid., p. 10.

³⁹ Гоббс употребляет термин "self-preservation", Дюри – "preservation of ourselves and others". – Ibid., p. 654.

⁴⁰ Ascham A. The Original and End of Civil Power. L., 1649; Complaint and Reform in England 1436–1714. N.Y., 1938. P. 645.

⁴¹ Ascham A. Of the Confusions and Revolutions of Governments Wherein is examined How farre a man may Lawfully conforme to the Powers and Commands of those who with various successes hold Kingdomes divided by Civill or Forraigne Warrs. L., 1649.

⁴² Ibid. Preface.

венного конфликта не добилась прочной победы. Как в этой ситуации чувствует себя народ, этот источник всякой власти на земле? Ответ ясен – люди несут на себе все тяготы войны, испытывают жестокие лишения. Народ редко или вообще никогда не начинает войну, но оказывается втянутым в нее, когда она началась. Так было в древние времена, когда триумфы римлян скрывали ужасы войны, так было во времена войны Алой и Белой розы, так и ныне: люди помимо своей воли оказываются вовлеченными в конфликт, и обе враждующие стороны требуют от них верности. Между тем, человеческая жизнь – это то, что можно однажды потерять, и ничто ее не вернет. Люди вступают в гражданское состояние ради обеспечения своего права на жизнь⁴³. Сама природа склонна больше к сохранению отдельного человека, чем "тела общественного". Поэтому в периоды гражданских войн человек должен ради сохранения своей жизни соблюдать лояльность к той стороне, которая побеждает, вне зависимости от причин и сути конфликта. Соппротивление опасно и даже вредит побежденным. Нужно платить налоги, как выкуп за свою жизнь. "Чтобы безопасно миновать полный опасностей лес, – пишет Эшем, – законно иногда облачиться в шкуры зверей, обитающих в этих лесах"⁴⁴. Таким образом, по Эшему, нельзя требовать от гражданина соблюдения каких-либо нравственных обязательств правителям, навязавшим ему противное самой человеческой природе состояние гражданской войны. Не из моральных побуждений подчиняются люди победившему в борьбе за власть, а в расчете на политическую стабильность и гражданский мир.

Еще более пессимистичные взгляды выражает Френсис Осборн в "Совете сыну". Интересы подданных и правителей – совершенно различны. Подданные – это чужаки в собственной стране, и должны вести себя соответственно. Тирания так же естественна для власти, как вожделение для молодости. Вся мировая история исполнена жестокости и амбиций правителей, заливавших землю кровью. Исходя из этого, подданные должны оставаться глухи к призывам властей принести себя в жертву, в особенности, когда правитель уже смещен. Кровопролития, ужасов войны должен избегать всякий, если он не сошел с ума. Правителям следует оказывать повиновение, пока они обладают властью; судьба власти и подчинения едина, второе заканчивается вместе с первой. Они так далеко над нами, – пишет Осборн о правителях, – они превращаются в ничто для нас, когда теряют возможность себя поддерживать.⁴⁵ П.Загорин называет эту концепцию циничной, полагая, не без оснований, что Ф.Осборн, как и М.Нидхем, чужд истинного республиканизма.⁴⁶ Мы, однако, воздержимся от моральной оценки политического мыслителя и его концепции.

⁴³ Ibid., p.49.

⁴⁴ Ibid., p.67.

⁴⁵ *Coltman I. Private Men and Public Causes...*, p.226-227.

⁴⁶ *Zagorin P. Op. cit.*, p.130.

Подведем некоторые итоги. Английская политическая теория "власти *de facto*" 40-50-х гг. XVII в. – явление внутренне неоднородное. На одном его крыле – М.Нидхем с непостоянством политических пристрастий и готовностью беспрепятственно признать любую власть не менее (хотя и не более) законной, чем все остальные. На другом – Э.Эшем и Ф.Осборн и трагическая необходимость человека подчиниться силе, неизмеримо превосходящей его собственную.

Великий теоретик Томас Гоббс привнес в европейскую политическую науку положение о незыблемости естественного права индивидуума. Отшлифованное столетиями, оно вошло в золотой фонд общечеловеческих ценностей. Однако, история утверждения принципов индивидуализма, которые стали достоянием многих современников Гоббса, далеко не проста. Мыслители, воспринявшие идею естественного права человека на самосохранение, сразу же встретились с серьезным препятствием, каковым явилась английская политическая действительность середины XVII века.

Гоббсовская идея естественного права логически сочеталась с идеей естественного закона, концепцией общественного договора и даже с учением о суверенитете. Каким же образом могло осуществиться естественное право каждого рядового англичанина в годы гражданских войн? Теория Гоббса не касалась такой конкретики. На этот вопрос попытались ответить мыслители, названные благодаря содержанию своих ответов теоретиками "власти *de facto*". Им не удалось, подобно Гоббсу, пройти без потерь между воюющими армиями, так как эти армии переставали быть литературным образом – слишком громко стреляли пушки и лилась кровь. Не общественный договор "каждого с каждым" заключали равные от рождения люди – набирающий силу диктатор требовал поголовной присяги на верность.

Удивительным в этой ситуации представляется не пессимизм и даже аполитичность Э.Эшема или Ф.Осборна, а их последовательная приверженность естественному праву человека, "каждого отдельного человека", который и есть народ.

М.П.Айзенштат

**Парламентская реформа 1832 года
в Великобритании:
мнение современников, оценки историков**

В ряду наиболее значимых событий истории Великобритании стоит парламентская реформа 1832 года, ставшая важным рубежом в социально-политическом развитии общества. Она положила начало трансформации системы представительства, сложившейся в средние века и являвшейся скорее привилегией для землевладельцев, части фермеров и жителей некоторых городов, нежели реальным представительством народа в законодательном органе, роль которого неизменно возрастала после Славной революции 1688 г. Уже в XVIII в. экономическая, демографическая, социальная и политическая ситуация в стране не соответствовала характеру выборов, требования преобразований с 60-70-х годов превращаются в один из важнейших факторов политической жизни. Если для вигов и тори это была скорее мера, направленная на ослабление позиции политических соперников или на ликвидацию наиболее тяжких злоупотреблений, сопровождавших выборы, то радикалы сформулировали программу кардинального реформирования системы выборов в парламент (она предусматривала введение всеобщего права для мужчин, тайного голосования, равных избирательных округов, сокращение семилетнего срока полномочий парламента и др.), которая осуществлялась поэтапно на протяжении XIX столетия и завершилась в начале XX в.

Борьба в парламенте и обществе по вопросу о парламентской реформе не закончилась с ее проведением в 1832 г., роль и значение реформы обсуждались в обществе, а впоследствии стали предметом острой научной полемики. В настоящей статье предпринята попытка рассмотреть обе эти масштабные дискуссии в комплексе.

Разворачивавшаяся с 1829 г. борьба за парламентскую реформу была вызвана экономическим кризисом и последовавшей за ним депрессией, социальными последствиями промышленной революции и рядом других факторов объективного и субъективного характера и привела к ускорению процессов формирования идеологии консерватизма, либерализма и радикализма, политизации общества, становлению общественных и политических организаций. В это время и складывается отношение различных слоев и классов общества к реформе, вырабатываются представления разных партийных группировок о ее характере и предназначении. Тори, виги (их в это время все чаще начинают называть консерваторами и либералами) и радикалы не пред-

ставляли собой сплоченных единой платформой партий и разброс мнений был достаточно широк внутри каждой группировки. Хотя и схематично, мы можем определить их позиции следующим образом.

Позиция правого фланга была сформулирована герцогом Веллингтоном в его знаменитой парламентской речи осенью 1830 г., когда он заявил, что политическое устройство Великобритании прекрасно, и потому конституция не нуждается ни в каких изменениях. Вместе с тем, весьма примечательно, что во время правительственного кризиса в мае 1832 г. Веллингтон, принимая предложение Вильгельма IV сформировать кабинет, согласился на условие монарха – провести реформу. Тем не менее, любые высказывания о реформах тори рассматривали как посягательство на древние права народа. Однако в среде умеренных тори все-таки были трезвые политики, признававшие назревшую необходимость частичных изменений в системе представительства. Предлагавшуюся вигами реформу они отвергали, утверждая, что она внесет изменение в сложившуюся систему разделения власти.

Среди вигов можно наблюдать тот же разброс мнений: там были как сторонники, так и противники реформы, но численно первые преобладали, а в ходе борьбы последние зачастую были вынуждены примкнуть к реформаторам. Позицию партии формулировали стоявшие во главе правительства в начале 30-х годов лорд Грей и его сторонники, намеренные ликвидировать часть “карманных” местечек как источник наибольших злоупотреблений при выборах. Нарастание социальной напряженности вынуждало их действовать в парламенте более решительно, так как они полагали, что только реформа, пусть и частичная, позволит предотвратить революционный взрыв в стране.

Не было единства мнений и в лагере радикалов. Не все были согласны с отдельными пунктами программы, сформулированными еще в XVIII в. Для радикалов проведение реформы означало ликвидацию всевластия аристократии, что предоставило бы возможность изменить экономическую и социальную политику правительства.

Несмотря на усилия демократической прессы, пытавшейся раскрыть сущность аристократической реформы, для подавляющей части жителей страны с ее проведением были связаны надежды на улучшение социального и, главным образом, экономического положения. Именно это и обусловило веру в “реформу” и общественный подъем в начале 30-х годов, массовое участие городского и сельского населения в подаче петиций, митингах и шествиях.

После длительной борьбы в парламенте по вопросу о реформе, обеими палатами был принят ее третий, наиболее умеренный вариант, сокративший лишь часть “карманных” местечек, и наделивший правом отправлять в парламент своих представителей некоторые крупные промышленные центры. Увеличилось число избирателей за счет домовладельцев в городах и некоторых категорий фермеров в графствах. Приходившие в города и деревни известия о том, что реформа

принята парламентом, сопровождались колокольным звоном и митингами. Без преувеличения можно сказать: торжество было повсеместным. Парламентская реформа 1832 года не скоро стала событием прошлого. В 30-40 годы, отмеченные небывалым подъемом общественных движений, политики, публицисты и даже философы пытались определить ее место в истории страны и свое отношение к ней.

Консерваторы рассматривали реформу как посягательство на неизблемость конституции и свою задачу, по словам Р.Пиля, видели в предотвращении дальнейших шагов демократического характера. Большинство вигов считали реформу актом, завершившим преобразования 1820-х годов. Свою роль в ее проведении они оценивали весьма высоко. Радикальные круги полагали, что средний класс одержал важную, но частичную, лишь первую победу. Большинство же радикалов ожидало дальнейших перемен. Недовольство результатами реформы и пореформенной политикой правительства вигов стало одной из важнейших причин возникновения чартистского и фритредерского движений. Чартисты вновь поставили вопрос об осуществлении демократической реформы избирательной системы.

Неоднозначно отзывались о реформе Т.Карлейль и Д.С.Милль. Т.Карлейль был одним из наиболее популярных авторов, размышления которого о проблемах современной ему Британии, привлекали внимание сограждан и оказали большое влияние на общественные настроения того времени. Его работы "Чартизм" и "Теперь и прежде" наполнены рассуждениями о том, что принесла с собой парламентская реформа, о революции и реформе, характере движения и требованиях чартистов¹. Д.С.Милль уже в 30-е годы, с точки зрения ее значения для жизни общества, сравнивал проведенную реформу с Реформацией.

К.Маркс и Ф.Энгельс не были современниками событий, а парламентская реформа – предметом их специального рассмотрения: отзывы о ней содержатся в немногочисленных публицистических статьях и выступлениях. Более того, на протяжении десятилетий их позиция по проблеме реформы изменялась и уточнялась. Тем не менее она важна в силу того, что, с одной стороны, отражала взгляды наиболее радикальных кругов общества последующих десятилетий, а с другой – определила и подход историков-марксистов к изучению истории борьбы за реформу и определения ее значения. Прежде всего необходимо отметить, что реформа 1832 года рассматривалась ими как важный рубеж не только английской, но и европейской истории, который наряду с революционными выступлениями на континенте обозначил изменения в позиции буржуазии: если до 30-х годов, по их мнению, средний класс был революционным, то с этого времени, добившись власти, он превращается в класс реакционный. Билль о реформе, писал Энгельс,

¹ Карлейль Т. Теперь и прежде. М., 1994; Carlyle T. Chartism. L., 1840.

“сделал буржуазию правящим классом...”² Он отмечал, что условия выборов в сельских местностях остались прежними, сохранилось и усилилось преобладание землевладельцев, а в городах большинство рабочего класса по-прежнему было отстранено от выборов, и только в промышленных центрах буржуазия захватила господствующие позиции. И вместе с тем он приходит к заключению: в силу большего экономического влияния буржуазии в целом наступило ее господство³. Победы она добилась только благодаря поддержке широких слоев трудящихся. Роль вигов в проведении реформы отвергалась: они были вынуждены действовать, писал К.Маркс, в силу обстоятельств после провала попыток договориться с тори⁴.

Долгое время Маркс и Энгельс называли разные причины того, почему аристократия решила на проведение реформы: предполагавшееся ослабление ее влияния на выборы было не столь существенным⁵; отказ от уплаты налогов⁶; коалиция буржуазии с английским пролетариатом и ирландским крестьянством, угроза революции, обмен банковских билетов на золото, что подрывало финансовую стабильность⁷ и др. Пока, наконец, К.Маркс не сформулировал наиболее важные, по его мнению, причины: “Изгнание Веллингтона из кабинета за то, что он высказался против парламентской реформы, июльская революция во Франции, угрожающая активность больших политических организаций, созданных буржуазией и пролетариатом в Бирмингеме, Манчестере, Лондоне и т.д., крестьянская война в земледельческих графствах...”⁸ Объясняя, почему буржуазия согласилась на такой компромисс Энгельс утверждал, что представители среднего класса были “совершенно необразованными выскочками, которые волей-неволей должны были предоставить аристократии все те важные правительственные посты, где требовались иные качества...”⁹ Конкретные итоги парламентской реформы оценивались как незначительные: “Пожалуй

² Энгельс Ф. Положение рабочего класса в Англии // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т.2. С.439. См. также с.505.

³ Энгельс Ф. Положение Англии. Английская конституция // Там же. Т.1. С.625-627. То же противоречие мы видим и в статье Энгельса “История хлебных законов” (1845): с одной стороны, он писал о том, что буржуазии со времени билля принадлежало господствующее положение в нижней палате, а с другой – утверждал, что “в действительности класс землевладельцев сохраняет еще значительный перевес в парламенте, посылая в парламент непосредственно 143 представителя от графств, косвенно почти всех депутатов от мелких городов и будучи представленным, кроме того, торийскими депутатами крупных городов”. – Т.4. С.516, 520.

⁴ Маркс К. Лорд Джон Рассел – II // Там же. Т.11. С.408.

⁵ Энгельс Ф. Хлебные законы // Там же. Т.1. С.510.

⁶ Маркс К. Процесс против рейнского окружного комитета демократов // Там же. Т.6. С.270.

⁷ Энгельс Ф. Английский билль о десятичасовом рабочем дне // Там же. Т.7. С.249.

⁸ Там же. Т.11. С.408.

⁹ Энгельс Ф. Введение к английскому изданию “Развития социализма от утопии к науке” // Там же. Т.22. С.315.

никогда еще такое могучее и, по всей видимости, успешное народное движение не сводилось к таким ничтожным и показным результатам... Предоставление... избирательных прав было в общем рассчитано не на увеличение влияния буржуазии, а на подрыв влияния тори и усиление влияния вигов", – писал К.Маркс¹⁰. А Ф.Энгельс в 1892 г. отмечал, что "победа в 1832 г. оставила почти исключительно в руках аристократии ведущие государственные должности"¹¹.

С конца 1850-х годов публикуются мемуары и переписка современников¹². Появляются биографии наиболее заметных политиков, в которых авторы пытаются трактовать события начала 30-х годов с точки зрения роли их "героев". Уже в 1858 г. впервые была издана "История тридцатилетнего мира (1816-1846 гг.)", получившая широкую известность у читающей публики. Почти через двадцать лет книга вновь вышла из печати¹³. Ее автор – Г.Мартино – известная писательница и общественный деятель своего времени. Иронично звучит уже само название книги. Эти годы отнюдь не были самым спокойным периодом в истории страны, напротив, они были отмечены поистине небывалым накалом социальной и политической напряженности в обществе, борьбой среднего класса с аристократией за свои права, за проведение политического курса правительства в своих интересах. Парламентскую реформу 1832 г. она, как и многие радикалы того времени, рассматривала как результат этой борьбы и необходимое условие для проведения дальнейших преобразований¹⁴.

Парламентские реформы 1867 г. и 1884-1885 гг., вполне естественно привлекая внимание к первой реформе, вызвали попытки определить те силы, которые сыграли решающую роль в ее проведении, оценить ее значение. К концу XIX – началу XX в. в трудах британских историков окончательно формируется либеральная концепция истории страны первой половины века¹⁵. Реформа 1832 г. в этих исследованиях заняла ведущее место и рассматривалась как результат изменения взглядов правившей аристократии, которая осознала необходимость реформ и осуществила их. Правящие круги действовали, учитывая общественное мнение и интересы сограждан, однако решающим фак-

¹⁰ Там же. С.409.

¹¹ Там же. С.315.

¹² *The Autobiography of a Working Man*, by "One who has whistled out the plough". L., 1848; *Peel R. Memoirs by the Right Honourable Sir Robert Peel*. L., 1857-1858. V.1-2; *Russel J. Recollections and Suggestions 1813-1873*. L., 1875; *Martineau H. Harriet Martineau's Autobiography with Memorials by M.W.Chanman*. V.1-2. L., 1877; *Bowring J. Autobiographical Recollections of Sir John Bowring*. L., 1877; *Bamford S. Passages in the Life of a Radical*. Oxford, 1984 [1884]; etc.

¹³ *Martineau H. A History of the Thirty Year's Peace 1816-1846*. V.1-4. L., 1877.

¹⁴ *Ibid.*, v.2. P.383.

¹⁵ *Morley J. The Life of Richard Cobden*. V.1-2. L., 1883; *Morley J. The Life of William Ewart Gladstone*. V.1-2. L., 1905; *Stephen L. The English Utilitarians*. V.1-3. N.Y., 1950 [1900]; *Jephson H. The Platform. Its rise and Progress*. v.1-2. L.-N.Y., 1892; etc.

тором было все-таки мнение среднего класса¹⁶. Самым тесным образом с вопросом о реформе связана интерпретация ее значения для последующего развития страны. Историки традиционного направления значение реформы оценивали не с точки зрения расширения избирательных прав, либо сокращения размеров злоупотреблений и коррупции, а как важный рубеж, завершавший один и открывавший другой период в истории страны, который и определил дальнейшее направление развития английского общества по пути постепенных реформ к процветанию и социальной стабильности викторианского периода. В начале XX в. кембриджские историки назвали реформу "революцией", которая дополнила Славную революцию 1688 г., в силу того, что землевладельцы были вынуждены поделиться своими привилегиями с "торговым и промышленным средними классами"¹⁷.

Однако большинство представителей либерального направления видели значение реформы не в некотором расширении избирательного права, так как средние классы не получили доступа к власти, а в создании условий для усиления влияния общественного мнения. Наиболее полно либеральная концепция впервые была изложена в трудах Дж.Тревельяна¹⁸. Тревельян видел истоки реформы в экономическом кризисе, росте нищеты и безработицы, восстаниях в деревнях, способствовавших "объединению нации в требовании Реформы", которая рассматривалась аристократией как единственное средство предотвращения революции¹⁹. Если бы не реформа, то Великобритания могла бы быть втянута в европейскую войну по подавлению французской и бельгийской революций, которые возвестили о наступлении новой эры "великих изменений" на континенте. В своих работах Тревельян утверждал, что реформа 1832 г. явилась триумфом умеренной политики, которая сохранила в неприкосновенности самые лучшие английские традиции и институты. В тот момент, когда нация была готова воспринять изменения, реформа была проведена одной группировкой правящей элиты, в которую, по словам Тревельяна, вошли представители лучших семей страны²⁰. При этом вигская аристократия действовала добровольно, в союзе с единомышленниками из среды среднего класса, а не под давлением. Тревельян довольно категорично отвергал обвинения критиков содержания Билля: по его мнению, только такой закон и мог лорд Грей провести через парламент, так как никакой другой не был бы одобрен консерваторами²¹.

¹⁶ The Cambridge Modern History. Cambridge, 1907. V.X. P.618-619.

¹⁷ Ibid. P.617.

¹⁸ Trevelyan G.M. The Life of John Briht. L., 1914; History of England. N.Y.; L., 1926; British History in the XIX-th century and after. L., 1937.

¹⁹ Trevelyan G.M. British History... P.226-228.

²⁰ Ibid. P.231. Тревельян отменил все упреки в том, что кабинет лорда Грея был аристократическим: вель именно таким и должен был быть кабинет, решавший задачи сохранения интересов короны, лордов, владельцев местечек и т.д.

²¹ Ibid. P.241.

Историки, придерживавшиеся радикально-либеральных взглядов, больше внимания уделяли общественным движениям, которые оказывали на правительство и парламент "давление извне". Они утверждали, что реформа изменила картину политической жизни страны, принеся буржуазии часть политической власти и открыв путь к господству, которого она достигла в середине века, но еще более важным, чем сама реформа, было установление "давления извне". Эта концепция, которая, по сути, является развитием идей радикалов, наиболее полное освещение получила в книге Дж.Батлера "Прохождение Билля Великой Реформы"²². Батлер утверждал, что инициаторами и лидерами движения за реформу были городские слои среднего класса, под давлением которых аристократы-землевладельцы вынужденно шли на уступки. Англия находилась на пороге революции, которую предотвратили действия вигов, решившихся на эту меру. По Батлеру, главным был внепарламентский уровень борьбы, хотя вопрос о билле и решался в стенах парламента.

Наряду с исследованиями в рамках традиционной либеральной концепции, с начала 1930-х годов усиливаются и консервативные тенденции в разработке политической истории Великобритании первой половины XIX в., отрицавшие позитивный характер реформы 1832 г.²³ Начался пересмотр либеральной трактовки и критика политики вигов.

В наибольшей мере обращение историков этого направления к проблемам 1830-1840-х годов обозначилось после окончания II мировой войны. Среди работ этого плана особое место занимают исследования Н.Гэша. Его первая книга "Политическая жизнь в эпоху Пиля" вышла в 1953 г. и впоследствии неоднократно переиздавалась²⁴. Как видно уже из самого названия, Н.Гэш совершенно по-новому подошел к рассмотрению реформы 1832 г. и всего периода в целом, рассматривая его как "эпоху Пиля", одного из лидеров консерваторов. Анализ значения и результатов реформы, политических событий того времени проведен им на основе статистических данных парламентского представительства со времени кризиса 1830 г. и до смерти Р.Пиля в 1850 г. При этом автор учитывал социальную принадлежность членов парламента, условия выборов и т.д. Исследование, по словам Гэша, выявило "органическое сходство" дореформенной и реформированной политической системы, выразившееся в сохранении преобладания аграрных интересов, непропорционального представительства, коррупции, "карманных местечек", разных форм влияния на избирателей, давления лендлордов. По сути, он своим исследованием подтвердил то, что

²² Butler J.R.M. *The Passing of the Great Reform Bill*. L., 1914.

²³ Одним из инициаторов ревизии вигской концепции с консервативных позиций был Д.К.Кларк. — *Clark G.K. Peel and the Conservative Party. A Study in Party Politics 1832-1841*. L., 1964; *Idem. An Expanding Society: Britain 1830-1900*. Melbourne, 1967; *Idem. The Making of Victorian England*. L., 1977.

²⁴ *Gash N. Politics in the Age of Peel*. L., 1977. Это издание вышло с новым предисловием и расширенной библиографией.

утверждали историки и прежде, а именно: реформа не оказала непосредственного влияния на состав парламента²⁵. Особый интерес для нас представляет его небесспорный вывод о том, что парламентская реформа стала поворотным пунктом в истории страны лишь для потомков и историков, но не для современников, при жизни которых политическая сцена 30-х годов не слишком отличалась от предыдущего и последующего десятилетий. Реформа, писал он, имела "значительные окончательные результаты и интересный, достаточно неожиданный непосредственный эффект", в то время как ей "придают не то, чтобы слишком большое, но не то по сути значение"²⁶. По мнению Гэша, таким важнейшим эффектом парламентской реформы стало формирование партийных организаций в столице и в провинции и установление связей между ними, что явилось отправной точкой в движении к становлению современной партийной системы, в свою очередь, усилившей воздействие общественного мнения на парламент²⁷. "Это было время, — писал он, — когда общественное мнение оказывало более непосредственное и продолжительное давление на узкий круг парламентских политиков, чем когда бы то ни было... Влияние этого давления само по себе являлось как знаком общественного интереса к политическим делам, так и стимулом для их свершения"²⁸.

Гэш опроверг сложившиеся стереотипы о позициях и противостоянии вигов и тори. По его мнению, консерваторы понимали необходимость проведения изменений, а виги лишь перехватили инициативу. Консерваторы, доказывал Гэш, были лишь против реформы, предлагавшейся вигами, которая могла бы привести к изменению соотношения сил обеих палат и короны, и оказались правы. По сути, проблема реформы была сведена им к проблеме взаимоотношений консерваторов и либералов, их противостоянию в парламенте.

Фундаментальное исследование Н.Гэша вновь привлекло внимание к проблемам политической истории Великобритании первой половины XIX в. В своих последующих работах Гэш развивал идеи, изложенные в первой монографии, порой уточнял отдельные положения. В 1965 г. вышла его новая книга "Реакция и перестройка английской политической жизни (1832-1852 г.)"²⁹ Исследование кризиса начала 1830-х годов и механизма политической жизни пореформенного периода было продолжено на основе анализа деятельности палаты общин и палаты лордов, короны, политических партий и церкви. Гэш отмечал постепенное уменьшение влияния короны на ход политической жизни до 1830 г., т.е. до вступления на престол Вильгельма IV, который пытался

²⁵ Woodward E.L. The Age of Reform 1815-1870. Oxford, 1938. P.87-88.

²⁶ Gash N. Politics... P.X.

²⁷ Ibid. P.28.

²⁸ Ibid. P. XIII.

²⁹ Gash N. Reaction and Reconstruction in English Politics 1832-1852. Oxford, 1965.

активно вмешиваться в дела палаты общин и состав кабинета министров после 1832 г. Анализируя утверждения об угрозе революции, он приходит к выводу, что существовала реальная опасность изменения статус-кво лишь для господствовавшей англиканской церкви. Реформы 1828-1832 гг. (нередко именуемые "конституционной революцией") подрывали именно ее положение как государственного института, а не остальных британских институтов власти, переживших кризис и функционировавших после реформы 1832 г.³⁰ На первый план Н.Гэш выдвигал консервативный консенсус, который определил стабильность британской политической системы и позволил ей выстоять в годы кризиса. Консерваторы, по его мнению, являлись единственным политическим блоком, сумевшим сплотиться и сформировать "признанную партию Оппозиции", не допустив необдуманных действий, и провести в 1840-е годы разумные реформы³¹. В следующей работе — "Аристократия и народ: Британия в 1815-1867 гг."³² — Н.Гэш расширил исследуемый период. Однако парламентская реформа вновь была в центре его внимания. В большей мере, чем в предыдущих исследованиях, он говорит о способности к адаптации и здравом смысле аристократии, которые, по его мнению, явились главной чертой британской истории XIX века и обусловили "успешное удержание аристократией и джентри традиционной политической власти и сохранение уважения со стороны других классов"³³.

Исследования Н.Гэша, в значительной мере расширившие представление о политической истории Великобритании 1815-50-х гг. и о парламентской реформе 1832 года, возвышали роль аристократии в проведении реформ и умаляли значение общественных движений. Не принимая во внимание тот размах борьбы за реформу, которая охватила городское и сельское население, не анализируя происходивших в этот период социально-политических изменений в британском обществе, он отверг сложившееся представление о реформе как важном рубеже в истории развития британского общества.

В 1960-70-е годы выходит немало число исследований, посвященных истории Британии первой половины XIX в.³⁴ Это было время взрыва интереса к социальной истории, к изучению проблем формирования классов, рабочего и женского движений, поворотом к историко-социологическим и сравнительным исследованиям³⁵. Новые исследо-

³⁰ Ibid. P. 60-62.

³¹ Ibid. P.142-143.

³² Gash N. *Aristocracy and People: Britain 1815-1865*. Cambridge, 1979.

³³ Ibid. P.8, 347.

³⁴ Среди работ традиционного плана несомненный интерес представляет "Новая Кембриджская история", утверждавшая, что Реформа расширила избирательное право, являвшееся наиболее прогрессивным в Европе и до ее проведения. — *The New Cambridge Modern History*. Cambridge, 1960. V.X. P.192.

³⁵ Briggs A. (ed.) *Chartist Studies*. L., 1959; Hobsbawm E.J. *The Age of Revolution 1789-1848*. N.Y., 1962; Ward J.T. *Popular Movements 1830-1850*. L., 1970; Hollis P. *Class and Conflict in XIXth-century England, 1815-1850*. L., 1973; Hollis P. (ed.)

вания, расширявшие источниковедческую базу, выявлявшие новые факты, вновь ставили перед исследователями социальной и политической истории необходимость обращения все к тем же проблемам прошлого: какова была роль общественных движений в реформировании системы представительства в Великобритании, каково значение парламентской реформы 1832 г., была ли реальна угроза революционного взрыва и т.д.³⁶ Среди работ консервативного плана выделяется исследование М.Брока "Великий Закон о Реформе"³⁷, в котором детально рассмотрены этапы прохождения билля в парламенте. Отмечая консервативную сущность позиции вигов, Брок, повторяя мысль Тревельяна, утверждал, что лишь ограниченная реформа могла быть одобрена парламентом. В то же время Брок признал также значение "давления извне", не исключив и реальности революционной угрозы. Реформу 1832 г. М.Брок рассматривал как первый акт, заложивший основу для последующего реформирования общества, несмотря на то, что она не реализовала требований радикалов о всеобщем избирательном праве, равных избирательных округах и т.д.³⁸

Однако позиция М.Брока – это скорее исключение для работ консервативного направления, а наиболее характерной представляется книга Р.Блейка "Консервативная партия от Пиля до Тэтчер"³⁹. Реформа 1832 г., по мнению Блейка, не являлась демократическим актом. Для него, как и других исследователей истории консервативной партии, характерно восхваление "либерального торизма", повышенный интерес к деятелям этого лагеря (прежде всего к личности и политике Р.Пиля), которых они рассматривали как выразителей общественного прогресса⁴⁰. К исследованиям подобного плана следует отнести и книгу М.Бентли "Политическая жизнь без демократии", в которой автор по существу отрицает влияние общественных движений и выдвигает на первый план наличие прочных социальных связей между депутатами парламента и народом, которые не сложились в других европейских странах даже к середине века⁴¹.

Pressure from Without in Early Victorian England. L., 1974; *Thompson E.P.* The Making of the English Working Class. L., 1977; *Cronin J.E., Schmeer J.* (ed.) Social Conflict and the Political Order in Modern Britain. L., 1982; etc.

³⁶ The Reform Bill of 1832. Why not Revolution? / Ed. by W.H.Maehl. N.Y. etc., 1967; The Great Reform Bill of 1832. Liberal or Conservative? / Ed. G.A.Cahill. Lexington, 1969; etc.

³⁷ Brock M. The Great Reform Act. L., 1973.

³⁸ Ibid. P.328-333.

³⁹ Blake R. The Conservative Party from Peel to Thatcher. L., 1985.

⁴⁰ Stewart R. The Politics of Protection: Lord Derby and the Protectionist Party 1841-1852. L., 1971; Stewart R. The Foundation of the Conservative Party 1830-1867. L., N.Y., 1978; Jones W.D., Erickson A.B. The Peelites 1846-1857. Ohio, 1972; The Conservative Leadership 1832-1932. L., 1974; Coleman B. Conservatism and the Conservative Party in XIXth-century Britain. L., 1988; etc.

⁴¹ Bentley M. Politics without Democracy: Great Britain, 1815-1914. L., 1985.

В центре внимания либеральных историков обычно находится политика вигов и позиция радикалов⁴². Их работы также отличает богатый документальный материал и новая трактовка событий, свидетельствующая о либеральной попытке пересмотра уже сложившихся стереотипов консервативного толка. Так, А. Митчел обратился к наименее известному периоду в истории политических партий – с конца XVIII в. до парламентской реформы 1832 г., который он характеризует как предысторию конфликта по вопросу о реформе. Автор подробно останавливается на рассмотрении механизма функционирования политической системы с точки зрения вигской оппозиции. Митчел приходит к выводу, что оппозиция не была едина во взглядах на экономическую политику консерваторов в силу наличия различных группировок, связанных узами родства или позицией по вопросу об эмансипации католиков⁴³. Ф. О'Горман опроверг тезис об упадке "виггизма". Он утверждал, что партия вигов приспособилась к миру коммерции и реформ еще до 1832 г. и была на пути выработки прогрессивной идеологии. Вместе с тем, автор отмечал много общего в позиции радикалов и вигов, видевших в избирательном праве средство "стабилизации недовольных элементов". Кризис умеренного либерализма он обнаруживал лишь в отсутствии национального лидера в лагере вигов⁴⁴.

Отчасти ответ на вопрос о том, почему радикалы согласились на компромисс, дается В. Томасом. В центре его внимания влиятельная в 1820-30-х гг. политическая группа так называемых философских радикалов, от ее создания до распада в 1841 г. Он попытался определить, насколько реальна была угроза революционного взрыва, насколько само общество было готово к компромиссу. Автор приходит к заключению, что радикалы не ставили перед собой задачу возглавить народное движение, напротив, они опасались его размаха и возможной революции. Они не знали жизни простого народа и рабочих, были слишком далеки от их забот. Это были не демократы, а джентльмены, приходит к выводу Томас⁴⁵. Вместе с тем, реформа, по его мнению, открыла перед радикалами новые возможности, которые не были использованы ими в полной мере⁴⁶.

В исследованиях А. Бриггса и Д. Кэннона политическая история Британии также подвергается пересмотру в сторону оправдания политики вигов. По мнению Бриггса, длительный экономический и социальный

⁴² Southgate D. The Passing of the Whigs 1832-1886. L., 1962; Marshall D. Lord Melbourne. L., 1975; Maccoby S. English Radicalism 1786-1832. From Pain to Cobbett. L., 1955; Mazlish B. James and John Stuart Mill: Father and Son in the XIXth century. N.Y., 1975; Huch R.K., Ziegler P.R. Joseph Hume: People's M.P. Philadelphia, 1985; Adburgham A. A Radical Aristocrat. The Rt.Hon. Sir William Molesworth Bart., PC, M.P. Padstow, 1990; etc.

⁴³ Mitchell A. The Whigs in Opposition 1815-1830. Oxford, 1967. P.9, 22.

⁴⁴ O'Gorman F. The Emergence of the British Two-Party System. L., 1982.

⁴⁵ Thomas W. The Philosophic Radicals. Nine studies in Theory and Practice 1817-1841. Oxford, 1979. P.445.

⁴⁶ Ibid. P.243, 253, 255.

кризис повлек за собой неизбежную политическую переориентацию, и то, что она "проходила без насильственной революции, было следствием сочетания обстоятельств и личностей". При всей их слабости виги между 1830 и 1835 гг. показали, что серьезные и важные изменения могут быть проведены без кровопролития. Этот урок усвоили их консервативные оппоненты, и особенно Роберт Пиль⁴⁷. В фундаментальном исследовании, посвященном парламентской реформе, Кэннон приходит к выводу, что ее итоги следует рассматривать не с точки зрения изменения состава нижней палаты, которые были невелики и несли в себе элементы консерватизма, а сопоставляя намерения с реальными итогами их осуществления. По его мнению, даже те немногие изменения, которые были внесены старую систему, привели к установлению демократического правления⁴⁸.

Проблема реформы и широкий круг социально-политических вопросов, связанных с ней, рассматривались и в рамках традиционной для британской историографии темы государственного устройства, функционирования кабинета министров, верхней и нижней палат парламента. По мнению канадского историка А.Берча, для дальнейшего развития института ответственного министерства прохождение билля о реформе в обеих палатах было гораздо важнее внесенных им изменений. Вместе с тем, утверждал он, парламентская реформа изменила понимание принципов народного представительства, представительства граждан, а не общин⁴⁹. Реформа 1832 г. отразила появление нового типа собственника, достаточно сильного, чтобы потребовать признания и предоставления политических прав, заявлял Д.Фрай⁵⁰.

Итак, реформа 1832 г. на протяжении длительного времени вызывает споры, противоположные мнения и оценки, касающиеся прежде всего ее значения и результатов. На формирование позиций историков, безусловно, оказывают влияние исследовавшийся ими конкретный исторический материал, мнение современников, их личный опыт, пристрастия и антипатии, которые, в свою очередь, нередко определяют и сам предмет исследования. Вместе с тем, на оценки историков оказывают влияние и другие факторы, а именно, проблемы их страны и того времени, когда они жили. Этот аспект в большей степени проявился в работах не британских, а французских и российских ученых.

В начале нашего столетия либеральные историки континентальной Европы и, прежде всего, Франции пытались осмыслить особенности исторического развития Великобритании, выявить те причины, которые позволили ей избежать революционного взрыва. Именно с таких пози-

⁴⁷ Briggs A. The Age of Improvement. P.282.

⁴⁸ Cannon J. Parliamentary Reform 1640-1832. Cambridge, 1973. P.255.

⁴⁹ Birch A.H. Representative and Responsible Government. An Essay on the British Constitution. Toronto, 1964. P.51-52.

⁵⁰ Fry G.K. The Growth of the Government. The Development of Ideas about the Role of the State and Machinery and Functions of Government in Britain since 1780. L., 1979. P.100, 111.

ций Э.Галеви в своей широко известной работе "История английского народа в XIX веке"⁵¹ исследовал политическую систему Великобритании. Ее стабильность он объяснял наличием парламентской системы, определяющей роль общественного мнения, склонностью аристократии к компромиссам, одним из которых он считал реформу 1832 г.

Со второй половины XIX в. и на рубеже XIX и XX в. события, связанные с реформой и сама реформа не могли не привлечь внимание либеральных отечественных историков, пытавшихся наметить направление дальнейшего развития России. Политическое устройство Великобритании – конституционная монархия и демократические свободы – представлялось им примером, достойным подражания. Такой подход не мог не отразиться на характере изложения исторического материала и на трактовке парламентской реформы, которая рассматривалась прежде всего как показатель способности правящих кругов идти на уступки. Русский ученый и либеральный политический деятель М.М.Ковалевский, автор обобщающих работ по политической истории Великобритании и ее конституционного строя, заложивших основы их изучения в России, называл реформу 1832 г. важнейшим рубежом в истории страны, "радикальной переменной в государственном строе Англии", положившей начало циклу законодательных мер, осуществление которых давно требовало общественного мнения. Он утверждал, что ею был положен конец средневековому началу представительства корпоративных единиц, и введены новые принципы, основанные на владении собственностью. Реформа характеризовалась им, как начало новой эры "мирного превращения Великобритании из аристократической островной монархии... в демократическую империю"⁵².

В "Истории Западной Европы в новое время" Н.И.Кареев главное достижение парламентской реформы видел в победе политической свободы, общественного мнения и демократического движения. Акт 1832 г., писал он, нанес удар по преобладанию поземельной аристократии, но в то же время не допустил к политическим правам демократию, в силу чего буржуазия была вынуждена продолжать борьбу⁵³. Парламентская реформа 1832 г., по мнению автора, являлась первым шагом к всеобщему избирательному праву, это была победа вигов над тори, но принесло ее вигам "чисто демократическое движение, чуть было не перешедшее в революцию". Кареев подчеркивал, что ее значение гораздо шире, чем простое увеличение электората, так как она оказала большое влияние на всю политическую жизнь страны, явившись определенным рубежом, границей между двумя эпохами⁵⁴.

⁵¹ Halevy E. Histoire du peuple anglais au XIX-e siecle. P., 1923. V.2-3.

⁵² Ковалевский М.М. История Великобритании. СПб., 1911. С.175-176, 194-195.

⁵³ Кареев Н.И. История Западной Европы в новое время. СПб., 1913. Т.IV. С.89.

⁵⁴ Кареев Н.И. Деятельный век. Период от 1814 – до 1859 гг. Пг., 1923. С.66-67, 85,86.

В годы первой революции и позднее российские либеральные ученые, историки и юристы стремились познакомить читателя с достоинствами и недостатками европейских политических институтов. В это время выходит большое количество изданий, посвященных в том числе и рассмотрению английской конституции, борьбы за всеобщее избирательное право, свободе слова⁵⁵.

С 20-30-х годов к проблеме реформы обращались и советские историки. Однако для них она была скорее предысторией развернувшегося впоследствии чартистского движения, нежели предметом специального исследования. Даже в наиболее серьезных работах этого и более позднего периодов воспроизводилась концепция, выдвинутая К.Марксом и Ф.Энгельсом. Парламентская реформа рассматривалась как важный этап в развитии капитализма, когда буржуазия увеличила свое влияние в управлении страной. При этом нередко использовался тезис Энгельса, что это была победа промышленной буржуазии над непромышленной, от которого он сам же позднее отказался⁵⁶.

Последние десять – пятнадцать лет в отечественном англоведении отмечены новыми тенденциями. На смену исследований истории рабочего движения и прежде всего чартизма, пришел интерес к политической истории XIX века. В связи с этим на первый план вновь вышли проблемы парламентской реформы 1832 г., борьбы политических партий и общественных движений в период ее проведения, зарождения партийной системы викторианского периода⁵⁷. Не так прямолинейно, как в конце XIX века, на исходе XX столетия отечественная историческая наука вновь пытается осмыслить особенности британского политического развития, выдвигая на первый план процесс взаимодействия власти и общества⁵⁸.

⁵⁵Новик И.Д. Государственный строй Англии. М., 1906; Фортунатов С.Ф. Основные начала английской конституции. М., 1905; Быкова А.Ф. Как англичане добыли себе избирательные права. М., 1906; Дерюжинский В.Ф. Из истории политической свободы в Англии и Франции. СПб., 1906; Мижув П.Г. Политическая история Англии в XIX веке. СПб., 1908; и др.

⁵⁶Ерофеев Н.А. Очерки по истории Англии. М., 1959. С. 34-35.

⁵⁷Кашапов У.А. Борьба партий и общественно-политических движений в Англии в период проведения первой парламентской реформы 1830-1832 гг. Дисс. к.и.н. Уфа, 1994; Тулолева Л.Ф. Движение за парламентскую реформу 1832 г. в Англии // Из истории европейского парламентаризма. М., 1995; Жолудов М.В. Идеология и политика либеральной партии Великобритании в 30-е годы XIX века. Рязань, 1997.

⁵⁸Айзенштат М.П. Британский парламент и общество в 30-40 гг. XIX в. М., 1997.

О.В.Гавришина

Историческое сознание в России 40-х годов XIX века: образ недавнего прошлого в биографии современника

Предметом анализа в данной статье является биография Владимира Дмитриевича Вольховского, написанная в 1844 г. Иваном Васильевичем Малиновским. Рассмотрение этого раннего опыта исторической биографии в России осуществляется в рамках "новой интеллектуальной истории"¹. Ключевыми для формирования этого дисциплинарного поля стали работы американского историка Х.Уайта², предложившего широкое включение литературоведческой теории в историческое исследование. Некоторый итог рецепции идей Уайта в историографии подводит британский историк С.Бэнн: "Даже в максимально просто организованном прозаическом тексте, даже в тексте, в котором объект репрезентации полагается лишь как факт и не более того, использование языка вызывает к жизни уровень вторичных значений за пределами описываемых феноменов"³. Именно этот уровень "вторичных", не связанных с непосредственным "содержанием", смыслов будет привлекать наше внимание в данной статье.

Такой подход позволяет увидеть, как на текстуальном уровне формируется представление о прошлом. Чрезвычайно важно отметить, что понятие о "недавнем прошлом" не предполагает прямой референции к современному представлению о "Николаевской России" – последнее

¹ Зверева Г.И. Реальность и исторический нарратив: проблемы саморефлексии новой интеллектуальной истории // *Одиссей* – 1996. М., 1996. С.11-24; *Репина Л.П.* Вызов постмодернизма и перспективы новой культурной и интеллектуальной истории // Там же. С.25-39. Включение этой проблематики в более широкую историографическую традицию (в том числе российскую) см.: *Ястребицкая А.Л.* Культурное измерение историографического // *Культура и общество в Средние века – раннее Новое время. Методология и методики современных зарубежных и отечественных исследований.* М., 1998. С.17-47.

² *White H.* *Metahistory: The Historical Imagination in Nineteenth-Century Europe.* Baltimore, 1973; *Idem.* *The Tropics of Discourse.* Baltimore, 1978; *Idem.* *The Content of the Form: Narrative Discourse and Historical Representation.* Baltimore, 1987; *Idem.* *Figural Realism: Studies in the Mimesis Effect.* Baltimore, 1998.

³ *Bann S.* *Towards a Critical Historiography: Recent Work in Philosophy of History* // *Philosophy.* 1981. V.56. №217. P.369. См. также: *Bann S.* *The Clothing of Clio: A Study of the Representation of History in Nineteenth-Century Britain and France.* Cambridge, 1984; *Idem.* *Inventions of History: Essays on the Representations of the Past.* Manchester, 1990; *Idem.* *Romanticism and the Rise of History.* N.Y., 1995.

является вполне самостоятельным конструктом прошлого. Так же, говоря о "представлении о прошлом" Малиновского, мы не предполагаем отсылку к реалиям российской истории 1820-30-х годов. Речь идет о специфическом модусе существования знания, в том смысле, в каком "знание о прошлом" отличается от "знания о настоящем", причем концепты "прошлого" и "настоящего" по-разному формулируются в разные эпохи и заново переопределяются каждым пишущим. При таком понимании, прошлое, каким его представляет текст историка, составляется из трансформированной индивидуальной памяти, которая переводится в ранг коллективной, а затем, в измененном виде передается от поколения к поколению. Эта двойная трансформация приводит к выделению прошлого как замкнутого смыслового пространства, которое получает наименование "реальность прошлого".

Данная статья, исходя из подхода, предложенного "новыми интеллектуальными историками", предполагает несколько иной способ построения знания о России 40-х годов XIX века. Это знание включено в существующую историографическую традицию, но не прямым образом. Переосмысливаются понятия "текста источника" и "исторического контекста". Текст Малиновского не может быть объяснен исключительно исходя из широких исторических генерализаций, отсылающих к представлению о Николаевской реакции, выключенности из жизни поколения "отцов"⁴ и т.д., что вполне логически влекло за собой "закрывание" недавнего прошлого для Малиновского. Гораздо более значимым становится интеллектуальный контекст — то, какие бытовали жанры, стили письма и речи, как была представлена профессиональная историографическая практика и обыденное историческое сознание.⁵

В.Д.Вольховского (1798-1841) нельзя назвать фигурой первого ряда в истории русской культуры первой половины XIX в., однако он занимает в ней достойное место. Для выходца из бедной дворянской семьи В.Д.Вольховский сделал хорошую карьеру. Окончил Императорский Царскосельский лицей, лицеист первого выпуска, первая большая золотая медаль. Служил в Петербурге (офицер Гвардейского Генерального Штаба), потом на Кавказе (обер-квартирмейстер, а затем начальник штаба Отдельного Кавказского корпуса). В отставку вышел в 1839 г. генерал-майором и кавалером многих орденов, но не по своей воле. Был "прикосновенным" к следствию по делу о "злоумышленных" обществах (член Союза Спасения и Союза Благоденствия). Последняя опала связана с посещением Отдельного Кавказского корпуса в 1837 г. Николаем I. Был женат (с 1834 г.) на Марии Васильевне Малиновской, дочери первого директора лицея В.Ф.Малиновского. Из троих детей

⁴ См.: Тынянов Ю.Н. Смерть Вазир-Мухтара (пролог).

⁵ Анализ текста в этом специфическом контексте можно сопоставить с "насыщенным описанием" К.Гирца, практикуемым представителями "нового историзма" в литературоведении. - *The New Historicism*. N.Y.; L., 1989. См. также: Гринблат С. Формирование "я" в эпоху Ренессанса: от Мора до Шекспира // Новое литературное обозрение. 1995. №35.

(Анна, Мария, Владимир) выжила только Анна, младшие умерли в детстве. М.В.Вольховская, намного пережив мужа, умерла в 1899 г. Современники неизменно характеризовали Вольховского как человека удивительной честности, порядочности, трудолюбия и отзывчивости.

В 1844 г. в Харькове под заглавием "О жизни Генерал-Майора Вольховского" вышла брошюра без имени автора, но в исторической литературе хорошо известно, что им был И.В.Малиновский⁶. Приведенные в ней сведения широко использовались последующими биографами Вольховского, но сам текст никогда не подвергался специальному анализу. Один из последующих биографов Вольховского Н.А.Гастфрейнд так отозвался об авторе биографии: "В 1844 году в Харькове вышла биография Вольховского, написанная его другом, родственником и товарищем И.В.Малиновским"⁷. Были ли отношения Вольховского и Малиновского дружескими сказать сложно⁸, а вот характеристики "родственник" и "товарищ" заслуживают внимания. Малиновский действительно находился в очень тесных отношениях с Вольховским на протяжении почти всей жизни последнего: лицей, переписка⁹, совместное жительство семейств И.В.Малиновского и Вольховского в Каменке в 1839-1841 годах после отставки последнего. Кроме того, в распоряжении Малиновского находился семейный архив.

И в то же время, эта биография написана *не* другом, *не* товарищем и *не* родственником. Хотя теперь, при соответствующем анализе, мы можем вычленить смыслы, соответствующие мемуарному пласту, Малиновский везде очень жестко выдерживает тон и позицию Историографа: он соблюдает четко обозначенную дистанцию по отношению к своему "герою". Биография имеет как бы собственное измерение. Повествование движется в совершенно обособленном пространстве – "объективном" пространстве исторического нарратива. Парадоксальным образом это "объективное" пространство оказывается в высшей степени мифологичным.

⁶ Извлечено из Харьковских губернских ведомостей. 1844. №7. С.63-71. Русская историческая библиография. Указатель книг и статей по русской и всеобщей истории и вспом. наукам за 1800-1854 гг. вкл. СПб., 1882-1893. Т.2. Биографии и некрологи русских деятелей. С.66 (№12438). Включение этого издания в библиографический указатель указывает на то, что она воспринималась как ранний опыт исторической биографии.

⁷ Гастфрейнд Н.А. Товарищи Пушкина по Императорскому Царскосельскому лицей. Материалы для словаря лицеистов первого курса. 1811-1817: В 3 т. Спб., 1912-1913. Т.3. С.275.

⁸ Отношения Малиновского и Вольховского – тема для специального исследования. Судя по переписке, их отношения были достаточно близкими, Е.А.Розен, сын декабриста А.Е.Розена упоминает, что в 1830-е годы Вольховский подарил Малиновскому прекрасного карабахского скакуна. В то же время, они не ужились в одном доме в Каменке. Малиновский выстроил себе новый дом. А.Е. Розен осторожно замечает в воспоминаниях, что Вольховского в отставке "что-то тянуло к берегам Днепра, ближе к родине, или соседи были не совсем по душе ему." – Розен А.Е. Записки декабриста. Лейпциг, 1870. С.362.

⁹ Гастфрейнд Н.А. Указ. соч. Т.3. С. 251-260. и др.

Биография была опубликована через три года после смерти Вольховского, однако, по прошествии времени, срок этот воспринимался как очень небольшой. А.Е.Розен, женатый на другой сестре Малиновского (Анне) и хорошо знавший Вольховского, в "Записках декабриста" пишет: "Здесь посвящаю несколько страниц памяти В.Д.Вольховского, скончавшегося в 1841 году. Жизнеописание его было напечатано на следующий год..." (1860-е)¹⁰. Тот же Розен, как и другие авторы воспоминаний, пишет о событиях, связанных с отставкой Вольховского, о которых, безусловно, был прекрасно осведомлен Малиновский. Воспоминания В.И.Сафоновича отражают то, что "говорили в обществе" об обстоятельствах отставки Вольховского:

"...но в приезд на Кавказ Императора Николая счастье его оставило. Император нашел много злоупотреблений при управлении барона Розена; с зятя его, князя Дадяна, командовавшего там полком, велел публично сорвать флигель-адъютантские эполеты за злоупотребление нижних чинов на свои работы и другие беспорядки. Вольховского лишил места начальника штаба и назначил бригадным командиром в войска, в Южной России стоявшие. Это был жестокий для него удар и совершенная царская немилость. Он приехал в Петербург хлопотать, нельзя ли как-нибудь поправить обстоятельства; старался оправдаться тем, что он, как подчиненное лицо, не в праве был вмешиваться в распоряжения корпусного командира, а тем менее противодействовать ему; но военный министр князь Чернышев объявил, что Государь и *имени его* слышать не хочет. Таким образом Вольховский, не успев ни в чем, должен был отправиться к своей команде и там, загорав горячку, вскоре умер 40 с небольшим лет отроду."¹¹

Другой биограф Вольховского, Я.К.Грот, свидетельствует:

"По рассказу одного из родственников его <Вольховского – О.Г.> оказывается, что фамилия Волховских и Вольховских принадлежит одному и тому же роду. Но Владимир Дмитриевич Вольховский с самого поступления в Лицей стал писать свою фамилию с ерем. Современник добавляет, что в последнее время жизни Влад. Дм. один из недругов его обратил внимание Императора Николая на такое изменение, с перемещением и акцента, как ополяченые русского имени, и что Государь выразил по этому поводу свое неудовольствие на Вольховского, который и без того в немилости по наговору своего начальника Розена на Кавказе."¹²

Как видно, отставка Вольховского воспринималась как опала, связанная с нерасположением к нему Николая I, другие мемуаристы акцентируют напряженные отношения с И.Ф.Паскевичем. Не комментируя разные версии обстоятельств отставки, отметим, что восприятие Вольховского в контексте конфликтных ситуаций, связанных с изменениями его карьеры, было очень устойчивым. Эта сфера игнорируется Малиновским. Конечно, он не мог написать об этом в 1844 г. из цензурных соображений. Но есть и иная причина: означивание им Вольховского разворачивается в совершенно ином смысловом пространстве.

¹⁰ Розен А.Е. Указ. соч. С.359.

¹¹ Цит. по Гастфрейнд Н.А. Указ. соч. Т.1. С.144. Валериан Иванович Сафонович не был человеком из круга близких знакомых Вольховского, когда-то они учились вместе в Московском благородном пансионе, потом поддерживали отношения в первое время после окончания Вольховским лицей.

¹² Грот Я.К. Пушкин, его лицейские товарищи и наставники. СПб., 1899. С.175.

Начнем со структуры биографии. Текст резко распадается на совершенно самостоятельные части, которые могут быть обозначены как “частная жизнь”¹³ Вольховского (лицей и отставка) и “служебное поприще”. Лицей и отставка – это не вполне периоды жизни Вольховского; частная жизнь, как таковая, вообще не может быть описана в такого рода нарративе.¹⁴ Хронологически и начальная часть (условно – лицей), и завершающая (условно – отставка) содержат эпизоды, относящиеся к разным периодам, в том числе и ко времени, когда развертывалась карьера Вольховского. Это связано, как представляется, с тем, что время до вступления в службу и время после отставки – смысловые пространства, где есть место для раскрытия похвальных, достойных подражания качеств Вольховского. Сходным образом, сведения о его взаимоотношениях с отцом (относящиеся к двум разным периодам – к началу 1820-х и 1830 г.), так же всецело направленные на формирование образа Вольховского как во всех отношениях достойного человека, помещены в подстрочном примечании, поскольку они выпадают из смысловой сферы основного текста – служебной карьеры. Эта сфера и является основной. Именно карьера Вольховского, точнее определенное качество, которого достигает эта карьера, делает его достойным войти в историю. Это качество – Генерал-Майор (кавалер многих орденов, удостоившийся двух Высочайших аудиенций).

Биография эта, как мы указали, совсем не последовательное изложение событий жизни Вольховского (такую форму повествования о нем приобретут очень скоро, в 1850-е гг.), это биография в античном понимании.¹⁵ Малиновский не описывает жизнь Вольховского, он как бы всякий раз подтверждает образ, в полной мере зафиксированный уже в заглавии: “О жизни Генерал-Майора Вольховского”. “Генерал-Майор Вольховский” – это совершенно замкнутый образ, который изначально присутствует и как бы проявляется в самых разных ситуациях, в том числе, в ситуации рождения: “Генерал-Майор, Владимир Дмитриевич Вольховский, родился в 1798 году...” Парадоксальным образом он как бы рождается Генерал-Майором, т.е. в этой ситуации осуществляется нечто, сделавшее его Генерал-Майором – “от весьма небогатых, но благородных родителей”. Каждая деталь “работает” на этот образ.

¹³ Н.А. Гастфрейд воспринимал такого рода сведения как относящиеся к сфере частной жизни даже в начале XX века: “О частной жизни Владимира Дмитриевича биограф его, И.В. Малиновский говорил еще следующее: “Вольховский никогда не играл в карты...” (Т.1. С.175).

¹⁴ Не случайно Малиновский так сдержан при упоминании жены Вольховского, он даже не называет ее по имени. В одном случае – М***; в другом – дочь первого Директора.

¹⁵ Само членение на разделы совпадает со структурой одной из разновидностей античной биографии. Ср. “Биографическая схема Светония состоит из четырех разделов: жизнь императора до прихода к власти; государственная деятельность; частная жизнь; смерть и погребение”. – Гаспаров М.Л. Светоний и его книга // *Светоний. Жизнь двенадцати цезарей*. М., 1991. С.351.

Добродетельность Вольховского, которая раскрывается в разных эпизодах начальной и завершающей части биографии, очень важна, но квинтэссенцией этого образа, его наиболее полным воплощением является формулярный список. Не случайно именно после него проговаривается центральная мысль биографического очерка: *“Сей доблестный муж заслужил место в современной истории”*. Подобные ассоциации с античной традицией биографии (наличие устойчивого образа, который проявляет себя в разных обстоятельствах) предполагает и характеристика, которую дает Вольховскому А.Е.Розен:

“...я видел пред собою в лице заслуженного начальника штаба того же скромного, безукоризненного, деятельного слугу отечества, каким он был всю жизнь свою, каким готовился быть с самого начала своего трудного поприща, каким я видел его в 1821 и 1822 году в Вильне и в Родошковицах, где все, которые знали его хорошо в то время, видели в нем мужа с истинными достоинствами, и с правом стоять в ряду мужей, описанных Плутархом”.¹⁶

Наряду с античной биографической традицией для Малиновского оказываются значимыми современные ему требования к историческому исследованию. Так, он считает необходимым делать ссылки на источники и литературу. Неорганичность этих требований, однако, проявляется в том, что ссылки включены в практически неизменный текст послужного списка. На стр.9: *“Ушаков в Истории военных действий в Азиатской Турции в 1828 и 1829 годах, в части 1, на странице 232 говорит...”*; на стр.10: *“Подробное сведение о блистательных подвигах в сию войну Вольховского можно найти в издававшихся тех лет Тифлиских ведомостях”*¹⁷; на стр.15 к тексту *“...1836 года Всемилостивейше пожалован знаком отличия беспорочной службы за XV.”* Малиновский делает примечание: *“На получение XX летнего знака отличия беспорочной службы, по смерти его найдены все документы изготовленными”*. Н.А.Гастфрейнд и воспринимает эти ссылки в контексте уже *“нормального”* для начала XX в. исторического нарратива. В первой ссылке Малиновский допускает количественную ошибку, и Гастфрейнд, в свою очередь цитируя Ушакова, методично поправляет Малиновского; последнее же его примечание он без всякого изменения (и без всякой ссылки на Малиновского) включает в свой текст, когда говорит о получении Вольховским знака отличия беспорочной службы за XV лет совершенно безотносительно к биографии Малиновского.

В полной мере все своеобразие представления Малиновского о возможных моделях прошлого отразилось в заключении, которое, однако, расположено не в конце биографии, а в конце ее центральной смысловой части: *“Сей доблестный муж заслужил место в современной Истории,”* – ориентация, как представляется, на античную биографию, использование лексики, характерной для *“высокого”* стиля; *“Об нем*

¹⁶ Розен А.Е. Указ. соч. С.334.

¹⁷ Так в тексте.

упоминается при описании экспедиции в Бухарию¹⁸, в Истории военных действий в Азиатской Турции в 1828 и 1829 годах Ушаковым, и бессмертный Пушкин, бывший его товарищ по Лицею, представляет его верным очерком в своем описании "путешествия в Арзрум" во время похода 1829 года,¹⁹ – ориентация на современный Малиновскому исторический нарратив, иная лексика.

Итак, Малиновский пишет биографию как историограф. Однако при более пристальном рассмотрении его позиция может скорее быть охарактеризована как "маска" историографа, то есть он пишет биографию Вольховского, как если бы ее писал историограф. Образ Вольховского, который формирует Малиновский, – это образ, достойный, по его мнению, быть запечатленным в истории. Удивительно при этом переплетаются представления Малиновского, о том, каким должен быть исторический нарратив, с культурными ценностями, которые разделяет Малиновский как человек, живущий в определенное время. И, в данном случае, это совсем не те отношения ценностных установок историка и его профессиональных представлений, которые можно наблюдать в трудах профессиональных историков, например, в трудах Я.К.Грота (интереснейший пример, когда в одном и том же нарративе он выступает и как мемуарист, и как историк). Однако, для Грота, хотя и знавшего лично Вольховского, но писавшего о нем в 1870-е гг., тот стал уже историей, и, соответственно, его текст – это действительно исторический нарратив, характерный для того времени. Тогда как нарратив Малиновского – это как бы исторический нарратив, это игра в историка. И при том, что он талантливо играет свою роль, ценностные доминанты, на которых выстроен образ Вольховского, – это доминанты, характеризующие не "исторического" человека, пусть даже исходя из современных историку ценностей, а "современного".

Доминанты культурного образа, который выстраивает Малиновский, во многом характеризуют современную ему культурную норму. Не случайно в качестве основы текста он использует почти неизменный формулярный список, точнее, один из его разделов:

"Во время службы своей в походах и в делах против неприятеля где и когда находился, не был ли ранен, где и как, какое время и где находился для пользования ран, не был ли взят в плен, в каком деле и когда из оного возвратился на службу, не имел ли сверх настоящей обязанности особых поручений по Вы-

¹⁸ Имеется в виду книга Е.Мейендорфа, вышедшая на французском языке в 1830-х гг. – См.: *Мейендорф Е.К. Путешествие из Оренбурга в Бухару* / Пер. с фр. Е.К.Бетгера; Ред. и вступ ст. Н.А.Халфина. М., 1975.

¹⁹ Интересно, что "Путешествие в Арзрум во время похода 1829 года" А.С.Пушкина приводится Малиновским именно в качестве исторического сочинения в ряду традиционных для того времени официальных военных историй, во многом основанных на военных репортажах, тогда как "Путешествие..." по жанру относится не к историческим исследованиям, но, скорее, к путевым заметкам, выдержанным в духе дружеского письма. В данном контексте важно, что характеристика Вольховского, данная Пушкиным в "Путешествии в Арзрум..." совершенно отличается от упоминаний о Вольховском в двух других приведенных Малиновским "историях" не только по жанру, но и по авторской позиции.

сочайшим повелениям или от своего начальства, какие именно, когда, как оный исполнил и в какое время, также какие награды получал за отличие в сражениях и по другим действиям: чинами, орденами и знаками отличия, Высочайшия благоволения, Всемилостивейшия рескрипты и похвальные листы от своего Начальства, за какие дела и по какому месту служения."²⁰

Славный формулярный список – наиболее развернутая форма идеального текста о “человеке”. Человека характеризуют чин, должность, награды, благоволение Государя. Вчитаемся еще раз в заключительную характеристику Вольховского:

“Но должно было видеть его, отличенного в кратковременную службу тремя звездами, Георгием за штурм и прочими украшениями, осчастливленного двоекратно в кабинете в 1821 году по возвращении из Бухарии, и в 1834 с донесением по делам Кавказским докладом по службе Государю Императору Александру Благословенному и ныне благополучно Царствующему Императору Николаю Павловичу и при все том кроткого и скромного душею”.²¹

Увидеть Вольховского одновременно во всех перечисленных разнородных ситуациях и событиях невозможно. Предлагается увидеть “человека”; перечисленные после запятой характеристики – не однажды происшедшие события, это постоянно присущие ему черты.

Такое представление о человеке прослеживается по многим источникам. Из воспоминаний И.И.Пущина: “...мы шестеро, назначенные в гвардию, были в лицейских мундирах на параде гвардейского корпуса, подъезжает к нам гр.Милорадович, тогдашний корпусной командир, с вопросом: *что мы за люди и какой это мундир?*” (1858)²². “Памятные книжки Александровского лицея” так же, как “Памятная книжка лицейстов” 1907 года издания ограничивались указаниями: в отношении скончавшихся лицейстов – о служебном положении ко дню смерти, находящихся в живых – о занимаемой должности во время печатания списка, и вышедших в отставку – о последнем месте службы.²³ Так, в “Памятной книжке Императорского Александровского лицея 1855-1856 гг.” в числе выпускников 1-го выпуска (среди которых нет ни Пущина, ни Кюхельбекера) под №9 как выпущенный с чином офицера гвардии значится “Вольховский, Владимир Дмитриевич, удостоен золотой медали №1 – умер генерал-майором”.²⁴

Обратимся к записям еще одного лицейста первого выпуска, Модеста Андреевича Корфа. Самая ранняя из известных целостных характеристик Вольховского принадлежит именно Корфу (в 1839 г. он заносит в дневник характеристики всех своих товарищей по лицее).

“Владимир Дмитриевич Вольховский. Первая наша золотая медаль: человек рассудительный, дельный, с твердою, железною волей над самим собою, с необыкновенным трудолюбием; вместе с тем добродушный, скромный и кроткий. По всем качествам души и ума, мы звали его в лицее Сари-

²⁰ Заголовок раздела приводится по формулярному списку Вольховского. – РГВИА. – Ф.400. – ОП.12. – Д.13724. – Л.223-234.

²¹ [Малиновский И.В.] Указ. соч. С.18.

²² Пушин И.И. Записки о Пушкине. Письма. М., 1988. С.32.

²³ Памятная Книжка Лицейстов. 1811 – 19 октября – 1911. СПб., 1911. С.IV.

²⁴ СПб., 1855. С.78-79.

entia. И этот человек, пошедший так быстро, так достойно отстаивавший имя первого нашего воспитанника, вдруг упал так неожиданно и, должно думать, так невозвратно! Он вышел из лица прямо в Квартирмейстерскую часть (называвшуюся тогда свитою), был с Мейндорфом в Бухарии и вообще служил с большим отличием. История 14 декабря, к которой он, впрочем, был прикосновенен только слышанными разговорами, — остановила было его ход; но после краткого заключения все опять пошло по-прежнему. Он был послан с подарками к персидскому шаху, участвовал в кампаниях персидской и турецкой и в последней играл даже значительную роль при Паскевиче, пока сей последний не возненавидел его именно за то, что часть его славы и успехов относили к Вольховскому. Наконец, он получил важное место начальника штаба Кавказского Корпуса, но в прошлом году²⁵, когда Государь был лично на Кавказе и открылись злоупотребления и упущения наместника барона Розена, монарший гнев пал и на Вольховского. Подробности и степень справедливости обвинений мне неизвестны; но кончилось тем, что Вольховского перевели бригадным Командиром куда-то в западных губерниях, а как с этим он попал еще и под начало к ненавидящему его Паскевичу, то принужден был с стеснительным сердцем совсем оставить службу.

Теперь он живет в отставке в деревне в Харьковской губернии рядом с Малиновским, на сестре которого женат. *Он давно уже генерал-майор, получил Анненскую ленту прежде меня, и сверх того имеет 1-го Станислава, 3-го Владимир, Персидского Льва и Солнца и 4-го Георгия. Странное стечение обстоятельств, что именно обоих наших первых воспитанников постиг гнев монарший и почти в одно и то же время*.²⁶

В 1839 г. Вольховский для Корфа — абсолютно достойный человек. Он не просто отмечает карьеру и награды Вольховского, это справедливо и для характеристик других лицейских товарищей. Он отмечает то качество, которого достигают эти “черты” Вольховского. В характеристике Вольховского Корфом, при том, что конфликтные ситуации, связанные с именем Вольховского и не упоминаемые Малиновским, здесь прописаны очень четко, присутствует мифологизация, особенно заметная при сравнении с характеристиками, данными Корфом другим своим товарищам (принимая во внимание полный текст этих характеристик). При публикации в “Русской старине” были сняты чрезмерно (с точки зрения публикатора) резкие эпитеты, важно, что не обязательно отрицательные. Тон Корфа, степень “откровенности” даже в начале XX века воспринимались уже как неприличные для публикации.²⁷ Для сравнения приведем характеристику, данную им Горчакову²⁸:

“Князь Александр Михайлович Горчаков. Самые блистательные дарования, самое отличное окончание школьного курса, острый и тонкий ум — словом все, что нужно для блестящей карьеры, служебной и светской. *Но все это испорчено характером самым заносчивым, самым неприятным, самолюбивым, не знающим никаких пределов. Нелюбимый в лицее, он не умел приобрести себе любви и впоследствии, ни от начальников, ни от равных, ни от

²⁵ Т.е. в 1837 г.

²⁶ Из “Дневника” барона (впоследствии графа) М.А.Корфа 1839 // Русская Старина. 1904, июнь. С.552-553. Текст опубликован с изъятиями; полностью опубликован Н.Я.Эйфельманом // Знание-сила. 1976. № 9. С.34-38. Курсивом отмечен текст, не приведенный при публикации в “Русской старине”.

²⁷ Также опускаются и некоторые другие данные, например, сведения о детях, и, что очень важно, подробные сведения о наградах.

²⁸ Выпущенные в “Русской старине” места отмечены курсивом.

подчиненных, и наконец впал в особенную немилость у Государя.* Он прямо из лица пошел в дипломатию и всю почти жизнь свою провел вне России при разных миссиях. Последнее место его, в чине статского советника, было советником посольства в Вене; но отсюда, по воле государя в прошлом году причислен к министерству, *без просьбы, даже без содержания, что и заставило его тотчас выйти в отставку. Потом он женился на отцветшей красавице, женщине лет за 40, с множеством детей. — вдове гофмейстера гр. Мусина-Пушкина, урож. княжне Урусовой, и с нею, сколько мне известно, теперь странствует по чужим краям. Орденов его я не знаю.* При выпуске из лица он получил вторую золотую медаль, но во всех отношении заслуживал первую.²⁹

Довольно нелицеприятная характеристика. Мы не случайно привели заметку именно о Горчакове. В лицейской традиции в связи с удачными карьерами назывались три имени: Вольховский, Горчаков и Корф. В 1839 г. Горчаков для Корфа – неудачник.³⁰ “Орденов его я не знаю”, – в устах Корфа это жестокий приговор. Собой он вполне доволен, но в отношении Вольховского замечает: “...получил Анненскую ленту прежде меня”. К 1839 году Вольховский, единственный из лицестов первого выпуска, достигает определенного качества карьеры. Его послужные характеристики образуют такой культурный и социальный феномен как “значительное лицо”³¹. “Наконец, он получил *важное место* начальника штаба кавказского Корпуса.” Особенность положения Вольховского в 1839 г. выявляется при сравнении характеристик Вольховского и Горчакова, сделанных Корфом в 1839 и 1854 г.³² Характеристика Вольховского почти не изменилась, но это “почти” совершенно меняет дело. Смысл из сферы означивания, которая может быть названа “сплетня” (не просто разговоры в обществе, но именно разговоры определенного рода, не случайно при публикации в “Русской старине” так тщательно выбираются все сомнительные сведения, относящиеся к этой сфере означивания), только намеченный в 1839 г. (“при выпуске

²⁹ Русская Старина. 1904, июнь. С. 551; Знание-сила. 1976. № 9. С. 38.

³⁰ Н.Я.Эйдельман предлагает разделить все характеристики на три группы: сделавших карьеру, неудачливых и погибших. – См.: *Эйдельман Н.Я.* Пушкин и декабристы: из истории взаимоотношения. М., 1979. С. 212-217. Вольховский, однако, не может быть отнесен к разряду неудачников.

³¹ Человек, обладавший определенным чином и должностью, в отношении Вольховского это – генерал-майор, начальник штаба Отдельного Кавказского Корпуса, воспринимался особым образом. К нему, обычно, через рекомендации родственников или знакомых, обращались за помощью по самым разным вопросам (от конкретных проблем, входящих в его компетенцию, до просьб похлопотать об устройстве сына в кадетский корпус и т.д.). Такого рода обращения были неписаным правилом, они поддерживали официальный ход дела и образовывали его неременную составляющую. В историографической традиции больше внимания обращалось на помощь, которую Вольховский оказывал на Кавказе разжалованным “декабристам” (см.: *Шадури В.С.* Покровитель сосланных на Кавказ декабристов и опальных литераторов. Тбилиси, 1979). Эти факты рассматривались как свидетельства его оппозиционности. Однако Вольховский помогал и многим другим людям. Наряду с его личными симпатиями в данной ситуации необходимо принимать во внимание и социальную практику, характерную для того времени.

³² *Гром Я.К.* Указ. соч. С. 252.

из лица он получил вторую золотую медаль, хотя во всех отношениях заслуживал первую”), полностью раскрывается в 1854 г. Вольховский уже умер, сам Корф давно обогнал его по службе, а вот Горчаков “сделал карьеру”, и как сразу изменяется его характеристика. Образ Вольховского как бы “заземляется”, демифологизируется. Вольховский теряет ореол исключительности, ставится в ряд других. Так, почти не изменяя формулировок, Корф переносит сведения об орденах в середину: “Анненскую ленту получил раньше всех (вместо “меня”)”. И далее: “С тех пор он жил в деревне..., рядом с другим нашим товарищем Малиновским... и умер тут в 1841 году, оставив после себя одну только дочь.” В 1839 г. Корф пишет об отставке Вольховского с недоумением, еще ничего не было решено окончательно, многие советовали Вольховскому переждать и потом снова вступить в службу. В 1854 г. Вольховский уже не представляет особого интереса для Корфа, и он считает возможным написать о Вольховском, что “не получив никакого предварительно воспитания, он научился всему, что знал, в лицее, и от того при самых невероятных усилиях, не мог достигнуть одинаковых с Горчаковым результатов...”. О Горчакове же, напротив. Снимаются все “сплетни”, дается самая лестная его характеристика: “Зато и карьеры их были совершенно различны. Горчаков за все 37 протекшие до сих пор лет гражданской нашей жизни провел в дипломатии, в которой имя его гремит теперь по всей Европе”.

Такая перемена во взглядах не случайно обратила на себя внимание Н.А.Гастфрейнда, который явно симпатизировал Вольховскому: “В этой параллели Корф очень пристрастен к Горчакову и, действительно, когда эта записка писалась, в 1854 году, князь Горчаков был уже знаменитым дипломатом и только был назначен послом в Австрию. Как было не порадовать такому человеку, как было не похвалить такого знаменитого товарища. Между тем Вольховский задолго до этой записки умер (1841) и, конечно, не мог ничего на нее возразить”.³³ Гастфрейнд чутко уловил “унизительный” тон Корфа. И это так просто не сошло Корфу с рук: “...захлебываясь от восторга, биографы пускаются в рассуждение о самообразовании Корфа по выходе из Лицея, вместо кутежей принялся за чтение исторических книг и стал делать библиографические заметки. Всякий интеллигентный человек учится весь свой век, дополняя свое образование во всю свою жизнь. Ему остается утешение, что он все же умрет дураком”.³⁴ Это заявление в свою очередь возмутило рецензентов Гастфрейнда, многие из которых приняли замечание на свой счет. Но Гастфрейнд, как представляется, отвечал на личное оскорбление в отношении Вольховского, который “задолго до этой записки умер и, конечно, не мог ничего на нее возразить”. Инте-

³³ Гастфрейнд Н.А. Указ. соч. Т.1. С.301.

³⁴ Там же.

ресно, что один из рецензентов связывает выпад Гастфрейнда против Корфа именно с отзывом последнего о Вольховском.³⁵

Вероятно в том, что для Корфа Вольховский со временем утратил статус "значительного лица", тогда как для Малиновского, напротив, значение Вольховского возрастает после смерти последнего, что и находит отражение в тоне и установке Малиновского – он пишет о Вольховском как об Историческом Человеке, как об античном Герое, – и состоит разница в означивании Вольховского двумя авторами.³⁶ Однако их первоначальные установки были очень близки и сориентированы на карьеру как основную культурную характеристику человека.

В дальнейшем ориентация Малиновского на карьеру при описании жизни Вольховского стала рассматриваться как недостаток. Так, в отзыве на брошюру Малиновского в письме к Энгельгардту от 26 февраля – 12 июля 1845 г. (запись от 26 февраля) И.И.Пуцин замечает: "Вольховского биографию мне прислал Малиновский давно. Спасибо ему, что он напечатал, но напрасно тут слишком много казенного формуляра".³⁷ В этом замечании четко проговаривается различие в смыслах, приписываемых слову "человек". Представление о человеке, с позиции которого Пуцин воспринимает текст Малиновского, не нивелировало совершенно значимость карьеры – смысл "человека", связанный с должностью, чином, наградами, оставался насущным в культуре, т.е. очень многое определяющим в восприятии человека, вплоть до 1917 г. Но это представление отсылало к прежде не воспринимаемой сфере личной жизни человека, открывало ценность и значимость внутренней жизни в противовес внешней, с которой стала ассоциироваться карьера. Само понятие о внешней и внутренней биографии, как представляется, связано с изменением представлений о человеке в культуре.

В биографии, написанной И.В.Малиновским, сложным образом сосуществуют сознательно моделируемый исторический нарратив, который ориентируется одновременно и на античную биографию, и на начинающую формироваться позитивистскую историографическую традицию, и непосредственное культурное означивание Вольховского как "значительного лица". Образ Вольховского сочетает в себе представление о нем как о человеке, причастном "прошлому" – близкому, но все же совершенно выделенному времени, – и знание о нем как о человеке, принадлежащем "настоящему".

³⁵ Вестник Европы. 1912. Кн. VI, июнь. С. 382-385.

³⁶ Отчасти, это могло быть связано с тем, что карьера самого Малиновского не сложилась. Он вышел в отставку в 1825 г. в чине полковника, и в год, когда им была написана биография Вольховского, он не прошел по выборам в уездные предводители дворянства.

³⁷ Пуцин И.И. Указ. соч. С. 198.

И.В.Малиновский
О жизни Генерал-Майора Вольховского¹

Генерал-Майор, Владимир Дмитриевич Вольховский, родился в 1798 году, в Полтавской губернии, от весьма небогатых благородных родителей. Отец его, из гусар в царствование Императора Павла 1-го был назначен в числе отличнейших штаб офицеров Армии, к исправлению Коммисариатских дел.

Нравственное и ученое образование Генерала Вольховского началось с 1811 года, когда он без всякой протекции был представлен как один из отличнейших воспитанников московского университетского пансиона кандидатом в тогда учрежденный Императорский² Царско-сельский Лицей. Поступив в сие заведение по экзамену, Вольховский, не взирая на всю скромность характера и даже несовершенно блестящие способности, вскоре между товарищей, ныне известных в Отечестве государственных сановников, гениальных поэтов и литераторов, сделался первым воспитанником, удостоен при выпуске 1817 года Июня 10 дня, первой золотой медали, и в зале Лицея его именем начинается первая мраморная доска, назначенная для сохранения имен воспитанников, имевших при выпуске первенство. Когда в 1838 году он, по прошествии 21 года от выпуска посетил лицей, все воспитанники окружили его, провожали по всему Лицею и неприметно подвели к сей доске. Поняв намерение юных преемников своих по воспитанию, он начал громко читать ряд имен снизу, и, дошедши до своего, остановился; тогда шепотом окружавшие произнесли его имя, и это было громким "ура" для того, который еще в Лицее от своих товарищей заслужил прозвание Суворочки, сменяемое иногда во время школьного быта другим "Sapientia" (премудрость); за это он по скромности и сердился; но такое прозвище принадлежало ему, кроме свойств душенных еще и потому, что нередко двумя, тремя словами он останавливал тех из запальчивейших своих однокашников, на которых иногда ни страх, ни убеждение не действовали. Об этом в подробности припомнят все его товарищи.

Вольховский, по наружному виду и сложению, был чрезвычайно малосилен; но впоследствии везде выносил примерно тяжкие походы и труды; лишен был свободного произношения, и начитавши, как Демосфен избавился от подобного недостатка, ходил на Царскосельское озеро декламировать, набравши в рот камней; а для укрепления телесных сил, кроме всякого рода гимнастики, заучивая урок, носил на плечах два толстейших тома лексикона Гейма; для усовершенствования же в посадке при верховой езде, наблюдение за которою при обучении воспитанников Лицея было поручено от покойного государя Им-

ператора Александра Графу В.В.Левашеву, тогда командовавшему Гвардейским гусарским полком, Вольховский в уединенном месте Лицея примащивал искусно стулья и усевшись верхом наблюдая посадку учил уроки. Сон его против обыкновенного краткого школьного сна, был еще сокращаем двумя-тремя часами и он едва всего часа четыре в сутки имел покоя; так потом продолжал и на службе. Бывали случаи и на службе, что утомленный трудом, он приляжет на $\frac{1}{4}$ или $\frac{1}{2}$ часа, и опять принимается за дело. Кроткий и всегда во всем терпеливый, он бывал рассержен, если назначенный им срок для полусна пропускаем был теми, кому поручал разбудить себя, назначая не более того отдыха. При всех таких особенностях, известный всем насмешливый класс школьников не только не издевался над ним, но воспел пред выпуском в Лицейской песне:

Покровительством Минервы
"Пусть Вольховский будет первый".

Под счастливыми предзнаменованиями внимания начальства, товарищеского уважения и любви, будучи удостоен на 19 году от роду чина Прапорщика Гвардии вступил он в службу с новым пожертвовани-ем, ибо по правам Высочайше дарованным Лицею, имея возможность вступить прямо во всякий род военной и гражданской службы, Вольховский избрал Генеральный Штаб, при поступлении в который должен был снова держать экзамен, и по весьма строгом испытании в 1817 году июня 13, утвержден Офицером Гвардейского Генерального Штаба, назначен состоять при Гвардейском Корпусе; 1818 года, августа 30, произведен в Подпоручики, а за отличие по службе 1819, июля 30, в Поручики; 1820 года, июня 24, командирован в Бухарию при Императорской Миссии под начальством Г.Негри, с этой Миссиею находился за границу с 10 октября того же года по 12 мая 1821 года; за что в 24 день августа 1821 года повелено ему от щедрот Александра Благословенного производить пенсией по 500 рублей ассигнациями в год. В 1821 и 1822 годах находился в походах с Гвардиею в Витебской и Минской губерниях, августа 2-го произведен Штабс-Капитаном и возвратился в С.Петербург. 1823, июля 11, за маневры под Красным Селом объявлено ему Высочайшее благоволение; 1824 в январе месяце по особым поручениям командирован в Отдельный Оренбургский Корпус и Всемиловстейше пожаловано ему на путевые издержки 200 червонцев; здесь с 24 февраля по 29 марта состоял при военной экспедиции, отправленной в Киргиз-кайсацкую степь, и был при разбитии и преследовании кочевых мятежников, за что Всемиловстейше награжден 13 августа, того же года, орденом Св.Владимира 4-й степени. Того ж 1824 года июня с 10 по 19 июля находился с Гвардейским Корпусом под Красным Селом, где за отличное исполнение своей обязанности, объявлено ему Высочайшее благоволение, 1825, марта 29, пожалован Капитаном; августа 27 командирован в Экспедицию для обозрения

пространства между Каспийским и Аральским морями, и в это время был при разбитии Киргизских разбойников близ устьев Сагира и Эмбы.

1826, сентября 1, назначен состоять при Генерал-Адъютанте Паскевиче, под начальством коего и находился во время всей компании до славного мира России с Персиею; при сем случае Вольховский употреблен для переговоров с Персиею и доказал свои дипломатические способности, как сказано будет ниже.

Всемиловнейшие награды в этот период его службы были следующие: за сражение 5 июля 1827 года при Джеван-Булаке орденом Св.Анны 2-й степени; при осаде и взятии 14 сентября крепости Сардар-Абада объявлено Монаршее благоволение; при осаде и взятии 1 октября крепости Эривани орденом Св.Анны 2-й степени, украшенной алмазами. Декабря с 2 по 3-е февраля 1828 года откомандирован к Персидскому Шаху в г.Тегеран, для выпровождения оттуда 10.000.000 рублей серебром контрибуции. Твердость и искусство, с каким он настаивал перед Персидским правительством на выполнении сего обещания, уничтожили все колебания и уклонения, начинавшие возникать по сему делу. За отличное исполнение сего поручения произведен марта 4 в Полковники, того ж года мая 13 назначен оберквартирмейстером Отдельного Кавказского Корпуса, потом продолжал компанию с неусыпным рвением и примерным самоотвержением. Ушаков в Истории военных действий в Азиатской Турции в 1828 и 1829 годах, в части 1, на странице 232 говорит: Полковник Вольховский в 27 "гренадерами бросился на бастион Юсуф Паша, овладел им вместе с 4 пушками и обратил оныя против крепости". За взятие 23 июня штурмом крепости Карса, Всемиловнейше пожалован орденом Св.Георгия 4-го класса, а в воздаяние отличного мужества, оказанного при покорении и взятии крепости Ахалцыха, пожалован золотою шапагою за храбрость в 6 день генваря 1829 года. По возвращении же в свои границы пожалован орденом Св.Владимира 3-й степени в 21 день апреля 1829. Продолжая службу под личным Начальством Его Сиятельства Г.Главногокомандующего Графа Паскевича, Вольховский при занятии 27 июня крепости Арзерума удостоился Высочайшего благоволения. Государь Император во внимание к особенным трудам, в продолжении войны с Оттоманскою портою в 1828 и 1829 годах понесенным, Всемиловнейше пожаловать соизволил наравне с прочими не в зачет годовое жалование. Подробное сведение о блистательных подвигах в сию войну Вольховского можно найти в издававшихся тех лет Тифлисский ведомостях. Февраля 16 дня 1830 года предписано ему дожидаться в Воронеже повеления Главногокомандовавшего Отдельным Кавказским

Где он находился у престарелого отца удрученного болезнью; а за несколько лет пред сим, когда у отца, приехавшего нарочно в С.-Петербург, сняли с глаз катаракты, Вольховский имел сердечное утешение – быть ему отрадой; в продолжении нескольких недель неразлучно жил с ним в темной горнице, пока настало назначенное врачами время, когда отец его мог безопасно глядеть на свет

Корпусом об отправлении к новому назначению; по получении коего, прибыл в С.Петербург того же 1830 года ноября 22, и назначен Генеральным консулом в Египет; но временно командирован в действующую против Польских мятежников армию к 6-му Пехотному Корпусу. 1831 года, февраля 8, находился в генеральном сражении при корчме Вавер, и вогнании неприятеля в Прагу, где получил контузию в колено левой ноги; и февраля 8 – в сражении с мятежниками правого фланга армий у Кавензина; 13 в Генеральном сражении и поражении мятежников под Прагою на Гроховских полях, где под ним убита лошадь; за отличие оказанное в делах сих, пожалован в Генерал-Майоры 1831 года июня 3, со старшинством Марта 13-го тогож года; того же марта 19 и 20 – в сражениях войск, бывших под Командою Генерал-Адъютанта Барона Розена 1 между Прагою и Дембевельскими, и на отступлении от Вавра до Дембевельски, чрез Калушин до селения Поляни; 10 того ж марта в деле при речке Мухавце при деревне Игловке, близ города Седльце, и сражении многочисленного неприятеля, делавшего стремительные нападения в течении целого дня. За отличие в сражениях награжден орденом Св.Станислава 1-й степени. В июле месяце, в Литве, при преследовании отряда Демринского от Беловежской Пуци до Цехановца, потом вторично в Царство Польское; 12 августа при рекогносировке Прагских укреплений; 16 августа в деле с Корпусом Ромарино между Крынки и Мендзиржеч; 17 в деле с оным же Корпусом при нападении онаго на Мендзиржеч, 21 при отражении нападения Корпуса Ромарино на г.Брест Литовский; с 22 августа по 5-е сентября, при преследовании Корпуса Ромарино от Брест Литовского чрез Коцк и Куров до Австрийской границы. Во время сего движения находился в делах: 3 сентября при Ополе, Вржеволовице и при д.Косине, что против Завихоста, и потом при деревне Борове 5 числа при вогнании означенного Корпуса в Галицию. По Высочайшему приказу от 31 декабря 1831 года получил Польский знак отличия за военные достоинства 2-й степени; того же года в 13 день сентября Высочайшим приказом назначен Обер-Квартирмейстером Отдельного Кавказского Корпуса.

По окончании достопамятной Польской Компании в 1831 году, его новое назначение перенесло его на Кавказ, где круг деятельности его стал обширнее. Лестные награды, в короткое время им здесь полученные, свидетельствуют полезность этой деятельности. С 1832 года совершалось это новое поприще его служения под личным начальством Корпусного Командира Генерал-Адъютанта Барона Розена 1. В этот период службы Вольховский находился в 4-х экспедициях от 11 июля по 15 октября, в 47 перестрелках и 6 делах, при взятии штурмом завалов в Гумринской теснине и при занятии селения Гумры. В 17 день ноября Высочайшим приказом назначен Исправляющим должность Начальника Штаба Отдельного Кавказского Корпуса; а за отличные усер-

дневной. – На это время он как бы исчез из круга Лицейских товарищей и тщательно скрывал от них этот подвиг детской любви.

дие к службе и храбрость, оказанные им в делах экспедиции 1832 года против Горцев, и за неусыпную деятельность, с которою исполнял многотрудные занятия по своей должности, награжден в 27 день июля 1833 года орденом Св.Анны 1-й степени. Кроме того, он деятельно занимался собранием и сводом материалов при составлении проектов относительно Горцев; за что по представлению Командира Отдельного Кавказского Корпуса Государь Император 29 июля 1834 года Всемилостивейше пожаловать соизволил ему аренду по две тысячи рублей серебром в год на двенадцать лет, а Высочайшим именным указом на имя Министра Финансов, состоявшимся во 2 день августа того же года, Всемилостивейше повелено вместо аренды, не в пример другим, производить ему из Государственного Казначейства в течение 12 лет по две тысячи серебром ежегодно; в 1835 году в 21 день генваря по 7-е апреля, во время отсутствия Командира Отдельного Кавказского Корпуса Генерал-от-Инфантерии, Генерал-Адъютанта барона Розена 1 – в С. Петербурге, и по случаю болезни бывшего Начальника 19 пехотной дивизии Генерал-Лейтенанта Фролова, управлял Закавказским краем и заведывал войсками, за Кавказом расположенными; в том же году пожалован ему от Персидского Шаха орден Льва и Солнца 1-й степени; 1836 года Всемилостивейше пожалован знаком отличия беспорочной службы за XV.” В 1837 году с 4 апреля по 11 июля, находился в Экспедиции для покорения Цебельды, для занятия Мыса Адлера (Константинопольского) и возведении на оном укрепления, под личным начальством командира Отдельного Кавказского Корпуса Генерал-Адъютанта Барона Розена 1. В течение сей экспедиции 30 апреля был при движении от Сухум-Кале к Цебельде, и 3 мая при занятии подошвы горы Агыш, при перестрелке и прогнании Цебельдинцев на вершину означенной горы; 5 мая в перестрелке с неприятелем при выборе пастбищных мест, 11 при перестрелке и выбитии Цебельдинцев из завалов и уничтожении четырех Аулов в окрестности деревни Антыпырь; 17 при перестрелке с Цебельдинцами при открытии мест удобных для водопоя; с 2 по 7-е июня в десантном отряде, 7-го июня при десанте войск на Мыс Адлер и занятии онаго, под сильным неприятельским огнем, продолжавшимся во весь день, при чем до прибытия на берег Г. Корпусного Командира командовал десантными войсками, 9-го при отражении атаки Горцев, произведенной на левой фланг аванпостов, прикрывавших лагерь; 10 при прогнании неприятеля на левом берегу реки Музымты артиллериею с брига Аякса, и в то же время при поражении неприятеля, собравшегося против левого фланга и центра передовой цепи огнем артиллерии и ружейным, при чем перестрелка продолжалась до вечера; 12-го июня при перестрелке на реке Музымте; 14 и 15 при перестрелке с Горцами в цепи, прикрывавшей лагерь и за успешное содействие при занятии Мыса-адлера 11 августа объявлено Высо-

” На получение XX-летнего знака отличия беспорочной службы по смерти его найдены все документы изготовленными.

чайшее благоволение. Сим кончается его действительное военное поприще, в продолжении коего он находился в 6 штурмах; в действительных сражениях и в перестрелках был до 80 раз; в 55 походах, и в 3-х степных экспедициях, сопряженных с известными опасностями.

В бытность Государя Императора в 1837 году в Закавказском крае, в Высочайшем приказе 1837 года в 9 день октября, за примерный порядок и отличное устройство, найденные Государем Императором при осмотре того числа Штаба Отдельного Кавказского Корпуса и в приказе по Корпусу от 23 октября за отличный порядок и устройство, найденные Государем Императором по время Высочайшего путешествия по Кавказскому краю, при осмотре Его Величеству 1,3, и 4 линейных рот Грузинского Линейного № 15 баталиона, в его ведении состоявшего, объявлено ему Высочайшее благоволение.

В 1837 году ноября 9 Высочайшим приказом назначен Командиром 1-й бригады 3-й пехотной дивизии.

1839 года, февраля 16, уволен от службы за болезнью, с мундиром и пенсионом одной трети оклада, определенного уставом 6 декабря 1827 года, и по службе всегда аттестовался достойным и способным.

Сей доблестный муж заслужил место в современной Истории. Об нем упоминается при описании экспедиции в Бухарию, в Истории военных действий в Азиатской Турции в 1828 и 1829 годах Ушаковым, и бессмертный Пушкин, бывший его товарищ по Лицею, представляет его верным очерком в своем описании "путешествия в Арзерум" во время похода 1829 года. Но должно было видеть его, отличенного в кратковременную службу тремя звездами, Георгием за штурм и прочими украшениями, осчастливленного двоекратно в кабинете в 1821 году по возвращении из Бухарии, и в 1834 с донесением по делам Кавказским докладом по службе Государю Императору Александру Благословенному и ныне благополучно Царствующему Императору Николаю Павловичу и при всем том неизменно кроткого и скромного душою. Никогда никто не слыхал от него привычных выражений: мы были, мы сделали! Если случалось завлечь его в разговор о его походах, тогда он всегда безлично объяснял свои подвиги. Однажды в минуту самодовольствия, выставлял как одно из счастливейших воспоминаний о своей службе на Кавказе то, что число умерших чинов в Отдельном Кавказском Корпусе, уменьшаясь постепенно, в его время дошло до одной третьей доли против прежнего; и еще раз в искренней родной беседе с М*** назвал блаженнейшею минутою в жизни своей, когда после одного из штурмов в быструю кампанию при Фельдмаршале Графе Паскевиче, он мог дать до 150 тяжелораненым в палатках на сухой соломе спокойный ночлег. Я пришел, говорил он, ночью к ним, они стонали, но сердце мое было покойно. Я сделал для них все, что мог! Перешед потом в частный помещичий быт, любил беседовать о нововведениях по агрономии, по управлению крестьянами, заботился об об-

лечении их быта, и для того определил Высочайше пожалованную ему пенсию на уплату за крестьян жены своей подушного.

Должно заметить, что Вольховский никогда не играл в карты, и во всю жизнь не употреблял ни водки, ни вина. В той же степени украшался и прочими добродетелями воздержания. Еще в юности своей, и во время своей Лицейской жизни, произвольно отказывал себе в необходимой для других пище: в мясе, пирожном, чае, единственно для того, чтобы приучить себя к лишениям и не бояться их в жизни; но эта суровость к себе, отнюдь не умаляла в нем человеколюбивого расположения к другим, и кто из знавших его скажет, чтобы он упустил хотя один случай помочь собрату и делом и советом; чтобы в делах правосудия, которые ему по его званию и месту последнего служения столь нередко производить надлежало, Вольховский, строгий друг правды и верный исполнитель закона, не искал оправдать обвиненного или облегчить его судьбы? В искренних приятельских беседах участвовал всегда охотно, слегка оживляя разговор своими то веселыми, то глубокомысленными, и всегда умными замечаниями; нахальству и дерзости всегда у него было готово возражение, и при всей своей скромности был в характере тверд и в обдуманых заключениях непреклонен.

Описывая слегка его привычное обращение в обществе, должно обратиться к родному кругу. Заслужив еще в чине Поручика 500 р. пожизненной пенсии, с Высочайше пожалованною арендою до 50 т. руб., он обратил всю сумму на очищение долгов отца своего и устройство дел своих родных, так что по смерти унаследил жену и двух малюток детей своих лишь добрым именем. Бывши женат на дочери первого Директора Императорского Царскосельского лицея, Статского Советника В.Ф.Малиновского, он обращается к ней последним пунктом домашнего духовного завещания, составленного им в Бобруйске 17 августа 1838 года. "За сим предаю себя памяти родных и друзей моих; от сердца благодарю за дружбу и любовь их. Имевши счастье большей частью встречать справедливость и благоволение от всех, с коими я имел близкие сношения, от сердца прощаю не многим, враждовавшим мне; испрашиваю для себя снисхождения тех, которых чем либо оскорбил. Благодарю лучшего друга моего, жену мою, за нежную любовь ея, столь услаждавшую все время совместной нашей жизни. Да благословит ее Всемогущий возможным на земле счастьем, и утешит благополучием всех близких ея доброму сердцу, и особенно преуспеянием в добре детей наших, которых благословляю и предаю благодати Божией. Благодарю любезное мне Отечество и великих Венценосцев Александра и Николая, доставивших мне образование и слишком щедро наградивших посильные труды мои для службы Их. Благодарю Провидение, одарившее меня столькими благами и предохранившее от многих зол, которым по неблагоприятию своему и по обыкновенному ходу вещей я мог бы подвергнуться. Поручаю себя благодати Божией и за пределами земного существования нашего: да простятся мне все прегре-

шения волею и неволею сделанные, дурные и суетные помыслы, столь часто волновавшие слабое сердце, и да восхвалит душа моя до последней минуты всесвятое имя Божие!³

С детства покорностию и любовью преданный Промыслу, он был пополн чувства религиозного, и убеждениями разума, и наукою и опытом обогащенного, укреплял свою веру и свою надежду на жизнь замогильную. В таких чувствах и помышлениях настигла его последняя, предсмертная болезнь. После кратковременных, 10 дневных страданий, причастившись Святых Тайн, сподобившись елеосвещения, отошел он 7 марта 1841 года в лучший мир, оставя пораженных его рановременной кончиною: добрую жену, двух малюток детей, родных, знакомых и крестьян, ощутивших благость Божию под его отеческими распоряжениями, оставя за собою и добрую память, неизменную ему сопутницу по ту сторону гроба. Предсмертные его слова были: “Мы будем счастливы, мы достигли своего назначения. Как тебе угодно, так и будет, я не ропщу, я раб Твой Господи! совершенно предаю себя твоей воле”. На чугунном кресте над его могилой Харьковской губернии Изюмского уезда в селе Стратилатове⁴ в ограде церкви Софии Премудрости Божией надпись: Одари Бог кротость премудростию.

Примечания

¹ [Малиновский И.В.] О жизни Генерал-Майора Вольховского. Харьков, 1844. 23 с. (С.18-23). В тексте изменена пунктуация и исправлены замеченные опечатки при написании дат. Звездочками обозначены примечания Малиновского.

² Все производные от слова “Император” и “высочайший” выделены в тексте разрядкой, как это было принято в делопроизводстве того времени.

³ Подлинник хранится в семье потомков Малиновского. Список XIX века – РНБ /Петербург/. Отдел рукописей. Ф. 512 /арх. Олениных/. Е.х. 807.

⁴ Так по-другому называлась Каменка, имение Малиновского.

ИСТОРИКИ ОБ ИСТОРИКАХ

О.В.Воробьева (Липецк)

Академик Е.А.Косминский об историософии Арнольда Тойнби

...Так нас от первого крика
и до последнего вздоха
пишет по своему время
(эра, столетье, эпоха).
(Ю.Левитанский)

“Тойнбизм носится в воздухе” – таково было, пожалуй, самое сильное впечатление академика Е.А.Косминского, посетившего в декабре 1952 г. в составе советской культурной делегации в Великобританию. Приехав в Англию после длительного перерыва¹, он обнаружил много перемен. На смену старым удобным автобусам с открытым верхом пришли – двухэтажные неповоротливые “чудовища” (выражение Косминского). Не порадовало Евгения Алексеевича и новое здание Института исторических исследований, построенное в современном стиле. Многие изменения в жизни Англии и англичан были связаны с последствиями войны. И все-таки ничто так не поразило ученого как раскулачивающиеся нарасхват тома “Постижения истории” А.Тойнби.²

Имя английского историка Арнольда Тойнби, переживавшего в послевоенные годы пик своей популярности, тогда у всех было на слуху. Е.А.Косминский сам стал невольным свидетелем того, как его лекции “Мир и Запад”, передаваемые в 1952 г. Би-би-си, вызвали своего рода сенсацию.³ Поклонники британского историка сравнивали его открытие с открытиями Коперника, Галилея, Ньютона и Дарвина, а самого Тойнби считали завершающим в списке великих историков, начиная с Геродота.⁴ Были, и резко критические суждения,⁵ но они лишь содействовали популярности Тойнби, вызывая бурную полемику.

¹ Косминский был в Великобритании в 1925-26 г.

² Цена этому изданию была немалая – 29 фунтов. Популярности Тойнби способствовало сокращенное издание книги, подготовленное Д.Сомервеллом (A Study of History by A.J.Toynbee. Abridgement of vols.I-VI by D.C.Somervell. L., 1946). Прочитав одного из обозревателей: “Хорошо, если бы другим плодовитым авторам – и прежде всего Марксу – кто-нибудь сослужил такую же добрую службу, какую м-р Сомервелл сослужил м-ру Тойнби” (К.Бринтон).

³ См.: Kosminsky E.A. English Impressions // News. №7. P.6.

⁴ См., напр.: Lean T. A Study of Toynbee // Horizon. January. 1947.

⁵ Campbell J.R. Don't Let the Professor Fool You // Daily Worker. Nov.25. 1952; Trinkaus C. Toynbee Against History Science // Science and Society. V.XII. №2. 1948.

Впечатление было настолько сильным, что в своих заметках о поездке, написанных сразу по возвращении в Москву⁶, Е.А.Косминский две из трех частей посвятил историософии А.Тойнби ("Professor Toynbee's Ideological Exertions"). Эта первая в истории отечественной "тойнбианы" публикация показательна во всех отношениях. С одной стороны, она, казалось бы, полностью выдержана в духе времени и направлена на разоблачение "буржуазного фальсификатора истории", занимающегося созданием "наукоемких оснований для политики империалистических держав Запада, для их борьбы против СССР". С другой стороны, ее анализ дает все основания, не ограничиваясь подобными заявлениями, искать другие, менее явные, но несомненно более важные мотивы обращения к творчеству английского ученого.

Представители различных школ зарубежной историографии могли в разной степени принимать новые методы и задачи истории, предложенные А.Тойнби, или отрицать их полностью. Но при этом трудно назвать статью или монографию, в которой не говорилось бы о монументальности работы английского мыслителя, "телескопичности" видения истории, насыщенности проблематики. Даже самые суровые западные критики признавали, что "Постижение истории" с его оригинальной трактовкой исторического процесса обладает, по крайней мере, одним ценным качеством – оно дает импульс современным историкам.⁷ Отличительной же особенностью всех посвященных А.Тойнби публикаций Е.А.Косминского явилось полное отрицание научной значимости и плодотворности основных идей тойнбианской историософии.

Думается, что негативная оценка, данная Е.А.Косминским творчеству А.Тойнби, имела несколько причин. Сказалось здесь и скептическое отношение английского ученого к марксизму, и тот холодный, можно сказать враждебный, прием, который книги Тойнби встретили у целого ряда историков-профессионалов, отказывающихся принимать его всерьез как исследователя. Так, например, американские ученые П.Гейл и У.Кауфман находили, что его "система кажется бесполезной", и во всем огромном труде Тойнби "заслуживают внимание только отзывы его критиков".⁸ А Р.Кулборн и Э.Фисс вообще отказывались смотреть на Тойнби как на историка, расценивая его многотомный труд как "огромную теологическую поэму в прозе".⁹ Традиция использовать

⁶ Заметки были опубликованы в нескольких номерах журнала "News", издававшегося в Москве на английском языке и ориентированного на британскую общественность (в 1952 г. Косминский был назначен его главным редактором). - *Kosminsky E.A. Op. cit., part I-III // News. 1953. №4. P.6-8; №7. P.6-9; №9. P.9, 10.*

⁷ См.: *Хачатурян В.М. Проблема цивилизации в "Исследовании истории" А.Тойнби в оценке западной историографии // Новая и новейшая история. 1991. №1. С.204-205.*

⁸ См. полемику Тойнби с П.Гейлом и П.Сорокиным в "The Pattern of the Past". Boston, 1949 и статью Кауфмана в сб. "Toynbee and History". Boston, 1956. P.315.

⁹ *Coulborn R. Fact and Fiction in Toynbee's Study of History // Ethics. July. 1956; Fliess E. Toynbee as Poet // Journal of the History of Ideas. 1955. V.XVI. №2.*

и даже в какой-то мере эксплуатировать мнение зарубежных ученых на этот счет также восходит к Е.А.Косминскому. Следует принять во внимание и тот факт, что его первое знакомство с А.Тойнби началось не с фундаментального "Постижения истории", а с цикла лекций, посвященных преимущественно изложению социально-политических взглядов английского ученого, что также не способствовало позитивному восприятию тойнбианских идей. Сыграло свою роль и позитивистское по сути образование Е.А.Косминского. Пройдя прекрасную школу у П.Г.Виноградова, Д.М.Петрушевского и А.Н.Савина, оказавших влияние на формирование его научного стиля, Е.А.Косминский считал главной областью исследований социально-экономическую историю. Исходные же установки А.Тойнби были направлены прежде всего на изучение культурных феноменов.

Однако самая существенная причина лежала за пределами науки. Научная полемика вокруг Тойнби тесно переплеталась с борьбой между двумя идеологическими системами, которая в тот момент приняла особо острый характер. В атмосфере "холодной войны" создавалась новая система миропорядка, в которой человечество оказывалось расколотым и разделенным между двумя супердержавами – Соединенными Штатами и Советским Союзом. Не удивительно, что в этих условиях историк, призывающий отказаться от крайностей как капитализма, так и социализма и заняться поисками среднего пути, воспринимался приверженцами "социалистического образа жизни" как "часть тяжелой артиллерии в битве за состояние интеллектуальной мысли на Западе".¹⁰ Тем более, Тойнби не раз высказывал мысль, что задача установления "*пax oecumetica*" – "вселенского мира" стоит именно перед Западом.¹¹ Поэтому всесторонняя марксистская критика концепции английского ученого приобрела не только принципиально важное теоретико-методологическое, но и политическое значение.

Справедливости ради, следует отметить, что идеологизация и политизация были свойственны не только советской историографии. Обособление одной части мировой науки неизбежно толкало к крайностям и немарксистские направления. Парадоксально, но эти же самые заявления британского ученого вызвали негодование и апологетов "западного образа жизни". По мнению некоторых американских критиков, английский историк, получив для завершения своей двенадцатитомной эпопеи субсидию из Рокфеллеровского фонда, не только не оправдал возлагавшихся на него надежд, но чуть ли не продался тайно коммунистам.¹² Тойнби обвиняли в том, что он злорадно подбирает ка-

¹⁰ Kosminsky E. Op. cit. №9. P.10.

¹¹ См. его статьи: The Unification of the World and the Change in Historical Perspective // History. 1948. V.33. №117, 118.; The Revolution We are Living Through // New York Times Magazine. July 25, 1954. Развитие этих идей отражено в X томе "A Study of History" в главе "Перспективы западной цивилизации".

¹² Jerrold D. The Lie about the West. A response to Professor Toynbee's challenge // Seed and Weed. N.Y., 1954. P.5.

ждый признак кризиса, отмечает каждое пятнышко на поверхности Западной цивилизации и лишь мельком и нехотя упоминает о ее достижениях. Ему также бросали обвинения в пренебрежении к величайшим благам современности – “свободе и демократии”, в “богохульстве” против Западной цивилизации, в том, что он ее “плохой сын”, что он к ней равнодушен, и она “ничто в его глазах”. Другие шли еще дальше и уверяли, что Тойнби ненавидит Западную цивилизацию и жаждет ее гибели. Некоторые доходили до того, что считали его представителем “пятой колонны” и, в стиле самого А.Тойнби, именовали его чуть ли не “ангелом сатаны”.¹³

Не выразил своего одобрения и кое-кто из ортодоксальных английских авторитетов. “Ни восхищение перед великой интеллектуальной одаренностью профессора Тойнби, ни уважение к его в высшей степени серьезному идеализму не должны помешать либеральной критике указать, что его учение действует на пользу наших тоталитарных врагов. Он несомненно на стороне ангелов, но это падшие ангелы ада”, – писал Дж.Хадсон, распекая А.Тойнби в журнале “Двадцатый век”.¹⁴ Но как бы ни было замедлено и искажено восприятие идей А.Тойнби на Западе, все же наличие плюрализма и отсутствие единой государственной методологии создавало более благоприятные условия для их подлинно научного осмысления с учетом общего хода истории.

Об искажениях общественного сознания в условиях противостояния двух систем в последнее время в нашей литературе написано много. Подобные искажения можно понять, принимая во внимание стереотипы и мифы трудной, а временами и жестокой эпохи. Непонятно другое. Если Е.А.Косминский действительно видел в Тойнби только учено-марионетку, выполнявшего определенный социальный заказ, то почему он, не ограничившись одной “разгромной” статьей (этого было бы вполне достаточно), впоследствии неоднократно обращался к анализу взглядов британского мыслителя?¹⁵ Относящаяся к Тойнби часть архива Е.А.Косминского датируется 1953-58 гг. (с момента возвращения ученого из Великобритании и вплоть до его кончины). Она содержит составленную Е.А.Косминским библиографию трудов Тойнби и о нем, рабочие тетради академика, заметки, выписки на карточках, редакции статей Е.А.Косминского и справки, относящиеся к их публикациям, –

¹³ Toynbee and History. P.363, 368, 377; Hudson G. Toynbee's versus Gibbon // The Twenties Century. November, 1954; Encounter. July, 1957. P.26-27; Times Literary Supplement. April 9, 1954. P.1.; De Beus J.G. The Future of the West. N.Y., 1953; Jerrold D. The Lie about the West. A Response to Professor Toynbee's Challenge. N.Y., 1954 (очень резкий памфлет в стиле маккартизма) и др.

¹⁴ Hudson G. Op. cit. P.412.

¹⁵ Косминский посвятил А.Тойнби две статьи: Историософия Арнольда Тойнби // Вопросы истории. 1957. №1; Реакционная историософия Арнольда Тойнби // Против фальсификации истории. М., 1959. С.67-139. Последняя статья была также напечатана в посмертно изданном сборнике: Косминский Е.А. Проблемы английского феодализма и историографии средних веков. М., 1963. С.285-356.

всего две описи и около десятка дел. Это дает основание утверждать, что его интерес к этой проблематике был глубоким и многолетним.

Наверное понять корни особого интереса Е.А.Косминского к наследию А.Тойнби можно, лишь связав в один узел целый ряд взаимодействующих, хотя и далеко не однопорядковых факторов. Прежде всего, следует обратить внимание на профессиональное кредо советского ученого. Специалист преимущественно по средневековой истории Западной Европы, он в разные периоды занимался многими другими проблемами всеобщей истории – византиноведением, новой историей и, в том числе, историей исторической науки. Вопросам отечественной и зарубежной историографии Е.А.Косминский посвятил множество статей, в которых анализировал творчество отдельных историков и целых школ и направлений. Читая в МГУ курс лекций по историографии средних веков, он намеревался довести его до середины XX в. Обращает на себя внимание широкий круг его историографических интересов: Вольтер и бельгийский историк Анри Пиренн, представители российской дореволюционной медиевистики и их современные английские коллеги, историография Английской буржуазной революции с XVII в. до наших дней и фашистская фальсификация истории средних веков, американский социолог Хоменс и тот же Арнольд Тойнби.¹⁶

Имя английского историка в этом ряду не было случайным. Научные интересы Е.А.Косминского были сосредоточены, главным образом, на истории Англии. Английской тематике он оставался верен всю жизнь, посвятив ей много исследовательских статей и две крупные монографии.¹⁷ Обе книги Е.А.Косминского были известны за рубежом. Они получили высокую оценку ведущих британских медиэвистов, которые, выражая свое несогласие с марксистской методологией автора, признавали огромную научную ценность его работ и неоспоримость основных выводов.¹⁸ Принимая во внимание большой вклад советского историка в изучение истории Англии и значительное влияние, оказанное им на современную английскую медиэвистику, Е.А.Косминский был избран членом двух британских научных учреждений: в 1927 г. – Королевского общества экономической истории, а в октябре 1955 г. – Британской исторической ассоциации.¹⁹ Будучи одним из ведущих в нашей стране специалистов по английской истории, он в этом качестве неоднократно бывал в Великобритании.

Во-вторых, анализ посвященных Тойнби архивных и опубликованных материалов академика свидетельствует о том, что Е.А.Косминский

¹⁶ См. библиографию трудов Е.А.Косминского // Проблемы английского феодализма и историография средних веков. С.434-455.

¹⁷ *Косминский Е.А.* Английская деревня в XIII веке. М., 1935; *он же:* Исследования по аграрной истории Англии XIII в. М., 1947.

¹⁸ См. рецензии на работы Е.А.Косминского в: *Economic History Review*, 2 ser. 1957. V.9. №3. P.501; *English Historical Review*. 1958. V.73. №289. P.663.

¹⁹ Научная и общественная деятельность Е.А.Косминского // *Средние века*, вып.VIII. М., 1956. С.12, 14.

видел в появлении тойнбизма все-таки не однодневный заказ, а знание времени, отражающее период смены уверенности западного общества в себе поисками нового мировоззрения. Правда, данная им, а затем и другими советскими историками сугубо идеологическая трактовка разразившегося научного кризиса (как попытки создания новой религии, которую можно было бы противопоставить коммунизму и материализму²⁰) существенно искажила суть и реальное значение происходящих в зарубежной исторической науке процессов. Тем не менее, все вышесказанное дает нам основание предположить, что внимание Е.А.Косминского к творчеству А.Тойнби было следствием не только естественной реакции на возникший вокруг британского историка ажиотаж, но и понимания того, что теория Тойнби – индикатор происходящих в западной науке глубинных процессов. Впоследствии пути британского историка и советского академика пересеклись на X МКИИ в Риме.²¹ Поскольку в центре внимания Конгресса находились вопросы методологии, эта встреча могла дать Е.А.Косминскому дополнительный импульс к изучению творчества Тойнби.

Наконец, следует принять во внимание, что в начале 50-х гг. Е.А.Косминский уже не мог, хотя бы смутно, не ощущать, что теоретический монизм не отражает новых экономических, научно-технических и социальных реалий и задач. Уже в конце 1953 г. в крупных отечественных журналах стали появляться призывы к конструктивной, а не огульной критике зарубежных авторов.²² Показательно, что если в 1951 г. акцент некоторых западных историков на изучение культурно-бытовой истории, их обращение к антропологии и этнографии воспринимались Е.А.Косминским как “вторжение реакционной псевдонауки”, “открывающей широкий простор для всевозможных фантазий и искажений”,²³ то уже через четыре года, выступая на Конгрессе в Риме, он существенно изменил свое отношение к роли культурных факторов в истории.²⁴ Для понимания постепенно происходящих в сознании ученого перемен следует привести его высказывание (пожалуй, ключевое в нашем поиске объяснений пристального внимания советского ученого к тойнбианским идеям) из статьи, написанной в 1958 г. по поводу коллективного доклада зарубежных историков на X МКИИ. Характеризуя

²⁰ Личный архив Е.А.Косминского // Архив Российской Академии наук (далее АРАН). Ф.1514. Оп.1. Д.62.

²¹ Панкратова А.М. К итогам X Международного Конгресса историков // Вопросы истории. 1956. №5. С.6.

²² Творческое изучение марксистско-ленинской теории // Коммунист. 1953. №4. С.58; Гефтер М., Покатаев Ю., Шахназаров Г. Критика и библиография в научном журнале // Коммунист. 1954. №15. С.107-115.

²³ Цит. по: Косминский Е.А. Классовая борьба в английской деревне XIII – XIV вв. // Проблемы английского феодализма... С.183-185. Впервые статья была опубликована в сб. “Средние века”, вып. III, 1951.

²⁴ Косминский Е.А. Основные проблемы западноевропейского феодализма в советской исторической науке // Там же. С.208, 231. Впервые статья опубликована в кн. “Доклады советской делегации на X Международном Конгрессе историков в Риме”. М., 1955. С.1-44.

вклад западной науки в современную историографию, Е.А.Косминский писал: “Нельзя отрицать пользы, принесенной специальными исследованиями этой эпохи: они расставили знаки вопроса, требующие ответа... И в наши дни научная мысль Запада начинает искать в нагромождаемых без системы фактах *возможности установления новых, еще не совсем явно обозначившихся связей и построения новых конструкций.*” (курсив мой. – О.В.)²⁵ Остается лишь добавить, что являясь автором школьных и вузовских учебников по истории средних веков, а также одним из редакторов третьего тома “Всемирной истории”, Косминский не мог не заинтересоваться другой, в высшей степени значительной, попыткой предложить план всемирной истории на альтернативных марксизму принципах. Тем более, что в XX в. А.Тойнби был, пожалуй, единственным зарубежным ученым, создавшим схему, которая охватила все страны земного шара и все эпохи.

Поверить в исключительно идеологическую заданность критики Е.А.Косминского можно лишь с большими оговорками, хотя в пользу этого и говорят некоторые факты. За расхожими формулами скрывалась не только дань конъюнктурным требованиям времени, но и смутное ощущение неординарности тойнбианского подхода к истории. Удивление вызывает видимое несоответствие между устойчивым и подлинным интересом к идеям Тойнби и несправедливой, крайне тенденциозной их критикой. Это несоответствие особенно бросается в глаза, если принять во внимание неоднократные заявления Е.А.Косминского о том, что “классовое и идейно-политическое содержание историографии – это лишь одна, хотя и очень важная сторона исторической науки”, и было бы “глупостью и непростительной ошибкой огулом зачеркивать всю буржуазную историографию, не учитывая ее достижений”.²⁶ Вопрос, который не может не волновать нас, – это мотивы, побудившие Е.А.Косминского писать об ограниченности и вредности тойнбианских построений, созданных в угоду снобистски настроенным интеллектуалам и направленным на разжигание новой мировой войны.²⁷ Для ответа на него необходимо раскрыть всю совокупность условий, определяющих и направляющих действия ученого, проникнуть в социокультурную специфику эпохи, внутренние и социальные мотивы поведения исследователя. При этом факторы, влияющие на развитие исследовательской деятельности, пожалуй, лишь условно можно разделить на внешние по отношению к науке (социокультурные) и внутринаучные. В действительности они тесно переплетались и через цепь опосредований переходили друг в друга.

Начнем с вненаучных факторов, влиявших не только на общий тон критики Е.А.Косминского, но и на степень негативности его оценок. В

²⁵ Косминский Е.А. Были ли XIV и XV века временем упадка европейской экономики? // Там же. С.264. (Первая публ.: “Средние века”, вып.Х, 1958).

²⁶ Косминский Е.А. Историография средних веков. М., 1963. С.9.

²⁷ Kosminsky E. Op. cit. №7. P.8.

этом плане, показательна история с публикацией статьи Е.А.Косминского "Реакционная историософия Арнольда Тойнби", которая была написана в 1954 г. и представляла собой несколько обновленный и расширенный вариант текста, опубликованного годом раньше в журнале "News". Планировалось, что она войдет в готовящийся юбилейный сборник в честь академика В.П.Волгина. Однако редколлегия сборника статью "завернула", мотивировав это изменениями политической позиции самого А.Тойнби и попросив автора ограничиться преимущественно научно-критическим анализом его концепции.²⁸ Через полгода Е.А.Косминский попробовал опубликовать статью в "Вопросах истории". Результат был аналогичным. Как следует из письма главного редактора журнала академика А.М.Панкратовой, направленного Е.А.Косминскому 31 мая 1955 г., редакция *запросила компетентные инстанции*, которые сочли публикацию статьи нецелесообразной²⁹ (курсив мой – О.В.). К сожалению, при работе с архивом Е.А.Косминского прилагаемая к письму справка о полученной редакцией информации найдена не была. Но общее ее содержание становится ясным, если учесть, что редакция просит автора обдумать вопрос о том, следует ли в настоящее время выступать с критикой реакционных взглядов А.Тойнби.³⁰ Статья в очередной раз была отправлена на доработку³¹ и опубликована лишь в 1957 г. под нейтральным названием "Историософия Арнольда Тойнби". Вместе с эпитетом "реакционная" из нее исчезли многие резкие оценки ("Рассуждения ученого профессора приводят к программе американских монополистов и Пентагона" или "Тойнби подобно немецким фашистам, подобно Розенбергу, чрезмерно широко использует мифы"),³² другие же были смягчены; в целом, автор действительно постарался ограничиться научно-критическим анализом концепции.

Что заставило "компетентные инстанции" сменить гнев на милость, если учитывать контекст все нараставшей критики "буржуазного сознания" и "буржуазной науки"? Полагаем, дело не только в изменении политических взглядов самого А.Тойнби. В обстановке, когда полемика отечественных ученых с представителями зарубежной социологической и исторической мысли была в значительной мере опосредована государственной идеологией, причины изменения характера критики могут быть поняты только через внимательное изучение реальной внутри- и внешнеполитической конъюнктуры. В начале 50-х гг. отноше-

²⁸ Выписка из протокола заседания ред. коллегии сборника в честь В.П.Волгина от 13 ноября 1954 г. // АРАН. Ф.1514. Оп.2. Д.28.

²⁹ Письмо редакции журнала "Вопросы истории" по поводу опубликования статьи "Реакционная историософия Арнольда Тойнби" от 31 мая 1955 г. (№1536-317) // Там же.

³⁰ Там же.

³¹ Письмо редакции "Вопросов истории" Косминскому Е.А. от 16 июня 1955 г. (№ 1681-317) // Там же.

³² См. первую редакцию статьи Е.А.Косминского // Там же. Оп.1. Д.67.

ния между Советским Союзом и Великобританией стали заметно улучшаться, что было связано с явно наметившейся тенденцией к ослаблению альянса между Великобританией и США.³³ Между двумя державами произошел ряд столкновений по широкому кругу вопросов, таких как признание КНР, эскалация корейской войны, конфликт в Индокитае. Английская политика в большей степени, чем американская, учитывала настроение этих новых суверенных государств, что так или иначе было связано со стремлением США проникнуть в британскую сферу влияния в колониальном, полуколониальном и бывшем колониальном мире.³⁴ Поворот в английской политике был вызван и новым соотношением военно-стратегических сил, резко изменившимся после испытания в Советском Союзе атомной бомбы. В случае ядерного нападения Англия была более уязвима со стратегической точки зрения, нежели Американский континент, и британские руководители не желали закрывать глаза на это обстоятельство. Начал менять свой тон и Черчилль. «Наши позиции в области ядерного оружия, – заявил он в марте 1950 г., – ухудшились в результате того что русские неожиданно... раскрыли секрет атомной бомбы и, как говорят, начали ее производство. Давайте поэтому крепить мир не только на путях усиления нашей оборонной мощи, но и добиваться того, чтобы ни одна дверь не осталась закрытой для надежды достигнуть урегулирования спорных вопросов».³⁵ В последующие годы он и его преемники, возглавлявшие консервативную партию, в своих доверительных и публичных высказываниях неизменно демонстрировали большой, нежели их американские партнеры, интерес к проведению прямых переговоров с руководителями Советского Союза. С другой стороны, СССР, стремясь использовать любые трения в англо-американских отношениях, начал поворачиваться к Лондону лицом. Думается, что произошедший в 1952-53 гг. обмен делегациями ученых можно понять только в контексте наметившихся в обеих странах внешнеполитических подвижек.³⁶

После смерти Сталина жесткая доктрина двух взаимоисключающих миров стала еще более смягчаться, а новое советское руководство продемонстрировало стремление к динамизму внешней политики. Созванная в феврале 1955 г. сессия Верховного Совета СССР, предложила установить непосредственные связи между парламентами всех стран путем обмена делегациями.³⁷ Официальный визит Н.С.Хрущева и Н.А.Булганина в Великобританию, состоявшийся в апреле 1956 г.,

³³ Britain and the United States. Council on Foreign Relations. L., 1953. P.13.

³⁴ Мадзоевский С.М. Английский империализм и англо-американский союз // Западная Европа и США (очерк политических взаимоотношений). М., 1968. С.197, 205.

³⁵ Churchill W.S. Speeches // In the Balance. L., 1951. P.243.

³⁶ В сентябре 1953 г. Советский Союз посетила делегация английских ученых, возглавляемая членом Коммунистической партии Великобритании проф. Бирмингемского университета Р.Хилтоном.

³⁷ Заседание Верховного Совета СССР четвертого созыва (вторая сессия): стенографический отчет. М., 1955. С.527.

свидетельствовал о наметившейся “оттепели” в советско-британских отношениях. Были достигнуты соглашения об упрочении отношений в политической, торговой, научной и культурной областях. В этих условиях изображение английского ученого проповедником “холодной войны”, ждущим от Вашингтона того, “чего не удалось сделать Наполеону, Вильгельму II и Гитлеру”,³⁸ шло вразрез с общей направленностью советской внешней политики. Поддержание “образа врага”, особенно в его крайних идеологизированных формах, категорически исключало возможность международного общения и сотрудничества, ведь сосуществование с врагом невозможно и морально порочно.

Могла, на наш взгляд, быть и другая причина отсрочки публикации Е.А.Косминского о Тойнби. В 1954-1956 гг. проблема изоляции отечественной академической науки и чрезмерности партийного контроля над ней ставилась уже самими учеными. Симптоматична в этом плане позиция А.М.Панкратовой, сумевшей скорректировать ряд собственных высказываний предшествующего периода. Назначенная в тот момент главным редактором “Вопросов истории”, она открыто заявила с трибуны XX съезда, что наука должна развиваться не “приказами и гололованием”, а “путем свободного обмена мнениями, путем дискуссий”.³⁹ Следует отметить, что активная научно-просветительская деятельность “Вопросов истории” показывала в те годы пример новаторства в освещении проблем исторической науки.⁴⁰ Именно тогда на страницах журнала был опубликован ряд статей, в которых звучали призывы освободить историческую науку от догматизма, волюнтаризма и наклеивания “ярлыков”. Печальный итог развернутой в 1956 г. кампании по дискредитации редколлегии журнала известен.⁴¹ Но тот “глоток свежего воздуха”, поступивший в нашу науку после смерти Сталина и поспешно понятый некоторыми учеными как ослабление идеологического диктата, также мог повлиять на позицию редакции по отношению к явно тенденциозной статье Е.А.Косминского.

Обращение к событиям первой половины 50-х гг. помогает ответить на многие вопросы, связанные с историей данной публикации. Но не менее важно понять и другое: почему Е.А.Косминский, историк, вне всякого сомнения талантливый и продуктивный, принял условия игры, которые ему навязывались? Подобное можно было бы объяснить сложностью и противоречивостью человеческой природы. Но при ближайшем рассмотрении никакой противоречивости здесь как раз и нет.

³⁸ Косминский Е.А. Указ. соч.

³⁹ XX съезд КПСС. Стенографический отчет. т.1. М., 1956. С.619-620.

⁴⁰ См., например, доклад Э.Н.Бурджалова, зам. главного редактора журнала о состоянии советской исторической науки и работе журнала, сделанный на встрече с читателями в Ленинградском отделении Института истории АН СССР в 1956 г. // Вопросы истории. 1989. №9.

⁴¹ См.: Городецкий Е. Журнал “Вопросы истории” в сер. 50-х гг. // Вопросы истории. 1989. №9.; Балакин В.С. Отечественная наука в 50-е – серед. 70-х гг. XX в. (опыт изучения социокультурных проблем). Челябинск, 1997. С.60-68.

Большая часть жизни ученого пришлась на период глубокой ломки исторической науки СССР. Как и другим историкам его поколения, Е.А.Косминскому пришлось принять активное участие в разворачивающейся вокруг него драме идей. За годы советской власти был воспитан определенный тип историка-профессионала, искренне убежденный в правоте марксизма и необходимости служения “интересам партии”. В случае с Е.А.Косминским было бы ошибкой видеть в этом только дань идеологическому диктату. Ученый был подготовлен к восприятию марксизма своими учителями, всегда интересовавшимися этим направлением современной мысли.⁴² Сказалось и то, что, принимая марксизм как методологию, Е.А.Косминский опирался не на “Краткий курс истории ВКП(б)”, а на свое собственное знание сочинений Маркса и Энгельса, даже в рукописном варианте.⁴³ Но хотя доподлинное изучение классиков марксизма и дало историку некоторую свободу понимания, это не освободило его от общества, в котором он жил и работал, и господствующих в нем идей. Многие выводы его статьи являются печальной иллюстрацией тех искажений сознания, которым были подвержены даже самые талантливые и высококультурные люди.

Но это лишь одна сторона медали. Она отчасти облегчает понимание поведения и воззрений советского историка, но при этом не объясняет его определенной непоследовательности в подходе к историографическому материалу. Дело в том, что Е.А.Косминский никогда не был сторонником огульного отрицания всех достижений буржуазной историографии. Даже в творчестве реакционных, с его точки зрения, ученых он пытался отыскать положительные моменты. Об этом свидетельствуют его лекции по историографии.⁴⁴ Об этом же пишет английский историк М.Постан, главный редактор журнала “*Past and Present*” (“Прошлое и настоящее”), с которым советский историк тесно сотрудничал: “Косминский был сторонником диалектического материализма со времени своей молодости и оставался лояльным марксизму после революции, но он нес эту свою идеологию с легкостью и толерантностью, которая позволяла ему приобретать поклонников среди историков, равнодушных и даже враждебных марксистским взглядам”.⁴⁵ Почему же, вопреки присущей ему терпимости, его публикация о Тойнби носит такой резкий и явно тенденциозный характер? И хотя в ней довольно подробно и точно излагается историческая концепция британского профессора, сделанные выводы вызывают недоумение и сожа-

⁴² Гутнова Е.В. Академик Евгений Алексеевич Косминский // Новая и новейшая история. 1992. №2. С.168.

⁴³ Это стало возможным, благодаря его работе в ИМЭЛ, где он, возглавляя Сектор истории Англии, стал непосредственным участником расшифровки и подготовки к печати хранящихся в Институте конспектов Маркса по всеобщей истории. — Гутнова Е.В., Сидорова Н.А. Научные труды и деятельность Е.А.Косминского // Проблемы английского феодализма... С.24.

⁴⁴ Косминский Е.А. Историография средних веков. М., 1963. С.9.

⁴⁵ Postan M. Mr. E.A.Kosminsky // The Times. August 5, 1959.

ление. Дело, оказывается, не только в стереотипах идеологизированного сознания, но и в глубокой личной трагедии ученого.

Жизненный путь Е.А.Косминского был внешне благоприятным: он не подвергался репрессиям, не отлучался от науки, напротив, всегда считался одним из наиболее почитаемых ее лидеров. Этим он был обязан и собственной осторожности, и умению идти на компромиссы, и, наверное, тому, что по сравнению с новой и новейшей историей медиевистика менее привлекала к себе взгляды строгих партийных цензоров.⁴⁶ Однако в советских условиях ни “тихая заводь” отечественной медиевистики, ни истинный талант, ни официальное положение не могли являться гарантией для историка. Не избежал суровой критики и Е.А.Косминский. После выхода в свет второй монографии ученого, Б.Ф.Поршнева и некоторые другие историки обвинили его в отходе от марксизма и примирительном отношении к буржуазной историографии.⁴⁷ Ситуация еще более осложнилась, когда появился второй номер редактируемого Е.А.Косминским сборника “Средние века”, посвященный памяти Д.М.Петрушевского. Публикации были расценены как попытка реабилитировать буржуазного ученого, а авторы – как пособники буржуазного объективизма.⁴⁸ В условиях проводимой в то время кампании борьбы с “низкопоклонством перед иностранщиной” это было серьезное обвинение. Чтобы спасти сборник, коллег и собственную репутацию, Е.А.Косминскому пришлось пойти на компромисс. Таким вынужденным компромиссом стали его покаянные выступления на заседании Ученого Совета МГУ.⁴⁹ В результате – инфаркт, а затем и уход с кафедры. По авторитетному свидетельству Е.В.Гутновой, длительное время работавшей с Евгением Алексеевичем, после 1949 г. он сильно изменился: стал подавленным, ушел в себя. Моральная усталость, невозможность бороться, желание доказать лояльность, возможно, и определили характер его поздних публикаций.⁵⁰

Историку современного, стремящегося к демократии общества очень важно понять положение ученого, жившего в обществе тоталитарном. Иначе нам никогда не вырваться из того капкана, который был поставлен нам собственной историей. Сегодня очень часто можно услышать голоса, призывающие развенчать “отцов” и предать советскую историографию забвению только на том основании, что она опиралась на марксистскую методологию и подчинялась партийному диктату. Ме-

⁴⁶ Гутнова Е.В. Указ. соч. С.167.

⁴⁷ Поршнева Б.Ф. Современный этап марксистско-ленинского учения о роли масс в буржуазной революции // Известия АН СССР. Серия история и философия. 1948. Т. 5. № 6; он же. Историография средних веков и указания товарища Сталина об “Основной черте средневекового общества” // Там же. 1949. Т.6. №6.

⁴⁸ Митин А., Лихолат А. За высокий идейный и научный уровень // Культура и жизнь. 21 октября 1949; Полянский Ф.Я. О русской буржуазной историографии английской деревни // Вопросы истории. 1949. №1.

⁴⁹ Гутнова Е.В. Указ. соч. С.178.

⁵⁰ Там же.

жду тем, давно известно, что развитие исторической науки не определяется только сменой идеологических и методологических парадигм. Оценка отдельных ученых и целых направлений невозможна без рассмотрения их конкретного вклада в науку. Сказанное побуждает обратить внимание на особенности научной критики Е.А.Косминского.

Сразу же бросается в глаза его стремление прежде всего познакомить советского читателя с творчеством А.Тойнби. Е.А.Косминский не только добросовестно излагает предысторию возникновения и основные положения концепции английского мыслителя, но и рассказывает о нем самом и о восприятии его идей за рубежом. Наконец, – и это сразу поднимает уровень его научной критики, – он ставит вопрос о методе, который использует британский историк, анализируя процессы развития цивилизаций. На последнем стоит остановиться подробнее.

Несмотря на то, что Тойнби построил свои схемы, используя огромный фактический материал, охватывающий самые разные стороны жизни цивилизаций, Е.А.Косминский был уверен, что законы, выведенные им, априорны,⁵¹ а подтверждающие их исторические факты специально подобраны и истолкованы.⁵² Надо сказать, что обвинение А.Тойнби в априорности его конструкций и “выкраивании” исторических фактов слышались в то время и со стороны западной критики. Вот как формулировал свое впечатление от чтения “Постижения истории” его оксфордский коллега Х.Тревор-Ропер: “Сначала выдвигаются теории, часто интересные и наводящие на размышления, потом подбираются факты, чтобы их иллюстрировать (потому что нет теории, которую нельзя было бы проиллюстрировать подобными фактами), потом волшебник взмахивает своей палочкой, наш ум ослеплен массой деталей, и нам объявляют, что тезисы “эмпирически” доказаны фактами, и теперь можно перейти к дальнейшему”.⁵³

Таким образом, утверждение самого А.Тойнби о том, что он является эмпириком, подверглось сомнению. Все неточности, которые Е.А.Косминский, разумеется, находил в “Постижении истории”, все особенности, не укладывающиеся в предложенную А.Тойнби схему, рассматривались им как подтверждение поверхностного характера самих концепций. Нет ничего легче, чем находить у А.Тойнби фактологические ошибки, неточности, неверные, или, по крайней мере, сомнительные истолкования фактов, непоследовательность, противоречия, недоказуемые утверждения и т.п. Поисками ошибок такого рода усердно занимались и советские, и зарубежные критики и, надо сказать, что

⁵¹ Косминский Е.А. Реакционная историософия Арнольда Тойнби // Проблемы английского феодализма... С.327.

⁵² Там же. С.326, 328, 332.

⁵³ Trevor-Roper H.R. Testing the Toynbee's System // Sunday Times. October 17, 1954.

им удалось собрать множество подобных упреков.⁵⁴ Согласимся, что небрежность, с которой А.Тойнби иллюстрировал свои построения на конкретно-исторической почве, а также, порой, вполне сознательное стремление “подогнать” иные события под свою схему, привести “хронологию устаревшую, но более соответствующую авторскому замыслу”,⁵⁵ может дать повод для иронии.

Но характерной чертой Е.А.Косминского как ученого было то, что при разрешении даже частных вопросов, он неизменно ставил проблемы самого широкого исторического значения. Он понимал, что отыскание фактологических ляпсусов – вещь, доступная даже дилетанту.⁵⁶ Изучение соотношения теоретических обобщений автора “Постижения истории” с фактологическими основаниями этих обобщений – куда более сложное занятие. А так как сами по себе сферы исторической конкретики и понятийного осмысления не могут быть абсолютно тождественны друг другу, Косминский счел необходимым поставить вопрос о философско-методологических основаниях тойнбианских построений. Ему было ясно, что предложенная А.Тойнби концепция смысла и целей истории требует совершенно иного понимания опыта и факта, чем те, которые установлены “научной и объективной мыслью”⁵⁷ (читай: марксизмом – О.В.). И эмпиризм Тойнби есть эмпиризм особого рода.⁵⁸ Досадно, что, промелькнув блистательной догадкой, мысль ученого не пошла дальше ритуальных рассуждений о том, что этот эмпиризм есть ни что иное, как позитивизм и теология, и что если в начале своего творчества (30-е гг.) Тойнби делал ударение на квазиэмпирической стороне исследования истории, то в последующем теологическая сторона выступала все откровеннее.⁵⁹

Не удивительно, что применяемый Тойнби исследовательский инструментарий казался Е.А.Косминскому квазинаучным. Ибо для английского мыслителя сами по себе факты, до того, как они оказались в руках исследователя, еще не имеют статуса исторических фактов.⁶⁰ Для него историческая реконструкция есть не просто механическое отображение событий “как это было”, но конструкция историка, которую он возводит из сложного сплава сообщений источников и собственных представлений об историческом процессе, впитавших в себя опыт науки и современную картину мира. В рамках этой конструкции, разумеется не произвольной, памятники прошлого становятся историческими

⁵⁴ Geyl P. Debates with Historians. N.Y., 1958. P.238; Mishell H. Herr Spengler and Mister Toynbee // Toynbee and History. P.83; Sorokin P. Toynbee's Philosophy of History // Ibid. P.183.

⁵⁵ Харитонович Д.Э., Колышкина Н.И. Научный комментарий // Постижение истории. М., 1991. С.665.

⁵⁶ Косминский Е.А. Метод Тойнби. Выписки из произведений и заметки на полях // АРАН. Ф.1514. Оп.1. Д.62.

⁵⁷ Косминский Е.А. Реакционная историософия Арнольда Тойнби. С.332.

⁵⁸ Там же.

⁵⁹ Там же. С.294.

⁶⁰ Toynbee A.J. A Study of History. V.12. L., 1961. P.241, 242, 245.

источниками, а сообщения последних – историческими фактами. В то время как советские историки заявляли о независимости исследователя от окружающей действительности,⁶¹ А.Тойнби настаивал на том, что историк не может полностью отрешиться от современных ему идеологических схем и поэтому лучше стремиться их понять, чем отрицать.⁶² Ведь принадлежность историка к обществу и та картина мира, которую он разделяет со своими современниками, определяют и постановку проблемы, и критерии научного анализа.

Е.А.Косминскому эти рассуждения, естественно, показались вредными и глубоко ошибочными, так как шли вразрез с принятым в марксизме понятием о честном и объективном исследовании. С одной стороны, автор “Постижения истории” пытался обосновать объективный характер получаемых теоретических конструкций и их эмпирическую верифицируемость, с другой, признавал и некоторую теоретическую заданность исторического факта. Для марксистски ориентированного историка подобная противоречивость могла означать только одно: несовершенство методологических установок А.Тойнби. Это способствовало обвинению оксфордского профессора еще в одном грехе “буржуазной историографии”, а именно в агностицизме. Правда, Косминский, на тот момент, пожалуй, ближе всех подошел к пониманию истоков так называемого “тойнбианского агностицизма”. С его точки зрения, следовало говорить не об агностицизме в его чистом виде, а о субъективизме и неверии английского ученого в неограниченные возможности рационального познания.⁶³ Постулируя теоретическую заданность собственно исторического факта (другими словами, впадая в субъективизм) и, будучи убежденным в неполноте системы рациональных категорий применительно к истории (осуществляя поворот к иррациональному), А.Тойнби, по мнению Е.А.Косминского, просто лишил себя возможности подлинно научного познания.⁶⁴

Нетрудно видеть, что так называемый “строгий научный метод”, на который опирался Косминский, имел свои эпистемологические пределы. Полученное нашими учеными 50-60-х годов научное наследие, основанное на непоколебимой и не подлежащей дискуссии убежденности в том, что познание не представляет каких-либо особых трудностей, лишило их возможности оценить достоинства представляемого А.Тойнби методологического направления. Но, признавая это, мы не можем не поставить в заслугу Е.А.Косминскому тот факт, что он привлек внимание историков к особенностям тойнбианской методологии и указал на ее кардинальное отличие от марксизма.

⁶¹ Араб-Оглы Э.А. Концепция исторического круговорота // Исторический материализм и социальная философия современной буржуазии. М., 1960. С.159.

⁶² Тойнби А.Д. *Op. cit.*

⁶³ Косминский Е.А. Указ. соч. С. 326.

⁶⁴ Там же.

Интересно под этим углом зрения внимательнее присмотреться к некоторым сторонам марксистского подхода, служившего для наших ученых методологической основой критики. Как и Гегель, Маркс стоял на позициях панлогизма, полагая, что способности познания практически безграничны, и наука вполне способна адекватно отразить разумно устроенный и закономерно развивающийся мир.⁶⁵ Как справедливо заметил А.Я.Гуревич, расхождения в рассуждениях обоих мыслителей – лишь в идеалистической и материалистической интерпретации одного и того же принципа беспроблемной познаваемости.⁶⁶ П.П.Гайденко, говоря о возвращении А.Тойнби и ряда других буржуазных философов истории XX в. к Гегелю в смысле обращения их к рассмотрению структуры самого исторического процесса, указала на стремление этих мыслителей освободить гегелевскую философию истории от панлогизма.⁶⁷ Действительно, все они в области теории познания опирались, скорее, на Канта с его учением о границах человеческого разума, нежели на Гегеля с его принципом беспроблемной познаваемости. Х.Ортега-и-Гассет, один из наиболее авторитетных исследователей творчества А.Тойнби, отмечал: именно Канту принадлежит открытие того, что “бытие имеет смысл только как вопрос субъекта... Бытие – это не бытие в себе, а отношение к теоретизирующему субъекту”. Кант первый (не считая софистов) счел необходимым говорить о бытии без предварительного упоминания, каков познающий субъект, поскольку он входит в конституцию бытия “вещей”, поскольку вещи “есть” и “не есть” только в связи с ним”.⁶⁸ Таким образом, кантианская проблематика “критики чистого разума” и выросшее из нее неокантианство были несовместимы с принятым в марксизме принципом “отражения”.

А.Тойнби вслед за неокантианцами полагал, что духовные аспекты человеческого общежития специфичны и требуют поэтому особых методов.⁶⁹ Вполне естественно поэтому, что когда он попытался преодолеть узость неокантианства, применив методологию, сочетавшую научный, логико-теоретический, рационалистический подход с художественно-интуитивистским и иррациональным, Е.А.Косминский не был готов углубиться в эту проблематику, обрушив на него острую критику.

Разумеется в критике Е.А.Косминского содержалось и немало разумных замечаний о тех смелых гипотезах, которые были предложены А.Тойнби. Советский ученый совершенно справедливо заметил, что Тойнби так и не сумел достаточно четко определить критерии выделе-

⁶⁵ Маркс К. и Энгельс Ф. Сочинения. Т.23. С.21.

⁶⁶ Гуревич А.Я. О кризисе современной исторической науки // Вопросы истории. 1991. № 2/3. С.23.

⁶⁷ Гайденко П.П. Буржуазная философия в поисках реального содержания исторического процесса // Вопросы истории. 1966. № 1. С. 93 – 94.

⁶⁸ Ортега-и-Гассет Х. Чистая философия // Философия Канта и современность. Ч. 2. М., 1976. С. 129 – 130.

⁶⁹ Тойнби А.Д. A Study of History: What I Try to Do // International Affairs. 1955. Vol. 3. P. 2.

ния и разграничения цивилизаций, а также то, что предложенная английским историком концепция происхождения цивилизаций не убедительна и, стало быть, не безупречна. Можно согласиться и с упреком Косминского по поводу определенной абсолютизации Тойнби сравнительного метода и недооценки им роли материального фактора в жизни цивилизаций. Наконец, Е. А. Косминский обнаружил большое количество концептуальных и фактологических противоречий, открыв возможности для творческого развития теории.

Тем самым, мы подошли к главному вопросу: как оценить вклад, внесенный в отечественную “тойнбиану” этим крупным ученым? По мере отхода от российской историографии от двухмерного черно-белого восприятия нашего исторического прошлого, все больший интерес начинает представлять раскрытие противоречий, характерных для внутреннего мира личности ученого как центра, где пересекаются линии развития науки, истории и культуры. Эти противоречия, видимо, и создали то “поле особого напряжения”, в котором формировалось отношение Е. А. Косминского к концепции Тойнби. Очевидно, что его критика теории британского мыслителя несет в себе как бы два пласта.

Первый пласт – традиционный набор штампов и признаний необходимости разоблачения буржуазного теоретика. Исходя из понимания Тойнби как типичного представителя кризисного этапа буржуазной историографии, Е. А. Косминский явно недооценил общегуманистическую направленность и огромный эвристический потенциал его трудов. Истоки данного пласта имели вполне определенную отправную точку: по существу все, что было им сказано, находилось в рамках марксистской концепции истории, в контексте все той же методологии, правильность которой тогда никто не ставил под сомнение. Стоит отметить, что, доказывая преимущества марксистского понимания истории перед “буржуазной” наукой, Е. А. Косминский вряд ли кривил душой. Марксизм был основой его научного метода и независимо от всех давлений сверху давал ему опору в теоретических построениях.

Ориентацию на одну универсальную теорию дополняла крайняя степень политизации советской исторической науки, снижающая иногда уровень критики Косминского с научного до идейно-политического. Все это, как правило, способствовало сохранению негативно-критического отношения ко многим гипотезам А. Тойнби. Разделяя вместе с другими советскими людьми социалистические воззрения, он иногда несомненно искренне, иногда идя на компромиссы, высказывал те мысли и идеи, которые были характерны для отечественной интеллигенции тех лет. Поэтому многое в умонастроениях ученого так и остается неясным. Трудно до конца разграничить ход научного поиска исследователя, его искреннее желание идти в ногу со временем и необходимость приспособливаться к жесткому идеологическому режиму. В случае с Е. А. Косминским это особенно нелегко, поскольку, как свидетельствует Е. В. Гутнова, этот человек никогда не был склонен рас-

крываться до конца.⁷⁰ Значительным подспорьем в прояснении истинных воззрений советского академика могли бы стать воспоминания и свидетельства близко знавших его ученых. По-видимому, обращение к устной истории действительно становится насущной потребностью отечественной историографии.

Но был наряду с традиционным и другой пласт в критике Косминского, историческая значимость которого, как нам представляется, определяется не поверхностной фразеологией, а ее конкретным содержанием. Под идеологической пеленой и апелляциями к авторитету основоположников марксизма-ленинизма в обстановке ожесточенной критики закладывалась определенная исследовательская традиция, затрагивающая те сферы исторической науки, которым советская историография уделяла мало внимания. Его первые высказанные по поводу творчества английского мыслителя суждения дали толчок целой серии исследований по этой проблематике. Е.Б.Рашковский, создавший одну из самых глубоких интерпретаций творчества британского историка, утверждает, что импульс к изучению идей Тойнби был получен им именно после прочтения статьи Косминского в журнале «Вопросы истории».⁷¹ Кроме того, в самом факте обращения Е.А.Косминского к вопросам тойнбианской методике объективно значимым было уточнение категориально-понятийного аппарата, что способствовало совершенствованию научного языка, повышало культуру ведения диалога, самих научных исследований.

Безусловно, многие оценки ученого не выдержали испытания временем и имеют теперь лишь историографическое значение. И все-таки осталось то, что имеет, на наш взгляд, непреходящую ценность. Е.А.Косминский первый познакомил наших соотечественников с трудами знаменитого британского историка и тем самым способствовал введению имени А.Тойнби в широкий научный оборот; поставил вопрос о его предшественниках и их влиянии на построения английского мыслителя; проанализировал некоторые особенности его методологии и указал на ее кардинальное различие с марксизмом. Своими первыми публикациями о Тойнби, пусть иногда ценой печальных компромиссов, он создал почву для последующей работы отечественных исследователей творчества британского историка. И, думается, это не мало.

⁷⁰ Там же. С. 176.

⁷¹ Запись беседы с Е.Б.Рашковским от 15 декабря 1997 года в г. Липецке // Из личного архива автора.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЫ И ОБЩЕСТВО

Л.А.Фадеева

Интеллектуалы, интеллигенция и концепция политической культуры

Политическая культура до сегодняшнего дня остается понятием, вызывающим ощущение зыбкости, неуловимости, размытости. Представляется особенно затруднительным вписать столь неоднозначный феномен в контекст интеллектуальной истории. Между тем, взаимосвязь политической культуры и интеллектуальной истории прослеживается сразу в нескольких аспектах. Прежде всего, это относится к истории политической мысли. Мэтр политико-культурной школы Г.Алмонд отмечает, что уже в работах античных авторов, как и в выступлениях ораторов и оракулов можно обнаружить характеристики основных категорий политической культуры. В особенности, это касается работы Платона "Республика", в которой рассматривается система взаимосвязей между политиями, с одной стороны, и ценностями, установками, опытом социализации, с другой.¹ Эти мысли Алмонда перекликаются со взглядами классика интеллектуальной истории, американского философа А.Лавджоя, подход которого состоял в изолировании и изучении странствующих во времени универсальных идей, использовавшихся как составные части самых разных теорий и учений. Среди факторов, действующих в интеллектуальной сфере, он выделял ментальные привычки, убеждения, которые "скорее молчаливо подразумеваются, чем формально выражаются и отстаиваются".²

Идея о наличии некоего привычного хода рассуждений, который доминирует в мышлении индивида, поколения или эпохи, присутствует, в свою очередь, в рассуждениях Г.Алмонда об интеллектуальных источниках формирования концепции политической культуры. В статье "Интеллектуальная история концепции гражданской культуры" он видит вклад А.Сен-Симона, К.Маркса, Э.Дюркгейма, М.Вебера в становление политико-культурного подхода в активизации интереса мыслителей к субъективной стороне социально-политических явлений. Кроме того, Алмонд рассматривает в качестве интеллектуальных источников концептуализации политической культуры: социально-психологические ис-

¹ Almond G. The Intellectual History of the Civic Culture Concept // Almond G., Verba S. The Civic Culture Revisited. Boston, 1980.

² Подробно об этом см.: Релина Л.П. Интеллектуальная история сегодня: проблемы и перспективы // Диалог со временем. Вып.2. М., 2000. С.5-7.

следования У.Липпмана, У.Макдугалла, социологические ("психоантропологические") работы Б.Малиновского, М.Мид и Г.Лассвелла. Концепция же гражданской культуры, на его взгляд, основывается на таких интеллектуальных традициях, как дух Просвещения и либеральная политическая теория.³ Таким образом, апелляция к интеллектуальной истории помогает Г.Алмонду отстаивать концепцию гражданской культуры в новых социально-политических реалиях.

В самом деле, становление и развитие концепций политической культуры оказалось тесно сопряжено с перипетиями утверждения интеллектуальной истории в системе исторических дисциплин. Классическая дефиниция политической культуры была предложена Г.Алмондом и С.Вербой в 1963 г. Авторы концепции определяли политическую культуру как "систему ценностей, глубоко укоренившихся в сознании мотиваций или ориентаций и установок, регулирующих поведение людей в ситуациях, имеющих отношение к политике".⁴ Это определение вызвало немало споров, но постепенно утвердилось в политической науке, а затем было дополнено и развито. В результате распространения теории Алмонда и Вербы на смену популярному в середине XX в. подходу, связывающему различия в политических культурах прежде всего с различиями политических систем, пришла иная концепция, уделяющая главное внимание социально-психологическим характеристикам широких масс населения и условиям устойчивого развития представительной демократии западного типа. Однако, политологи данной ориентации не включали в совокупность структурных компонентов политической культуры конкретных видов политического поведения, которое другими исследователями расценивается как неотъемлемая часть культуры. По этой причине позднее были внесены коррективы в трактовку политической культуры: в ее структуру стали включать не только политическое сознание, но и модели политического поведения рядовых граждан, социальных групп и политических элит.

Политическое поведение в значительной степени регулируется установками и нормами, которые, в свою очередь, определяются глубоко укоренившимися в сознании индивидов ценностями. Таким образом, в качестве составных элементов политическая культура включает в себя сформировавшиеся на протяжении длительного времени ориентации и установки людей в отношении существующей системы в целом, составляющих ее институтов и важнейших правил игры, принципов принятия политических решений. Эти компоненты характеризуются относительной устойчивостью и постоянством, достаточно медленно поддаются изменениям. В состав политической культуры входят также принятые образцы и стереотипы политического поведения. Конкретное политическое поведение индивида или социальной группы можно объ-

³ Almond G. The Civic Culture Concept // Comparative Politics: Notes and Readings / Ed. B.Brown, R.Makridis. Wardsworth, 1996. P.77.

⁴ Almond G., Verba S. The Civic Culture. L., 1963. P.13.

яснить, исходя из его или их политических ценностей или ориентаций, которые помещены в определенный социальный контекст.

Критика классической теории "гражданской культуры" Г.Алмонда и С.Вербы за пространственно-временную иерархию политических культур активизировалась в связи с интеллектуальными поисками и осмыслением опыта 1960-х годов. Были отмечены изменение показателей политического участия в 1970-е годы, усиление процессов индивидуализации как части модернизационных процессов, феномен "индивидуализированного избирателя", в электоральном поведении которого проявляется индивидуальный выбор и утверждается личная ценностная система.⁵ Р.Инглхарт считает, что на Западе происходит "молчаливая революция", суть которой состоит в изменении господствующей системы ценностей, в переходе от материалистических к пост-материальным ценностям: качества жизни, самореализации и индивидуальной свободы.⁶ Теория "гражданской культуры" остается своеобразным "концептуальным зонтиком" применительно к анализу политических культур, но она утратила монополию в рамках сравнительных исследований. Уходит в прошлое (хотя и не без труда) тенденция рассматривать западные политические культуры с помощью метода "культуры через нет". Новая релятивистская парадигма в современной сравнительной политологии гласит: разные культуры способны добиваться сходных результатов разными путями и методами.

Авторитетный компаративист Л.Пай настаивает на том, что необходимо изучать не только историю политического развития системы как целого, но и жизненный опыт людей, которые воплощают культуры. Подобная идея весьма близка подходу представителей современной интеллектуальной истории, которые считают, что интеллектуальная история должна включать изучение проявлений определенных идей не только в учениях или оригинальных суждениях глубоких мыслителей, но и в коллективной мысли больших групп людей. Исследователь должен помнить о тех идеях, которые получили широкое распространение и стали частью мыслительного инструментария многих людей. Л.Пай отмечает также, что политическая культура передается от поколения к поколению в процессе социализации, и поэтому она не может так быстро изменяться, как политический процесс. Это приводит к напряженности и кризису, выходом из которого становится новая политическая культура. Смена старых типов новыми происходит постепенно, путем поэтапного вытеснения одних смешанных систем ориентаций другими⁷.

Важную роль в этом процессе могут играть и играют интеллектуалы. Современные исследователи политических культур утверждают: "Трансляция политических ценностей посредством символов может

⁵ Рукавишников В., Харман Л., Эстер П. Политические культуры и социальные изменения. Международные сравнения. М., 1998. С.93-94.

⁶ Inglehart R. The Silent Revolution: Changing Values and Political Styles among Western Public. Princeton, 1993.

⁷ Pye L., Verba S. Political Culture and Political Development. Princeton, 1965.

быть определена как политическая связь, а изучение ее системы дает аналитику возможность рассматривать явления политической культуры в принятых современной культурологией терминах контекста и его значения".⁸ Г.Алмонд утверждает даже: "Политическая культура – не теория. Это понятие относится к набору переменных, которые могут быть использованы при создании теорий. Данное понятие сообщает психологическим и субъективным измерениям политики некоторую способность служить объясняющими факторами, равно как и допускает, что существуют такие контекстуальные и предполагаемые им самим переменные, которые могут объяснить его".⁹ В связи с этим вспоминаются слова Д.Кавелина, который писал, что великое значение европейской науки заключается не в непогрешимости ее результатов, а в том, как она выросла и развилась из живых потребностей среды и времени.¹⁰

Новые подходы характеризуются переориентацией науки о политической культуре с анализа политических систем как отражения форм поведения к их восприятию как комплексов реальных и идеальных культурных образцов. В связи с этим ответственность интеллектуалов возрастает вдвойне: и как интерпретаторов чужеземных культур, исследование которых сродни переводческой работе, и как людей, формирующих и формулирующих важные компоненты национальной политической культуры своей страны. Кроме того, интеллектуальная история, несводимая к истории интеллектуалов, все же включает в себя их историю, и в этом смысле можно говорить о политической культуре интеллектуалов. Одним из ярких примеров воздействия политической культуры интеллектуалов на национальную политическую культуру можно считать французский опыт.

А.Дюамель считает, что ангажированность или пристрастие интеллектуалов к политике составляет совершенно особую традицию французской политической жизни. Истоки этой традиции восходят к эпохе Просвещения, когда "высоколобые" философы подготавливали самую универсальную из буржуазно-демократических революций. С тех далеких времен французская интеллигенция тщательно оберегала свой особый статус стража демократии, блюстителя справедливости и свободы, высшего судьи в делах морали и права. Сложилась даже своеобразная диктатура интеллектуалов, направлявших общественное мнение страны. Все послевоенные годы такого рода влиянием обладал Жан-Поль Сартр. Политические деятели не только не оспаривали, но даже по-своему поддерживали эту традицию. Для придания большего веса и авторитета своей личности они и сами старались обзавестись репутацией интеллектуала. Иерархи высших эшелонов власти почему-то особенно ценили престиж литератора. Генерал де Голль, например, прославился своим знанием истории; Жискара д'Эстен в свое время

⁸ Рукавишников В., Харман Л., Эстер П. Указ. соч.

⁹ Almond G., Verba S. *The Civic Culture Revised*. Boston, 1980.

¹⁰ Кавелин Д. Наш умственный строй. М., 1991.

мечтал о карьере романиста; свою любовь к изящной словесности откровенно рекламирует и Ф.Миттеран.¹¹ На мой взгляд, в этом рассуждении ощущается влияние стереотипа: власть предержавшие всегда играют роли, и любая их деятельность имеет своей целью произвести впечатление на публику. Эту мысль вряд ли имеет смысл оспаривать. Однако, в данном контексте, она приводит к умалению роли и интеллектуальных, и политических традиций. Наверное, не следует сомневаться в искренности пристрастий упомянутых политических деятелей к истории и литературе.¹² "Диктатура интеллектуалов" выражается во Франции отнюдь не в одних политических стереотипах, вследствие которых "Франция мыслит по-левому", хотя нередко "голосует по-правому". Уважение к интеллектуальной деятельности, убежденность в ее необходимости и функциональности для общества также входят в конгломерат национальных традиций. Кстати, трудно предположить, чтобы французы простили своему президенту ту безграмотность, которая выглядела столь пикантной в глазах американцев у Р.Рейгана.

Ю.Л.Бессмертный характеризует сдвиги в исторической науке Франции следующим образом: "Во Франции в отличие от прошлой "политической истории", обозначаемой словами женского рода (*histoire politique*), ныне изучаемая "история политики" – понятие, обозначаемое во французском языке словами мужского рода (*histoire du politique*) Такое терминологическое уточнение отражает глубокое изменение проблематики. В современной истории политические кризисы, реформы, столкновения отходят на второй план. На первый же выдвигается история политической культуры и тех культурных феноменов, которые в тот или иной момент обеспечивают готовность людей подчиняться власти, терпеть политическое насилие или даже славить деспота".¹³

Наука имеет свои законы, которым интеллектуал обязан подчиняться, но не забывая об обществе, не становясь сознательно эзотеричным – такова одна из излюбленных идей Р.Дарендорфа. Он пишет: "Фактически, здесь и находится сегодня ключ к прогрессу социальных наук – в пренебрежении к собственническим притязаниям существующих научных сообществ. Наука занимается проблемами, а проблемы не принадлежат никому – даже гильдиям экономистов или политологов".¹⁴

Прошлый опыт сказывается на содержательных характеристиках интеллектуального класса, который впитывает опыт своей страны. В то же время, эти специфические характеристики влияют, в свою очередь, на становление стереотипов массового сознания и образцов поведения.

¹¹ Айвазова С.Г. Французы и политическая власть // Франция глазами французских социологов. М., 1990. С.25.

¹² Известно, в частности, что Франсуа Миттеран всерьез занимался литературной деятельностью и даже составил за ее счет приличное состояние.

¹³ Бессмертный Ю.Л. Как же писать историю // Новая и новейшая история. 1998. №4. С.38.

¹⁴ Дарендорф Р. Куда держат путь социальные науки // Дарендорф Р. После 1989. Мораль, революция и гражданское общество. С.120.

ния, т.е. на структуры политической культуры. Английский ученый Ноэль Аннан выдвинул теорию "интеллектуальной аристократии" применительно к английскому опыту. Он пишет о феномене английской интеллигенции, который сформировался во второй половине XIX века и существенно отличался от русского аналога. К отличительным особенностям этой "новой интеллигенции", по мнению Аннана, относились стабильность, стремление к постепенным преобразованиям существующих институтов, а вместе с тем и нежелание смешивать, идентифицировать себя с аристократией или плутократией, умение найти свое собственное место в обществе, убеждение в необходимости честных методов в политике, сильный моральный импульс. Важнейшей сферой деятельности этой интеллигенции была филантропия, а также борьба за реформу университетов и Гражданской службы.¹⁵

Д.Розч в не менее известной статье "Университеты и национальная интеллигенция" пишет об "особом классе образованных людей, который определял характер национального мнения по политическим, религиозным и культурным вопросам, и который может быть назван национальной интеллигенцией".¹⁶ Розч ставит своей целью определить, насколько успешными оказались попытки университетов приспособиться к происходившим в Великобритании конца XIX века изменениям, насколько хорошо они служили стране и в какой степени им удалось подготовить национальную интеллигенцию, способную решить проблемы своего времени. Использование понятия "интеллигенция" в английской литературе и применительно к истории того или иного периода (обычно с конца XIX в.) в смысле – группа людей, пекущихся не только о личном, но и об общественном благе, не является редкостью. Можно встретить, например, даже такое необычное понятие как "административная интеллигенция". В частности, так некоторые историки называют людей, принимавших участие в работе существовавшей в 1850-80-е годы Ассоциации социальных наук¹⁷.

П.Андерсон в работе "Истоки современного кризиса" стремился объяснить специфику британской политической культуры и умеренного характера британского социализма ценностно-ориентационными характеристиками интеллектуалов. Он писал, что интеллектуалам XIX века не удалось стать борцами, бунтарями, революционерами, что они не смогли создать ничего подобного интеллигенции, связанной общими идеями. Андерсон в качестве образца брал не русскую, но французскую интеллигенцию. Не без доли презрения он характеризовал викторианских либералов как конформистов и простой "придаток правящего

¹⁵ Annan N. The Intellectual Aristocracy // Studies in Social History / Ed. by J.H. Plumb. L., 1955.

¹⁶ Roach J. University and the National Intelligentsia // Victorian Studies. December 1959. P.134.

¹⁷ Goldman L. The Social Science Association, 1857-1886: a context for mid-Victorian Liberalism // English Historical Review. 1986.

класса"¹⁸. Его политические единомышленники Т.Нэйрн и Д.Сэвил подхватили эстафету, продолжая критику "самодовольных и конформистских" интеллектуалов викторианской эпохи. Кстати, события 1980-х годов, "консервативная революция" М.Тэтчер вызвали у Андерсона некоторую надежду на возможность появления в Англии интеллигенции как радикальной категории интеллектуалов, противостоящих правящей элите. По его мнению, угроза тэтчеризма сопоставима с катастрофой, что должно было бы привести к возрождению британской общественной мысли и, возможно, ее радикализации.

Профессор социологии в Эссекском университете Б.Тэрнер был менее оптимистичен: "Радикальная интеллигенция обычно является продуктом культурного кризиса, который в свою очередь проистекает из крупных социальных трансформаций. Только катастрофические события, ставящие под угрозу преемственность национальной культуры, могут способствовать формированию национальной интеллигенции"¹⁹. Тэрнер выдвинул идею "отсутствующей", "абсентеистской" интеллигенции. Слово "абсентеизм" имеет в его теории несколько значений: миграцию интеллектуалов в США и страны Содружества, отсутствие в Англии ядра глобальных научных исследований, отсутствие культурного центра английской социальной системы, отсутствие подлинной английской интеллигенции вследствие английского эмпирического характера и пресловутой нелюбви к теории. Как показали дальнейшие события, политико-культурные стереотипы позволили сохранить в Британии социальную стабильность, интеллектуальные же поиски вылились в формирование концепции очередного "третьего пути".

Проблема политической культуры самих интеллектуалов чрезвычайно важна не только в национальном контексте. В более широком плане, вне связи с конкретной историей какой-либо страны кальку с русского языка — "интеллиджентсия" — использует А.Гелла, который считает, что задача будущего — создать интеллигенцию как совокупность людей, "сотрудничающих между собой, ориентированных на универсальные цели и опирающихся на универсальные ценности". Гелла противопоставляет эту, как он называет ее, "мировую интеллигенцию" "интеллектуалам" как высококвалифицированным экспертам, специалистам. Интеллигенты же должны, опираясь на опыт прошлого, выступать в качестве носителей универсальных ценностей, необходимых человечеству для того, чтобы выжить.²⁰

Термины *intellectuelle*, *intellectual*, *intellektuellen* имеют различное толкование: "новое общественное жреческое сословие" (Шельски); лю-

¹⁸ Anderson P. Origins of the Present Crisis // The New Left Review. 1964. N 23. P.32-33.

¹⁹ Turner B. Ideology and Utopia in the Formation of an Intelligentsia: Reflections on the English Cultural Conduit // Theory, Culture and Society: Explorations in Critical Social Science. Vol.9. N 1; February 1992. P.199.

²⁰ Gella A. An Introduction to the Sociology of the Intelligentsia // The Intelligentsia and the Intellectuals. L., 1976. P.27.

ди, "обладающие мужеством отвергать подчинение, не стремясь к господству" (Рассел); те, чье призвание – "формировать общественные идеалы и пути их достижения (Арон). Западные исследователи испытывают значительные трудности в поиске дефиниции интеллектуалов, которая бы устраивала всех. Э.Шилз определяет интеллигентов как "гомогенный интеллектуальный класс, закрытый для центров политической и социальной власти" и связывает его формирование с ролью старых университетов.²¹ Шилза нередко называют теоретиком интеллектуалов. Он оценивал их роль очень высоко, а присущие им черты воспринимал как необычайные. По его мнению, исключительная чувствительность к священному, размышления о природе мироздания присущи интеллектуалам, и поэтому чем общество сложнее, тем больше оно нуждается в интеллектуалах. Английский историк Т.Хейк считает, что интеллектуалами можно назвать особую группу людей, обладающих общим самосознанием и чувством превосходства, отчужденности и обособленности".²² Немаловажное место отводится в анализе интеллектуалов и их общественной роли, умению генерировать идеи, влиять на общественное мнение, способствовать распространению новых идеалов и ценностей.²³ Т.Хейк описывает 1850-1900 годы как сагу, открывающую путь интеллектуалу, который становится типичной фигурой в британской культурной жизни. В то же время он предостерегал против неверного употребления понятия "интеллектуал" применительно к Британии. Определения интеллектуалов как разновидности особого класса, относительно свободного от повседневной борьбы на рынке рабочей силы, класса, для которого мыслительный процесс играет роль и работы, и борьбы, на его взгляд, мало применимы к Англии. Хикокс определяет английских интеллектуалов как людей, обладающих специализированным знанием, причем оценка этого знания зависит от мнения других экспертов, а не от отношения публики.

В оценках и мнениях относительно функций и статуса западных интеллектуалов, их места и роли в жизни общества существует такой же широкий спектр суждений, как и применительно к интеллигенции в России. Можно обнаружить полярные оценки: одни считают интеллектуалов цветом нации, другие характеризуют их как людей опасных и непродуктивных. С одной стороны, такое разнообразие мнений создает затруднения в употреблении понятия "интеллектуал", исключает его однозначность, но с другой, каждый исследователь волен остановиться на той трактовке термина, которая кажется ему наиболее близкой, а также вписать как историю интеллектуалов, так и интеллектуальную историю в широкий социальный контекст.

²¹ Shils E. The Intellectuals. N.Y., 1970.

²² Heyck T.W. The Transformation of Intellectual Life in Victorian England. L., 1982.

²³ В Англии такая традиция существует со времен Д.С.Милля и Г.Спенсера, видевших предназначение интеллектуала в том, чтобы создавать общественное мнение, и в то же время, нести за него ответственность.

Не следует, на наш взгляд, преуменьшать значимость деятельности интеллектуалов, их непростых мировоззренческих конструкций и тех интеллектуальных, а нередко и социально-политических рецептов, которыми они наделяют общество. Об ответственности интеллектуалов перед обществом, рассуждает Р.Дарендорф: "Там, где они хранят молчание, общество утрачивает свою будущность... Обязанность интеллектуалов – высказывать свое мнение, т.е. адресовать его тем, кто возвращается в жизненном круговороте".²⁴

В XX в. такая ответственность легла нелегким грузом на плечи интеллектуалов, в особенности, русских. Д.Н.Овсянко-Куликовский выделял две категории "субъективных отношений человека к духовным ценностям" – творческое и рецептивное. В странах, где духовная культура есть дело новое и непривычное, и создается такое направление, когда "всякое духовное благо оценивается не по существу, а сообразно с характером и направлением идеологии".²⁵ По мнению Овсянко-Куликовского, тип интеллигента-идеолога, относительно редкий в странах Запада, оказался преобладающим в России. Русская интеллигенция "застряла" в идеологическом фазисе. Это нашло отражение как в поведении интеллигенции во время первой русской революции, так и в ее последующих рефлексиях, в частности, выраженных в дискуссии по поводу сборника "Вехи". Идеино-политический максимализм авторов "Вех" выразился, по мнению Бикермана, в их убеждении, что социалистическая идея была идеей всей русской революции, в то время как либеральные и демократические компоненты революции ими явно недооценивались. Максималистским представлялся критический запал "веховцев". "Вехи" не оставили камня на камне из всего того огромного построения нашей образованности и культуры, который русская интеллигенция воздвигала с таким трудом и жертвами в течение многих десятков лет", – замечал Н.Геккер, который не был склонен видеть идеал ни в самой интеллигенции, ни в ее "народопоклонстве" ("интеллигенция надломила свои силы и убедилась, что при данных условиях с народом можно не слиться, а спиться"). Г.Петров стоял на таких же позициях: "Не следует идеализировать и переоценивать нашу интеллигенцию, но нельзя и топтать на нее ногами, с присвистом ухать. Все в меру, все в свою величину". Д.Мережковский выразил убеждение, что "плевать интеллигенции в лицо значит плевать в лицо России".²⁶

Недоумение вызывала и неопределенность термина "интеллигенция", употреблявшегося "веховцами" достаточно вольно, без уточнения смысла самого понятия. И.Игнатов высказывал мнение, что, взявшись судить интеллигенцию, они крайне неряшливо провели "предварительное следствие": "не определив с точностью, кто участвовал в тайном

²⁴ Дарендорф Р. Ответственность интеллектуалов перед обществом: новая болячка просвещения // Дарендорф Р. Указ.соч. С.134.

²⁵ Овсянко-Куликовский Д.Н. Психология русской интеллигенции // Интеллигенция в России. М., 1991. С.387.

²⁶ Загнившие "Вехи". М., 1910.

сообществе, именуемом "русская интеллигенция", уже начали суд". Е.Трубецкой писал: "Хотя "Вехи" называются "сборником статей о русской интеллигенции", однако в действительности предметом их рассуждений служит не вся интеллигенция, а именно та, которая активно участвовала в революции 1905 года и подготавливала ее раньше – иными словами, интеллигенция радикальная".²⁷

Впрочем, критический, антиинтеллигентский настрой может быть связан не только с конкретными образцами политического поведения интеллигенции, но и с ее сугубо профессиональными интенциями. К.Манхейм писал о широко распространенном пренебрежительном отношении к людям создающим, т.е. к интеллигенции – людям свободных профессий. В Англии такое отношение оправдывалось словами: "мы, англичане, не любим принципы и абстрактные идеи. Мы предпочитаем доводить наши дела до конца, ошибаясь и путаясь".²⁸ Манхейм объяснял это так: "Люди, которые бы хотели верить в то, что все в нашей жизни может быть урегулировано в рамках привычного заведенного порядка, чувствуют раздражение, когда узнают о наличии в обществе групп людей, желающих выйти за рамки этого порядка. Они не понимают, что маленькие кружки интеллигенции, несмотря на многие присущие им недостатки, являются, благодаря своей позиции аутсайдера в обществе, основным источником вдохновения и динамичного воображения".²⁹ Манхейм считает, что именно немецкая интеллигенция в эпоху Просвещения давала образец "социально не связанной интеллигенции" (А.Вебер). Нестабильность экономического положения в соединении с интеллектуальными запросами, выходящими далеко за сферу личной жизни, приводила к тому, что писатели романтизма высказывали прямо-таки необыкновенную чувствительность наряду с моральной неуверенностью и готовностью к авантюрам.³⁰

После II мировой войны именно интеллектуалы взялись за расчистку авгиевых конюшен национального политического сознания немцев. Ханна Арендт отмечает во время посещения Германии в 1950 г. (после 17 лет изгнания) масштаб всеобщего бесчувствия. Карл Ясперс пишет в книге "Куда движется ФРГ" о вакууме политического сознания. Эссе Теодора Адорно "Воспитание после Освенцима", художественные произведения Генриха Белля, Вольфганга Кеппена, Зигфрида Ленца и др. немецких интеллектуалов поднимают проблему исторической ответственности, исторической памяти, искупления.

"Искупление" – так назвал свою книгу известный российский историк А.И.Борозняк, посвятив ее анализу трансформации исторического сознания в послевоенной Германии. На мой взгляд, исследование Борозняка в оптимальной степени демонстрирует взаимосвязь интеллек-

²⁷ Там же.

²⁸ Манхейм К. Диагноз нашего времени. М., 1994. С.451, 450.

²⁹ Там же. С.452.

³⁰ Манхейм К. Консервативная мысль // Манхейм К. Диагноз нашего времени. С.622.

туальной истории и политико-культурного анализа (наряду и с другими несомненными достоинствами этой книги). Автор отмечает, что интеллектуалы инициировали дебаты о том, был ли национализм органическим проявлением германской истории или чем-то чужеродным, пользуясь терминологией правых, чем-то вроде "короткого замыкания", "производственной аварии". Важную роль в переосмыслении прошлого, по мнению А.И.Борозняка, сыграли книги так называемой "черной серии" издательского дома Фишера. В научной среде ответ на поставленные перед нацией вопросы стал предметом известного "спора историков", проходившего в середине 1980-х годов. "Ю.Хабермас, Ю.Кокка, К.Зонтхаймер превратили собственно научную дискуссию в явление политико-идеологического характера, значимое для всей нации, — пишет российский историк. — Их усилия способствовали формированию в политической культуре немцев ФРГ зрелого исторического компонента, оказывали воздействие на мировоззрение и политическую культуру элиты". А.И.Борозняк указывает, что в современной, воссоединенной Германии интеллектуалы стремятся противодействовать новому соблазну — переложить всю ответственность за прошлое на плечи восточных немцев. Модно стало выдвигать лозунги "нормализации", "самоутверждения", "сдачи прошлого в архив", означающие, по сути, призывы к забвению прошлого и избавлению нации от какого-либо чувства вины за содеянное в годы нацистской диктатуры. И вновь интеллектуалы выступают против бездумного следования модным веяниям, которое может поставить под угрозу с таким трудом утвердившиеся в немецкой политической культуре демократические, антитоталитарные ценности. Гельмут Кениг утверждает: "Вопрос о будущем ФРГ есть одновременно вопрос о ее прошлом". По мнению немецких историков, "объединение Германии, снявшее немецкий вопрос, не сняло вопросов, обращенных к немцам".³¹

Тревоги интеллектуалов связаны и с антиинтеллектуализмом, проявляющимся в современной жизни. Публицисты и писатели говорят об опасности антиинтеллектуализма и массовизации. Наиболее заостренно пишет об этом А.Зиновьев, используя специфический, "новоязовский" термин — "западоид". В работе "Западный феномен западнизма" он дает едкую характеристику открытого им феномена: "Фундаментальным принципом бытия западоидов является такой: работать на себя, рассматривая всех прочих как среду и средства бытия". Он описывает западоида как внутренне упрощенное рациональное существо, обладающее средними способностями, ведущее упорядоченный образ жизни, заботящееся о здоровье и комфорте, практичное, добросовестно работающее, смолоду думающее об обеспечении старости, идеоло-

³¹ Борозняк А.И. Искупление. Нужен ли России германский опыт преодоления тоталитарного прошлого? М., 1999. С.183.

гически стандартное, но считающее себя при этом существом высшего порядка по отношению к прочим ("незападному человечеству").³²

С противоположных позиций оценивают угрозу западной цивилизации интеллектуалы и политики консервативной ориентации. Консервативное мироощущение пронизано скепсисом в отношении к прогрессу, в особенности в моральной сфере, в связи с тем, что глобальный успех модернизации привел к размыванию границ, отделяющих западное общество от мира иных культур. Глобализация вызывает тревогу у консерваторов, что находит отражение не только в общих рассуждениях и мрачных прогнозах о наступлении периода глобальной смуты, о грядущем столкновении цивилизаций, о движении мира к новому тоталитаризму, о реальной угрозе демократии. Переоценка ситуации приводит к поиску вариантов сохранения контроля над происходящими процессами, разработки сценариев контрнаступления.³³

Интеллектуалы озабочены тем, как можно совместить современное общество мега-рисков с тем идеальным образцом глобального человечества, охваченного общим духом солидарности и гуманизма, о котором они грезили столь долго. Эти проблемы добавились к и без того сложному комплексу вопросов, связанных с повышением уровня политических культур, что подразумевает не "подтягивание" одних образцов национальных культур к другим, но распространение неких стандартов политически корректного поведения.³⁴

Новая ситуация порождает потребность и в новом мыслительном инструментарии, в новых способах концептуализации социума и окружающей среды. Соответственно, будет в большей степени востребован и новый междисциплинарный подход, значимый для всех областей гуманитарного знания. Политическая наука, в частности, сравнительная политология или политическая компаративистика, в рамках которой осуществляется исследование политических культур, обладает собственным инструментарием, методами исследования, определенными традициями. Вместе с тем, как правило, широко используется междисциплинарный подход, поскольку границы между научными дисциплинами не должны превращаться в барьеры на пути научного познания.

³² Социально-политический журнал. 1997. №4.

³³ Тэтчер заявляет: "Задача консерваторов в том, чтобы оживить чувство западной идентичности, единства. Запад — ядро цивилизации, которая добилась значительных успехов, трансформируя мировоззрение и образ жизни всех континентов". — Исторические метаморфозы консерватизма. Пермь, 1998.

³⁴ Иностранная литература. 1995. №4.

ПЕРЕКРЕСТКИ ПОСТМОДЕРНИЗМА

И.О.Ермаченко (Петрозаводск)

Дальневосточная культурная традиция и поэзия русского постмодернизма*

*А почему японские? – да потому что все
здакое-такое у нас представляется ежели
не китайским, так японским.*

(Д.А.Пригов)

Статья вторая: "Русь японская"

*Бояня мысль стекает с древа,
Разбойник вторит соловью...
Живу подобием напева
Про Русь японскую мою,
Где над колхозной хризантемой
Как Красно Солнышко встает
Имперской утренней эмблемой
Умом не понятый народ.*

(И.Чинко)

В отличие от Китая, тривиальные представления о котором служили своеобразным "зеркалом" для литературной (прежде всего критической) самооценки собственных российских порядков начиная уже с 60-х гг. XIX в.¹, поэтический образ Японии в силу геополитической специфики и неустоявшегося характера русско-японских культурных связей приобретает самостоятельное значение лишь с началом войны 1904–1905 гг.² Хотя "символистская и близкая к символистам литературно-художественная среда... воспринимала традиционную японскую культуру уже с конца прошлого столетия"³ (в основном опосредованно, через западный модернизм), первые "японские" номера символистского журнала "Весы" (1904, №10 и 11) были вызваны к жизни именно стремлением занять особое место "среди двух партий японофильствующих либералов и японофобствующих консерваторов" (В.Я.Брюсов) в пору

* Автор благодарит за ценные замечания и помощь в работе над статьей Л.В.Зубову, Е.В.Маркасову (Санкт-Петербург), Е.Н.Геккину (Петрозаводск).

¹ См.: Ермаченко И.О. Дальневосточная культурная традиция и поэзия русско-го постмодернизма. Статья первая: "Россия в зеркале Китая" // Диалог со временем: Альманах интеллектуальной истории. 2000. Вып.2. С.225-247.

² Правда, для создания знаменитой "Сказки о восточных посллах" Д.Д.Минаева (1862) поводом послужило прибытие в Россию именно японского посольства, однако в самом тексте, включая и название, эта национальная специфика никакого отражения не получила. Япония инкорпорировалась здесь в собирательный образ Востока, оттеняющий российские недостатки.

³ Молодяков В.Э. Япония и русский символизм: отражение и влияние // Вестник МГУ. Серия 13: Востоковедение. 1990. №2. С.40.

военного конфликта.⁴ Однако в целом даже либеральная пресса отличалась идеологической заданностью первых публикаций о малоизвестном противнике, которые вполне сочетались с тональностью появившихся "ура-патриотических" частушек:

Запрягай, папаша, кур,
Мы поедem в Порт-Артур;
Нам япошки нипочем –
Закидаем кирпичом.

Мы японца переколем, –
Царю славу воздадим;
Мы не будем тем довольны,
А и турку победим.⁵

Ты, японский царь микадо,
Воевать с нами не надо.⁶

Впрочем, большее распространение получили традиционные фольклорные мотивы проводов на войну и разлуки⁷:

Распроклятая Япония,
В Японии война.
Угнали ягодку в Японию,
Осталась я одна.

Кабы были сизы крылышки,
Слетала б на войну,
Отрубила бы головушку
Японскому царю.⁸

После Порт-Артура, Мукдена и Цусимы, которые на долгие годы стали нарицательными обозначениями бездарного и даже преступного ведения войны, подобные настроения существенно трансформировались, создав почву как для трагического, но не лишённого патриотизма осмысления результатов дальневосточной кампании в песенном творчестве ("Варяг", "На сопках Маньчжурии"), так и для злободневно-сатирической журнальной поэзии. Ее откровенная публицистичность не позволяет проводить прямые параллели с предшествующей "китаизирующей" сатирой – более сложной по образной структуре и целеустановкам, не давшей "частушечных" вариантов в силу иных принципов актуализации материала. Первоначально при обращении к "японской теме" использовались максимально конкретные и реальные образы, прежде всего знаковые географические названия и имена, как символы неадекватности и безнравственности отечественной политической элиты (генералы Куропаткин и Стессель, адмиралы Алексеев и Небогатов, "граф Портсмутский" Витте, которым противопоставлялись император Муцухито и японские военачальники). Дело не ограничилось частушками нового, разоблачительного, звучания:

Куропаткин-генерал
Все иконы собирал,
Пил да ел, да жарил кур, –
Протранжирил Порт-Артур.⁹

⁴ Там же. С.41.

⁵ Частушки. М., 1990. (Библиотека русского фольклора; Т.9). С.136.

⁶ Частушки. М., 1987. (Классическая библиотека "Современника"). С.122.

⁷ См.: Частушки. М., 1987. С.122-124 (№880-882, 884, 886-892, 898); Частушки. М., 1990. С.136-138 (№826, 827, 830, 831, 833-835).

⁸ Частушки. М., 1987. С.123-124.

Появляются соответствующие анонимные переделки популярных в народе песен, публиковавшиеся в разных вариантах под заглавием "Солдатская песня" (с указанием на мотив "Коробейников" или "Было дело под Полтавой" И.Е.Молчанова):

Было дело у Артура –
Дело скверное, друзья...
Того, Ноги, Камимура
Не давали нам житья.
<...>
Куропаткину обидно,
Что не страшен он врагам...
"В поле бес нас водит, видно,
Да кружит по сторонам."
А Ойяма наступает
Ночью и при свете дня –
"Посмотри: вон-вон играет,
Дует, плюет на меня!"
С Порт-Артуром попрощайся,
Получив большущий нос...
"Гром победы раздавайся,
Веселися, храбрый росс!"¹⁰

Здесь сатирический эффект достигается благодаря антитетическому соединению текста и контекста, сюжета и мотива, фарса и драмы – "пораженческой" публицистики с русской песенной классикой, олицетворяющей "душу и удаль народа", военную славу прошлого. Этот явно не случайный прием¹¹ может напомнить принципы постмодернистской игры с традицией, впрочем, отличаясь от нее коренным образом своей содержательной одномерностью. Почти фельетонное звучание темы характерно для авторских стихотворений, посвященных потерям русского флота (ср. анонимное: "Мы поплывем! – сказали Утюги..."¹²):

Для морских своих прогулок
Я завел себе корыто.
Потопил его в Артуре
Мутсухито.¹³

Под синей волной океана
Часть флота подводит итоги,
Другая – она без изъяна –
Плывет под командою Тоги.

Всё рады мы, чем небогаты,
Отдать во владенье японца:
Да плавают наши фрегаты
В Стране Восходящего Солнца!¹⁴

⁹ Частушки. М., 1990. С.137. Вариант – Частушки. М., 1987. С.123.

¹⁰ Стихотворная сатира первой русской революции (1905-1907). Л., 1969. С.514-515.

¹¹ Ср., например, анонимную пародию на "Бородино": "Ведь после каждой сильной схватки / Мы от японцев без оглядки, / Хоть в полном боевом порядке, / Бежим, бежим, как куропатки (здесь и далее курсив мой – О.Е.), – / Пускай нам челят в зад!" – Там же. С.499.

¹² Там же. С.502.

¹³ Катловкер Б.А. Жалобная песня (Памяти правительства фон Плеве и К°) // Там же. С.258.

¹⁴ Чюмина О.М. Возрождение флота // Там же. С.479-480.

Символическая кульминация, достигнутая К.Бальмонтом ("Наш царь – Мукден, наш царь – Цусима, / Наш царь – кровавое пятно..." (апрель 1906 г.)¹⁵, отразила развитие последствий военной катастрофы, нарастание внутривнутриполитического кризиса и революционных настроений. Однако причины сокрушительных поражений, как правило, усматривались поэтами-сатириками не в особых качествах противника (о них ничего не говорится), а исключительно в состоянии самого российского общества. Такая интровертивная интонация более выражена именно в "японской" линии русской стихотворной сатиры, и все-таки именно она объединяет ее с "китайской", в целом отделяя поэтическую интерпретацию XIX – начала XX в. от новейшей, постмодернистской. Последняя впитала и другую тенденцию в развитии русского литературного образа Японии, получившую импульс от того же военного поражения и вызванного им общественного шока, индивидуально пережитого многими представителями российской культурной элиты.¹⁶

Объективно и закономерно вслед за военно-политическими аспектами интерес общественности и исследователей начинают привлекать и иные стороны жизни удачливого соперника на Дальнем Востоке. В ноябре 1911 г. на первом общем заседании Русско-Японского Общества, развернувшего научно-просветительскую деятельность в Петербурге, был заслушан реферат преподавателя из Японии "Импрессионизм как господствующее направление японской поэзии".¹⁷ Как первый популяризаторский опыт мероприятие следует признать успешным. В то же время, малоудачное (что видно и из интерпретации отдельных стихотворений¹⁸) использование автором "европоцентристских" искусствоведческих категорий лишь отчасти оправдывается слабой осведомленностью публики о "совершенно чуждой", "экзотической" культуре народа, "творчество которого выросло среди принципов и методов бесконечно далеких" от привычных европейскому читателю.¹⁹

Исследователи уже обращались к таким сюжетам, как образ Японии в русской поэзии первой трети XX в. и отечественная рецепция японских классических жанров танка и хайку.²⁰ Для нас важен подтвер-

¹⁵ Там же. С.120.

¹⁶ Показательный и хорошо известный пример – творчество В.Хлебникова, одного из зачинателей японской темы в "серьезной" русской поэзии, в стихотворении которого "...восковая куколка просила: танку, / Сплети мне из русских слов танку." Подробнее см.: *Ларнис А.* "Туда, туда, где Изанаги...": Некоторые заметки к теме "Хлебников и Япония" // *Искусство авангарда: язык мирового общения: Материалы междунаро. конф. 10-11 декабря 1992 г. Уфа, 1993. С.90-102.*

¹⁷ Позднее он был доработан и издан. - *Импрессионизм как господствующее направление японской поэзии / Сост. Мойчи Ямагучи. СПб., 1913. 110 с.*

¹⁸ См., напр.: Там же. С.75.

¹⁹ Там же. С.3. Знаменательно, впрочем, указание на относительную русскую параллель в виде "Горных вершин..." М.Ю.Лермонтова. – Там же. С.58.

²⁰ *Молодяков В.Э.* Япония и русский символизм; Он же. "В лимонной гавани Икогама": Япония в русской советской поэзии 1920-1930-х гг. // *Вестник МГУ. Серия 13: Востоковедение. 1993. № 2; Орлицкий Ю.* Цветы чужого сада: (Японская стихотворная миниатюра на русской почве) // *Арион. 1998. № 2.*

ждающийся их выводами общий историко-культурный контекст, который характеризуют две параллельно развивавшиеся тенденции:

1) Нарастающее стремление приобщиться к глубокой и оригинальной культурной традиции восточного соседа, выразившееся, в частности, в складывании сильных школ академических гуманитарных исследований и литературного перевода, обращении к японским мотивам видных деятелей отечественной художественной культуры, а начиная с 1960-х гг. – и в постепенном формировании массового интереса к отдельным японским культурным практикам и феноменам (го, икебана, карате, дзэн-буддизм, поэзия малых форм, караоке, бонсаи, оригами, чайная церемония и т.д.), появлении в СССР и РФ их адептов.

Условно-романтический образ Японии, нашедший отражение в поэзии русских символистов и отчасти в советской поэзии 1920-х–1930-х гг., сочетаясь позднее с информацией о “японском экономическом чуде”, способствовал дальнейшему распространению позитивных представлений о Стране Восходящего Солнца. Сегодня налицо своего рода японский бум, наглядно представленный в Интернете (как и сходные, хронологически опережавшие процессы за рубежом).²¹

2) Складывание под воздействием реального военно-политического противостояния (оккупация российского Дальнего Востока в 1918–1923 гг. и китайской территории в 30-е годы, Хасан, Халхин-Гол, ось “Берлин–Рим–Токио”) образа врага – “самурая”, отразившегося в целом ряде заметных произведений советского искусства довоенного периода: от знаменитой песни Б.Ласкина и братьев Покрассов “Три танкиста” (“На границе тучи ходят хмурые...”) до кинофильма А.Довженко “Аэроград” (1935).

Капитуляция Японии в результате разгрома Квантунской армии советскими войсками, успехов союзников на Тихоокеанском театре военных действий и применения США атомной бомбы в Хиросиме и Нагасаки, а также последующая американская оккупация и демилитаризация Японии, по сути, обесмыслили соответствующий социальный заказ. Хотя спор о “северных территориях”, отсутствие мирного договора

²¹ Отсылки к наиболее популярным русскоязычным сайтам любителей японской культуры содержатся по адресу: www.furuikeya.newmail.ru (“Старый пруд: Страница японской культуры”). Особо отметим созданный Алексеем Андреевым в 1997 г. “Лягушатник: Журнал поэзии хайку” (www.net.cl.spb.ru/frog/). - Ср.: Андреев А. Русские хайку: путь через сеть // Русский журнал (www.russ.ru/journal/netcult/98-09-18/andrey.htm). Современный беспрецедентный уровень “публичности” в подражании японским поэтическим образцам демонстрируется поэтическими конкурсами в Интернете, виртуальными интеллектуальными играми “Ренгуру” А.Андреева и “Сад расходящихся хокку” Р.Лейбова и Д.Манина, организованным журналом “Арион” вечером “Цветы чужого сада” в Музее Цветаевой 29 апреля 1998 г. (www.net.cl.spb.ru/frog/renga/r-rules.htm; www.litera.ru/slova/hokku/; www.vavilon.ru/lit/apr98.html). На Всероссийский конкурс поэзии хайку, проведенный в 1998–1999 гг. по инициативе Посольства Японии и еженедельника “Аргументы и факты”, поступило около 12 тыс. текстов от участников из всех регионов России, стран СНГ и дальнего зарубежья (в возрасте от 6 до 80 с лишним лет). См.: vavilon.ru/haiku/release.html.

между Японией и СССР и подозрения по поводу неадекватности японских “сил самообороны” могли время от времени реанимировать враждебные настроения, они, как правило, не выходили за рамки официальной пропаганды и специализированной историографии²².

Культурная ситуация постмодерна и соответствующее ей поэтическое творчество напрямую объединяют обе эти разнородные тенденции, что, естественно, возможно лишь в пространстве иронии. Так, сохраняющаяся и в постсоветские времена популярность песни “Три танкиста” послужила основой иронического парафраза И.Иртеньева²³:

Выхожу я как-то на дорогу
В старомодном ветхом шушуне,
Ночь тиха, пустыня внемлет Богу,
Впрочем, речь пойдет не обо мне.

На другом конце родного края,
Где по сопкам прыгают сурки,
В эту ночь решили самураи
Перейти границу у реки.

Три ложноклассических японца –
Хокусай, Басё и Як-Цидрак
Сговорились до восхода солнца
Наших отметить только так.

Хорошо, что в юбочке из плюша,
Всем известна зренья остротой,
Вышла своевременно Катюша
На высокий на берег крутой.

И направив прямо в сумрак ночи
Тысячу биноклей на оси,
Рявкнула Катюша, что есть мочи:
“Ну-ка брысь отседа, иваси!”

И вдогон добавила весомо
Слово, что не сходу вставишь в стих,
Это слово каждому знакомо,
С ним везде находим мы родных.

Я другой страны такой не знаю,
Где оно так распространено.
И упали наземь самураи,
На груди рванувши кимоно.

Поделом поганым самураям,
Не дождется их японя мать.
Вот как мы, примерно, поступаем,
Если враг захочет нас сломать.

Несмотря на внешнюю простоту и “эстрадность” текста²⁴, он демонстрирует целый ряд принципиально значимых для понимания нашей темы художественных приемов и мотивов. На одном полюсе оказыва-

²² Показательна конъюнктурно-политическая замена “самураев” “вражьими стаями” в строках упомянутой песни (“В эту ночь решили самураи...”, “И летели наземь самураи...”) во время ряда концертных исполнений 1980-х гг.

²³ www.null.ru/people/irtenyev/01100.htm.

²⁴ Еще более выраженные в другом иртеньевском тексте – “Размышления о Японии” (там же/10600.htm).

ется экзистенциальная рефлексия, выраженная реминисценциями хрестоматийных произведений русской поэзии (М.Ю.Лермонтов, С.Есенин, Б.Пастернак), на другом – “три ложноклассических японца”. Примененная к последним дефиниция носит двойственный характер. С одной стороны, “ложноклассичность” можно связать с нашим уровнем восприятия японской культуры, уравнивающей двух подлинных классиков традиционной живописи и поэзии с персонажем “тарабарской” детской считалки, не имеющим к подлинной Японии никакого отношения и передающим свою условность и бесплотность “партнерам”. С другой стороны, знаковые для японской ментальности фигуры поглощаются без остатка гомогенным образом врага, действуют как классические “империалистические агрессоры” (в стиле наших деревенских хулиганов), и, что существенно, действуют самостоятельно, на свой страх и риск, лично расплачиваясь за неудачное решение. В этом смысле они приобретают неожиданную “русскость” (естественность и понятность) (“И упали наземь самураи, / На груди рванувши кимоно”²⁵).

“Лирический” же герой, демонстративно воплощающий советско-русский менталитет, остается инфантильным сторонним наблюдателем “с другого конца родного края”. Он защищен “Катюшей” – монструозным гибридом русской философской лирики (пастернаковские “тысяча биноклей на оси”), “советско-народной” песенной традиции, новейших “достижений” постсоветской поп-культуры (“юбочка из плюша”), стереотипизированной государственной пропаганды и военнотехнической мощи. Условность победы, основанной на мнимом “абсолютном” культурном и идейном – “словесном” – превосходстве над “самураями”, напоминает о “шапкозакидательских” настроениях начала века и подчеркивается ее (победы) “закономерностью” (“Вышла своевременно “Катюша”) и “теоретичностью” (“Вот как мы, примерно, поступаем, / Если враг захочет нас сломать”). При этом слово, которое “каждому знакомо” (“Наше слово главное – “товарищ” из “Песни о Родине” В.Лебедева-Кумача и И.Дунаевского) превращается во вневременной иронический символ стихийно-брутальной “русскости” – “Слово, что не сходило вставишь в стих”. Автор косвенно акцентирует “всеядность” и архаичность современного массового сознания, открытого для любых идеологических рецидивов. Наглядно демонстрируется, что до действительной “смены вех” далеко, и что опасность общего

²⁵ Ср. возникающий в связи с есенинской строкой “В старомодном ветхом шушуне” интертекстуальный параллелизм: “Сговорились до восхода солнца / Наших отметелишь только так” – “Будто кто-то мне в кабацкой драке / Саданул под сердце финский нож”; “Не дождется их япона мать” – “Напрасно старушка ждет сына домой”. Ср. также “японизирующее” “песенную” и одновременно “обытовленную” “русскую любовь” (к англичанину!) стихотворение А.Бардодыма “Песня Чию-Чию-Сан” (Орден куртуазных маньеристов. Триумф непостоянства. С.237-238: “<...>Ой, японки-девки, слушайте – спюю / Про любовь про забубенную мою! / Не гуляйте по японской по реке, / Не любитесь с кем попало в бамбуке. / От себя гоните, милые, взашей / Окаянных англичанских алкашей! / Я себе, мои подружки, повстречаю / Хоть какого, но родного самурая.”).

“отката назад” в России детерминирована более глубокими и менее политизированными причинами, чем те, о которых заявляли обычно представители “демократического лагеря”.²⁶

Связанный с той же широко известной песней контекст, сочетаясь с частичной омонимией “танка” как боевой машины и как жанра классической японской поэзии, создает иронический эффект в названии существовавшей в начале 1990-х гг. литературной группы “Творческий ашрам “Три танкиста” (Уфа—Санкт-Петербург).²⁷ Столь характерное для постмодерна сочетание несочетаемого последовательно проводится в коллективном и индивидуальном творчестве ее участников, как, например, в одном из “русских хайку” “сэнсэй-председателя ашрама”, “классика советско-японской поэзии” И.Чинко²⁸:

Не заходи за вокзал –
Там, на запасном пути,
Наш бронепоезд стоит...

Здесь, как и в предыдущем случае, ироническое переосмысление популярной песни основано на смешении исторически различных состояний общественного сознания – тоталитарного и посттоталитарного. “Военно-песенная” основа трехстишия, так же как и в названии группы (“ашрам” – община, должная исповедовать принципы ахимсы и изоляции от политических проблем), приходит в противоречие с формой, воплощающей в массовом сознании абсолютно иные, “восточные” принципы мироощущения (в советский период андеграундные). И.Чинко, по существу, предлагает версию присутствующего в нашей современной ментальности имманентного коварства, перенося не забытый еще стереотип с японцев на русских.²⁹

Аналогичный мотив в усложненном варианте³⁰ прослеживается в другом стихотворении того же автора:

Подойдите с цветком к танку,
Открутите ему гайку,
На броне напишите танку,
На стволе напишите хайку.

²⁶ Ср. анализ стихотворения В.Строчкова “Рептилия”: *Ермаченко И.О.* Постмодернистская поэзия: возможности исторического анализа // *История и филология: проблемы научной и образовательной интеграции на рубеже тысячелетий*. Петрозаводск, 2000. С.296–298.

²⁷ См.: *Чинко И.* ...Мы не какие-нибудь якудза! // *Волга–Урал*. №5 (76), февраль 1993. С.27.

²⁸ Здесь и далее стихотворения И.Чинко цитируются в уточненной авторской редакции. Публикации в относительно малодоступных изданиях начала – середины 1990-х гг. (“Волга–Урал” (Уфа), “Шанс” (Челябинск), “Насекомое” (Калининград), “Русская карикатура” (Москва) и др.) не всегда качественны.

²⁹ Представление о хитрости и двуличии японцев встречается даже в современной русской литературе по международному менеджменту и бизнесу – См.: *Тумаркин П.С.* Русские и японцы: актуальные проблемы межкультурной коммуникации // *Вестник МГУ. Серия 13: Востоковедение*. 1997. №1. С.14).

³⁰ Японская классика + подпитываемое “Востоком” антивоенное движение хиппи + чеховский “Злоумышленник”+ интонация Р.Рождественского.

Двусмысленной "советско-японской конвергенцией" отмечено и интервью "сэнсэй-председателя" И.Чинко региональному еженедельнику "Волга-Урал" (1993 г.): "...Мы не настаиваем на своем приоритете. Другие представители бывшего литературного андерграунда, вышедшие теперь на фордгергунд, тоже пробовали засеять ниву российской словесности лотосами восточной мудрости... Но по целенаправленности и организованности мы, несомненно, не имеем пока равных."³¹

Стремление "по-советски" "заорганизовать" восточную традицию стихосложения, перенесенную на отечественную почву – как на "коллективном", так и на "индивидуальном" уровнях – прослеживается и в творчестве другого, гораздо более известного литературного объединения – "Орден куртуазных маньеристов". Так, К.Григорьев делает центральным "героем" своих "хокку" весь "Орден" с его "новейшим сладостным стилем" и пародийной богемно-эпатажной "новой иерархией ценностей"³² (цикл "Об Ордене, о Пеленягрэ, о Добрынине, об СССР"³³). Действие переносится в "японский" антураж, которому вопиюще противостоит эгоцентризм иронически гипертрофированного и "эротизированного" поэта-героя европейской литературной традиции:

С другом за чашкой саке
мы вспоминаем, смеясь,
вечер в ДК МГУ.

Глянь – барсук моет лапки
в родниковой воде...
Шесть книг уж у Орден!

Юкку, смешливый монах,
Лисам в осеннем саду
том маньеристов читал.

Вишни в цвету по весне...
Ну, а про нас сняли фильм.
Это так, к слову пришлось.

Пародируя внутренние отсылки японской классической традиции, К.Григорьев устанавливает интертекстуальную связь с известной мистификацией О.Борушко – В.Пеленягрэ³⁴ – "переводом" фиктивного токийского издания "эротических танка" Рубоко Шо ("980 – 1020?"; анаграмма имени О.Борушко), снабженным "научным комментарием"³⁵:

Призрак Рубоко шепнул:
"Брат мой, ты классик уже!
Время дозировать секс."³⁶

В цикле "О себе"³⁷ обнаруживаем более сложный уровень иронической деконструкции, касающейся японско-русско-европейского соотношения индивидуальной самоорганизации.

³¹ Чинко И. ...Мы не какие-нибудь якудза! С.27. Затем, после цитирования пары "марксистских" танка Исикава Такубоку ("который, как социалист, особенно нас восхищает") в переводе В.Н.Марковой, предлагался собственный вариант "Конспекта статьи В.И.Ленина "Памяти Герцена" в стиле хайку".

³² Ср.: Пеленягрэ В. Эпоха куртуазного маньеризма // Орден куртуазных маньеристов. Триумф непостоянства. М., 1997. С. 5–11.

³³ Там же. С.197–200.

³⁴ См.: Пеленягрэ В. Указ. соч. С. 9–10.

³⁵ Рубоко Шо. Эротические танки / Пер. со старояпон. Питера Энгра. М., 1991. (Тир. 300 тыс. экз.).

³⁶ Орден куртуазных маньеристов. Триумф непостоянства. С.199.

Я и поэт, и прозаик,
и музыкант я, и купчик,
и дневники я веду.

Я пунктуален настолько,
что, опоздав на работу,
сам себе палец отрезал.

Кстати, об отдыхе: праздно
я никогда не шатаюсь –
все норовлю, чтобы с пользой.

Чтоб не забыть ничего,
утром планирую день,
словно полковник СС.

Появление последнего персонажа в "японском" трехстишии отнюдь не случайно и возвращает нас к проблеме постмодернистской игры с "образом врага". "Полковник СС", т.е. враг по определению, олицетворяет собой мнимо-позитивное качество "немецкости" (самоорганизованности), от которого автор-герой отталкивается иронической гиперболизацией. Как было показано в статье первой, в поэзии Д.А.Пригова "новый", "нерусский", т.е. *самореализовавшийся* китаец уподобляется немцу ("китайцу лучше немцем быть"), изымаясь тем самым из категории "братских народов". Японцы в поэзии русского постмодерна также симптоматично сближаются с немцами. Однако сближение это "изначальное", без диахронической поправки (проблема заимствования Японией немецкого опыта после "революции Мэйдзи" 1867-1868 гг.³⁷, естественно, неактуальна для массовых представлений). В то же время оно носит более сложный, комплексный характер. Первый, поверхностный уровень иллюстрирует изображение врагов "Империи" (СССР) в одноименном стихотворении "Великого магистра Ордена куртуазных маньеристов" В.Степанцова: "Вот придет японец с роботом, / немец прибежит с компьютером, / *выжрут шнапс* – и с диким гоготом / по кучкам разберут тебя."³⁹ Речь идет о включенности обеих наций (бывших сокрушенных в мировой войне противников) в иную, технически организованную и тем враждебную "имперскому (русскому) духу" цивилизацию. У Л.Лосева они же – синонимичные носители символической самодостаточности: "...между тем как птицы / предпочитают по брусчатке пьязцы, / как немцы иль японцы, выступать..."⁴⁰

В другом стихотворении Лосева косвенно раскрывается основа этой тождественности. "Сад пней"⁴¹ переносит читателя в современный, ставший туристической достопримечательностью, Пёрл-Харбор: "...столбы огня / и крови, что здесь вверх летели, / застыли, превратятся в отели, / стоят стоймя." Победители, утратившие память ("то, что не удалось расплавить / и сжечь..."), обратившие ее в "доходные обелиски" ради примитивной гедонистической корысти, утрачивают и победу. Память сохраняется проигравшим войну японцем в виде сада обгорелых пней, ничуть не препятствуя деловому успеху в его рыбном ресто-

³⁷ Там же. С.207–208.

³⁸ См.: Oguro Tatsuo. Ihr Deutschen – wir Japaner: Ein Vergleich von Mentalität und Denkweise. Düsseldorf; Wien, 1984. S.16–18.

³⁹ Орден куртуазных маньеристов. Триумф непостоянства. С.68.

⁴⁰ Лосев Л. Послесловие. Спб., 1998. С.15.

⁴¹ Лосев Л. Новые сведения о Карле и Кларе: Третья книга стихов. Спб., 1996. С.18-19.

ране ("он нас умней, / он капиталец свой утроил..."). И, как итог, – капитуляция (уже не только и не столько бездумных американцев) перед непостижимостью чужой культуры, которая сохранила силу традиции (память, жизнь):

Уж так заведено под солнцем –
 победа нам, а жизнь японцам.
 Они живут.
 В свою японскую улыбку
 они суют сырую рыбку,
 засим жуют.

Основу во всех этих случаях составляет комплекс "проигравшего победителя", хорошо сочетаемый с получившими широкое хождение у нас и за рубежом аналогиями между японским и западногерманским вариантами "экономического чуда", которые, во многом мифологизированно, выводятся из сходных черт национального характера⁴², как правило, противопоставляемого русскому.

Противоположно, на первый взгляд, решение темы в написанной верлибром "Голове Будды" Г.Сапгира. Здесь в качестве музейного посетителя перед осколком буддистской статуи тоже присутствует некто "в сером костюме седой – должно быть из ФРГ", однако замыкая цепочку "телевизионные гейши – мальчики – <...> несколько видов экскурсоводов – спеленутая тряпками мумия..."⁴³ Главное же – превращение в "японцев" соотечественников поэта:

"...быстрее ребята" – телевизионные мальчики кланяются как болванчики – "начали" – и обращаясь к пустоте: "идя навстречу пожеланиям мы начинаем передачу".

И вот на голых призрачных возникла легкая улыбка тысячелетнего металла –

И выйдя на улицу в солнце – что все немного пожелтели ты замечаешь невзначай – встречаясь говорят все больше ни о чем – "сенсай сенсай" – "все было было" – и кланяются как японцы – "дела – сакура отцвела" – и больше ничего не будет – скорей как полуавтоматы – лишь заведенный ритуал

О чем он молился я понял наконец – гладкий лакированный японец в каждом посылител – по замечает по своей беспечности – по окрест ую! азарт! стандарт! – как темный знак НЕ КАНТОВАТЬ – все больше проступает контур вечности".⁴⁴

Подмена "китайских церемоний" "японскими" вовсе не исчерпывает смысл художественного дискурса Сапгира. Превращение окружающих в "японцев" для поэта амбивалентно: это и остранение социальной энтропией истинных, творческих начал жизни, и признак трагического "смещения времени", приоткрывающего метафизическую истину. Беллетризованный вариант отношения к "японизму" как опасной и влекущей экзотической обманке, грозящей приведением к "пустоте" самой

⁴² Подробнейший анализ проблемы, основанный, в частности, на опыте личных бытовых наблюдений, дан в монографии Огуро Тацуо (см. прим. 40).

⁴³ Сапгир Г. Избранные стихи. М.; Париж; Нью-Йорк, 1993. С.100.

⁴⁴ Там же. С.100-101.

национальной самобытности, пусть ущербного, но “своего” течения жизни, находим в ряде произведений современной прозы и драматургии (сюжетная линия “Торгового дома Тайра” в “Чапаеве и Пустоте” В.Пелевина, “Конкурс” А.Галина). Тем не менее, мотив “японского превращения” вновь и вновь актуализируется в поэзии русского постмодерна, одновременно содержащей и иронически остраненную парадигму “японизма” как ценностного абсолюта, и декларацию его недостижимости, потусторонности, инаковости, самодостаточности:

Есть на свете цена за покой и за рост,
 есть на свете цена и за путь.
 И одно лишь бесценно – япончатость звезд,
 ахар неба, пронзенная грудь.⁴⁵

Полуирония главного русского адепта хайку А.Андреева (“Самое японское”: “Упал – увидел звезды”) пародийно доводится до логического финала И.Чинко (“Самое русско-японское”: “Упал – отжался – увидел звезды”). К.К.Кузьминский в “Слезном токе о токио” иронико-ностальгически ассоциирует “японию страну моей мечты”⁴⁶ с “дофизиологическим”, детски-“розовым” восприятием мира: “зачем на порно показали ты / <...> прощайте груши гейши и гамаши / и яблони в цвету / платком помашет / мне юность из-за ближнего угла...”⁴⁷ В конечном итоге, как японское восприятие жизни, так и по-японски достойный уход из нее оказываются невозможными, вернее, застывают на стадии гипотетической возможности, сослагательного наклонения:

Не могу я терпеть это свинство,
 что когда-то жизнью звалось!
 Я если б был самдуром-якудзой –
 харакирю б себе распорол!⁴⁸

Почти полный диапазон представлен творчеством Д.А.Пригова, начинаясь с откровенной насмешки над реальным состоянием русско-японской культурной коммуникации:

Когда вот в Японию проездом я был
 Японку одну я себе полюбил
 Я ей говорил: Мацубиси, Киото
 И Акутагава, Банзай, Ямамото
 Гагарин и Спутник – она отвечала
 Зардевшись – и это лишь было начало⁴⁹

В “Письме японскому другу” отражается авторская позиция, в той или иной степени характерная для всех анализируемых текстов:

⁴⁵ Лаптев М. Корни огня: Стихи 1987 – 1994 годов. М., 1994. С.72.

⁴⁶ Цитируемые тексты даются в орфографии и пунктуации авторов.

⁴⁷ Кузьминский К.К. Муд зурбости. СПб., 1995. С.25.

⁴⁸ Агылбеков Ц. Заклевали меня, заклевали... // Агылбеков Ц. Астенический стихоз. [СПб., 1999]. С.18. Ср. сюжет с харакири Сердюка в московском офисе “Тайра инкорпорейтед” в “Чапаеве и Пустоте”. - Пелевин В.О. Чапаев и Пустота. М., 1996. С.226–237.

⁴⁹ Подобранный Пригов. М., 1997. С.111.

А что в Японии, по-прежнему ль Фудзи
 Колышется словно на бедрах ткань косая
 По-прежнему ли ласточки с Янцзы
 Слетаются на праздник Хоккусаю
 По-прежнему ли Ямамото-сан
 Любуется на ширмы из Киото
 И кисточкой проводит по усам
 Когда его по-женски кликнет кто-то
 По-прежнему ли в дикой Русь-земле
 Живут не окрестясь антропофаги
 Но умные и пишут на бумаге
 И, говорят, слышали обо мне⁵⁰

Здесь очевиден резко выраженный контраст, основывающийся на разнице в условной глубине восприятия культурных примет “японского” и “русского”. Япония представлена как органически устоявшаяся, незыблемая сумма культурных знаков, символизирующих (пусть иронически) ориентальную идиллию, и вопрос “по-прежнему ли?” является в данном случае риторическим, хотя и снабженным добавочной коннотацией “неинформированности” героя. “Дикая Русь-земля” же характеризуется усредненными чертами любой дальней, нецивилизованной страны в духе описаний Марко Поло или любых других средневековых “книг путешествий”. Однако эти черты (“Живут не окрестясь антропофаги”) приводят в конфликт с другими – несовместимыми с ними параметрами цивилизованности (“Но умные и пишут на бумаге”). Россия исчезает как логически идентифицируемое пространство (если не иметь в виду сакрализацию “логики русской истории” и неославянофильское противопоставление “зато самой читающей страны в мире” всем остальным). Соответственно, исчезает она и как культурная почва для самого автора, который оказывается в трудноопределимой точке “между Японией и Россией”, не в состоянии пристать ни к одному берегу. Япония для него гипотетична, русские антропофаги о нем “говорят, слышали”. Подтверждение – в одном из известнейших приговских стихотворений об авторской неприкаянности и неопределимости позиций в русском культурном контексте:

В Японии я б был Катулл
 А в Риме был бы Хоккусаем
 А вот в России я тот самый
 Что вот в Японии – Катулл
 А в Риме – чистым Хоккусаем
 Был бы⁵¹

Это состояние авторского самосознания, по существу, не отличается от прямого отождествления себя с “японцем” в стихотворении “Два японца – Рубинштейн и Пригов...”, анализировавшемся в статье первой. Там же отмечалось и значение приговского “Предупреждения к сборнику “Двадцать стихотворений японских в стиле Некрасова Всево-

⁵⁰ Пригов Д.А. Написанное с 1975 по 1989. М., 1997. С.107.

⁵¹ Там же. С.110.

исследовательской и переводческой школы (Н.И.Конрад, А.А.Долин, В.Н.Маркова, Т.И.Бреславец, А.Е.Глускина, Т.П.Григорьева и др.) способствовали широкому включению японской классики в отечественный культурный контекст в качестве шедевров мировой литературы и "восточной мудрости" (отметим многочисленные и многотиражные издания, рекомендованные не только взрослому читателю⁵⁹, но и для школьных библиотек, и даже "для младшего школьного возраста"⁶⁰).

Тем же самым, однако, обусловлена и привлекательность их для многообразного и многоуровневого постмодернистского переосмысления, для остранения реалий советского и постсоветского быта, тематически мало- или квазисопоставимых с типичными объектами классической японской поэзии. Возникающий при этом иронический эффект связан с намеренной деформацией художественных и общих ассоциативных принципов, характерных для пародируемой традиции. Достигается это, прежде всего, избыточной содержательной конкретизацией, тогда как "активности восточной мысли нелегко подыскать наглядное выражение: она избегает наглядности, гасит, сколько можно, внешние проявления"⁶¹. В той же мере деформируется и естественное для японской культуры стремление "избежать прямого давления на собеседника собственным мнением, предоставить тому додумывать оставленное недосказанным и не давать определенных оценок – смысловых, а тем более эмоциональных..."⁶²

В самой Японии гораздо более "мягкие" трансформации поэзии традиционных жанров современными авторами воспринимаются неоднозначно. Даже широко признанные и отмеченные премиями литературные опыты такого рода – например, сборник танка Тавара Мати "Именины салата" (1987) – оцениваются в контексте культурной модер-

⁵⁹ Японская поэзия. М., 1956; Японские трехстишия: Хокку. М., 1960, 1973; Из японской поэзии. М., 1964; Японские пятистишия. М., 1971; Времена года: Из современной японской поэзии классических жанров. М., 1984; Зимняя луна: Японские трехстишия и пятистишия в переводе В.Марковой. М., 1987; Японская любовная лирика. М., 1988; Сто стихотворений ста поэтов: Старинный сборник японской поэзии VIII – XIII вв. М., 1990; Осенние цикады: Из японской лирики позднего средневековья. М., 1981; Лунные блики: Классическая японская поэзия конца XIX – первой половины XX в. М., 1991; Японская поэзия. М., 1992. (Библиотечка журнала "Полиграфия"); Летние травы: Японские трехстишия. 2 изд. М., 1995; Бабочки полет: Японские трехстишия. М., 1997; Поэтические турниры в средневековой Японии (IX – XIII вв.). СПб., 1997. (Японская классическая библиотека); Японская поэзия. СПб., 1999. (Золотой фонд японской литературы); Басё. Лирика. М., 1964; Басё. Стихи. М., 1985; Басё. Великое в малом. СПб., 1999. (Библиотека мировой литературы. Малая серия); Сайгё. Горная хижина. М., 1979, 1984, СПб., 1997; Исикава Такубоку. Стихи. М., 1957; Исикава Такубоку. Лирика. М., 1966; Исикава Такубоку. Избранная лирика. М., 1971; и др.

⁶⁰ Исикава Такубоку. Лирика. М.: Детская литература, 1981; Одинокий сверчок: Классические японские трехстишия хайку. М: Детская литература, 1987.

⁶¹ Мильдон В. Бесконечность мгновения: (Национальное в художественном сознании). М., 1992. С.192.

⁶² Коваленни Д. Искусство приготовления салата: Поэтические коллажи Тавара Мати // www.susi.ru/salat1.html.

низации, резко разделяя публику на почитателей художественных новаций и непримиримых критиков-традиционалистов⁶³.

Мной уже рассматривался комплекс "русско-японской" поэзии, отличающийся своей иронической направленностью от "серьезной" рецепции японских классических жанров, характеризовались содержательная сущность и историко-культурный смысл этого отличия.⁶⁴ В принципе возможна типология основных линий трансформации, по которым разворачивается "борьба" содержания и формы: "научная и техническая актуализация" содержания⁶⁵, его "эротизация" (сопроводительный комментарий посвящен проблеме соотношения с классической традицией, в то время как пародийно-иронические компоненты нередко "затемнены")⁶⁶, "политизация" (включая "историко-революционную" разновидность), "обытовление" (с выраженными "маргинальными" чертами), демонстративная деканонизация "Востока" или прямой парфраз с проблемой собственного "национального характера". Однако в большинстве текстов⁶⁷ эти линии постоянно комбинируются, переплетаются, а последний из названных мотивов так или иначе присутствует в "скрытой" форме в любом тематическом варианте. Не принимая во внимание гипертекстуальность и интертекстуальность как важнейшие измерения постмодернистского "ориентализма", анализируя отдельные вырванные из контекста миниатюры, сложно составить объективное представление о предмете в его сходстве и различии с "образцовой" дальневосточной традицией.

⁶³ Притом, что "дзэн Тавара Мати по-прежнему [в традиции Басё] предлагает отключиться от привычного образа мыслей", и "танка Тавара Мати – это по-прежнему танка". – Там же. Ср. характеристику трехстишия, известный автор которого (Абэ Сэйай) отказался от использования сезонного слова "киго": "некоторые люди классифицируют его как хайку из-за острой точки зрения на простой человеческий опыт". – *Накамура Ютака*. Хайку и природа // *Nipponia / Ниппония*: Открытие Японии. 1998. №3. С.35.

⁶⁴ *Ермаченко И.О.* О трансформации японских классических жанров в современной русской поэзии // Проблемы взаимодействия культур: теория и практика: Материалы межвузовской научной конференции (21-22 апреля 2000 г.) / РГГУ, факультет истории искусств (в печати).

⁶⁵ *Григорьев К. Хокку: О космосе, о будущем* // Орден куртуазных маньеристов. Триумф непостоянства. С.205-206. Ср. шутки в специализированных технических журналах, например, "компьютерные хайку" Ю.Нестеренко: Компьютерра: Компьютерный еженедельник. 15 февраля 2000. №5. С.40.

⁶⁶ *Рубоко Шо*. Эротические танки / Пер. со старояпон. Питера Энгра. М., 1991 (см. предисловие на с.3-5); Творческий ашрам "Три танкиста". Советско-японские эротические хайку и танка // *Волга-Урал*. №32 (103), сентябрь 1993. С.14 (см. сопутствующее интервью); *Ермакова И., Богатова Н.* Йокко Иринати. Алой тушью по черному шелку // *Арион*. 1996. №4. С.115-126 (см. вступление "Белая бабочка Йокко" и послесловие Т.Григорьевой).

⁶⁷ См.: *Шинкарев В.* Максим и Федор. Папуас из Гондураса. Домашний еж. Митски. СПб., 1996. С.14-25; *Строчков В.Я.* Целочки (из позднего Тосё) // *Он же*. Глаголы несовершенного времени: Избранные стихотворения 1981–1992 годов. М., 1994. С.200-205; *Салега М.* Разрозненные ХЭ: Стихи. Ленинград: "Красный матрос", 1995; *Григорьев К.* Мы уже в вечности, брат // Орден куртуазных маньеристов. Триумф непостоянства. С.197-208.

Различие ментальной основы, включающее разницу "национальных коммуникативных режимов" и обиходного юмора⁶⁸ и прекрасно осознаваемое постмодернистами, делает изящно-провокативными все заявления, подобные словам пелевинского "Кавабаты": "В глубине российской души зияет та же пустота, что и в глубине японской".⁶⁹

Ночь скрыла все.
Прибой шипит во тьме.
Максим, дрожа, на кухне воду пьет.
(В.Шинкарев. "Максим и Федор")

Каркнула птица в саду.
Каркнул я ей в ответ.
Поздняя осень...
(И.Чинко)

Муравей раздавленный.
Как жаль беднягу! Как грустно.
Для того и давил.
(В.Строчков)

Прием, который практиковали использовавшие жанры псевдохайку/танка авторы 80-х–сер.90-х гг. – постмодернистский не только в силу гипертекстуального оформления (и самих произведений, и мнимой ситуации их создания, пародирующей отношения восточного наставничества), но и по самой своей сути. В основе его – столкновение двух канонизированных культурных традиций: собственной (канон "советский" – торжественно-официозный, повседневно-коммунальный, масскультурный – для авторов являющийся псевдоканон) и чужой ("духовно высокий" канон – для авторов амбивалентный в силу опошленности "восточным бумом"). Результатом становится относительная взаимная деканонизация в "точке встречи" (правда, в разной степени). Чужой канон иронически снижается трансформацией содержания, собственный столь же иронически "приподнимается" трансформацией формы. При этом в малом пространстве квазияпонской поэтической миниатюры возможно противопоставление лишь наиболее актуальных культурных кодов. Основополагающим для традиционной японской идеологии и культуры принципом пустоты ("Му" – "ничто") аннигилируется, в частности, официозная "жизненная полнота" советской идеологии.

Обращаясь к дальневосточным мотивам – как японским, так и китайским – авторы-постмодернисты демонстрируют более высокий уровень владения культурным материалом (и отечественным, и зарубежным) чем задается, если использовать термин Х.Р.Яуса, горизонтом ожидания публики. Уровень этот выражается не в самом наборе штампов и стереотипных представлений, а в методе их взаимного сведения. Отказ от привычной русскому читателю "высокой" идейной ангажированности внешне приближает основу постмодернистского художественного дискурса к восточному пониманию "пустоты" как всеобъемлющего творческого начала. Однако представления о "свободе духа" и "внесоциальности", декларируемые отечественными адептами традиционных восточных учений, в свою очередь, иронично остраиваются активным внедрением в "социально-политическую сферу". В этом смысле

⁶⁸ Тумаркин П.С. Русские и японцы... С.15, 18.

⁶⁹ Пелевин В.О. Чапаев и Пустота. С.205.

в рассматриваемых текстах вполне "исторично" отразились реалии пограничья двух конкретных периодов, получивших публицистические маркировки "застоя" и "перестройки".⁷⁰ При этом инерция поэтического успеха, соответствуя инерции интересов публики, продлилась далее формально-хронологических рамок, лишь постепенно идя на убыль.

В то же время, объектом постмодернистской "игры" (как правило, не "механизируемой" до конца) остаются наиболее значимые традиции русской культуры и социальной практики, благодаря чему сохраняется живая связь с отечественной классикой, в частности – с мотивом неприкаянности "лучших" людей, наложившимся на реальную маргинализацию части русской интеллигенции в XX веке. Вполне уместным оказывается трагический эпиграф из Андрея Платонова, предпосланный В.Шинкаревым "Максиму и Федору":

"Все казалось ему странным в этом мире, созданном как будто для быстрой насмешливой игры. Но эта нарочная игра затянулась надолго, на вечность, и смеяться уже никто не хочет, не может..."

Внутри бедных существ есть чувство их другого, счастливого назначения, необходимого и неперемного, – зачем же они так тягостятся и ждут чего-то?"⁷¹

При таких допущениях надеяться на "перестроечный" вариант решения проблем, определяемых спецификой ментальности, естественно, не приходилось, но, главное, это не воспринималось как ментальная катастрофа. "Что естественно, то не безобразно", как, например, пьянство Максима, Федора и К^о (или ерофеевского Венички) – образно насыщенный символ национальной культурной идентичности, с которым "не справиться" никакой "Японии":

Солнце вышло из-за Фудзи,

По реке поплыли гуси.

Молвил Федору Максим:

– Ну-ка, сбегай в магазин.⁷²

Однако и этот символ уже подвергается вторичному острашению, переводится в новый пародийно-иронический регистр, как в пелевинском романе, в беседе героя с "представителем японской культуры":

"...По своей природе российский человек не склонен к метафизическому поиску и довольствуется тем замешанным на алкоголизме безбожием, которое, если честно сказать, и есть наша главная духовная традиция".⁷³

"Манящая" перспектива приобщения к "Японии" в пелевинской прозе, как и в поэтических текстах, остается иллюзорной. "Японец", в отличие от "китайца", – образ, менее подверженный диахроническим трансформациям, постоянная маркировка "другого". Незатухающий "роман" с этим "другим" – показатель перманентного сбоя позитивной самоидентификации, фиксируемого внешне разнообразными способами, от констатации полярности до мнимого отождествления.

⁷⁰ См.: Ермаченко И.О. О трансформации японских классических жанров...

⁷¹ Шинкарев В. Максим и Федор. Папуас из Гондураса... С.9.

⁷² Там же. С.16.

⁷³ Пелевин В.О. Чапаев и Пустота. С.201.

Жизнеописание императрицы Адельгейд от Одилона, аббата Ключийского

(Пер., вводн. ст. и коммент. В.Д.Балакина)

Матерью королевств (*mater regnorum*) называл Герберт Орильянский в своих письмах императрицу Адельгейд¹, выражая тем самым глубочайшее почтение к этой даме – женщине, матери и правительнице. Адельгейд, в течение полувека оказывавшая – сначала в качестве супруги немецкого короля Оттона I (936-973), затем как императрица, а позднее мать и бабушка двух других императоров, Оттона II (973-983) и Оттона III (983-1002) – существенное влияние на судьбы Империи, происходила из бургундского королевского дома. В 947 г., шестнадцати лет от роду, она была выдана замуж за Лотаря, короля Итальянского (Лангобардского) королевства. Овдовев спустя три года, она оказалась втянутой в политические смуты, возникшие в Северной Италии вследствие борьбы за престол, из которых сумела с успехом выйти, вступив в брак с Оттоном I, вместе с которым 2 февраля 962 г. была коронована в Риме императорской короной. После смерти второго супруга ей довелось еще дважды брать на себя управление империей – сначала за умершего сына, а спустя несколько лет и за малолетнего внука. На старости лет, отойдя от государственных дел, она, религиозная и преданная церкви женщина, проявляла все большую склонность к созерцательному образу жизни (*vita contemplativa*), посвящая дни и ночи чтению Священного Писания и молитвам. Смерть Адельгейд, наступившая 16 декабря 999 г., в сердцах многих отозвалась искренней скорбью. Ее могила в Зельце (Эльзас), на которой, как гласила молва, творились чудеса, стала местом паломничества, так что Ватикан был вынужден признать стихийно возникший культ, причислив Адельгейд к лику святых.²

Никто иной как сам Одилон, знаменитый аббат не менее славного Ключийского монастыря, счел своим долгом почтить память столь замечательной дамы, близким другом которой в последние годы ее жизни он являлся, написанием ее биографии, дабы не забывали о ней потомки. Здесь мы имеем дело с нечасто встречавшимся в средние века слу-

¹ Lettres de Gerbert / Ed. J.Havet. P., 1889. Nr. 74, 128.

² Культ Адельгейд имел локальное значение, не выходя за пределы Верхнего Рейна и Эльзаса. Даже канонизация, точная дата которой не известна (конец XI в.), не способствовала его распространению. – Paulhart H. Zur Heiligsprechung der Kaiserin Adelheid // Mitteilungen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung (MIOG), Bd.64, 1956. S.65 ff.; Görich K. Otto III. öffnet das Karlsgrab in Aachen. Überlegungen zu Heiligenverehrung, Heiligsprechung und Traditionsbildung // Herrschaftsrepresentation im ottonischen Sachsen. Sigmaringen, 1998. S.381 ff.

чаем, когда название дошедшего до нас произведения дано самим автором: *Epitaphium domine Adalheide auguste* ("Эпитафия госпожи Адельгейд августы"). Тот факт, что Одилон выбрал именно этот термин, а не более распространенное слово *Vita*, имеет объяснение: здесь, как и во многом другом, он следовал глубоко уважаемому им св.Иерониму, полагавшему, что жизнеописание уже умерших людей должно называться эпитафией.³ Аббату Ключийскому употребление этого термина представлялось не только уместным, но и единственно возможным.

Вопрос об авторе "Эпитафии" не представляет сложности: Одилон сам называет себя автором в письме к аббату Андрею. Личные замечания в гл.18 подтверждают это.⁴ Не столь просто ответить на вопрос о времени написания. Большую часть своего произведения Одилон посвятил рассказу о последних годах жизни Адельгейд, причем стиль изложения, особенно описание ее кончины, свидетельствует о том, что автор находился под впечатлением от увиденного. Живая непосредственность повествования позволяет предположить, что "Эпитафия" создавалась вскоре после кончины императрицы, видимо, в 1000 г.

Стиль Одилона достаточно изыскан, хотя местами и перегружен ремисценциями, и не лишен известной живости. Важным элементом его повествования являются библейские тексты, которые он тут и там вплетает в свой рассказ. Встречающиеся отклонения от дословного текста Вульгаты позволяют предположить цитирование по памяти. Но наряду с произвольным использованием библейской лексики и оборотов можно отметить и прямые цитаты, местами весьма пространные. Несмотря на частое использование выражений античных авторов, стиль Одилона весьма далек от классического. Видимо, благодаря Иерониму он узнал Цицерона, влияние которого более ощутимо, нежели других классиков. Цицерон и Иероним прославляются в вводной главе "Эпитафии" как вершины, соответственно, языческого и христианского красноречия. Хотя ключийский идеал образования и воспитания и не предполагал основательное ознакомление с сочинениями авторов языческой античности, для "Туллия" могло делаться исключение как ни для кого другого. Большой знаток сочинений Иеронима, Одилон создал произведение, совершенно иеронимианское по духу, но не являющееся бессодержательной копией того или иного из его произведений.

Для композиционного оформления "Эпитафии" Одилон часто прибегал к топике, что в то время считалось обязательным.⁵ Письмо к аббату и вводная глава представляют собой вереницу таких пригнанных друг к

³ *Hier. ep.* 112, 3: "epitaphium autem proprie scribitur mortuorum".

⁴ "Анналист Саксонца" в своей хронике прямо называет Одилона автором этого произведения, правда, употребляя для его обозначения термин "Vita". *Annalista Saxo // MGH SS VI*. P.637: "Hic vitam Adelheidis imperatricis descripsit".

⁵ *Arbusow L. Colores rhetorici. Eine Auswahl rhetorischer Figuren und Gemeinplätze*. Göttingen, 1948. S.91 ff.

другу общих мест.⁶ Но и в ходе дальнейшего повествования Одилон часто обращается к этому испытанному приему средневековых авторов. Изобилует общими местами гл.21, а заключительная глава – сплошное общее место. При изложении фактических событий их значительно меньше, а там, где автор начинает рефлектировать или морализировать, они опять выступают на передний план. Композиция жизнеописания следует классическому образцу биографий Светония, хотя Одилон, видимо, непосредственно и не обращался к этому литературному жанру. Он придерживается трехчленной схемы: сначала сообщается о происхождении и молодых годах императрицы, после чего следует рассказ о вершине ее жизни. Третья часть, посвященная ее болезни и кончине, занимает особенно большое место. Возможно, образцом для композиционного построения "Эпитафии" Одилону послужило "Жизнеописание святого Мартина" Сульпиция Севера: обращает на себя внимание членение текста тут и там на 22 главы.⁷

При описании жизненного пути Адельгейд Одилон в основном придерживается хронологической последовательности. Рассказывая о раздоре императрицы с Оттоном II, а затем с Феофаном, он откровенно становится на сторону своей героини, не в силах скрыть собственную антипатию к византийской царице, а о ее смерти сообщает даже с отчетливо выраженным удовлетворением.⁸ В своем повествовании Одилон особый упор делает на то, что всё, о чем он сообщает, ему известно "не только понаслышке, но и как очевидцу и соучастнику" (гл.4), что в данном контексте означает нечто большее, нежели просто топос. Общеизвестно, что аббаты Ключийские еще со времен Майоля были весьма близки к императорскому двору, отсюда и эпитеты, коими Одилон наделяет Оттона I ("августейший", гл.5) и Адельгейд ("августейшая", гл.3).

"Эпитафия" дошла до нас в 16-ти рукописях, которые обычно делят на три группы: содержащие только текст жизнеописания; жизнеописание с предпосланным ему письмом Одилона аббату Андрею; рукописи, включающие в себя "Эпитафию" и составленное во второй половине XI в. неизвестным автором описание чудес, творящихся на могиле Адельгейд. Все они неоднократно издавались в течение XVII–XX вв. Представленный здесь перевод "Эпитафии" и письма Одилона, которые являют собой единое тематическое и смысловое целое, выполнен по последнему их научному изданию, подготовленному Х.Паульхартом.⁹

⁶ Simon G. Untersuchungen zur Topik der Widmungsbriefe mittelalterlicher Geschichtsschreiber bis zum Ende des 12. Jahrhunderts // Archiv für Diplomatik, Bd.4, 1958. S.52 ff.; Bd.5/6, 1959/60. S.73 ff.

⁷ Сопоставительный анализ проведен в работе: Paulhart H. Widmungsbrief und Vorrede des Epitaphium Adelheids // MIOG, Bd.68, 1960. S.244 ff.

⁸ См. гл.7. На наш взгляд, в этом проявился не столько конфликт поколений, сколько различие мировоззрений и жизненных позиций.

⁹ Die Lebensbeschreibung der Kaiserin Adelheid von Abt Odilo von Cluny (Odilonis Cluniacensis abbatis Epitaphium domine Adelheide auguste) / Bearb. von Herbert Paulhart. Graz/Köln, 1962.

Domno Andree venerando abbati cunctisque fratribus sibi commissis in suburbio Ticinensis urbis Domino et Salvatori nostro devote famulantibus frater Odilo Cluniensium pauperum cunctorum peripsima presentis vite prospera et sempiterna gaudia.

Epitaphium domine nostre Adaleide imperatricis auguste descriptum stilo paupere vestre fraternitati curavi transmittere, ratum fore diiudicans, ut apud vos eius continua recolatur memoria, cuius industria atque prudentia vestri monasterii a fundamentis creverunt edificia cuiusque sustentamini larga continuatim munificentia. Non enim ad hoc tam grandem materiem vili brevique sermone perstrinximus, ut ad laudem tante virtutis atque nobilitatis oratio nostra sufficiat, sed ut aliquis inde vir adeo eruditus occasione scribendi suscipiat, quatinus res eminentioribus enucleata sermonibus imperatricum ac reginarum sonet in auribus, ut, dum magna de magnis audierint et eam, de qua loquimur, gressibus honestatis studuerint, saltem per eas cura domestica vigeat, sicut per eam res publica longe lateque valebat.

Epitaphium domne Adalheide auguste

Incipit prologus:

In huius igitur etatis nostre temporibus cuncta disponens totiusque honoris et honestatis largitor Dominus primo Ottone in sceptris feliciter agnte, Romane rei publice in femineo sexu prestitit venerabile decus. Multorum etenim honorum tunc accidentium atque virtutum post Deum auctrix dive celebrisque memorie Adalheida extitit imperatrix. Quam cum memorie succedentium scriptis commendare satagimus, timeo, ne digne reprehendamus, ideo quia tante nobilitatis atque virtutis materiem minus idonei paupere stilo explicare conamur. Quisquis nos reprehenderit, utpote reprehensione dignos, sive propter incultum sermonem seu propter rem noviter inceptam et propter naturalis eloquii simplicitatem, sciat, procul dubio sciat, quia non invitavit nos ad hoc humane laudis appetitus, sed vere et sincerissime caritatis affectus. Si abhorrere vis, quippe ut merito debes, lector, nostri ingenioli rusticitatem, attende ipsius, quam commendare cepimus, mentis et corporis nobilitatem. Si enim vis expectare vitum tanta eloquentia vel sapientia peditum, qui huius femine possit convenienter describere vitam, necesse est, aut Cicero rethor revocetur ab inferis aut Hieronimus presbiter transmittatur e superis. Si enim ille sanctus et incomparabilis in divina et humana sapientia sacer Hieronimus fuisset istius auguste temporibus, si Paulam et Eustochium, Marcellam quoque et Melaniam, Fabiolam quoque et Blesillam, Letam et Demetriadem septiesque percussam commendare curavit, libris et epistolis commendaret utique istam haud voluminibus paucis. Si enim deest talis, ut Hieronimus, aut aliquis alius liberalibus disciplinis adeo eruditus, qui possit digne tante femine mores et vitam describere, aggrediamur nos indocti Deo iuvante pro posse.

Господину Андрею,¹ достопочтенному аббату, и всем вверенным ему братьям, в предместье города Павии благоговейно служащим Господу и Спасителю нашему, брат Одилон² от имени всей клунийской братии желает всяческих благ в этой жизни и вечной радости.

Я потрудился переслать эпитафию госпожи нашей Адельгейд, императрицы августы, написанную простым стилем, вашей братии, полагая правильным, чтобы у вас вечно почиталась память о той, чьей старанием и разумением поднялись от самого фундамента строения вашего монастыря и от обильной щедрости которой вы постоянно питаетесь. Но не оттого решились мы коснуться простой и краткой речью столь великой темы, что считаем достаточным собственное дарование для восхваления таких добродетелей и благородства, но единственно с целью побудить какого-либо довольно искусного мужа взяться за перо, дабы даровитый рассказ о великих делах звучал в ушах императриц и королев, кои, услышав великое о великих, возымели бы желание сравняться добродетелями с той, о коей речь идет, по крайней мере, чтобы они о домашних делах проявляли такую же заботу, как та всегда и повсюду пеклась о делах государства.

Эпитафия госпожи Адельгейд августы

Начинается [пролог].

Итак, во времена сего века нашего, Господь, щедрый даритель лютого достоинства и всяческих добродетелей, проявляя заботу об устроении всего, дал, когда счастливо царствовал Оттон I, Римскому государству достопочтенное украшение женского пола. Именно тогда стала императрицей божественной и славной памяти Адельгейд, немало свершившая с Божьей помощью добрых дел и явившая множество добродетелей. Сияя писаниями увековечить ее в памяти потомков, я боюсь услышать справедливые упреки, до того мало пригоден мой бедный стиль для рассказа о столь благородной и добродетельной жизни. Кто бы ни упрекнул нас, ибо заслуживаем мы упрека, по причине ли речи, лишенной изящества, новизны ли самого начинания или же вследствие естественной простоты речения, пусть знает, воистину пусть знает, что взяли мы за это не ради людской похвалы, но по чистому побуждению любви. Коли угодно будет тебе, читатель, с отвращением отринуть грубую простоту нашего малого дарования, на что ты, несомненно, имеешь право, то обрати хотя бы внимание на духовное и телесное благородство той, к рассказу о коей мы приступаем. Если хочешь поискать мужа, наделенного таким красноречием и мудростью, что сумел бы должным образом описать жизнь сей дамы, то придется или из преисподней вызвать ритора Цицерона³ или спустить с небес пресвитера Иеронима. Ибо жил бы святой и несравненный, посвященный в божественную и человеческую мудрость Иероним во времена этой августы, то о ней, если уж написал о Пауле⁴ и Евстохии, Марцелле и Мелании, Фабиоле и Блезилле, Лете и семикратно пронзенной Деметриаде, он сочинил бы немало томов книг и писем. Но раз уж нет такого, как Иероним, или иного, столь же сведущего в свободных искусствах, кто мог бы достойно описать нрав и жизнь столь замечательной женщины, то мы несведущие с Божьей помощью приступаем, как можем.

1. Hec regio ac religioso stemmate orta cum adhuc esset iuvenula et sextum decimum etatis sue ageret annum, Deo donante adepta est regale matrimonium, iuncta scilicet regi Lothario Hugonis ditissimi regis Italici filio. Ex cuius contubernio filiam habuit, ex qua Lotharius rex Francorum Ludoicum regem genuit, qui sine liberis mortuus regio more Compendio dinoscitur fuisse sepultus. Supradicto vero Lothario ante annum circiter tertium, postquam dominam Adalheidam duxerat, defuncto remansit ipsa viduata viro, privata regno, destituta maritali consilio. Affuit ei persecutio mordax, que solet purgare electos veluti aurum fornax. Non ergo accidit ei tale, quid propriis exigentibus culpis, sed, ut credimus, potius ex accidentibus divine providentie donis. Affuit ei, ut vere fatear, nutu divino exterius corporalis afflictio, ne intus cremaret eam, utpote iuvenulam, incentiva carnis libido. Voluit eam Dominus tot verberibus atteri, ne secundum sententiam apostoli Pauli esset vivens vidua in deliciis mortua. Voluit enim eam paterno affectu tot perpeti pericula, ne esset indigna illa filiatione divina, de qua loquitur scriptura: *"Castigat Dominus omnem filium quem recipit"*. Sepe enim inde Deo gratias referebat et cum familiaribus conferebat, quanta et qualia tunc temporis passa fuerat et quam misericorditer eam Dominus de manibus inimicorum suorum liberaverat. Iudicabat enim oportunius sibi fuisse, ut ad tempus temporalibus fuisse occupata anxietatibus, quam vivens in deliciis perpetue mortis esset subdita legibus.

2. Postquam enim mortuus est Lotharius, vir eius, honorem regni Italici adeptus est quidam vir nomine Berengarius, qui habebat coniugem nomine Willam. A quibus innocens capta, diversis angustiata cruciatibus, capillis cesarie detractis, pugnis frequenter exagitata et calcibus, una tantum comite famula ad ultimum tetrus inclusa carceribus; liberata divinitus, postmodum ordinante Deo imperialibus est sublimata culminibus. In ipsa enim nocte, qua educebatur de carcere, incidit in cuiusdam harundineti paludem, ubi per dies et noctes sine cibo et potu mansit perseverans, auxilium a Deo sibi subvenire deprecans. Tali cum esset detenta periculo, venit quidam subito piscator cum limbo, deferens in navicula piscem, qui vocatur sturio. Quas cum vidisset, interrogavit, que essent aut quid ibi agerent. Dederunt sibi responsum, secundum instantem necessitatem satis congruum: *"Vidisne, quod hic humano consilio peregrinamur destitute, et quod durius est, solitudine periclitamur et fame. Si potes, aliquid nobis victus impende, sin autem, solatium nobis prebe"*. Qui misericordia super eas motus, sicut ipse, a quo mittebatur, fuerat quondam super pauperes in deserto fame periclitantes Christus, dixit eis: *"Nichil nobis adest ad victus necessaria nisi tantum piscis et aqua"*. Habebat ignem secum, sicut solent illi, qui piscationis exercent negotium.

*Accensus est ignis,
preparatus est piscis,
sumpsit cibum regina,
servivit piscator et famula.*

1. Она происходила из благочестивого королевского рода⁵ и, когда была совсем еще юной девушкой неполных шестнадцати лет, Бог дал ей в мужа короля, связав узами брака с королем Лотарем, сыном богатейшего короля Италии Гуго.⁶ От брака с ним она имела дочь, от которой у Лотаря, короля франков, родился [сын] король Людовик, умерший, как известно, бездетным и похороненный по-королевски в Компьене.⁷ Когда же вышеупомянутый Лотарь умер,⁸ не прожив и трех лет после женитьбы на госпоже Адельгейд, она, овдовев, осталась лишенной мужа, королевства и супружеского совета. Были на нее великие гонения, от коих обычно очищаются избранные, подобно золоту в печи. А выпало ей на долю такое не за собственные прегрешения, но, полагаем, скорее как дары Божественного Провидения. Были [ниспосланы] ей, думается, по мановению Божию внешние телесные терзания, дабы не сжигала ее, юницу, неодолимая внутренняя плотская похоть. Захотел Господь подвергнуть ее стольким страданиям, дабы, по мысли апостола Павла, не умерла заживо, живя вдовой в сладостолбии.⁹ Ибо захотел он по отеческой любви, чтобы претерпела она столько невзгод, дабы стать достойной той божественной родовой преемственности, о которой гласит Писание: *"Бьет Господь всякого сына, которого принимает"*.¹⁰ Именно поэтому она часто воздавала благодарение Богу и беседовала с близкими о том, сколько и чего довелось ей претерпеть в ту пору, и сколь милосердно вызволил ее Господь из рук врагов. Ибо, рассуждала она, лучше для нее было претерпеть временные земные тревоги, чем, живя в сладострастии, быть осужденной на вечную смерть.

2. Когда же скончался Лотарь, муж ее, престолом Итальянского королевства завладел некий человек по имени Беренгар, имевший супругу по имени Вилла. Безвинно схваченная ими, [Адельгейд] подверглась различным мучениям, будучи остриженной, битой кулаками и ногами и, наконец, заточенной в мрачную темницу с единственной служанкой; чудесным образом освободившись,¹¹ позднее по Божественному устройению была вознесена до вершин императорского достоинства. В ночь же своего вызволения из темницы она попала в какое-то поросшее тростником болото,¹² где терпеливо скрывалась дни и ночи без еды и питья, взывая к Богу о помощи. В такой опасности она пребывала, когда вдруг появился некий рыбак с нимбом, везший в челне рыбу, называемую осетром. Увидев их, спросил, кто такие и что там делают. Они дали ему ответ, довольно подходящий сообразно бедственным обстоятельствам: *"Разве не видишь, что скитаемся здесь, по людскому умыслу брошенные на произвол судьбы, но что еще хуже, подвергаемся опасностям в пустынных местах и голодаем. Если можешь, дай нам немного еды, если же нет, утешь хотя бы словом"*. Тронутый сострадаем к ним, как и сам Христос, коим и был послан, некогда сжалился над бедняками, претерпевавшими голод в пустыне, он сказал им: *"Ничего у нас нет из необходимого для [приготовления] пищи, кроме рыбы и воды"*. Был у него с собой огонь, как обычно у тех, кто пробавляется рыбной ловлей.

Разожжен огонь,
приготовлена рыба,
королева отведала блюдо,
ей подавали рыбак со служанкой.

3. Dum hec agerentur, supervenit quidam clericus, qui eius fuerat captivitatis et fuge socius, nuntians adesse exercitum militum armatorum, qui eam cum gaudio accipientes deduxerunt secum ad quoddam inexpugnabile castrum. Postea enim consultu Italicorum principum preveniente gratia Dei de solio regni ad arcem pervenit imperii. Hec enim augustarum omnium augustissima nominari et venerari est digna.

Nemo ante illam
 Ita auxit rem publicam
 Cervicosam Germaniam
 Ac fecundam Italiam
 Has cum suis principibus
 Romanis subdidit arcibus.
 Ottonem regem nobilem
 Rome prefecit cesarem,
 Ex quo genuit filium
 Imperio dignissimum.

4. De nobilitate carnis satis dicta sufficiat. Nobilitatem vero mentis quomodo vel qualiter exercuit, mortalium nemo dicere sufficit. Sed ut pro modulo compendiose loquar: speque fide certa, gemina caritate referta, iusta satis, fortis, prudens nimiumque modesta extitit, et vixit felix, dum secula rexit auxilio Domini moderantis climata cosmi. Prolata tamen Salomonis sapientis fame huic sanctissime conveniunt femine: "*Manus suas*" – inquit – "*aperuit inopi et palmas suas extendit ad pauperem. Non timebit domui sue a frigoribus nivis, omnes enim domestici eius vestiti sunt duplicibus. Stragulatam vestem fecit sibi byssus et purpura indumentum eius. Nobilis in portis vir eius, quando sederit cum senatoribus terre. Fortitudo et decor indumentum eius et ridebit in die novissimo. Os suum aperuit sapientie et lex clementie in lingua eius. Consideravit semitas domus sue et panem otiosa non comedit. Surrexerunt filii eius et beatissimam predicaverunt et vir eius laudavit eam. Multe filie congregaverunt divitias, tu supergressa es universas*". Hec enim, que de ea dicimus, non modo auditu, sed et visu et experimento cognovimus. Multa ab ea salutis verba audivimus, plurima dona suscepimus. Sepe enim indigentes nummo fecit esse divites, auro carentes enim aliquando cotidiano sumptibus fecit esse claros honoribus. Hec enim ad decorem mundi primi et maximi Ottonis, toto orbe famosissimi imperatoris, coniunx et ad profectum multorum imperatorum genitrix illa meruit benedictione potiri, quam meruisse perfrui legimus Tobiam in eiusdem patris volumine, videlicet, ut videret *filios filiorum usque in tertiam generationem*.

3. А тем временем прибыл некий клирик, помогавший ей освободиться от плена и бежать, сообщив, что наготове отряд вооруженных воинов, которые с радостью приняли ее и доставили в одну неприступную крепость.¹³ Позднее же она по решению итальянских князей, но прежде всего по милости Божией, с королевского престола поднялась на вершину императорского достоинства.¹⁴ Ибо она достойна называться и прославляться августейшей из всех август.

Прежде ее никто
Так не прославил державу,
Упрямую Германию
И тучную Италию
Вместе с их князьями
Подчинив оплоту римскому.
Короля Оттона знатного
Дала Риму в кесари,
От него родила отрока,
Империи достойного.

4. Довольно сказано о благородстве плоти. О том же, как она взрастила свое благородство духа, никто не сумеет рассказать. Но все же в меру кратко скажу: была она тверда в вере, преисполнена двойной милостью, весьма правдолюбива, сильна духом, разумна и отличалась редкой скромностью, счастливо жила, пока управляла мирскими делами с помощью Господа, правящего вселенной. Речения мудреца Соломона весьма подходят к этой святейшей женщине: *"Длань свою она открывает бедному, и руку свою подает нуждающемуся. Не боится стужи для семьи своей, потому что вся семья ее одета в двойные одежды. Она делает себе коверы: виссон и пурпур – одежда ее. Муж ее известен у ворот, когда сидит со старейшинами земли. Крепость и красота – одежда ее, и весело смотрит она на будущее. Уста свои открывает с мудростью, и кроткое наставление на языке ее. Она наблюдает за хозяйством в доме своем, и не ест хлеба праздности. Встают дети и ублажают ее, муж – и хвалит ее: "Много было жен добродетельных, но ты превзошла всех их".*¹⁵ То, что мы говорим о ней, известно нам не только понаслышке, но и как очевидцу и соучастнику.¹⁶ Много спасительных слов слышали от нее, много даров приняли. Ибо часто она нуждавшихся в деньгах делала богатыми, а лишившихся злата в результате ежедневных трат – славными воздававшейся хвалой. Она, созданная для украшения мира, супруга Оттона I Величайшего, во всем свете славнейшего императора, и родоначальница многих преуспевавших императоров, заслужила благословение, коего удостоился, как читаем в книге его отца, Товий, а именно, увидеть сынов сыновей до третьего колена.¹⁷

5. Postquam enim augustissimus Otto universe carnis ingressus est viam, augusta cum filio Romani imperii feliciter diu gubernavit monarchiam. Sed postquam divino nutu ipsius auguste meritis et industria solidatum fuerat Romani principatus imperium, non defuerunt viri iniqui, qui inter eos nisi sunt seminare discordiam. Quorum deceptus adulatione recessit corde cesar a matre. Si commendarem litteris, quanta et qualia passa fuerit tunc temporis, derogare videremur speciem tanti generis. Non enim debemus perstringere stilo, quod cito sedavit humilis satisfactio. Filium diligens, auctores discordie ferre non valens, secundum apostolici preceptum dans ad modicum ire locum paternum decrevit expetere regnum, ubi a fratre rege scilicet Conrado et nobilissima Mathilde eius coniuge benigne et honorabiliter est suscepta. Tristabatur de absentia eius Germania, letabatur in adventu eius tota Burgundia, exultabat Lugdunus, philosophie quondam mater et nutrix urbs inclita, nec non et Vienna nobilis sedes regia.

6. Postmodum vero cesar Otto ductus penitentia direxit legationem regi avunculo et sancte recordationis patri Maiolo, sub celerrima festinatione obnixus deprecans, ut gratiam matris quam suis exigentibus culpis perdiderat, eorum interventibus promereri posset, orans iterum eos et obsecrans, ut quantocius possent, una cum augusta matre Papiam ei studerent occurrere. Tantorum enim virorum usa consilio apud Papiam tempore statuto occurrit mater filio. Quo cum mutuo se cernerent flendo et lacrimando toto corpore solo prostrati humiliter se salutare ceperunt. Affuit in filio humilis penitudo, erat in matre liberalis remissio. Permansit in utrisque de cetero perpetue pacis indivisa conexio.

7. Non post multum vero temporis unico orbata filio, cui successit tercius ex Greca genitus Otto. Igitur recidivis diu afflicta verberibus, non possumus enarrare per singula, quot et qualia post mortem filii sibi successerunt incommoda. Licet illa imperatrix Greca sibi et aliis fuisset satis utilis et optima, socru tamen auguste fuit ex parte contraria. Ad postremum vero cuiusdam Greci aliorumque adulantium consilio fruens minabatur ei, quasi manu designando dicens: "Si annum integrum supervixero, non dominabitur Adalheida in toto mundo, quod non possit circumdari palmo uno." Quam sententiam inconsulte prolatam divina censura fecit esse veracem. Ante quatuor ebdomadas Greca imperatrix ab hac luce discessit, augusta Adalheida superstes felixque remansit. Perseverabat autem discrimina mundi lugens et deflens, curam tamen Romani imperii necessario gerens. Otto vero tertius unicus sui filius, a primatibus regni felicissime et honestissime educatus, nichil erga illam egit, nisi quod illum et illam decuit. Idcirco meritis avie et industria primatum Romani imperii adeptus est principatum.

5. После того, как августейший Оттон завершил свой земной путь,¹⁸ августа [Адельгейд] с сыном долго и счастливо правила Римской империей. Но когда по воле Божией, благодаря заслугам и усердию самой августы, окрепла власть в Римской империи, нашлись злые люди, постаравшиеся посеять раздор между матерью и сыном. Обманутый их льстивыми речами, кесарь почувствовал сердечное отчуждение от матери. Если бы описать, сколько и чего претерпела она в то время, то можно было бы подумать, что речь идет вовсе не об особе женского пола. Так и не будем доверять перу того, что в скором времени было улажено простым извинением. Любя сына и не в силах сносить виновников раздора, она, согласно заповеди апостола, благоразумно дав место гневу [Божью],¹⁹ решила отправиться в отеческое королевство, где была радушно и с почетом принята братом, королем Конрадом, и его благороднейшей супругой Матильдой.²⁰ Из-за отсутствия ее печалилась Германия, прибытию ее радовалась Бургундия, ликовал Лион, славный город, некогда слывший пристанищем и питомником философии, равно как и Вьенн, знатная королевская резиденция.

6. Позднее же кесарь Оттон, движимый раскаянием, направил посольство к королю, брату матери, и блаженной памяти отцу Майолю, самым настойчивым и смиренным образом упрасывая их выступить посредниками, дабы мог он снискать любовь матери, утерянную им по собственной вине, а также заклиная и умоляя их как можно скорее прибыть с августой-матерью в Павию на встречу с ним. По совету таких мужей мать в установленное время встретила в Павии с сыном. Завидев там друг друга, они, обливаясь слезами и пав ниц, смиренно приветствовали друг друга. Почувствовал сын смиренное раскаяние, и было от матери милосердное прощение.²¹ С тех пор они жили в мире и обоюдном согласии.

7. По прошествии же малого времени она лишилась единственного сына, коему наследовал Оттон III, рожденный от гречанки.²² И снова подверглась она долгим терзаниям, так что мы не в силах даже пересказать, сколько и каких тягот претерпела по смерти сына. Хотя та императрица-гречанка и была довольно полезна и хороша для него и других, свекрови же августе оказалась отчасти противницей. Под конец она, слушаясь советов некоего грека²³ и других льстецов, будто бы пригрозила ей, показывая руку и говоря: "Если проживу еще год, то во всем свете не останется места для господства Адельгейд, которого нельзя было бы прикрыть одной ладонью". Эти оплошно сказанные слова волей Божией оказались истинными. Не прошло и четырех недель, как императрица гречанка отправилась на тот свет,²⁴ августа же Адельгейд счастливо пережила ее. Впредь, скорбно и с плачем перенося мирские тяготы, она поневоле брала на себя заботы о Римской империи. Поскольку же Оттон III, отпрыск ее единственного сына, достойнейшим образом воспитанный магнатами королевства, не совершал по отношению к ней ничего, что не было бы достойно его и ее, благодаря заслугам бабушки и старанию князей он стяжал принципат Римской империи.²⁵

8. Ab ipsa enim etate primeva iam dicta imperatrix multa ab extraneis sive a domesticis fuerat perpressa, ut posset dicere cum propheta: *"Sepe expugnaverunt me a iuventute mea"* et cetera. Dicebat enim sepe illud apostolicum: *"Existimo enim, quod non sunt condigne passionis huius temporis ad superventuram gloriam, que revelabitur in nobis"*. Et alio loco: *"Si compatimur, et conregnabimus"*. Et iterum: *"Si fuerimus sicii passionum, erimus et consolationis."* Multis bonum pro malo reddidit et secundum Domini preceptum, peccantibus in se ante solis occasum dimisit. Nichil ex obiectis iniuriis sibi reservabat, sed totum Domino committebat, sciens esse dictum a Domino per prophetam: *"Michi vindictam, ego retribuam"*. Parcite, queso, quibus pepercit. Et dicamus pro tempore, quibus in adversitatibus quibusve studiis in prosperitatibus inservire contendit. Quod enim inprimis cum cesare, deinde cum filio et filii filio, Ottonum videlicet augustorum et cesarum, Deo annuente possederat regna, tot ex propriis sumptibus ad honorem regis regum condidit monasteria.

9. In patris vero Ruodulfi, videlicet nobilissimi regis, et domini Conradi fratris regno, loco videlicet Paterniaco, ubi matrem reginam vocabulo Bertam Deo in omni bonitate devotam sepulture tradidit, in honorem Dei genitricis monasterium condidit et sanctissimo patri Maiolo suisque successoribus sua munificentia et fratris sui Conradi regis precepto ordinandum perpetuo commisit. Postmodum in Italia iuxta Ticinensem urbem monasterium a fundamentis incepit et ad honorem Salvatoris mundi honorifice imperiali auctoritate et sua largissima donatione perfecit, prediis et ornamentis amplissime ditavit ac iam dicto patri Maiolo ordinandum regulariter tradidit. In Saxonia vero post discussum iam dicti rei publice principis cooperante unica sapientissima et prudentissima filia sanctimonialium cenobiis contulit dona.

10. Ante duodecimum circiter obitus sui annum in loco, qui dicitur Salsa, urbem decrevit fieri sub libertate Romana, quem affectum postea ad perfectum perduxit effectum. In ipso etiam loco monasterium a fundamentis miro opere condidit et ad honorem Dei et apostolorum principis, tertio imperante Ottone nepote videlicet suo in presentiarum secum astante, quartodecimo kalendas Decembris augustissime et devotissime a Wideraldo Argentine civitatis episcopo consecrari iussit. Et ut maiori auctoritate per succedentia temporum esset ille sacer locus subnixus, cum prefato cesare est etiam episcoporum conventus a sepe dicta et sepe dicenda Adalheida augusta ipsius cesaris avia convocatus. In ipso vero monasterio claustrum monachis satis aptum preparavit et secundum regulam sancti Benedicti ordinare decrevit. Abbatem ibi prefecit nomine Eccemagnum, boni testimonii virum, humana scientia et divina sapientia doctum, quem in divinis literis habere voluit assidue preceptorem. Ipsum vero monasterium adeo ditavit et nobilitavit prediis, edificiis, auro et gemmis, vestibus pretiosissimis aliisque variis ornatum suppellectilibus, ut nichil deesset illo in loco Deo famulantibus. Quatuor, quos supervixerat, annos creatori suo sua seque dando, pauperes Christi et servos sibi acquisivit amicos, ut cum temporalia deficerent, in eterna tabernacula eam reciperent.

8. С молодых лет императрица, о коей ведем рассказ, много претерпела от чужих и своих, так что могла бы сказать словами пророка: *"Много теснили меня от юности моей"* и так далее.²⁶ Часто повторяла она речение апостола: *"Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с тою славой, которая откроется в нас"*.²⁷ Или в другом месте: *"Если терпим, то с Ним и царствовать будем"*.²⁸ Или же: *"Если станем участниками страданий, то будем и участниками утешения"*.²⁹ Многим она воздавала добром за причиненное зло и, по заповеди Господней, согрешившим против нее прощала еще до захода солнца. Она не помнила ничего из причиненных ей обид, но всё препоручала Господу, зная сказанное Господом через пророка: *"Мне отмщение, Я воздам"*.³⁰ Прошу, щадите тех, кого [Он] пощадил. И, пользуясь случаем, скажем о том, как она стремилась служить добру, невзирая на обстоятельства. Ибо сколько, по милости Божией, имела королевств, сначала с супругом-кесарем, затем с сыном и сына сыном — Оттонами августами-кесарями, столько учредила из собственных средств во славу Царя Царей монашеских обителей.

9. В королевстве своего отца Рудольфа, славнейшего правителя, и государя Конрада, брата своего, в поместье Петерлинген,³¹ где она похоронила мать, королеву по имени Берта, во всем ее добросердечии благоговейно преданную Богу, учредила во славу Богородицы монастырь, по собственному великодушию и совету брата своего, короля Конрада, передав его в вечное управление отцу Майолю и его преемникам. Затем в Италии, близ города Павии, с почтением начала строительство монастыря во славу Спасителя мира,³² по воле императора и благодаря собственным щедрым пожертвованиям завершила его сооружение, обильно обеспечив имениями и утварью, и по всем правилам передала в управление вышеупомянутому отцу Майолю. В Саксонии, после кончины уже упоминавшегося государя, при сотрудничестве с единственной своей, весьма премудрой и благоразумной дочерью³³ одарила женские монастыри.

10. Лет за двенадцать до собственной кончины она основала в имении Зельц город по римскому праву, впоследствии доведя это начинание до полного завершения. В самом же городе учредила монастырь, дивным образом выстроив его, во славу Господа и князя апостолов.³⁴ В присутствии императора Оттона III, своего внука, за 14 дней до декабрьских календ она велела Видеральду, епископу Страсбургскому, самым торжественным и благочестивым образом освятить его. И чтобы сие святое место могло в последующие времена пользоваться большим авторитетом, часто упоминавшаяся и достойная частого упоминания августа Адельгейд вместе с вышеупомянутым кесарем, коему приходилась бабкой, созвала собрание епископов. В самом же монастыре она устроила довольно подходящий для этого монашеский затвор, подчинив его уставу святого Бенедикта. Аббатом там поставила некоего Экцемагнума, мужа, имевшего добрую славу, сведущего в человеческом знании и божественной мудрости, которого хотела видеть постоянным наставником в Священном Писании. Сам же монастырь до того обогатил и прославил имениями, постройками, золотом и драгоценными камнями, дорогими одеждами и всякой иной утварью, что ни в чем не было недостатка служившим в том месте Богу. За четыре года, после этого прожитые ею,³⁵ отдавая своему Творцу всё своё и себя, она приобрела в друзья нищих во Христе и рабов, чтобы они, когда иссякнут земные блага, приняли ее в вечные обители.³⁶

11. Cum igitur summis rei publice fascibus implicata teneretur, variis miserorum et inopum anxietatibus subsidia prebere non dedignabatur. Cumque mirificis, ut imperiali dignitati congruebat, valeret corpus decorare indumentis et pretiosissimis caput redimere gemmis, talibus se nolebat gravari implicamentis, sed aut pauperibus largienda decernebat aut Dominice crucis vexilla et Christi evangelia exinde adornari parabat, sedula imitatrix sui existens Redemptoris, qui cum omnium esset altissimus, humanitatis abiecta perpeti non est dedignatus. Innumeris preterea tam canonicorum quam etiam monachorum et sanctimonialium cenobiis circumquaque per diversas orbis partes constitutis plurima largiebatur beneficia, quatinus Deo famulantium agmina eius munificia dapsilitate recreata liberius sibi rei que publice divinitus conferenda implorarent suffragia. In cunctis enim, que gessit, iustitie formam tenuit, communem liberalitatem servavit, credens eum procul dubio iudicem futurum, quem et occulta non fallant et indecora offendat et honesta delectent. Quapropter iusticia cernebatur excelsa, liberalitate gratissima, beneficentie opera locans super Christum, quem beatus apostolus ponit fundamentum intelligens prudenter fidem esse fundamentum omnium virtutum. Usa est ergo perfecta liberalitate, ut silentio, quantum valeret, opus suum tegeret et necessitatibus singulorum cuperet subvenire, quatinus eam non labia sua, sed Christi pauperum laudarent ora, ut etiam in ea impletum videretur, quod beati Iob voce profertur: *Benedictio perituri in me veniebat*. Diligenti illud consideratione perpendere studebat iuxta ipsius vatis assertionem, ut ab eius tecto numquam vacuo sinu pauper exiret, ut talibus intenta commercii acquirere valeret in terra viventium hereditatem superne sortis.

12. Iam iamque ultimo etatis sue anno, cum non lateret eam, ut credo, exituram de seculo, pacis ut semper amica, pacis caritatisque causa paternum solum adiit, fidelibus nepotis sui Ruodulfi regis inter se litigantibus, quibus potuit, pacis federa contulit, quibus non potuit, more sibi solito Deo totum commisit. De cetero quam studiose, quam devotissime loca sanctorum curavit visitare, non est nostre facultatis evolvere. In ipso namque tempore monasterium Paterniacum adiit, quod ipsa ad honorem Dei genitricis pro remedio anime sue matris ibi requiescentis, tam ex suis quam ex maternis rebus nobiliter condidit et, quod tunc temporis in temporali necessitate fratribus ibi Deo famulantibus defuit, ut semper erat solita, manu largissima administravit.

13. Accidit tunc aliquid novum, quod huic operi iudicavimus inserendum. Fatigata ex itinere non potuit more solito manu propria elemosinam dare pauperibus et vocavit unum de fratribus, qui vice sua nummos daret pauperibus. Eius iussu ventum est ad pauperes. Excessit numerus pauperum denariorum numerum. Timuit minister minus habere, quam indigentibus posset sufficere. Quid multa! Affuit auguste meritis virtus illius, qui panibus ex quinque saciavit milia plebis. Multiplicatis denariis recesserunt pauperes cum munere leti.

11. Итак, несмотря на возложенные на нее высшие государственные обязанности, она не гнушалась оказывать помощь обремененным заботами обездоленным и неимущим. И хотя могла она украшать свой стан, как подобает достоинству императрицы, дивными одеждами и убирать голову драгоценными камнями, не хотела обременять себя такой мишурой, но щедро раздавала богатства бедным или жертвовала на украшение хоругвей креста Господня и Евангелий Христовых, усердно следуя примеру своего Искупителя, который хотя и был превыше всех, не гнушался терпеть малых и униженных. Бесчисленным общинам каноников, мужским и женским монастырям, учрежденным в различных частях света, щедро пожаловала многие бенефиции, дабы сонм служащих Богу, подкрепленный ее изобильной щедростью, мог, ни в чем не нуждаясь, молить о Божии заступничестве как за нее, так и за державу. Ибо во всем, что бы ни делала, она не уклонялась от правды, со всеми будучи милосердной, веруя в того несомненно грядущего судию, от коего скрытое не утаится и кого удручает бесславное и услаждает достойное. Так познается высшая правда, милосердием приятнейшая, вмещающая блажие дела Христу, коего блаженный апостол положил основанием,³⁷ рассудительно полагая, что вера есть основание всех добродетелей. А потому [Адельгейд] явила совершенное милосердие, окутывая, сколько могла, дела свои молчанием и желая помогать отдельным страждущим, дабы хвалили ее не собственные уста, но убогие во Христе, дабы исполнилось в ней реченное блаженным Иовом: *"Благословение погибавшего приходило на меня"*.³⁸ Усердно размышляя над словами пророка, она старалась воздавать сообразно им, дабы из ее дома убогий никогда не уходил с пустыми руками, а свершением добрых дел она могла стяжать небесную долю наследства живущих на земле.

12. Уже в последний год жизни, когда, думаю, она чувствовала, что скоро покинет этот мир, неизменно оставаясь миротворицей, ради мира и любви прибыла в отеческие края, когда подданные ее племянника Рудольфа³⁹ были в раздоре друг с другом, и, кого могла, примирила, а кого не сумела, того, по своему обычаю, препоручила Богу. О том же, сколь усердно, сколь благоговейно она посещала святые места, не в наших силах рассказать. В то время посетила она монастырь Петерлинген, который сама же во славу Богородицы и во искупление души своей и матери, там покоящейся, великодушно учредила как из собственных средств, так и материнских, и всем, чего в то время не доставало братии, служившей там Богу, щедрой рукой, как имела обыкновение, наделила.

13. В тот раз случилось нечто невиданное, о чем считаем нужным поведать в своем труде. Утомленная дорогой, она не смогла как обычно собственной рукой раздать милостыню нищим и позвала одного из братьев, дабы он за нее раздал им монеты. По ее распоряжению тот пришел к нищим. Число же нищих превысило количество монет. Устрашился слугитель, что имеет менее, чем могло бы хватить нуждающимся. Но что тут долго говорить! Пришла на помощь августу по заслугам ее сила Того, Кто пятью хлебами насытил тысячи людей.⁴⁰ Умножилось число монет, и ушли нищие одаренными и радостными.

14. Egressa inde locum Agaunensium petit, ubi rupis felicissima martyrum milia retinet corpora. Quanta cum devotione, quanta cum reverentia magni martyris Maurucii sociorumque eius expostulavit suffragia. Quot gemitus eius ibi fuerunt! Quot suspiria! Quot luctus! Quot lacrimarum flumina! Numquam fuerunt, ut reor, ulla peccamina, que tunc non mererentur eterna remedia. Si enim respiceres auguste faciem, excedere diceres humanam effigiem, quam, si aliud aliquid labiis promeret, nichil aliud crederes, quam ut propheticum illud evolveret: *"Effundo in conspectu eius orationem meam, tribulationem meam ante ipsum pronuntio"*. Que fuit eius maxima tribulatio pro cunctis a lege Dei declinantibus caritativa compassio, ut posset dicere cum propheta: *"Defectio tenuit me pro peccatoribus"*, et cum Paulo: *"Quis infirmatur et ego non infirmor"*, et cetera. Ita deplorabat aliorum peccata, qualiter non possunt multi propria deplorare discrimina. Letabatur in gravitate et profectibus preteritorum, tristabatur cotidie in defectibus presentium maximeque futurorum. Cum enim de futuris dico prophetie spiritum procul dubio eam habuisse denuntio. Adesset enim in sermone defectus, si non essem publico documento expertus.

15. Cum enim esset ab illo sacro loco egressura et secum staret in angulo ecclesie orationis gratia, quidam nuntius venit ad eam de Italia, Franconem Wangionensium episcopum nuntiavit Rome fuisse defunctum. Et quia vir boni testimonii erat, domina augusta valde illum diligebat, sicut et omnes bonos diligere solita erat. Et statim, ut eius obitum audivit, ex familiaribus, qui aderant, unum vocavit et, ut pro eo Domino preces funderet, humiliter rogavit et quasi in excessu mentis ita exorsa est dicens: *"Quid faciam, Domine, vel quid dicam de illo seniore nostro et nepote meo? Peribunt, ut credo, in Italia multi cum eo. Peribit post ipsos, ut timeo, heu misera, auguste indolis Otto, remanebo omni humano destituta solatio. Absit, o Domine, rex seculorum, ut videam superstes tam lugubre dispendium"*. Tunc videres augustam toto corpore solo prostratam, non minus crederes eam toto mentis adnisi celo intentam et quasi iam martyris Mauricii vestigia invenisse alymphatico ore perlingere. Post paululum vero ab oratione surrexit, munera martyribus elemosinam dedit pauperibus.

14. Уйдя оттуда, направилась в Сен-Морис, где в утесах покоятся блаженнейшие мощи тысячи мучеников. С каким благоговением, с каким почтением молилась она о заступничестве великомученика Маврикия и его сотоварищей. Какую скорбь ее видели там! Сколько было вздохов! Сколько рыданий! Какие потоки слез! Думаю, не бывало таких прегрешений, которые тогда не заслужили бы вечного прощения. Если бы ты взглянул на лицо августы, сказал бы, что проступил на нем человеческий образ, который, даже если бы она выражала губами нечто иное, возвещал бы, думается, известное речение пророка: *"Излил пред Ним моление мое; печаль мою открыл ему"*.⁴¹ Эта ее великая печаль была милосердным состраданием о всех уклонившихся от закона Божия, так что она могла сказать с пророком: *"Ужас овладевает мною при виде нечестивых"*,⁴² и с Павлом: *"Кто изнемогает, с кем бы и я не изнемогал"*⁴³ и так далее. Так оплакивала она прегрешения других, как многие не могут оплакивать собственные беды. Радовалась минувшим тяготам и успехам, ежедневно печалилась утратам нынешним, но более всего – грядущим. Говоря о грядущих, заявляю, что она, несомненно, обладала пророческим даром. Был бы недостаток в моем рассказе, если бы я не привел явного доказательства.

15. Когда она уже намеревалась покинуть это святое место и, молясь, одиноко стояла в углу церкви, к ней подошел некий вестник из Италии, сообщивший о кончине в Риме Франко, епископа Вормсского. Поскольку же то был муж доброй славы, госпожа августа весьма любила его по своему обыкновению любить всех добрых людей. Тотчас же, как только узнала о его кончине, она позвала одного из своих приближенных, бывших с нею, и, смиренно просив молиться за него Господу, словно в экстазе заговорила так: *"Что делать, Господи, или что сказать о господине нашем, внуке моем? Думаю, многие с ним погибнут в Италии. Боюсь, что после них погибнет – увы мне несчастной! – и августейший потомок Оттон, и останусь я, лишенная какого-либо человеческого утешения. Да не будет, о Господи, царь веков"*,⁴⁴ так, чтобы довелось мне, пережившей его, познать столь скорбную утрату".⁴⁵ Тогда, видев августу расprostертой ниц, вполне можно было бы подумать, что она всей силой своего духа устремлена к небесам и словно бы найдя следы мученика Маврикия, истово лобызает их. Спустя некоторое время, воспрянув от молитвы, она одарила мучеников и раздала милостыню нищим.

16. Dehinc Geneuensem adiit urbem, desiderans videre victoriosissimi Victoris martyris aulam. Inde Lausonam venit ibique memoriam Dei genitricis devotissime adoravit. Quibus in locis a rege et ab episcopis suis videlicet nepotibus honorabiliter suscepta devenit in vicum, qui vocatur Urba. In ipso enim vico aliquamdiu demorata egenis supervenientibus et miseris, quotquot potuit, tribuit necessaria. Cum rege et principibus patrie pacis et honestatis conferens negotia, inde etiam sacris locis diversa et varia direxit donaria. Que enim ecclesia, que monachorum cenobia sibi affinitate vel vicinitate coniuncta, que non mererentur habere eius dona vel xenia? Et ut parva de multis dicam: in ipso tempore, quo instabat sibi dies supremus beatissimum patrem Benedictum licet exiguis, tamen propriis visitavit muneribus nec non et beate recordationis patrem Maiolum celesti gloria iam coronatum, quem dum in hac mortali carne subsisteret, pre cunctis mortalibus in illo ordine diligebat, non enim oblita Cluniacum adeo sibi familiare cenobium.

17. Ad restaurandum igitur beatissimi confessoris Christi Martini monasterium, quod non multo ante fuerat igne combustum, destinavit transmittere non modicum argentum et ad honorem altaris partem unici filii sui Ottonis augusti clamidis. Ut enim ad memoriam reducamus eius dulcissima verba ad eum, cuius mittebantur officio ait inter cetera: "Obsecro, karissime, obsecro, ut ita alloquaris sanctissimum sacerdotem. Meo obsequio accipe, sacerdos Dei, parva munuscula, que tibi delegavit Adalheida, servorum Dei ancilla, ex se peccatrix, dono Dei imperatrix. Accipe unici mei Ottonis augusti clamidis partem et ora pro eo ad ipsum, quem veste divisa vestiti in paupere Christum".

18. In illo die, in quo de supra dicto loco erat exitura, una eademque hora nobis peccatoribus astantibus et exemplum perfecte humilitatis reliquit et profetie spiritum non arroganter, sed humiliter se habere ostendit. Erat quidam ibi in presentia ipsius monachus, qui licet esset indignus abbas vocitari, ab ea tamen putabatur alicuius esse momenti. Quem cum illa respiceret, et ipse eam esset intuitus, cepit uterque flere uberius. Dicam eam tunc plus fecisse, quam si dicerem eam multos infirmos sanasse. Vestem enim satis incultam, qua erat indutus, humiliter apprehendit et sanctissimis oculis et serenissime sue faciei osculando impressit eique familiariter et cum silentio dixit: "Memento mei, fili, in contemplativis et scias me non amplius te visurum corporalibus oculis. Cum enim humanis rebus excessero, orationibus fratrum animam meam committo." Inde per iter, quo venerat, pervenit ad locum, ubi ordinante Deo decreverat sibi parare sepulchrum.

16. Затем прибыла в город Женеvu, желая видеть храм победоноснейшего мученика Виктора.⁴⁶ Оттуда направилась в Лозанну, где благочестивейшим образом почтила память Богородицы.⁴⁷ С почетом принятая в этих городах королем и епископами, своими племянниками,⁴⁸ приехала в селение, именуемое Урба.⁴⁹ Пробыв там некоторое время, одарила, как могла, необходимым приходивших к ней нуждавшихся и убогих. С королем и князьями своей родины совещалась о мире и взаимоуважении, а также переслала оттуда различные дары святым местам. И какая церковь, какой монастырь, родственные или близкие ей, не удостоились получить от нее пожертвования или дары? Упомяну хотя бы малое из многого: в то самое время, когда близился ее последний день, блаженнейшего отца Бенедикта она почтила хотя и небольшими, зато собственными дарами, равно как и блаженной памяти отца Майоля, тогда уже увенчанного небесной славой, которого, пока он пребывал в тленной плоти мира сего, любила больше всех смертных его сословия, ибо не забывала Ключинский монастырь, столь близкий ей духовно.

17. Для восстановления же незадолго перед тем сгоревшего монастыря блаженнейшего исповедника Христова Мартина⁵⁰ она велела послать немало серебра, а во славу алтаря – часть плаща единственного своего сына Оттона августа. Приведу, дабы сохранить для потомков, ее сладчайшие слова, обращенные к тому, через кого пересылались [эти дары]: "Заклинаю, дражайший, заклинаю, так обратиться к святейшему епископу: "Прими через меня, служитель Божий, малые дары, кои тебе прислала Адельгейд, раба рабов Божиих, сама грешница, но по милости Божией императрица. Прими часть плаща единственного моего сына Оттона августа и молись за него тому, который, разделив свой плащ с нищим, облачил Христа".⁵²

18. В тот день, когда она собиралась покинуть вышеупомянутое место, нам грешным, бывшим с нею, одновременно и пример совершенного смирения явила, и без гордыни, но со смирением обнаружила живший в ней дух пророчества. Был тогда при ней некий монах,⁵³ хотя и не достойный называться аббатом, однако ею почитавшийся важным человеком. Когда она взглянула на него, а он посмотрел на нее, оба залились слезами. Тогда она, сказал бы я, сделала больше, нежели исцелила бы множество страждущих. Смиренно коснувшись весьма простой одежды, в кою тот был облачен, и, целуя ее, прижала к святейшим очам и светлейшему лицу своему, после чего, нарушив молчание, по-дружески сказала ему: "Помяни меня,⁵⁴ сын, в мыслях и знай, что больше не увидишь меня телесными очами. Когда же я покину земной мир, пусть братия [ваша] молится за душу мою". И затем путем, коим шла, прибыла в место,⁵⁵ где по наставлению Божию решила приготовить себе могилу.

19. In ipso igitur ultimo sui temporalis cursus itinere erigebat se, in quantum valuit, super se, ut divine contemplationi spreto secularium turbine libere posset insistere. Familiaris rei negotium erat sibi etiam importunum. Transegerat iam strenue Lie et Marthe satis laudabile actum, optabat appetere Rachelis et Marie desiderabile ocium. Itaque lectionibus intenta, assidua oracionibus, respuebat terrena, inhians tota mente celestibus. Et si aliquis eam de secularibus negotiis interpellaret, non ad hoc responsum dabat, sed apostolicum illud lugens in cordeolvebat: *"Misera ego homo; quis me liberabit de corpore mortis huius?"*. Et securade spe divine retributionis aiebat: *"Gratia Dei per Iesum Christum"*.

20. Deinde celesti edocta magisterio devenit ad locum, ubi ultimum spiritum erat redditura Deo. Instabat enim dies, in qua devotio annua agebatur pro filii sui Ottonis augusti memoria. Confluxerat ad eam ex adiacentibus locis, ut semper faciebant, pauperum plebes. Erat ei consuetudo talis, ut in amicorum et familiarium suorum anniversariis spiritale donativum suis spiritalibus erogaret militibus, elemosinam dico, Christi pauperibus. Erat autem indigentium multitudo ordinatim constituta in loco. Ad quos ipsa venit et extemplo Abrahe patriarche Deum inter illos esse non dubitans humiliter adoravit. Et oblita infirmitatis sue super vires temptavit aggredi, singulis manu propria tribuit et, quos miserabiliores vidit, vestimenta vel alia munuscula dedit. Finito isto spiritali negotio a quodam venerabili archiepiscopo missas fecit celebrari pro filio. In ipsa enim nocte a febre corripitur et per aliquot dies ingravescente mole infirmitatis ad extremum usque deducitur. Adhuc autem pro posse intenta erat in oracione et oculis desiderantibus Christum nichil aliud dignabatur aspicere. Resumptis aliquantulum viribus corporis muniri se rogavit attentius mysteriis ecclesiasticis. Tum sacri olei unctione peruncta sacramentum Dominici corporis humiliter et devotissime adorando percepit, in quem semper speravit et credidit. Talibus deinde fulta presidiis talique pasta convivio dixit senioribus, qui astabant, et clero, ut psalmos penitentiales cantarent et nomina sanctorum more ecclesiastico recitarent. Quo facto cum psallentibus psallebat, cum orantibus orabat usque ad illum locum, ubi Deum sibi adesse precabatur propitium. Erat enim sciens cum sorore Moysi tenere tympanum et chorum, cum David cordas et organum, sed assumptis bene sonantibus cymbalis cum sequentibus agnum tota iam versabatur in iubilum.

19. Итак, на этой последней стадии своего земного пути она, как могла, приободрилась духом, дабы, презрев мирские бури, вольно предаться размышлениям о божественном. И семейными делами она тоже стала тяготиться. Доблестно завершив довольно похвальное дело Лии и Марфы, она захотела обрести желанный покой Рахили и Марии.⁵⁶ Ревностно предавшись чтению [Священного Писания] и молитвам, она отвергла земное, всей душой открывшись небесному. И если кто доучал ей земными заботами, она, не давая ответа и лишь рыдая в душе, повторяла слова апостола: *"Бедный я человек! Кто избавит меня от сего тела смерти?"*.⁵⁷ И твердо надеясь на воздаяние Божие, говорила: *"Благодарю Бога (моего) Иисусом Христом"*.⁵⁸

20. Затем, наученная наставлением небесным, прибыла к месту, где суждено было ей испустить Богу свой дух. Близился день, когда совершался ежегодный молебен в память о сыне ее Оттоне августе.⁵⁹ По этому случаю стекался, как всегда бывало, бедный народ из окрестных мест. Был у нее такой обычай, чтобы в годовщины смерти своих друзей и родных раздавать духовное жалование, сиречь милостыню, своему духовному воинству, убогим во Христе. Множество нуждавшихся собралось в должном порядке в установленном месте. Выйдя к ним, она тотчас поклонилась им до земли, зная, что среди них Бог патриарха Авраама.⁶⁰ И, забыв о своем нездоровье, превозмогая себя, подходила к каждому и собственной рукой раздавала [милостыню], а тем, кто ей казался особенно жалким, давала одежду или иные дары. Закончив сию духовную работу, велела одному достопочтенному архиепископу⁶¹ служить поминальную мессу о сыне. В ближайшую же ночь с ней сделалась горячка, усиливаясь с каждым днем и усугубляя ее нездоровье вплоть до смертного часа. Но до самой смерти она ревностно, из последних сил молилась, и очи ее не желали видеть ничего, кроме Христа. Немного собравшись с силами телесными, весьма настойчиво просила укрепить ее церковными таинствами. Тогда, помазанная святым елеем, смиренно и благоговейно молясь, причастилась, вкусив тела Господа нашего, на коего всегда уповала в вере своей. Затем, заручившись такой защитой и напитавшись на таком пиру, она велела стоявшим при ней господам и клиру петь покаянные псалмы и оглашать по церковному обычаю имена святых. Веление было исполнено, и она пела с поющими и молилась с молящимися вплоть до того места, где просят Бога о милости. Ибо веровала она, что с сестрой Моисея держит тимпан и водит хоровод, с Давидом – струны и орган, а взяв звучные кимвалы со следующими за агнецем вся обратилась в ликование.⁶²

21. Anno igitur instante ab incarnatione Domini millesimo desiderans videre diem unum nescientem occasum in atriis Domini super milia, dicebat sepe cum apostolo: *"Cupido dissolvi et esse cum Christo"*. Prestolans etiam in presentiarum cum spiritali letitia eiusdem Domini nostri Iesu Christi nativitatis festum, cum sextum decimum diem solveret December felix, et ipsa feliciter deposito carnis onere evolavit ad purum purissimi etheris fulgorem. Erat enim ei domesticis gravis iocunditas, cum extraneis honestissima gravitas, in pauperibus vero infatigabilis pietas, in honorandis ecclesiis Dei affluentissima largitas, erga bonos perseverans benignitas, contra improbos liberalis severitas, in appetendis timor, in appetitis vigor, in prosperitatibus vera humilitas, in adversitatibus paciens longanimitas, in victu cotidiano sobrietas, in vestitu etiam mediocritas, in lectionibus et orationibus, vigiliis et ieiuniis assiduitas, in dandis elemosinas una eademque voluntas. Nulla de nobilitate carnis eam prepediebat elatio, nulla de bonitate sibi a Deo concessa ad se trahere poterat humane laudis cupido. Nulla de virtutibus a Deo sibi concessis presumptio, nulla de excessibus propriis dominabatur ei male suasa desperatio. Nulla de honoribus, divitiis et deliciis mundi in eam principabatur ambitio, sed comitabatur eam in omnibus omnium virtutum mater discretio. Eratque ei in fide segura firmitas, in spe firma securitas, in dilectione Dei et proximi radix omnium bonorum principalisque causa virtutum caritas.

22. Sed, ut vere fatear, quanta et qualis fuerit eius vita, clarescentibus ad sepulchrum eius miraculorum prodigiis virtus patefacit divina. Que si describerentur, ex ordine proprio indigerent volumine. Non enim possunt nostro explicari eloquio. Sed ne ex toto remaneant texta silentio, prolixitatem loquendi vitando, brevi comprehendere placuit capitulo. Ad sepulchrum eius ceci amissa oculorum lumina recipiunt, paralytics valitudinem corporum, feblicitantes sanantur ibi et ex diversis infirmitatibus multi reparantur infirmi gratia et miseratione Domini nostri Iesu Christi. Explicit.

21. Когда приближался тысячный год от воплощения Господня, она, желая видеть во дворцах Господа один день, не знающий заката, что лучше тысячи других,⁶³ часто говорила словами апостола: "Имею желанье разрешиться и быть со Христом".⁶⁴ Ожидая также с радостью и присутствием духа праздник Рождества Господа нашего Иисуса Христа, она, когда счастливый декабрь открыл свой шестнадцатый день, счастливо сбросила бремя плоти и отлетела к ясным небесам в сиянии чистейшего эфира. Была в ней величаявая любезность к домашним, почтенное величие в отношении чужих, неустанное милосердие к бедным, изобильная щедрость в почитании церковей Господних, неизменная доброта к добрым, милосердная суровость к нечестивым, богобоязненность в желаниях и твердость в обладании, в счастии – истинное смирение, в несчастьи – долготерпение, умеренность в повседневной пище и одежде, неутомимое усердие в чтении [Священного Писания] и молитвах, ночных богослужениях и постах, неизменная готовность к раздаче милостыни. Не было в ней такого порока, как высокомерная гордость знатностью происхождения, равно как и не одолевало ее желание людской похвалы, способное увлечь с пути добра, дарованного Богом. Она не имела обыкновения ни хвалиться добродетелями, дарованными ей Богом, ни впадать в уныние из-за собственных прегрешений. Не владело ею стремление к почестям, богатству и мирским наслаждениям, но всегда спутницей ее была скромность, мать всех добродетелей. Была в ней уверенная твердость в вере, твердая уверенность в упованиях, любовь в преданности Богу и ближнему своему – корень всех благ и первопричина добродетелей.

22. Но, истинно признаюсь, то, сколь великой была ее жизнь, лишь божественная сила способна открыть чудесами, творящимися на ее могиле. И целого тома не хватило бы для описания их по порядку, а потому невозможно передать их в нашем рассказе. Но чтобы полностью не обойти их молчанием, изложим, избегая многословия, в краткой главе. У ее могилы незрячие вновь обретают утраченный свет очей, парализованные – телесную крепость, страдающие лихорадкой исцеляются там, равно как и многие из мучимых иными болезнями восстанавливают свое здоровье по любви и состраданию Господа нашего Иисуса Христа. Конец.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Андрей, аббат расположенного западнее Павии монастыря Сан-Сальваторе. Письмо Одилона Андрею предпослано основному тексту "Эпитафии" в части дошедших до нас ее рукописей, что и воспроизведено в издании, использованном нами для перевода.

² Одилон, в 994-1048 гг. аббат Ключи, бенедиктинского монастыря, учрежденного в 910 г. См.: *Borgolte M. Die Mittelalterliche Kirche. München, 1992. S. 19 ff.; Tellenbach G. The Church in Western Europe from the Tenth to the Early Twelfth Century. Cambridge, 1993. P. 79 sq.*

³ В Средние века считали, что именно там место язычнику Цицерону, хотя при этом и восхищались его даром красноречия.

⁴ Перечисленные знатные римлянки воплощали под руководством Иеронима идеал аскетической жизни; им он адресовал несколько сочинений и многочисленных письма. См.: *Penla A. San Girolamo. Torino, 1949.*

⁵ Она родилась предположительно (точная дата не известна) в 931 г. Ее родителями были король Бургундии Рудольф II и Берта, дочь герцога Швабского Бурхарда.

⁶ Бракосочетание состоялось в Павии в 947 г.; Лотарь – король Италии в 947-950 гг., Гуго – в 926-947 гг.

⁷ Эмма, дочь Адельгейд от брака с Лотарем, вышла замуж за короля Франции Лотаря I (945-986); их сын – Людовик V, король Франции в 986-987 гг., умер 21 мая 987 г.

⁸ 22 ноября 950 г.

⁹ 1 Тим. 5, 6.

¹⁰ Одилон, видимо, цитируя по памяти, не точно передал слова Писания: "Ибо Господь, кого любит, того наказывает; бьет же всякого сына, которого принимает" (Евр. 12, 6).

¹¹ В заточении в крепости Гарда Адельгейд пробыла ровно четыре месяца, с 20 апреля по 20 августа 951 г.

¹² Ф.П.Виммер полагал, что это была болотистая местность близ Мантуи (*Wimmer F.P. Kaiserin Adelheid, Gemahlin Ottos des Großen. Regensburg, 1889. S. 19 Anm. 1*), однако в таком случае не понятно, откуда на болоте взялся рыбак, о котором далее говорится. Скорее всего, речь идет о болотистых, поросших камышом берегах озера Гарда, где и стояла одноименная крепость.

¹³ Вооруженный отряд епископа Реджо Адальхарда, сопроводивший Адельгейд в Каноссу. См.: *Köpke R., Dümmler E. Kaiser Otto der Große. Leipzig, 1876. S. 196 Anm. 2-3.*

¹⁴ Имеется в виду присяга на верность, принесенная итальянскими магнатами после вступления Оттона I в Павию в сентябре 951 г. (*Köpke R., Dümmler E. Op. cit. S. 196 Anm. 4*). Адельгейд вместе Оттоном I была помазана и коронована в качестве императрицы 2 февраля 962 г. в Риме.

¹⁵ Прит. 31, 20-23, 25-29.

¹⁶ Одилон намекает на собственное присутствие в окружении Адельгейд.

¹⁷ Книга Нием. 12.

¹⁸ Оттон I скончался 7 мая 973 г. в Мемлебене.

¹⁹ См.: Рим. 12, 19: "Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию".

²⁰ Конрад – сын короля Бургундии Рудольфа II (937-993); Матильда – дочь короля Франции Людовика IV и Герберги, сестры императора Оттона I.

²¹ Их примирение, благодаря посредничеству короля Бургундии Конрада и аббата Ключинского Майоля, состоялось в декабре 980 г. в Павии, куда Оттон II прибыл 5 декабря. См.: *Hlawitschka E. Kaiser Otto II. (973-983) // Mittelalterliche Herrscher in Lebensbildern / Hrsg. von K.R.Schnith. Graz, 1990. S. 144 ff.*

²² Оттон II умер 7 декабря 983 г. в Риме. Его преемником стал сын Оттон III, рожденный в 980 г. от византийской царевны Феофано, которая сделала немало полезного для Германии, как в политике, так и в области культуры. И все же, несмотря на это, ее многие не любили, что отчетливо проявилось и в отношении к ней Одилона, выраженном в "Эпитафии". См.: *Fried J. Kaiserin Theophanu und das Reich // Köln. Stadt und Bistum in Kirche und Reich des Mittelalters / Hrsg. von H.Vollrath, S.Weinfurter. Köln, 1993. S. 139 ff.; Leyser K. Theophanu Divina Gratia Imperatrix Augusta // Idem. Communications and power in Medieval Europe: The Carolingian and Ottonian centuries. London, 1994. P. 143 sq.*

²³ Иоанн Филаргат, ставший благодаря Феофано сначала аббатом Нонантулы, а затем архиепископом Пьяченцы.

²⁴ Феофано умерла 15 июня 991 г. в Нимвегене.

²⁵ Императорская коронация Оттона III состоялась 21 мая 996 г. в Риме. См.: *Althof G. Otto III. Darmstadt, 1996. S. 79 ff.*

²⁶ Пс. 128, 1.

²⁷ Рим. 8, 18.

- ²⁸ 2 Тим. 2, 12.
- ²⁹ Неточное цитирование 2 Кор. 1, 7.
- ³⁰ Рим. 12, 19.
- ³¹ Сейчас Пайерн, кантон Ваадт, Швейцария; монастырь св. Марии учрежден около 957 г.
- ³² Монастырь Сан-Сальваторе, учрежденный в 972 г.
- ³³ Матильда, сестра Оттона II, абатисса Кведлинбургская. См.: *Fleckenstein J. Pfalz und Stift Quedlinburg. Göttingen, 1992, passim.*
- ³⁴ Церковь посвящена св. Петру. Примечательно, что ее освящение состоялось 18 ноября 996 г. – в тот самый день, когда в Риме празднуется освящение базилики Петра и Павла.
- ³⁵ Точнее, за три года: Адельгейд умерла в декабре 999 г.
- ³⁶ Ср.: Лук. 16, 9.
- ³⁷ Ср.: 1 Кор. 3, 11.
- ³⁸ Иов 29, 13.
- ³⁹ Рудольф III, король Бургундии в 993-1032 гг. О феодальных распрях того времени см.: *Althoff G. Spielregeln der Politik im Mittelalter: Kommunikation in Frieden und Fehde. Darmstadt, 1997. S.117 ff.*
- ⁴⁰ Ср.: Матф. 14, 13-21.
- ⁴¹ Пс. 141, 2.
- ⁴² Пс. 118, 53.
- ⁴³ 2 Кор. 11, 29.
- ⁴⁴ Ср.: 1 Тим. 1, 17: "Царю же веков нетленному..."
- ⁴⁵ Смысл пророчества заключался в том, что, по Одилону, Адельгейд предвидела безвременную кончину своего внука Оттона III, наступившую в Италии 24 января 1002 г.
- ⁴⁶ Церковь и монастырь Сен-Виктор.
- ⁴⁷ Кафедральный собор Нотр-Дам в Лозанне.
- ⁴⁸ О происхождении архиепископа Бурхарда II Лионского (973-1033) и епископов Гуго II Женевского (990-1025) и Генриха I Лозаннского (985-1019) см.: *Poupardin R. Le royaume de Bourgogne. Paris, 1907. P. 118 sq.*
- ⁴⁹ Орб, кантон Ваадт, Швейцария.
- ⁵⁰ В монастыре Св. Мартина в Туре случился сильный пожар в 997 г.
- ⁵¹ Так в оригинале, хотя вместо местоимения "mei" должно быть "sui", поскольку посланец передает слова Адельгейд.
- ⁵² Святой Мартин Турский (316/317-397) в период службы в гвардии Константина Великого разделил, будучи в Амьене, свой плащ с нищим. Таким образом, Адельгейд, жертвуя часть плаща своего сына Оттона II, уподобляет его упомянутому святому. О почитании святых и реликвий см.: *Angenendt A. Heilige und Reliquien: die Geschichte ihres Kultes vom frühen Christentum bis zur Gegenwart. München, 1994.*
- ⁵³ "Некий монах" – сам Одилон, бывший в ближайшем окружении Адельгейд.
- ⁵⁴ Лук. 23, 42.
- ⁵⁵ Зельц, (см. Прим. 32).
- ⁵⁶ Образное противопоставление жизни активной (*Vita activa*) и созерцательной (*Vita contemplativa*) на примерах из Ветхого и Нового Завета. См.: Быт. 29, 6 и сл. и Лук. 10, 38 и сл.
- ⁵⁷ Рим. 7, 24.
- ⁵⁸ Рим. 7, 25.
- ⁵⁹ 7 декабря, день смерти Оттона II в 983 г.
- ⁶⁰ Ср. Быт. 18, 2.
- ⁶¹ Виллигису, архиепископу Майнцкому в 975-1011 гг., эрцканцлеру Империи, в свое время осуществлявшему вместе с Адельгейд опеку над малолетним Оттоном III. См.: *Герье В. Виллигиз, архиепископ Манцский 975-1011. М., 1869. С. 11 и сл.; Böhmer H. Willigis von Mainz. Leipzig, 1895. S. 39 ff.*
- ⁶² Ср.: Рим. 12, 15; Исх. 15, 20; Пс. 150, 4.
- ⁶³ Пс. 83, 11.
- ⁶⁴ Фил. 1, 23.

Г.И.Зверева

"Большая" интеллектуальная история: текст и историографическая норма

В последние годы в России появился ряд историко-теоретических работ, которые оказались весьма значимыми для профессионалов, занимающихся изучением конкретных проблем в различных областях социально-гуманитарного знания. Критически осмысливая современные изменения в познавательной сфере, авторы таких работ акцентируют внимание исследователей на возможностях и границах применения теоретико-методологических новаций в дисциплинарной практике.

В этой связи хотелось бы отметить книгу И.М.Савельевой и А.В.Полетаева "История и время: в поисках утраченного" (М., "Языки русской культуры", 1997), которая во многом согласуется – по постановке и уровню разработки проблем – с ведущими направлениями современной западной социально-гуманитарной мысли. Сразу после выхода в свет книга оказалась востребованной профессионалами и получила признание в академической среде. Думается, что она представляет значительный интерес и тем, что обнаруживает черты научного дискурса, который формируется в соответствии с потребностями, тенденциями и ресурсами глобальной информационной сети. Внимательное прочтение книги открывает возможности для размышления о некоторых формальных свойствах современной историографии.

Авторы предлагают читателю крупномасштабный аналитический обзор создания, взаимодействия, трансформаций многообразных теорий, подходов, концепций, которые связаны общей проблематикой Истории и Времени и представлены в контексте "большой" интеллектуальной истории. Композиция и сюжет этой работы строго подчинены концептуальному замыслу. Авторский взгляд с "птичьего полета" образует общеисторическую панораму, в которую встроены разные интерпретации "Времени истории" и "Времени историка". В диахронии (с древности до конца XX века) и в синхронии авторы стремятся показать множественность форм исторического сознания, описать специфику различных уровней мышления: от философского рефлексивного и научного до обыденного коллективного и индивидуального.

Основу анализа составляет авторская методологическая рефлексия по поводу истории как академической дисциплины (историческое знание, историческая наука, историческая профессия), интеллектуальной

истории (история идей), антропологической истории (коллективные и индивидуальные обыденные представления об истории), социокультурной истории (история бытования культурных смыслов в обществе). По мере представления разных форм социального Времени в их сопряженности с моделями человеческой Истории из различных аспектов историографической репрезентации в тексте постепенно вырастает синоптическое единство. Лейтмотивом книги становится суждение о культурно-исторической обусловленности категорий Истории и Времени, их парадигмальной изменчивости, релятивности в истории идей и в обыденном опыте. В этой связи особенно убедительными выглядят те части текста, где излагаются многочисленные теоретические построения интеллектуалов по поводу возможностей темпоральной периодизации Истории (историческая эпоха, стадия, период, век, цикл и пр.).

В конечном счете, концепция авторов выражает себя в метаисторической реконструкции многообразных способов рационализации мира, которые обуславливались применением различных подходов к трактовке содержания двух "вечных", "универсальных" категорий (по своему значимых для цивилизации, истории общества, истории культуры, истории индивидуальной человеческой жизни).

Особый интерес представляет то, как устроен этот текст: как выглядит содержание формы, какими средствами выражена семантика основных понятий, - то есть, то, что непосредственно образует когнитивную сетку познавательных координат и позволяет читателю, по мере постижения текстуальной стратегии, глубже понять содержание концепции и тип авторской рефлексии. Текст воспринимается как адресованный, прежде всего, тем читателям, которые испытывают потребность в упорядочении знаний средствами "большой истории" (метанаратива). Структура работы вполне соответствует такому типу повествования. Шесть глав книги образуют крупные смысловые части текста. Перед читателем последовательно разворачивается авторская интерпретация предмета и места истории в системе современного социально-гуманитарного знания, формы осмысления исторического (социального) Времени и исторического процесса, темпоральные "игры" историков в истории историографии. Внутренняя концептуальная взаимообусловленность и продуманность этих частей очевидна.

В тексте содержится множество историй (концепций) об историческом (социальном) Времени и отчетливо выражено намерение авторов уйти от простого причинно-следственного рассказа, истории с монолинейным сюжетом. Посредством соединения в единое панорамное целое множества интеллектуальных конструктов, сопряжения многих "историй" создается новая полисюжетная мозаичная картина. Единство композиции задается не только слаженностью замысла и сюжета, представленного как "история историй", но и единством стиля историографического повествования, общностью стилистики письма и языка. Выбранная авторами форма текста призвана свидетельствовать о его

"легитимности", поскольку она включает в себя базовые структурные элементы современного нормативного знания (в данном случае - об истории и историческом времени) и канона, значимого для профессионального исторического сообщества.

Идея метанарратива доминирует в тексте. Она задается самой позицией авторов – рефлексивным "наблюдением за наблюдателем", выбранной критической точкой обзора и, вместе с тем, – отчетливо выраженным самоощущением "включенности" в историографическое повествование, пониманием социальной потребности в конструировании такого рода. Идея дистанцированного "наблюдателя" скрепляет все "истории" прочными познавательными "скрепками". По сути, текст выглядит как современная вариация структурно-ориентированной глобальной истории, в которой предпринята попытка соединения хроникального, структурального и культурно-исторического измерений Прошлого на основании принципа научной объективности. Не случайно, думается, авторы выбрали в качестве подзаголовка своей работы слова Марселя Пруста – "в поисках утраченного". Эта формула передает "буквальность" этической позиции историка: искать (и отыскивать) то, что утрачено, то, что стало Другим по отношению к Настоящему, но без чего нет понимания этого Настоящего. Таким образом, она воплощает в себе известное совмещение обыденного и профессионального представлений об Истории и ее высоком социальном назначении.

Текст работы И.М.Савельевой и А.В.Полетаева выглядит как свидетельство существования академической нормы в современном историческом знании: наличия в нем необходимых атрибутов, параметров, способов высказываний, форм представления доказательств, отсылок к интертексту академического сообщества. В это историографическое повествование органично встроены сегменты других текстов, тщательно отобранные авторами из общего профессионального интертекста. Цитата или отсылка к другому тексту вводятся авторами отнюдь не только с целью подкрепления концептуальной модели дополнительными весомыми аргументами. Такой вполне осознанный дискурсивный ход позволяет авторам сообщать тексту важное для исторического метанарратива качество информационной полноты, энциклопедичности, создавать у читателя ощущение его максимальной надежности и объективности (интерсубъективности). Текст пронизан гипертекстовыми отсылками к "большим" смысловым связям в современном социально-гуманитарном знании.

"Внешняя" сторона нормативности текста такого рода выражается в том, что он ориентирован на вхождение в информационное метапространство, многосоставное, интертекстуальное, соответствующее основным параметрам глобальной сети общего доступа. Авторский "голос" в таком "электронно-ориентированном" тексте выражается не столько в своеобразии риторических (образно-вербальных) способов конструирования историографического повествования, сколько в при-

верженности конвенциональной профессиональной эстетике и в предельной обнаженности идейно-концептуального каркаса. Это позволяет авторам самым актом вступления в интерсубъективное "многоголосье" включаться в среду нормативного профессионального знания и, более того, своим вхождением подтверждать необходимость следования норме. В этой связи хотелось бы отметить важное свойство формирующегося в информационном пространстве научного дискурса. Сложившаяся конвенция внутри исторической профессии обнаруживает себя, прежде всего, в согласованности содержания теорий, методологии и базовых понятий, которая задается рамками дисциплины. Новая профессиональная конвенция, в значительной степени определяемая условиями функционирования информационных магистралей в глобальной сети, все больше выражает себя в согласованности формы – в определенных конфигурациях информационных "битов", в отсылках к индексам-знакам и дискурсивным формациям, которые уже получили признание и образуют ядро дисциплинарного знания.

В настоящее время в формирующемся "пост-постмодернистском" пространстве социально-гуманитарного знания наблюдается сдвиг в сторону намеренного возвращения текстов к жанровой "чистоте" повествования. Однако стоит отметить, что принципиальная авторская ориентация на "узнаваемость" читателем жанра и стилистики исторического нарратива способна порождать тенденцию к "омассовлению" текста и, вместе с тем, - к утверждению власти пишущего над процессом коммуникации – автор – текст – читатель".

Что же касается постмодернистских установок, то в них в разных версиях присутствует идея создания повествования посредством свободного выбора языка и познавательных процедур, процесс комбинирования которых, в конечном счете, обуславливает соиздание интеллектуального бриколажа из "паззлов" интертекста. Свободный выбор выглядит как своего рода экзистенциальный акт познающего субъекта. Автор имеет надежду сохранить себя в тексте, а также на то, что в процессе такой работы повествование может приобрести качества элитного открытого текста, при прочтении которого допускаются возможности разных интерпретаций. Однако у профессионалов-"модернистов" возникает серьезное опасение, что в таком случае в дисциплинарном знании проблематичной оказывается сама идея наличия академической нормы. Между тем в постмодернистских дискурсивных практиках не только не отрицается нормативность профессионального знания, но, напротив, подчеркивается его познавательная и социально-культурная значимость и доказывается необходимость критической философской и научной рефлексии по этому поводу.

И.М.Савельева и А.В.Полетаев принципиально сохраняют в процессе критической рефлексии "равноудаленную" дистанцию от представляемых концепций. Позиция информационной нейтральности, заданная формой метанарратива, напоминает привычную трансценден-

тальную нейтральность познающего субъекта, а утверждаемая авторами отстраненность стилистики письма только подчеркивает "легитимность" текста для профессии. Тем не менее, определяя собственное место в пространстве современного знания, авторы явно идентифицируют свою позицию с модернистской научной парадигмой и стремятся провести отчетливый водораздел между предлагаемой концепцией и постмодернистскими версиями представления Истории и Времени. Как ни парадоксально на первый взгляд, но эта открытость авторов в части теоретико-методологических приоритетов содействует дальнейшему утверждению текста как нормативного, придает ему качества надежности, сообщает читателю дополнительное доверие к тексту. В занятой авторами позиции реализуется потребность читателя в познавательной определенности, в апелляции к норме.

Несмотря на упрочение в современной историографии мысли о неизбежности "переопределения" содержания исторической дисциплины в связи со сдвигами в общенаучной парадигме и "естественности" адаптации историографического письма к новым условиям формирования знания, для историков отнюдь не утратила своей притягательности и не стала менее важной идея созидания "больших" нормативных текстов. Такие профессиональные тексты, как и прежде, заключают в себе интенцию "исторического синтеза" и способность к осуществлению властных функций в обществе (элементы медиации прошлого и настоящего, социальной дидактики и прогностики).

В последней трети XX века в профессиональной историографии неоднократно звучали утверждения о неизбежности "ухода" жанра "большой истории" из арсенала профессиональной практики. Метанарратив рассматривался в контексте новейших познавательных "поворотов" как опробованный временем, нормативный опыт исторической профессии периода ее становления и социально-исторического оптимизма. Однако, думается, социально-культурная потребность и необходимость в такого рода текстах, поддерживаемая современными тенденциями информационных технологий и коммуникаций, выдержала испытание "постмодернистским состоянием" и продолжает доказывать свою жизнестойкость в академической среде.

SUMMARIES

Lorina P. Repina. Time, History, Memory.

The short article presents the scholarly discussions of problems most interesting for intellectual historians that took place during the 19th International Congress of Historical Sciences in Oslo (August 2000). Particularly the author considers various conceptions of historical memory and historical consciousness and their relevance to intellectual history.

Irina M. Savelieva, Andrei V. Poletayev.

History as Theoretical Knowledge.

The article deals with the theoretical component of historical science, concerned with the past social reality. While tracing the history of the problem the article concentrates on the current state of the discussion pointing to the two basic types of theories central to the scientific knowledge: narrative (description) and explanation. The difference between history and social science is not that social science does and history does not employ both types of theory. Both use them widely and effectively, so by the standards of modern philosophy of science, especially analytical one, history employs theoretical base which is essentially not so much different from that of social sciences, usually treated as dealing with the "present".

The distinction is that proportion of narrative is of greater importance in the theoretical work of the historian, dealing with the past. The other distinction is greatly remarkable and probably makes sense to counterpose history to other social sciences. Historians at full scale apply theories, produced by other social sciences and humanities (sociology, economics, anthropology, psychology, etc), being uncreative in the sphere of autonomous *historical* macro and micro theories. This rather obvious distinction is explained by objective limitations and specific functions of historical knowledge.

Yury L. Bessmertny. That Strange, Strange Past.

One of the specific features of contemporary Western historiography is that the perception of the man of the past in light of modernity is being drastically reconsidered. New studies in the history of the Middle Ages and early modern times convincingly show that in order to better comprehend the man of the past and the society of the past as a whole, it would be more productive to see in them not our more or less "under-developed" predecessors, but principally different phenomena incompatible with those that we deem conventional or normal today. The alterity of past societies and the man existing within their framework could spread over a whole variety of aspects: the apprehension of subordination as independence, interpretation of the irrational as rational, perception of the inseparability of

the private and the public, the inward and the outward, and so on. Similarly, we should not necessarily try to seek in past societies the interconnected integral inner systems that are familiar to us; those societies could be seen as more or less chaotic combinations of elements connected with each other quite accidentally. With this approach, the comprehension of each separate social fragment acquires a special importance. This does not imply any denial of trying to find that in which we might see the specificity of social integrities. Yet it does imply the alterity of the very notion of integrity.

Thus, there appears a new apprehension of the very meaning of writing history. It is now seen not in reconstructing the unicity of the past, but in revealing the multimeaning and polysemantic character of the individual phenomena composing the past, as well as the combinations of those phenomena in its various periods. Historical knowledge, therefore, may simultaneously include different perceptions of one and the same time, equally informative for the modern man's self-identification.

Semyon A. Ekshtut. History and Literature: "No Man's Land"?

One of the most important events in the intellectual history of past four centuries was principal delimitation between literature and history. This delimitation was actually a scientific revolution being at the same time a series of real events and an obviously slow process of long duration. This process began at the epoch of Renaissance and its results finally became apparent by the middle of the XIX-th century. In the middle of the 1830s the connection between literature and history having been quite close up to that moment was broken off. Simultaneously the character of audience and the book market changed: novels were buying and reading more willingly than historical monographs. Within ten years, that is, during the life of one generation, the situation altered completely. But it would be a mistake to consider this process to be complete and irreversible. The heavy and awkward language of historians, which is intelligible only for the small number of professionals, is turning into a historical narration.

The author of the article suggests that a new connection between literature and history would be a key event in the intellectual life of the next century. It would be a form of historical knowledge oriented not on the monograph study of some aspects of the past, but on their synthesis.

Igor V. Smerdov. Vladimir Solov'ev's 'Crisis of Western Philosophy' as a Philosophical History: an Attempt at Narrative Analysis.

The author attempts to enter the inner strata of the text that were ignored by previous researchers of Russian Philosophy and has selected narrative analysis as a method of research. His subject of study is the process of creation, mechanisms of creation and structure of the text. It gave an opportunity to study history of philosophy from the point of view of how that history is represented in a text, which was a part of the author's

skill and a literature tradition (tropes). There are many "other" voices in this text and it helps to evaluate Solovyov as a story-teller of philosophy.

The author describes the composition of the '*Crisis*', functions of characters in the space of philosophy, novelistic narration of the philosophical text, individual portraits, parallel figures in history of philosophy, forms of discourse, constant motives and metaphors in the text (there is a classification of metaphors) and samples of irony about positive philosophy. The main conclusion is that history of philosophy can be interpreted as a type of story-telling with its own poetics, form of representation of the characters' ideas and author's outlook and that the rhetorical component of a philosophical text is a part of the author's strategy and vision.

Natalia V. Rostislavleva. N.I.Kareev and Karl von Rottek: a Comparative Study of the Liberal Historiosophy of the XIX-th Century.

The article is concerned with the comparative analysis of the philosophy of history by N.I.Kareev (1850-1931) and Karl von Rottek (1775-1840). The asynchrony of the comparison is proved by the author to be correct since liberal ideas were as spread in Russia in the late XIX-th century, as they were in Germany in the early XIX-th century. The author also showed similar features in the biographies of the historians.

In the author's opinion, the works by Kareev and Rottek are united by their aspiration to create historical schemes from the point of view of progress, for both were interested in the complete picture of historical process. Their paradigm was taken from the philosophy of Kant. The author demonstrates that for Rottek the base of all values was the theory of natural law, which he interpreted in the ethical sense (being under the influence of Kant and neo-Kantian philosophy). N.I.Kareev placed historical progress into the system of moral values. Analyzing historical writings by Kareev and Rottek the author shows that both historians stressed the role of an individual in the world history and accepted a person as the subject of historical knowledge.

The main paradigm of liberal historiography is the interpretation of the historical process from the point of view of its guaranteeing human rights and freedoms. The last were understood by Kareev and Rottek in the universal sense.

Vera V. Zvereva. Buffon's 'Natural History'.

The genre of "natural history" was popular among European authors from the Roman antiquity towards the end of the XVIII century. The texts of "natural histories" are of a special methodological interest for the intellectual history studies. At first sight the object of the investigation— "the Nature" — does not change. But in the texts of "natural histories" that belong to different times one can see the variety of the "objects". The structure of the knowledge of "natural" changed within the different cultures. These changes

concerned the "important" or "worth attention" subjects, contents and the form of knowledge, the ways in which it could be produced and represented. The textual analysis of "natural histories" can reveal the specific features of the images of the world in texts as well as to show the different approaches towards the cultural constructing of the "natural" and the multiplicity of its representations.

This article deals with some of these problems treating one of the most famous texts of the European learned culture of the XVIII century – the "Natural history" of George Louis Leclerc de Buffon (1707-1788). The design of this work was to describe (as well as to study) the whole natural world. The idea of bringing the creations to the strict classification seemed false to Buffon. Instead of it he proposed to study the multitude of separate individuals. The problem of constructing the narrative order in this text seems to be very significant. The article poses the questions of the ways of cognition in Buffon's work, of the status of "similarity" and "distinction", of the role of visual component in the producing of knowledge.

The natural history is treated as a kind of a narrative with its peculiar balance of "*les mots et les choses*". The aesthetics of the Buffon's text deserves special attention. The language of the text had to correspond with the grandeur of the subject – so the question of style was crucial to the author. The Buffon's idea of "beautiful" impressed itself greatly in the text of his work and in the represented Nature.

Natalia A. Makasheva. Moral Philosophy and the Emergence of Economic Science: Adam Smith's Mystery.

There is the question whether economic science is (or should be) moral-free or moral-laden running through the history of the discipline. The history has shown that this question has no answer at a pure methodological or theoretical level. At the same time it gave us a good example of dealing with economic problems that did leave no room for this dilemma. Being the founder-father of the economic science as an independent discipline Adam Smith considered economic science to be an integral –part of moral philosophy. He cannot be seen as a passionless analyst of spontaneously emerging capitalism but a person who spared no effort to put into practice norms and institutions he considered right and just. So '*The Wealth of Nations*' is a positive investigation as well as an appeal for the better. There is no duality here because Smith's economic ideas as well as political ones were deeply rooted in his religious views, the latter being for him the ultimate basis for the whole system of social knowledge.

Alexandra G. Soupryanovitch. When the Mother is not a Woman: 'The Revelation of Divine Love' by Julian of Norwich.

The article analyses the Salvation's concept which was created by the medieval woman-mystic Julian of Norwich (1342 — after 1416). It was delivered by Julian in her '*The Revelation of Divine Love*'. The main attention

was paid to her theory of Jesus as a Mother. The study of the text allows to make the conclusion that Julian transferred the women's features (external and psychological) on Jesus Christ. It should also be noted that this feminization was made by Julian not deliberately. She carried her own specific features to the image of Jesus. As a result her desire to be an "unsexual" creature led to humanization (and feminization) of God.

Vsevolod L. Kerov. The Brothers of Free Spirit.

The article analyses the main components of the doctrine of the heretics – the Brothers/Sisters of Free Spirit (13-14cc.). The author interprets the mysticism of the Free Spiriters (by interpreting the "Mirror of Simple Souls" by Marguerite Porete who was executed for heresy in 1310 and other sources by the Church officials). The mystical doctrine of the Free Spiriters suggested gradual ascent of a soul to God and its final dissolution in Him. The author emphasized pantheistic aspects of the Free Spiriters' mysticism and shows their connections with the doctrines of Joachim of Fiore, Peter John Olivi and his followers (Ubertino da Casale, Angelo Clareno), Amaury of Bèze and of Meister Eckhart.

Anna V. Stogova. Arguments on Friendship in XVII-century France.

Arranged discussion of eleven seventeenth-century authors deals with the notions of what friendship is and what it ought to be. The article is based on treatises, essays, aphorisms by P. Charron (1601), J.-F. Senault, B. Pascal, N. Malebranche, F. de La Rochefoucauld, C. de Saint-Evremond, R. Arnauld d'Andilly, M. de Sablé, J. de La Bruyère, and L. de Sacy (1703). The most actual matters are proved to be: the determination of perfect friendship among other personal relations; the problem of self-interest, virtue and equality in friendship; the correlation of reason and sympathy; abilities for friendship (especially women's and monarchs's); its coordination with supreme duty. In the diversity of these questions we can perceive an echo of problems, which had agitated the minds. The concept of friendship constructed a set of meanings, and within this framework various interpretations could be shaped. But this does not exclude some general features; their combinations along with the correlation of actual and "forgotten" questions produced the specific character of the notion of friendship in the French culture of the XVII-th century.

Anna Yu. Seregina. English Catholics of the late XVI – early XVII-th Centuries on the Origin of the Monarchical Power.

The article deals with the problem of the origin of monarchical power in the thought of Elizabethan and Jacobean Catholics. The analysis of the Catholic treatises reveals that the most part of Catholic pamphleteers suggested the monarchical power to have been created by the popular consent. Even the authors who advocated the divine right of the king and used the notion 'absolute power' did not think of unlimited arbitrary power of

a monarch. They merely supposed the word 'absolute' to show the independence of the English State (and monarch) from any temporal sovereign. The author demonstrates that although Catholic thinkers were the main opposition group in late 16th – early 17th cc., they shared the views of their Protestant fellow-countrymen and should be thought of as an important part of English political tradition.

Irina V. Nemchenko (Ukraine).

Thomas Hobbes and the Theoreticians of the 'de facto power': an Individual's Right in the Context of Political Conflict.

The author deals with one aspect of Hobbes' political system: the natural right of an individual. The natural right of an individual suggested, according to Hobbes, the defence of one's life, self-preservation. The preservation of people was supposed to be the ultimate end of the contract between them, which created the government. Hobbes thought that in case of government having been changed the subjects should obey as far as it was able to maintain internal peace. The author shows that the system of Hobbes was highly abstract, free from any concrete implications, but the mere abstractness of his ideas was particularly attractive to the pamphleteers of the middle of the XVII-th century since they could apply it to different situations and combine it with various political views of their own. The tracts of M.Needham, J.Dury, A.Ascham and F.Osborn put forward the idea of an individual's submission to what government existed at the moment. The article demonstrates that these tracts written in the late 1640 – 1650s proposed the practical realization of Hobbes' principle of natural right in the period of political tension.

Marina P. Aisenshtat. The Parliamentary Reform of 1832 in Great Britain: Contemporary Opinion and Historians' Evaluations.

The Parliamentary Reform of 1832 resulted from the long struggle in parliament and in society. It led to a division of political groups according to their attitude to the question of reforming political institutions that survived from the Middle Ages. Historians' interpretations of the reform also provoked serious discussion. The author of the article analyses the positions of Tory, Whigs and radicals, and the most important historical researches, and demonstrates how the opinion of contemporaries influenced historians' concepts. The author shows other significant factors, which shaped the scholars' attitude to the reform of 1832 (personal experience, sympathies and antipathies, period, nationality etc.).

Oksana V. Gavrishina. Historical Consciousness in 1840s Russia: the Representation of 'Recent Past' in a Contemporary's Biography.

The article is concerned with the problem of cultural construction of historical biography. The piece analysed is biography of major-general Vladimir Volchovsky (d.1841) written in 1843 by Ivan Malinovsky, both are

prominent figures in Russian history of the first half of the 19th c. The special quality of the biography is defined by the fact, that its character was a contemporary of the author, and that it was 1840s when a modern historical consciousness was formed. It forced Malinovsky to transfer his experience of the "present" into experience of the "past", which is distinct from the "present", and his private memory into collective memory. The way this transformation is carried out is particularly interesting due to the fact that Malinovsky was not a professional historian.

The article analysed the author-figure, the composition of the biography, and cultural values and norms represented by these formal characteristics of the text consequently. The author-figure cannot be identified with Malinovsky - a friend and a relative of Volchovsky. He writes as an Historiographer: in every passage he shows the distance to his character. This is the way a historical person should be represented in his opinion. It is only at the first sight that the biography is written in the narrative form. A closer analysis shows that it is not composed in a chronological order, but rather in a cycled one. Malinovsky uses the ancient biography as a model. However he also gives reference to the contemporary historians, showing respect to newly formed positivistic historiography. The composition of the biography links text of Malinovsky with the idea of the "present" rather than idea of the "past". The major part of the text consists of stating Volchovsky's military and state service achievements. Social status was the most important characteristic of the person in 1840s. So it was the career of Volchovsky that made Malinovsky consider him a historical figure.

Olga V. Vorobiova. Academician E.A.Kosminsky's Views about the Historiosophy of Arnold Toynbee.

This article makes the first attempt to deal with the problem of the Soviet historian E.Kosminsky's understanding of Arnold Toynbee's historical concepts. While writing the article the author kept in mind and used a wide range of the academition's materials devoted to A.Toynbee. The author thinks that it is E.Kosminsky who is responsible for introducing the name of A.Toynbee into the sphere of the researches. Thus E.Kosminsky gave the way to the future generations of the Russian researchers of A.Toynbee.

Simultaneously the article deals with the contradictions that were characteristic of E.Kosminsky's ideas and that were caused by the domestic and foreign policy of the 1950s. The author focuses her attention on the thinking and social basis of E.Kosminsky's views that show the contradictions which influenced the Soviet academician's attitude to the historiosophy of Arnold Toynbee.

Lyubov A. Fadeyeva. Intellectuals, Intelligentsia and Conceptions of Political Culture.

Though intellectual history cannot be reduced to the history of intellectuals, it does include that component, so one could deal with political

culture of intellectuals. And intellectuals undoubtedly influence the process of forming national political cultures. To establish and develop what the concepts of political culture are they must be placed into the history of the disciplines. The theory of "civil culture" still remains "conceptual umbrella" for the analysis of political cultures although it has ceased to be the only method used in comparative studies. The notion of "political culture" is a complex integrative category. Nevertheless, when dealing with this phenomenon one must take into account the diversities of cultures and their hierarchy.

Igor O. Ermachenko.

Far East Cultural Tradition and the Poetry of Russian Postmodernism. 2. Russia and Japan.

The article is concentrated on the special transformation of the image of Japan, Japan history and culture in contemporary Russian poetry (poems by D.A.Prigov, L.Losev, V.Strochkov, V. Nekrasov, I.Irtenyev, the authors of "Russian-Japan" hayku and tanka from the "Order of Courteous Mannerists", the group of "Mit'ki", "Three Tankists" etc.). The postmodernist play with the stereotypes of the mass culture, the clash of own and foreign cultural codes demonstrate a sort of historicism. The "Japan", in contradistinction to the "Chinese", is the image less liable to diachronic transformations. It is the constant mark of the 'Other' - fictitious identification with, or opposing to whom shows the permanent failure in positive self-identification.

Vassily D. Balakin. The Biography of the Empress Adelheide.

The text represents the first Russian translation of the biography of Adelheide, the Empress of the Holy Roman Empire, the wife of the emperor Otto I. Her role in the European history of the second half of the 10th c. was so prominent that she was called "*mater regnorum*". She was famous for her devotion and for generous donation to the Church; in some decades after her death she was canonised, and her tomb (in Alsace) where as it was believed the miracles took place became the shrine which attracted pilgrims. The biography is written by an equally famous person – by the abbot of Cluny Odilo, one of the leaders of the Church reform, an influential figure at the courts of Otto III and Henry II. The introductory article analyses the specific of the "Biography" as a text and gives additional details on events that were dealt with in it.

СОДЕРЖАНИЕ

Вместо Предисловия

<i>Л.П.Репина</i> Время, история, память: ключевые проблемы историографии на XIX Конгрессе МКИН.....	5
--	---

Теория и метод в историческом познании

<i>И.М.Савельева, А.В.Полетаев</i> История как теоретическое знание.....	15
---	----

Историческая наука на рубеже тысячелетий

<i>Ю.Л.Бессмертный</i> Это странное, странное прошлое.....	34
---	----

История и литература

<i>С.А.Экштут</i> История и литература: "полоса отчуждения"?.....	47
--	----

История и философия

<i>И.В.Смердов (Нижний Новгород)</i> "Кризис западной философии" В.С.Соловьева как философская история: опыт нарративного анализа.....	73
--	----

Из истории исторической мысли

<i>Н.В.Ростислаева</i> <i>Н.И.Кареев и Карл фон Роттек:</i> традиции либеральной историософии XIX века.....	95
---	----

Из истории наук о природе и обществе

<i>В.В.Зверева</i> "Естественная история" Бюффона.....	106
---	-----

Н.А.Макашева

Нравственная философия у истоков
экономической науки: загадка Адама Смита..... 130

История средневековой религиозности

А.Г.Суприянович (Казань)

Когда мать - не женщина:
"Откровения божественной любви" Юлии из Нориджа..... 149

В.Л.Керов

Братья Свободного духа..... 163

Из истории идей и представлений

А.В.Стогова

"Без этого дружба не будет истинной":
споры во Франции XVII века..... 175

История и политика

А.Ю.Серегина

Происхождение королевской власти
в английской католической мысли на рубеже XVI и XVII веков..... 201

И.В.Немченко (Украина)

Томас Гоббс и теоретики "власти *de facto*":
право индивидуума в контексте политического конфликта..... 214

М.П.Айзенштат

Парламентская реформа 1832 года:
мнения современников, оценки историков..... 227

История и биография

О.В.Гавришина

Историческое сознание в России 40-х годов XIX века:
образ недавнего прошлого в биографии современника..... 241

И.В.Малиновский. О жизни Генерал-Майора Вольховского..... 253

Историки об историках

О.В.Воробьева (Липецк)

Академик Е.А.Косминский
об историософии Арнольда Тойнби..... 261

Интеллектуалы и общество

- Л.А.Фадеева**
Интеллектуалы, интеллигенция
и концепция политической культуры.....279

Перекрестки постмодернизма

- И.О.Ермаченко**
Дальневосточная культурная традиция и поэзия русского
постмодернизма. Статья вторая: "Русь Японская".....291

Переводы и публикации

- Жизнеописание императрицы Адельгейд
(Перевод, вводная статья и комментарии **В.Д.Балакина**).....309

Читая книги...

- Г.И.Зверева**
"Большая" интеллектуальная история:
текст и историографическая норма.....334

- SUMMARIES.....339

CONTENTS

Intellectual History Today

L.P.Repina

Time, History, Memory: urgent problems of historiography on the XIX International Congress of Historical Sciences.....5

Problems of Historical Knowledge

I.M.Savelieva, A.Poletayev

History as Theoretical Knowledge.....15

Historiography on the Eve of New Millenium

Yu.L.Bessmertny

This Strange, Strange Past.....34

History and Literature

S.A.Ekshtut

History and Literature: "No Man's Land"?47

History and Philosophy

I.V.Smerdov

Vladimir Solov'ev's 'Crisis of Western Philosophy' as a Philosophical history: an Attempt at Narrative Analysis.....73

History of Historical Thought

N.V.Rostislavleva

N.I.Kareev and Karl von Rottek: a Compararive Study of the Liberal Historiosophy of the XIX-th Century.....95

History of Sciences

V.V. Zvereva

Buffon's 'Natural History'.....106

N.A.Makasheva

Moral Philosophy and the Emergence of Economic Science: Adam Smith's Mystery130

Medieval religion

- A.G.Soupryanovitch
When the Mother is not a Woman:
'The Revelation of Divine Love' by Julian of Norwich.....149
- V.L.Kerov
The Brothers of Free Spirit.....163

History of Ideas and Representations

- A.V.Stogova
Arguments on Friendship in XVII-century France.....175

History and Politics

- A.Yu.Seregina
English Catholics of the Late XVI – Early XVII Centuries
on the Origin of the Monarchical Power...../.....201

- I.V.Nemchenko (Ukraine)
Thomas Hobbes and the Theoreticians of the *de facto* power:
an Individual's Right in the Context of Political Conflict214

- M.P.Aisenshtat
The Parliamentary Reform of 1832 in Great Britain:
Contemporary Opinion and Historians' Evaluations227

History and Biography

- O.V.Gavrishina
Historical Consciousness in 1840s Russia: the Representation
of 'Recent Past' in a Contemporary's Biography 241
- I.V.Malinovsky. Life of General-Major Volchovsky253

Historians about Historians

- O.V.Vorobiova
Academician E.A.Kosminsky's Views
about the Historiosophy of Arnold Toynbee.....261

Intellectuals and Society

- L.A.Fadeeva
Intellectuals, Intelligentsia and Conceptions of Political Culture.....279

Crossroads of Postmodernism

I.O.Ermachenko

Far Eastern Cultural Tradition and the Poetry of
Russian Postmodernism. 2. Russia and Japan291

Translations and Publications

V.D.Balakin

The Biography of the Empress Adelheide.....309

"Reading-Room"

G.I.Zvereva

"Great" Intellectual History: Text and Historiographical Norm.....334

SUMMARIES 339

ДИАЛОГ СО ВРЕМЕНЕМ

Альманах интеллектуальной истории

Вып. 3

Утверждено к печати

Ученым советом

Института всеобщей истории

Российской Академии наук

Текст опубликован в авторской редакции

Издательство «Эдиториал УРСС». 113208, г. Москва, ул. Чертановская, д. 2/11, к.п.
Лицензия ЛР № 064418 от 24.01.96 г. Гигиенический сертификат на выпуск книжной
продукции № 77.ФЦ.8.953.П.270.3.99 от 30.03.99 г. Подписано к печати 15.08.2000 г.
формат 60×84/16. Тираж 300 экз. Печ. л. 22. Зак. № 465.

Отпечатано в множительной лаборатории
Кольчугинского завода технических изделий.

601750, Владимирская обл., г. Кольчугино, ул. Добровольского, 2.